

Н О В Ы Й  
М И Р

2

---

1951

2

Н О В Ы Й  
М И Р

1951

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 2

Февраль, 1951 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Современные баллады. Перевод с украинского	3
БОРИС ГОРБАТОВ — Донбасс, роман. Продолжение	14
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ — Пять стихотворений	104
ИВАН ВАРАВВА — Солдатские стихи	106
ЧЖАО ШУ-ЛИ — Регистрация брака, рассказ. Перевод с китайского Вл. Рогова	108
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
П. ПАВЛЕНКО — Итальянские впечатления	131
<b>ПРОБЛЕМЫ НАУКИ</b>	
Академик А. В. ВИНТЕР — О новых строительных машинах и механизмах	192
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ан. ТАРАСЕНКОВ — За богатство и чистоту русского литературного языка!	203
<b>Трибуна Читателя</b>	
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТИ Ю. ТРИФОНОВА «СТУДЕНТЫ»	221
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Софронов. Стихи и песни Платона Воронько. — Ю. Лукин. Повесть о человеческих сердцах. — Р. Вяткин. Стихи рабочих и крестьян Китая. — Н. Капиева. Певец счастливого Дагестана. — Б. Галанов. Надуманный конфликт. — А. Алексеева. Всепобеждающая жизнь. — С. Евгений. Свежий голос. — М. Козьмин. Новый вклад в советское пушкиноведение. — Л. Светлов. Содержательное исследование. — П. Максимов. Пиррова победа.	
<i>Борьба за мир. История. Международные отношения</i>	261
В. Кузьменко. Польские крестьяне на Украине. — П. Винокуров. Книга о февральских событиях в Чехословакии. — Кандидат исторических наук Е. Черняк. Журнал поджигателей войны. — М. Грчев. Крах политики аргентинского диктатора.	

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
	271
<i>Право</i>	
Кандидат юридических наук <b>В. Покровский</b> . Новое исследование о Русской Правде.	
<i>Техника</i>	273
<b>С. Морозов</b> . Успехи советской кинотехники.	
<i>Физика</i>	276
Кандидат исторических и технических наук <b>С. Раппопорт</b> . Журнал советских физиков.	
<i>География</i>	280
Кандидат географических наук <b>М. Буяновский</b> . Песчаные пустыни Северного Приаралья.	
<i>Библиография</i>	281
<b>Н. Мацуев</b> . Ценный справочник о деятелях русской культуры.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Декабрь 1950 года — январь 1951 года)	284

---

---

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

## СОВРЕМЕННЫЕ БАЛЛАДЫ

*С украинского*

ГОЛУБЬ МИРА

1

Лучом рассвета брезжит тишь.  
Над миром ветренно и сыро.  
— О, голубь мира, голубь мира,  
Скажи, куда ты полетишь?

Сожжённые поля Кореи.  
Огонь — и залповый раскат!  
Макартуровы батареи  
Средь туч найти тебя спешат.  
Лежит земля, в огне пылая.  
Английский в трусиках солдат  
В болотных зарослях Малайи  
В тебя нацелил автомат.  
Но ты держи свой путь, но ты  
Лети, лети через фронты!

2

Война — барыш, и кровь — барыш  
Для вашингтонского банкира.  
— О, голубь мира, голубь мира,  
Скажи, куда ты полетишь?

Сквозь клочья рваного тумана  
Ты видишь на море с утра  
Возле Вьетнама и Тайвана  
Сторожевые крейсера.  
От Джокьякарты до Сайгона,  
Где б ни был ты в полночный час,  
Разведчики из Пентагона  
С тебя не сводят тусклых глаз.

Но ты держи свой путь, но ты  
Лети сквозь толщу темноты!

3

Нью-Йорк, и Лондон, и Париж  
Лишь лгут на всех волнах эфира.  
— О, голубь мира, голубь мира,  
Скажи, куда ты полетишь?



Плут из Миссури на рассвете  
 Поклоны в Белом доме бьёт —  
 И смотрят греческие дети,  
 Как плаха новая встаёт.  
 Стрельба за проволокой ржавой  
 Над Макронисосом в ночи.  
 Свой суд неправый, суд кровавый  
 Вершат во мраке палачи.

Но ты держи свой путь, но ты  
 Лети за горные хребты!

## 4

Взмывай над ржавым морем крыш,  
 Мчись над зловещей штаб-квартирой...  
 — О, голубь мира, голубь мира,  
 Скажи, куда ты полетишь?

— Я в сердце матерей, я всюду,  
 Где пахари и кузнецы,  
 Где нужен мир простому люду,  
 Где за меня встают бойцы.  
 Где всем живущим солнце мило,  
 Где в правду верят горячо.

• • • • •  
 Товарищ Сталин, голубь мира  
 Спустился на твоё плечо.

Перевела М. Алигер.

## ЗАЛОНГО

*Залонго — национальный танец, который танцуют греческие патриоты перед решающими схватками с врагом, в момент смертельной опасности. Танец возник во время освободительной борьбы греческого народа против турок, более ста лет назад.*

## 1

Ломаясь, тени поползли  
 По улице пустынной,—  
 Проходят молча патрули  
 Вдоль старых стен Эгины.  
 Молчит земля, молчит вода,  
 Молчат сады от зноя,  
 И гор далёкая гряда  
 Молчит за сизой мгюю.  
 Всё небо в сини меловой,  
 Пылает солнце раной.  
 На рейде подымает вой  
 Эсминец иностранный,  
 И средь горячей тишины  
 Как будто смех и стон слышны...  
 Нет! То звучит залонго.

## 2

Судья, услышав, онемел;  
 Жандармы побледнели;  
 Как полотно, от страха бел  
 Начальник цитадели.  
 Военный прокурор стоит,  
 Согнув трусливо спину...  
 Откуда он сюда летит,  
 Как он проник в Эгину,  
 Свободный, грозный тот напев,  
 Не знающий преграды,  
 В котором ненависть и гнев,  
 И боль сынов Эллады?  
 «Пресечь!» Но тщетно — вся тюрьма  
 Сошла с ума, пошла сама  
 Греть, плясать залонго!

## 3

Патруль плетётся, как во тьме,  
 Всё гуще жар полдневный,  
 А голоса звучат в тюрьме  
 Настойчиво и гневно.  
 Услышал их морской простор,  
 Сады, дороги, зданья,  
 И возвращает эхо с гор  
 Их грозное звучанье.  
 Они летят в лазурь, как вихрь,  
 К далёкому светилу,  
 И заглушить сиреной их  
 Эсминцу не под силу:  
 То коммунисты, смерть презрев,  
 На казнь идут, — и слышен гнев  
 В рыдании залонго.

## 4

Трясёт залонго всю тюрьму —  
 Двор, камеры, подвалы.  
 Так не впервой звучать ему:  
 Его слышали скалы,  
 Когда сто лет тому назад  
 В сплошном кольце пожаров  
 Гречанок окружил отряд  
 Турецких янычаров,  
 Когда на смерть, как под венец,  
 Шли дочери и жёны.  
 Чтоб пули вражеской свинец  
 У них не вырвал стоны, —  
 Краса Эллады, цвет весны,  
 Бросались в море с крутизны,  
 Танцуя свой залонго.

## 5

Сто лет! — пусть дважды сто пройдёт, —  
 В краю высокогорном  
 Под гнётом вражеским народ

Не будет жить покорным.  
 Трубят тревогу трубачи.  
 Идут, идут солдаты —  
 Гремят с Гудзона тягачи,  
 С Ламанша автоматы.  
 Кипит свинец. Уж время — в бой.  
 Зовут ко мщению раны,  
 И перед боем танец свой  
 Танцуют партизаны, —  
 Опасность, смерть, всё, всё вокруг  
 Смолкает, затихает вдруг,  
 Когда звучит залонго.

6

Земля молчит. Вода молчит.  
 Все улицы пустыньны.  
 Но чьи шаги в немой ночи  
 Врываются в Афины?  
 Чей мощный голос будит вас,  
 Министры и банкиры?  
 Тревожен ночи поздний час.  
 На окнах штаб-квартиры  
 Посол Америки спешит  
 Плотней задёрнуть шторы, —  
 Ревёт вода, земля шумит,  
 Гудят леса и горы:  
 То за свободу, напролом  
 Идёт Эллада в бой под гром  
 Бессмертного залонго!

*Перевёл Борис Ирнин.*

## ПЕСНЯ НЕГРА

Негр приглашён в родной свой город. Он в путь готов  
 к шести часам.  
 Он заливаёт бак горючим, потом за руль садится сам.  
 Дорога в край, где он родился и где жила его родня,  
 Шла кукурузными полями с их бесконечной тоской,  
 И лента серого асфальта казалась издали рекой,  
 Куда спешила к водопою реклама «Белого Коня».  
 Машина мчит, столбы мелькают, и путь однообразно прям.  
 У негра в боковом кармане большая пачка телеграмм:  
 Пусть лучше негр не приезжает, а коль приедет — пусть  
 молчит.  
 Машина мчит. Чтоб ни случилось, он так решил. Машина  
 мчит, —

А песня льётся, песня льётся.

Швейцар в ливрее с галунами сказал ему: нет номеров!  
 Тогда он повернул в предместье, чтоб там найти приют  
 и кров.  
 Но в хижине, откуда чёрный когда-то вышел в белый свет,  
 Давно живут другие люди, слышны чужие голоса.

До выступленья на концерте ему осталось два часа, —  
 В харчевне негритянской молча он съел дешёвый свой обед.  
 Что ждёт его — ему известно, он с этим издавна знаком,  
 Певца борьбы, любимца мира не удивит такой приём:  
 Он знает хорошо, что в отчете, так называемом, дому  
 Лишь двери узкие — для негров — предназначаются  
 ему, —

А песня льётся, песня льётся.

В Париже, Лондоне, Калькутте он с этой песней побывал.  
 Его грудной, глубокий голос простых людей очаровал.  
 Он сам был голосом народа, одной судьбою с теми жил,  
 Кто сеял хлопок, рыл канавы, в забоях уголь добывал,  
 У жарких топок кочегарил и в мюзик-холлах танцевал,  
 Кто все мечты и все надежды в его мелодии вложил.  
 Поёт лишь тот, кто пред врагами не склонит гордой головы.  
 Он видел камни Сталинграда, он знает улицы Москвы,  
 И хорошо ему известно, как кровь людская в сердце бьёт,  
 Когда, как будто вместе с бурей, в одном порыве зал  
 встаёт, —

И песня льётся, песня льётся.

Уже давно в вечернем небе багровый светится неон.  
 У театрального подъезда свою машину ставит он.  
 Толпа смолкает в ожиданье, — так в час затишья море ждёт,  
 Чтоб снова буря загремела среди скалистых берегов.  
 Он различает в этом зале ряды друзей, ряды врагов.  
 Певец, вошедший в зал для белых, живым отсюда не уйдёт.  
 Он видит, как у всех подъездов встают молодчики стеной,  
 С такими лучше не встречаться в безлюдном месте в час  
 ночной.

И вдруг в театре гаснут лампы, среди внезапной темноты  
 Он видит, как на фоне неба горят зловещие кресты, —

А песня льётся, песня льётся.

Да, он найдёт такое место, где есть для всех открытый вход, —  
 И вот он выезжает в поле, он здесь концерт свой допоёт.  
 В толпе смешались чёрный с белым, они стоят среди травы  
 Плечом к плечу, за руки взявшись, — им небо заменяет кров.  
 Для сталеваров, для шофёров и поездных кондукторов  
 Звучит над чистым полем песня — та, что привёз он из  
 Москвы.

Она легко взмывает в небо, и в ней сплетают голоса  
 Луга зелёной Оклахомы и наши брянские леса.  
 Останови её — попробуй, она безмежна, как поля.  
 Под заревом крестов горящих стоит он чёрный, как земля, —

И песня льётся, песня льётся...

*Перевёл Мих. Матусовский.*



## ЖЕНЩИНА У ЗОЛОТЫХ ВОРОТ

## 1

Открылось мне в осеннем дне  
 Сиянье голубое,  
 И песен вспыхнуло во мне  
 Волнение былое.  
 Я вышел — утро без границ  
 Простёрлось предо мною:  
 Моторов шум, круженье птиц  
 Над озимью степною,  
 Каштанов киевских листва  
 На кромке тротуаров,  
 Небес корейских синева,  
 Кровавый блеск пожаров,  
 Воспоминанья о войне  
 И судьбы миллионов,  
 И ритм зловещий — в тишине —  
 Могучих циклотронов...  
 Сквозь целый мир тропа ведёт,  
 И я — у Золотых ворот.

## 2

Трава и пух осенних гнёзд...  
 И песнь, что сердцем спета,  
 Вдруг перебрасывает мост  
 Через просторы света.  
 Я знаю слов обычных власть,  
 Тех слов, что не таятся,  
 Что будят боль, и гнев, и страсть,  
 И смерти не боятся.  
 Сквозь песню женщина прошла  
 Сейчас передо мною:  
 И молода, и весела, —  
 Как ручеек весною.  
 Её зовёт в осенний сад  
 Аллея золотая,  
 Деревья празднично шумят,  
 Листву свою роняя,  
 Ей ветер листья вслед метёт,  
 Кружась у Золотых ворот.

## 3

Так сад шумит, листва летит  
 Прощальной песней лета.  
 А женщина в саду стоит  
 В лучах сквозного света  
 И взглядом радостным людей  
 И землю обнимает,  
 И бережно к груди своей  
 Ребёнка прижимает.  
 Заснуло на руках дитя,  
 Как будто в колыбели.  
 Лучи играли с ним, блестя,  
 И на лице теплели.

Такое счастье в том саду  
Для матери сияло,  
Что я забыл, куда иду,  
Зачем пошёл сначала,  
Казалось мне: весь мир встаёт  
Под сводом Золотых ворот.

## 4

Трамвай прошёл, дугою ток  
Свой рассыпал блёстки.  
Сержант милиции в свисток  
Свистел на перекрёстке.  
Глаза дивились, будто им  
Впервые мир открылся.  
Дитя и мать, я вам двоим,  
Сняв шапку, поклонился.  
В ответ — движенье головы,  
А передать словами:  
— Наверное, ошиблись вы,  
Мы незнакомы с вами. —  
Проснулся, вздрогнув в этот миг,  
И закричал ребёнок.  
Как жизни зов, протяжный крик  
Был всемогущ и звонок,  
Он властно рвался в мир, вперёд,  
Сквозь дуги Золотых ворот.

## 5

И взор тревожно заблестел,—  
Забыла всё на свете.  
А я сказать бы ей хотел  
Слова простые эти:  
— Меня вы можете не знать,  
Но стали мы родными.  
Я хорошо вас знаю: мать —  
Святое ваше имя.  
Когда затихнет вся земля,  
Вы спите с сыном рядом,  
Выходят пахари в поля,  
Вождь смотрит зорким взглядом:  
Хотя давно рассвета час, —  
Не дремлет мысль живая,  
Чтоб мальчик на руках у вас  
Заснул, забот не зная,  
Чтоб солнца встретил он восход  
В саду у Золотых ворот.

## 6

Сыны, и братья, и отцы —  
Не спят в своей траншее  
Бойцы Вьетнама и бойцы  
Китая и Кореи.  
И чёрный человек сейчас  
Не спит на дальнем Юге  
И, может быть, он видит вас

В жене своей, в подруге.  
 Хикмета будит гул сирен,  
 Борьба зовёт Неруду,  
 Вступает в строй Раймонда Дьен  
 И видит: отовсюду  
 Стекаются враги войны  
 В отрядах, дружбой слитых, —  
 Погибших матерей сыны  
 И матери убитых,  
 И верят: ярко расцветёт  
 Их сад у Золотых ворот.

## 7

А вы уходите домой,  
 Дитя своё качая...  
 Сад этот — мой, и Киев — мой,  
 Мой мир — страна родная.  
 Я вам ни слова не сказал,  
 Когда вы шли по саду.  
 Я тоже эту ночь не спал,  
 Слагал мою балладу.  
 Огонь в окне моём не гас  
 Затем, что утром рано  
 Внезапно я увидел вас  
 На склонах Инвансана.  
 Дитя и мать, я вам двоим  
 Скажу вот эти строки:  
 Солдаты мира, мы не спим,  
 Не спит наш гнев высокий.  
 И мы придём — весь мир придёт —  
 К сиянью Золотых ворот.

*Перевёл С. Липкин.*

### КОГДА Я БЫЛ МОЛОДЫМ

Когда я был молодым,  
 Бывало, проснусь на рассвете —  
 Гляжу на тугие ветви,  
 На облака лёгкий дым;  
 Услышу первую птицу,  
 Увижу первый цветок  
 И знаю: всё повторится, —  
 И завтра вспыхнет восток.  
 И всё, что существовало,  
 Манило итти за ним,  
 Всё пело и ликovalo,  
 Когда я был молодым.

Когда я был молодым,  
 Я девушку в клубе встретил,  
 Был взгляд её чист и светел,  
 Было платье — голубым.  
 Навек она с первой минуты  
 Сердце моё взяла..  
 Поплыл я за ней, как будто  
 Лодочка без весла.

Послушен той нежной силе,  
Я жил её взглядом одним!  
Любил и меня любили,  
Когда я был молодым.

Когда я был молодым, —  
Как это случилось — не знаю,  
Задорная песня, шальная  
Припала к губам моим.  
Весёлою, молодою  
Была та песня моя,  
В походе её со мною  
Певали мои друзья.  
Была она ветра порывом,  
Водою и хлебом простым.  
И диво не мнилось мне дивом,  
Когда я был молодым.

Когда я был молодым...  
Постойте, с чего эти речи?  
Сильны ещё мои плечи  
И сердце не стало иным.  
Давно уже мне не двадцать,  
Но хмель ещё бродит, пьяня,  
Пою и люблю и, признаться,  
Любят ещё и меня.  
Богатый на песни простые,  
Хочу я под небом родным  
Не дни вспоминать молодые,  
А быть всегда молодым!

Быть всегда молодым —  
Любить, и творить, и трудиться,  
И песней навеки слиться  
С родимым краем своим.  
Когда ж — под сто лет, умирая,  
И песню и душу свою  
Допеть не смогу до конца я —  
Пусть это случится в бою,  
Чтоб молвил, идущий со всеми,  
Товарищ друзьям боевым:  
«Ему умирать бы не время —  
Совсем ещё был молодым».

*Перевела Вера Звягинцева.*

### МАШЕНЬКА

Не знают сна идущие вперёд...  
...Испанка среди нас в Москве живёт.

Шумит — в цвету — московская весна,  
Не вспоминает о другой она.

Снег закружит весёлый, озорной —  
Сдаётся: в мире нет зимы иной.



С испанским солнцем золотым в родстве  
Тринадцать лет она живёт в Москве.

...В тридцать шестом опромный пароход  
Пристал у берегов советских вод.

Она ступила первой на мосток,  
Сжимая загорелый кулачок,

А рядом с нею — мальчик, старший брат.  
Случилось то тринадцать лет назад...

Где был отец? Сражался за Мадрид,  
В садах Каса дель Кампо он убит.

Из горького ключа земля пила,  
А девочка у нас в Москве росла

И в нашу школу бегала она.  
Когда в июне началась война,

Как и своих детей, в недолгий срок  
Мы в путь её собрали — на восток.

А где был смуглый мальчик? Старший брат  
За свой Мадрид пошёл под Сталинград.

В степной земле теперь он крепко спит,  
Над ним ковыль приволжский шелестит.

И слышит он в своём последнем сне  
Напев испанский в дальней стороне...

Шумит листвою осенняя пора.  
У нас в Москве живёт его сестра.

Немало в жизни у неё забот:  
Торопится с рассветом на завод,

Сидит в читальне, бегаёт в райком,  
Руководит при клубе драмкружком,

А вечером, собрав гурьбу девчат,  
Тарасову смотреть приходит в МХАТ.

А нет билетов — можно и в кино...  
Все Машенькой зовут её давно,

Хоть знают хорошо её друзья,  
Что Мануэла — Машенька моя.

Ей девятнадцать, много — двадцать лет,  
Родней, чем наш, ей в мире мира нет.

Но всё ж ей не забыть иной земли —  
У Машеньки есть родина вдали...

Испания! И словно вспыхнет луч,  
Крылом прорежет птица сумрак туч.

И тот далёкий край, забытый дом  
Как будто бы зовут её: идём!

...Ночь над Испанией. Всмотрись — вдали  
Бредут вдоль стен тюремных патрули.

Но партизаны вышли в ночь опять,  
Вперёд — на подвиг. И ни шагу вспять.

Не знают сна Испании сыны,  
Для них не миновала ночь войны.

Тринадцать лет промчалось, но для них  
Злой пулемётный клёкот не затих,

И только появился у солдат  
В руках американский автомат.

Тот новый автомат кладёт подряд  
И стариков, и женщин, и ребят.

Кто без суда убил их, без вины —  
Боровшихся за мир своей страны?

И ты б лежала с пулей в голове  
За то лишь, что росла у нас в Москве,

Что дух в тебе отцовский не погас,  
Что Машенькой зовёшься ты у нас!

Верь, Машенька, —  
над Волгою-рекой  
Не пал твой брат, —  
на подвиг боевой  
Выходят герильерос<sup>1</sup>, —  
в Фирмини

Не кончен бой, —  
бессонные огни  
Горят над Кладно, —  
мстителей отряд  
Стоит у стен Афин...

Сердца горят.  
Сигнал тревоги над землёй летит.  
— Верь, ты ещё вернёшься в свой Мадрид!

*Перевела Вера Звягинцева.*

<sup>1</sup> Испанские партизаны.



---

БОРИС ГОРБАТОВ

★

## ДОНБАСС

*Роман\**

КНИГА ВТОРАЯ

### „Крутая Мария“

Глава 1

**В**от так мы и познакомились: я и мальчики с «Крутой Марии». Нечаянно встретившись ранним ноябрьским утром 1930 года у шахты, на косогоре, мы потом пошли вместе в посёлок, и один из ребят, тот, что был с сундучком (его звали Виктором), поддавшись минутному порыву, рассказал мне историю своего бегства и возвращения.

Он рассказывал, ничего не тая и себя не жалея. Ему, видно, не терпелось поскорее чистосердечно и всенародно покаяться и тем очиститься. Он боялся только, что я стану посмеиваться над ними; рассказывая, он то и дело бросал на меня недоверчивые, то почти враждебные, то по-детски умоляющие взгляды; я запомнил его глаза — чёрные, смелые, с жёлтым огоньком в зрачках...

— А теперь, — сказал он, тряхнув головой, — мы с товарищем решили, что никуда не уйдём с шахты! — И он с вызовом посмотрел на меня: что, мол, не верите?

Нет, я верил. Я так и сказал им: верю! — и они ответили мне благодарным взглядом.

У шахты мы расстались. Я пожелал ребятам «мягкого угля и крепкой кровли» — как обычно желают шахтёрам, пожал обоим руки и пошёл к своим.

Больше мы не виделись.

Я пробыл несколько дней на «Крутой Марии», потом на других шахтах и, наконец, уехал в Москву.

Там и я нашёл себе дорогу по сердцу: стал журналистом, корреспондентом центральной газеты.

Редактору никогда не приходилось долго уговаривать меня на дальнюю поездку; достаточно было просто подвести к большой карте на стене и ткнуть карандашом в любую точку.

— Ну, Бажанов? — посмеиваясь, спрашивал он. — А если сюда, разве не интересно?

Ещё бы не интересно! Начинались тридцатые годы, годы Великой Стройки, чудесных дел и удивительных людей. Репортёрская заметка становилась страницей летописи. Сперва маршруты моих странствий ограничивались Донбассом и югом страны, потом потянуло на север. Говорят, Урал — родной брат Донбасса. Я должен был знать свою родню.

---

\* Продолжение. См. «Новый мир» № 1 с. г.

И я узнал и полюбил уральские шиханы, сибирские гольцы, дальневосточные безлесные сопки. Я познакомился и близко сошёлся с уральскими мастерами и кузнецкими металлургами; я видел, как добывают уголь, соль, руду, калий, бокситы, золото — рассыпное и рудное; как варят сталь и тянут трубы; как в Златоусте куют кавалерийский клинок, а в Каслях старики отливают статуэтки из чугуна — оленя с ветвистыми рогами на крутой скале или Дон-Кихота на тощем, тоже чугунном коне.

Навсегда запомнились мне штурмовые ночи на Магнитке, и авралы на Коксохиме, и битвы «батальонов энтузиастов» с вечно мёрзлой землёй. То были дни не только Великого Сева, но и Первой Жатвы. Сроки сбывались. Люди уже начинали пожинать первые плоды своих усилий. Мечта становилась явью, замысел — плотью, чертёж на синей кальке — живым городом во вчерашней пустыне.

Пуск каждого нового агрегата сам собою превращался во всеобщее торжество; каждый раз это было как рождение сына-первенца; рядом с родителями — инженерами и мастерами — стояли мы — журналисты, свидетели, а наших известий нетерпеливо ждала вся охваченная стройкой страна.

Мне посчастливилось быть на многих таких «крестинах»: Я видел, как застывал бетон днепростроевской «гребёнки», и как убирался лес с новых зданий в Комсомольске-на-Амуре, и как катилась первая блуванка по роликам блуминга в Макеевке и первый автомобиль по шоссе из Магадана, и как пошли на-гора первые вагонетки голубого сальвинита из соликамской шахты. Я помню первый дымок над первой домной Магнитки; он был уже не бело-розовый, как в дни сушки, а бледножёлтый — настоящий, рабочий, производственный дым — от него уже пахло рудой и коксом. И сотни людей следили, как расплывается этот дымок в небе над горой Магнитной, и молчали: не было таких слов, какие могли бы достойно выразить их чувства. И у меня их не было...

Но чаще всего редактор посылал меня в дальнюю дорогу не ради рождения домны, а ради рождения человека, героя. Я находил этого человека где-нибудь на дне котлована, или на плотине (от резиновых сапог до брезентовой шляпы всего забрызганного хлопьями бетона), или у горна печи. И писал о нём. А тут же, вокруг моего героя и по дороге к нему или от него, всюду и везде — на воздушных перекрёстках, в новых, ещё не оштукатуренных гостиницах, на пустырях, в товарном вагоне, временно заменяющем вокзал на новой линии, в общежитии паровозных бригад или в глинобитных бараках — всё время встречались сотни других, удивительных и не «указанных» редакцией героев; их имена ещё никому не были известны, но о каждом из них уже хотелось писать. Мне вообще не приходилось встречать людей неинтересных: кто трудится — тому всегда есть о чём порассказать.

По-моему, именно в эти тридцатые годы уже стал явственно обозначаться характер нового человека на земле — советского человека, строителя социализма.

При этом всё, что было драгоценного в русском характере, расцвело невиданно щедро и урожайно, а что было чуждого — от рабского прошлого, от идиотизма подневольной жизни, от власти кабака и тьмы — стало, шелушась, отлетать и пропадать, как стружья со здорового тела. И уже родились новые, советские чувства, и первым из них — чувство хозяина.

Чувство хозяина! Слово вся родина была теперь как один общий, мой и наш, дом, ещё не достроенный, ещё как следует не обжитый, но просторный, светлый и радостный и, главное, до слёз родной и до-



рогой. И для того, чтобы его достроить, да прибрать, да принарядить — нельзя теперь ничего жалеть: ни сил, ни жизни, и всё можно претерпеть. То были трудные годы, и со стороны казалось: немислимы, не под силу человеческому существу этикие мечты и планы, этикие дела и сроки.

Но советскому человеку чудеса были с руки. — Всё могу! — гордо сказал он на весь мир. — Такое могу, что никто иной в мире не может! — И Громов полетел дальше всех, а Коккинаки — выше всех людей на земле; и с невиданной высоты ринулся вниз с парашютом Евдокимов; и туркменские конники на своих скакунах дошли от Ашхабада до Москвы, а из Москвы пошли в Кара-Кумы автомобили...

Что это было? Разинув рот, глазели иноземцы на чудо рождения нового мира и нового человека. Что это было?! Одни в недоумении разводили руками: славянская, непонятная душа! Другие, похитрее, объясняли всё русской удачью, даже русским озорством. И всем этим прорицателям было невдомёк, что это ещё только разворачивается во всю свою мощь талантливый народ-хозяин; встрепенулись и зыграли в нём разбуженные подспудные, богатырские силы; ещё только забили живой водой родники народных талантов, а конца им нет и не будет, и коли есть у человечества светлое будущее, то — вот оно, родилось здесь.

У этого будущего были враги — давние и новые, большие и малые. Помню страшную январскую ночь на Зугрэсе — ночь аварии. Мы вбежали в цех и увидели лёд на мёртвом теле сожжённого мотора — это была диверсия. Помню, вошёл тогда в цех и один чужой, нерусский человек. Он был высок и худ, и звали его не товарищ, а — мистер. Мистер Торнтон, фирма «Метро-Виккерс», Англия. Я не запомнил всех подробностей его истинно британского, брезгливого и надменного лица; запомнил я плоскогубцы. Он держал их в руке и то и дело пощёлкивал ими.

— О, теперь пуск нет скоро! — грустно покачивал он головой, а плоскогубцы в его руках весело щёлкали.

Так впервые увидел я врага с плоскогубцами в руках, как видел раньше врага с кулацким обрезом подмышкой, а потом — врага с автоматом наперевес, и врага с вечным золотым пером и фотоаппаратом «контакт» через плечо, и врага в безукоризненном дипломатическом фраке. О, сколько врагов завывало и бесновалось вокруг нашей стройки, они и сейчас не перевелись! Дипломаты хотели задушить нас санитарным кордоном и блокадой, кулаки думали взять голодом, троцкисты — злодейским выстрелом из-за угла, иноземные писаки — клеветой; брызжа бешеными чернилами, сочиняли они о нас всякие небылицы, обызвали дорогие наши мечты сумасшедшим бредом и предсказывали крах пятилетки.

А мой народ, посмеиваясь над этими «пророчествами» и не боясь угроз, клал да клал кирпич к кирпичу; не давая себе ни отдыха, ни привала, шёл своим великим путём к коммунизму.

Да, крылатые это были дни! Мудрено ль, что и мне не сиделось спокойно на месте? В те дни как раз начиналось наступление большевиков на Арктику. Я получил командировку редакции, купил себе оленьи пимы и пушистый малахай — и вот уже стоял на заснеженном аэродроме, готовый к «великим подвигам» и «великой славе».

«Дядя Вася», полярный лётчик, с которым я должен был лететь, встретил меня неласково, я не мог понять отчего — я перед ним ещё ни в чём не провинился.

Только потом, когда мы сдружились, он, глядя мне прямо в лицо своими чистыми, голубыми глазами, всё бесхитростно объяснил:

— Я бы мог взять вместо тебя девяносто килограммов горючего!

Сейчас из Москвы на Диксон летают в любое время года, и днём, и ночью, тратя на полёт всего несколько часов. А тогда, шестнадцать лет назад, то был необычайный рейс: он продолжался месяц. И я узнал, что такое зимний перелёт, и встречный ветер, и арктический мороз, когда даже одеколон замерзает в кабине; и вынужденная посадка на пустынном мысе, где учишься главной добродетели полярника — терпению; и буря в Дудинке; и наледь на Игарской протоке, — целый день мы артельно, верёвками, вытаскивали самолёт из снежной каши, а потом, триста игарских осовахимовцев маршировали, утрамбовывая площадку для взлёта...

И я увидел: до чего же велика и причудливо-прекрасна наша родина! Проплыли под крылом самолёта степи, горы, тайга, лесо-тундра, тундра, — и вот уже поёт мотор над скованным льдами горлом Енисейского залива, и всё вокруг голубовато-бело и необычно, даже неправдоподобно, и это уже — Арктика!

Арктика! Вот такой виделась мне она из окон моей московской квартиры: белое безмолвие, одинокие избушки под снегом, длинные олени обозы да непонятные, суровые, бородатые люди в мехах и коже, с ножом на поясе и винтовкою за плечами.

Сперва всё сбывалось: были и снежные просторы, и голубые торосы, и тишина, и собачьи упряжки — и цугом, и веером, — и на Диксоне нас встречали бородатые люди в кухлянках с капюшонами, и у многих из них на поясе действительно болтался охотничий нож с черенком из моржовой кости. А в кают-компани зимовки нас ждали бифштексы из медвежатины и нарезанная тоненькими ломтиками строганина из сырой, замороженной рыбы, и спирт в большой баклаге, и противоцинготный экстракт из клюквы, такой кислый, что его иначе как «окся-кокся» не звали. А на стене на почётном месте висел обломок авиационного винта, и через окно был виден старый диксоновский маяк — обледенелая деревянная вышка с зелёным колоколом. Я на всё смотрел жадными, несетыми глазами.

Но вот после первых тостов разговорились мы с зимовщиками о самом главном — об их жизни, и я вдруг с удивлением услышал знакомые речи и знакомые слова: план, соревнование, ударники... И тотчас же нас потащили и повезли — на собаках, цугом! — смотреть стройку: порт, линию причалов, угольную базу, радицентр, радиомаяк...

Люди показывали нам дела своих рук со знакомой уже мне тихой гордостью строителей, и я, улыбаясь, ждал, что и здесь, как на Урале или в Сибири, услышу обычное:

— Ещё полгода назад тут ничего не было!

И вдруг я услышал такое, чего ни на Урале, ни в Сибири не слыхивал:

— Ещё четыре месяца назад всё это было под водой! — И нам рассказали историю радицентра на Диксоне.

Это случилось осенней ночью. Нежданно-негаданно налетел свирепый норд-вест и затопил у мыса Кречатник баржу: на ней и был весь радицентр в ящиках. Строители видели, как погружается в пучину студёного моря их радицентр, ради которого, собственно, они и приехали сюда, на край света. Ну что ж! Их вины тут не было. Стихия! В бухте Диксона ещё стояли корабли — можно было сесть и уехать восвояси. Можно было и не ехать! Просто остаться «зимовать», получать полярную зарплату и ничего не делать.

Но ни о том, ни о другом у людей на берегу даже мысли не было. Кончилось оцепенение первых минут, и все вдруг молча ринулись в ле-

дьяную воду. Все — и строители, и водолазы, и радисты, даже старичок врач, даже кухарка; прибежали ребята из порта и тоже бросились в море. Они все были хозяева, иного хозяина у них не было.

Много часов работали они в воде, пока последний ящик не был вырван, вывачен из проклятой пасти моря. И тогда на берегу люди стали разбивать топорами ящики и спасать нежную радиоаппаратуру от ржавчины, как спасли её от воды. Они всё разобрали до винтика, всё перетёрли, всё смазали маслом.

Все эти дни жили они под дождём и ветром в холщёвых палатках на берегу, не зная ни отдыха, ни сна, ни горячей пищи, и только когда кончили, подумали, что теперь надо бы отдохнуть. Хорошо б отдохнуть теперь в тепле! Но отдыхать было некогда, надо строить. И они безропотно взялись за топоры и пилы.

Вечером мы сидели в уютной кают-компании на Новом Диксоне и тихо беседовали. О Большой Земле. О Москве. О новом метро. Об отмене карточной системы. О театрах. О Качалове. О футболе. О том, что — верно ли? — Охотный ряд теперь не узнать? О карнавале в Парке культуры и отдыха. О новом кинофильме и песенке Лебедева-Кумача — надо бы её разучить! Словом, обо всём, о чём могут говорить советские люди, даже если они встречаются на 73-м градусе северной широты.

А одна из зимовщиц ошеломила меня совсем неожиданным вопросом: — Скажите, товарищ Бажанов, а что сейчас носят женщины на Большой Земле?

Все засмеялись. Но она нисколько не смутилась, а только покраснела с досады и упрямо повторила:

— Нет, вы скажите! Какая сейчас мода? — и женщины за её спиной поддержали её нешумным хором.

Я растерялся.

— Не знаю, — пробормотал я. Я действительно, ей-богу же, не знал, не имел об этом никакого понятия...

Но надо было отвечать. Я решил вспомнить, как одеты знакомые мне москвички. Сразу представилась Москва, её улицы, толпы на них... Вдруг вспомнились знакомые парашютистки — не один я увлекался ими! — они носили синие комбинезоны с серебристыми «молниями» и кокетливые чёрные береты. Но это, кажется, не то, чего ждёт от меня модница с 73-й северной параллели.

Вспомнились девчата с шахт метро. Они действительно, были тогда царицами московских улиц. Как гордо шагали они по Москве в своих широкополых брезентовых шляпах, в резиновых сапогах, забрызганных бетоном и глиной, независимо заложив руки в карманы своих ватных брюк!

Вспомнилась самая красивая девушка столицы: её пронесли первого мая через Красную площадь на огромном шаре. Она была в алой майке и трусах. Припомнились политотдельские девчата в жёлтых бараньих кожушках, туго перетянутых ремнями; трактористки в огромных щегольских рукавицах-крагах; знатные колхозницы, приезжавшие на слёт в Москву. Обычно они были в темносиних пиджачках мужского покроя и в ярких шёлковых платках с бахромой.

Вспомнились девушки, каких я видел в театрах, в кафе, в парках: они одевались красиво, изящно, женственно, но каждая по-своему! А мода, чёрт подери, какая же мода царила у нас в Москве?!

Не помню, что я ответил тогда зимовщицам, что-то бессвязное и невразумительное, а сказать мне хотелось так:

— Милые модницы! Я не знаю, какая сейчас мода в Москве, какой длины допускаются юбки и какой конструкции шляпки. Но не горюйте! Честное слово, даже здесь, на краю света, вы не отстанете от советской моды! И если вы появитесь в столице вот такими, как вы есть,— в меховых сапогах, расшитых бисером, в ватных штанах и оленьих малицах,— женщины Москвы с восхищением и даже с завистью будут глядеть на вас и на ваш наряд.

Дядя Вася улетел, а я остался зимовать. Зимовка была дружная, весёлая. Здесь, у самого Ледовитого моря, мы не чувствовали себя ни затерянными, ни забытыми. Большая Советская Земля была и далеко и близко. Каждый день мы слышали её голос. Мы тоже жили в её атмосфере, в её воздухе, мы были вместе с ней в её полёте к звёздам!

Когда случалась буря или «магнитные возмущения», я обычно просто прикладывал ухо к репродуктору — или репродуктор к уху — и слушал не радиопередачу (её совсем не было слышно), а свист эфира, бурю мировых пространств, и в ней какой-то далёкий-далёкий, размеренный и мягкий стук, словно то стучало большое и доброе сердце родины.

Однажды — это было в мае, и слышимость была чудесная, а за окном розовыми горами лежал снег, осиянный незатухающим уже солнцем, — мы услышали речь Сталина.

Речь Сталина — всегда праздник для советских людей. А эта была таким торжественным гимном человеку, что каждый из нас вдруг почувствовал себя необыкновенно гордо! Это ведь и о нас было сказано, что «из всех ценных капиталов, имеющих в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди...»

Никто и никогда во всей истории человечества не говорил так о человеке!

Весь вечер в кают-компании толпились, дымя трубками, взволнованные и оживлённые люди — радисты, радиотехники, строители, механики, водолазы — те самые кадры, о которых так тепло сказал Сталин, что они — решают всё! Люди шумели, спорили, горячились... Как всегда после сталинских слов, надо было и жить и работать иначе, чем раньше,— лучше, чище, вдохновеннее...

— Теперь беспокойно надо жить, товарищи! — восклицал радиотехник Володя, парень с рыжими пушистыми, «арктическими» бакенбардами.— Какая техника дана нам в руки, ребята, какая техника! Нансену и Амундсену такая и не снилась!

Хорошее, творческое беспокойство действительно охватило всю нашу зимовку; каждый захотел работать ещё лучше. Скоро и у нас появились люди, знаменитые на всю Арктику.

Именно в эти же тридцатые годы впервые появилось в советском словаре понятие «знатный человек». Слова были старые, а понятие — новое, совсем новое, как новой, невиданной в истории человечества была и сама наша советская «знать».

В эту трудовую знать нельзя было вползти ни по протекции, ни по заслугам отцов, ни по счастливой случайности рождения. Слава перестала быть уделом одних избранных натур — завоевать её мог каждый. Её хватало на всех.

Впервые в истории человек «выбивался в люди», в знать, никого не давя, не подличая, не пресмыкаясь, а только трудясь, но трудясь честно и вдохновенно, в благородном соревновании с товарищами. И имени-тость ему не давалась навечно: вчерашнего героя забывали тотчас же, как только начинал он работать худо,— он уже не был ударником.

Ударник — то было самое знаменитое и самое почётное звание в тридцатых годах; прославленных лётчиков и полярных капитанов тоже называли ударниками. Но уже предчувствовалось, что скоро, вот-вот появится, должно появиться новое слово и новое имя, и оно заменит старое и обозначит собой новое явление и уже новую ступень.

Разумеется, я и не думал и мечтать даже не мог о том, что это имя явится впервые именно у меня на родине, в Донбассе, и будет оно — имя простого шахтёра. Но жадно ловил я в эфире каждый звук о Донбассе. Опять туда, туда тянулась моя душа, туда летели и думы мои и сердце... Какая же колдовская сила в нём, в этом дымном, неприятном крае, чем приворожил он меня, чем к себе тянет?! Но, видно, суждено мне весь свой век тосковать в разлуке с ним, нетерпеливо к нему стремиться, и опять покидать его, и опять к нему возвращаться...

В августе закончилась наша зимовка. Пришли пароходы, привезли смену.

В последний раз собрались мы за общим столом. Смена произошла на ходу — так сменяются часовые. Прежний зимовщик снял спецовку, новый — надел и подставил сильную спину грузам. Прежний механик слез с трактора, вытер руки паклей, новый — сел на его место и поехал. Стали на вахту радисты, метеорологи, гидрологи, и новый аэролог уже запустил в небо своей пронизанный солнцем шар-пилот.

Две смены встали за общим столом. Два коллектива. Две зимовки. Из рук в руки бережно передаётся советский флаг. Старый начальник поднимает бокал и желает новой смене счастливой зимовки! Новый начальник чокается и отвечает: вам — счастливого отдыха!

В последний раз гудит пароходный гудок. Прощай, Арктика! Здравствуй, Большая Земля!

... Только отчего же, когда стали таять в тумане чёрные скалы острова, вдруг странной болью сжало горло? Значит и здесь, на этих скалах остался клочок сердца. Теперь будет тянуть и сюда...

В Москве на вокзале меня встречали мои товарищи журналисты. Шумной ватагой ринулись они ко мне, уже на ходу раскрывая объятия. Но, увидев меня, тут же и отступились. Я не оправдал их ожиданий. Я их разочаровал. Они приехали встречать подвижника, постника, арктического великомученика, а встретили поздоровевшего и раздобревшего парня, поперёк себя толще.

Они были так озадачены, что долго не могли решиться предложить мне купленную заботливо и заранее путёвку на курорт.

Однако на курорт я поехал, но пробыл там недолго.

Пришла телеграмма из редакции и всё во мне перевернула: «Немедленно вылетай в Донбасс. Там начались чудесные дела. Рекомендую шахту «Крутая Мария».

Наутро я уже сидел в самолёте. Было 2 сентября 1935 года.

После долгой разлуки я вновь возвращался домой. Какие же чудесные дела начались там? Что увижу я? Кого встречу?

И мне вдруг вспомнилось далёкое-далёкое ноябрьское утро тридцатого года, дорога на «Крутую Марию» и косогор, и розовая заря над шахтой, и два мальчика с сундучками в руках. Как звали их? Что случилось с ними? Остались ли они, как клялись, на шахте, или бежали, и поток житейский унёс их с собой прочь, как горная река уносит валуны и камни, шлифует, трёт, бьёт их и, наконец, вышвыривает где-нибудь на отмель?

Кажется, одного из ребят звали Виктором...

## Глаза 2

Жарким июньским полднем шли по рудничной улице два товарища; одного звали Виктор Абросимов, другого — Андрей Воронько. В июне 1935 года им обоим вместе было уже сорок пять лет.

— Вот и акация отцвела! — весело сказал Виктор. — Пора уж и в Чибиряки, друже!

Они каждую весну ездили в отпуск в Чибиряки. Они ждали этих дней всю долгую забойщицкую зиму. Мечтали о них. Заранее радовались встрече с родными, со школьными товарищами, с Пслем — тихой рекой их детства. — Хорошо у нас на Псле! — растроганно вспоминали они. — Нет, правда, хорошо! — И каждый раз, уезжая в Чибиряки, они прощались с шахтой так, словно отплывали куда-то далеко-далеко в иной мир, в мир безмятежного детства...

Но родные старились, друзья детства разлетались из Чибиряк по белу свету, знакомые девчата выходили замуж, и только Псёл, как всегда, неслышно катил свои волны, терпеливо выслушивал и признания, и мечты, и уносил их вниз, к морю... Добрая река — Псёл! Впрочем, в прошлом году друзья пробыли в Чибиряках только неделю — соскучились и вернулись домой.

Домой, это означало теперь — на «Крутую Марию», на шахту. В конце концов, настоящий дом у человека не там, где он отдыхает, а там, где он трудится.

Теперь они чувствовали себя дома только здесь, на «Крутой Марии» и нигде больше. Здесь были их интересы, их работа, их настоящие товарищи, соперники и враги. Здесь все их знали. Они шли по улице, то и дело здороваясь с прохожими и отвечая на поклоны. Они стали заправскими шахтёрами, мастерами угля. Их пожелтевшие от времени и дождей портреты уже давно висели на доске почёта у проходных ворот.

Они жили всё в том же «общежитии дяди Онисима», но в отдельной комнате на двоих. У них всё было общее, и если б один из них вздумал жениться — им не легко было бы разделить надвое всё их добро: книги, мебель, посуду и патефон.

Но о женитьбе они ещё и не думали!

— Я б в этом году на курорт поехал... — задумчиво сказал Андрей. — К морю...

Виктор только засмеялся в ответ. Ну, что ж! К морю, так к морю! Они могут поехать, куда захотят. Им охотно дадут путёвки. А нет — купим! Вчерашняя получка ещё вся целиком лежала в кармане; Виктору казалось, что они с приятелем могут купить весь мир.

Они шли по улице без цели, вразвалку, и не гуляя, и не торопясь. Лениво перебрасывались шутками с прохожими, курили, не вынимая рук из карманов, а только небрежно перекатывая папиросу языком из одного уголка рта в другой.

Оба были в одинаковых темносиних праздничных костюмах, кепках-капитанках с лакированным козырьком и в рубашках-зефир без воротничков. Да и в самом деле, на кой чёрт им эти воротнички-удады? Здесь, на рудничной улице, они всё равно дома. Их и так знают! Все девчата на шахте скажут, какие у Виктора галстуки: он любит пёстрые, яркие — красные с синим горошком или светлотабачные с искрой. А Андрей и вовсе галстуков не носит, они ему не идут, стесняют его; он любит вышитые сорочки. Но сегодня он тоже надел рубашку-зефир, без воротничка, но с болтающейся запонкой. В этом и был их шик — небрежный шик озорных, неженатых парней-шахтёров: им всё можно!

— Ишь, женихи скаженные! — сказала вслед им пожилая баба у колодца.

Они услышали и громко, на всю улицу, захохотали.

Они были молодые, свободные, здоровые парни. Смутно чужали они в себе огромную, тревожную и наивную душевную силу; они не могли израсходовать её всю в забое, и она томила их... Было предчувствие, что ждёт их обоих большая дорога и необыкновенная судьба, но они не знали, какая, и угадать не могли. Так бывало всякий раз в воскресенье, в свободный день. Проснувшись, они уже не знали, куда девать себя и свою богатырскую силушку, и она бродила в них, как хмель, и тревожно играла в жилах. И они сами не знали, что станут делать с собой через час — пойдут ли слушать лекцию или пить пиво... Но им обоим хотелось, чтоб в это утро случилось с ними, наконец, что-нибудь необыкновенное и непременно красивое и благородное, потому что навстречу красивому и доброму были распахнуты их души.

Заложив руки в карманы, шли они, чуть покачиваясь на ходу, по улице, и жужелица похрустывала под их ногами, а в карманах позвякивала серебряная мелочь. Было жарко, и от раскалённого зноем террикона, как от огромной печи, текли в посёлок неспешными волнами струи жара и едкие запахи серы: то тлел колчедан на глеевой горе.

Нечаянно для самих себя ребята очутились на базаре. Здесь было ещё жарче, и лошади у колхозных возов понуро дремали, сонно отгоняя хвостом жирных, ленивых, базарных мух. Разморённые жарой, молчали продавцы; покупателей было мало. Был уже полдень, и базар дотлевал, как брошенный костёр, который зажгли для дела, а потом ушли и забыли погасить.

Ребята лениво пошли меж рядов, и опять у Виктора было гордое сознание, что он может купить любую вещь, и поэтому покупать ничего не хотелось.

— Продаю счастье! — вдруг услышали они за спиной равнодушный голос и, обернувшись, увидели человека в помятой зелёной цыганской шляпе со шнурком вместо ленты; на плече его сидел старый, сердитый попугай.

— Продаю счастье! — лениво повторил человек в зелёной шляпе и покосился на молодых шахтёров. Это был не цыган, а русский, старый человек с добрыми и грустными глазами и отвислыми усами, весь какой-то помятый и облезлый, как и его птица.

— Счастье продаёте? — усмехнувшись, спросил Виктор.

— Продаю, — спокойно ответил человек с попугаем, словно он продавал спички. — Купите.

— А зачем нам счастье? — засмеялся Андрей.

— Нет, постой! — остановил его Виктор, озорно блеснув глазами. — Ты погоди! А в чём же оно заключается, ваше счастье? — спросил он продавца.

— А вот попка вытащит, вы и узнаете...

— А вы сами не знаете?

— Как я могу знать? — пожал плечами продавец счастья. — Мне это знать не положено.

— Что же, выходит, попка умнее вас?

— Попка? Нет! Он — дурак. Как может птица быть умней человека? — вдруг обиделся он. — Это вы против бога говорите. Нельзя!

— А вы и в бога верите? — усмехнулся Андрей.

— Ну, не бог... природа... наука... всё едино! — уныло разъяснял

продавец. Его тоже разморили жара и сонная тоска потухающего базара. А может быть, он был просто голоден.— Счастье. Судьба.

— Интересно! — расхохотался Виктор.— А ну, продайте-ка на пятак счастья...

Продавец снял попугая с плеча и подставил ему ящичек с билетиками.

— Попка, попчка! — ласково сказал он сердитой птице.— Вытащика счастье молодому человеку.

Попугай зло клюнул в ящик и вытащил билет. Виктор прочёл: «Вы родились под знаком Зодиака. Вас ждёт неожиданное счастье, но бойтесь зелёного глаза и плохого соседа».

— Так! Ясно! — захохотал Виктор.

— Купите и вы, молодой человек! — обратился продавец к Андрею.

Попка опять сердито клюнул и вытащил билетик. Андрей, невольно волнуясь, развернул жёлтую бумажку, словно в ней действительно было предугадано, что ждёт его в этой жизни, и прочёл: «Вы родились под знаком Зодиака. Вас ждёт неожиданное счастье, но бойтесь зелёного глаза и плохого соседа».

— Это что же? — рассердился Андрей.— Выходит, все билетики одинаковые?

— Нет... — смущённо пролепетал продавец.— Бывают разные... Какая судьба...

— Это судьба у нас с тобой одинаковая! — смеясь, вскричал Виктор и хлопнул приятеля по плечу.

Но честный Андрей разозлился не на шутку. Теперь было стыдно за секундное волнение, когда разворачивал билетик, и обидно, что над ним так подшутили дурацкая птица попугай и этот старый плут в зелёной цыганской шляпе.

— Дурак ваш попка! — сердито сказал он.— И вы, хоть старый человек, а обманщик... В милицию надо за такие дела...

Продавец счастья уныло слушал его, не пытаясь ни спорить, ни бежать. Вероятно, его много били в жизни, он был философ.

— Ты не горячись, Андрей, стой! — сказал Виктор.— Я конкретно желаю про наше с тобой счастье выяснить. Почём весь ящичек? — спросил он вдруг продавца.

Тот растерянно посмотрел на него:

— Чего?!

— Знаешь, кто ты таков есть? — рассмеявшись, сказал Виктор.— Ты — живой пережиток капитализма в сознании людей. Понятно? Ну, вот!.. А я желаю все твои билетики оптом купить, весь опиум сразу...

— Так ведь тут же разные предсказания, вам всё не подойдёт, — запинаясь, начал продавец счастья и от волнения даже шляпу снял, обнаружив седую плешивую голову. — Пять рублей! — вдруг сказал он и покраснел.— Ну, три давайте!.. — и он, как попугай крылом, махнул зелёной шляпой.

Виктор, ухмыляясь, дал ему три рубля и высыпал все билетики в свою кепку-капитанку.

— Ну вот! — довольно сказал он, тряся кепку с билетиками.— Теперь я буду торговать счастьем.

Дурачась, двинулся он вперёд, выкрикивая на ходу: «Продаю счастье, продаю счастье!». Но базар уже разошёлся, опустел; только на запоздалом возу, застрявшем среди площади, встрепенулась молодуха, стала тормошить мужа:

— Петро, а, Петро! Ты чув? Щось продают. Может, нужное?



Но Петро только лениво отмахнулся в ответ:

— Та нет! То — агитация! — Он, видно, принял Виктора и Андрея за затейников из Дворца культуры.

Виктору стало скучно. Опять не знал он, что делать, куда девать себя в это нерабочее утро.

— Пойдём пива выпьем, что ли? — неуверенно предложил он.

— Нет. Не охота, — отозвался Андрей. — Пойдём лучше на вокзал. А?

— Ну, что ж!

И они пошли на вокзал.

### Глава 3

Они шли старой, знакомой дорогой. Когда-то этой дорогой бежал Виктор с шахты, и верный Андрей пошёл тогда вслед за товарищем, чтоб вернуть его. Страшная это была ночь! Но сейчас они и не вспомнили о ней.

— Смотри! — сказал Андрей. — А трамвай уже почти готов. Вот смеялись-смеялись над горкомхозом, а смотри-ка!

Виктор рассеянно взглянул на трамвайную линию — действительно, всё готово!

— Да... — сказал он. — Это хорошо!.. Большое удобство людям.

Он всё ещё держал в руках капитанку с билетиками. Наконец, сам заметил это и расхохотался.

— Ну, а с этим что делать?

— А выбросить! — посоветовал Андрей.

— Нельзя! — серьёзно возразил Виктор. — Три рубля плочено.

Он встряхнул кепку и вдруг решил так и надеть её прямо с билетиками на голову.

— Ну, Андрей, а какое у тебя мнение насчёт счастья?..

— Та отстань ты, пожалуйста!..

— Нет, ты скажи!.. С марксистской точки зрения!..

— Ну, счастье и счастье!..

— А всё-таки?..

— Ну, это, — Андрей с усилием выдавливал из себя слова, — это, по-моему... как тебе сказать... ну, исполнение всех моих желаний, что ли!..

— А какие твои желания?

— Ну, работать хорошо... и в дальнейшем расти на работе... Та отстань ты, ей-богу!

— Д-да... — усмеялся Виктор. — Ну, работа — работой, это хорошо!.. А для себя?

— Что для себя?..

— Ну, для себя что?..

— А я что ж, на чужого дядю работаю? Чужаё ты, Виктор!

— Да... Верно, — согласился Виктор. — Но вот ты говоришь: счастье! А слава? Разве счастье не в славе? Ты о славе мечтал, Андрей?

— О чём? — удивился тот.

— Ну, например, о славе!..

— Мы не лётчики!

— А всё-таки?

— Чужаё ты, Виктор! — пожал плечами Андрей. — Какая ж может быть у шахтёра слава? Наша с тобой слава под землёй ходит, ей на люди и выходить-то неудобно. Она ж чумазая, чёрная!..

— Д-да... Конечно, какая это слава? — опять согласился Виктор. — Вот наши с тобой портреты который год висят, а где нас, кроме «Мари», знают?..

— Главное, чтоб совесть перед людьми была чистая, — назидательно сказал Андрей, — а слава — бог с ней!..

— Ну, а любовь?

— Любовь?..

— Ну, хотя бы любовь...

— Любовь... — задумчиво повторил Андрей. — Любовь — это да... Это, говорят, — счастье...

— А ты откуда знаешь?..

— Так я ж сказал: говорят...

— Ой, Андрей! — лукаво засмеялся Виктор. — Подозреваю я, что ты влюблён.

— Я?! В кого?!

— А это тебе видней, в кого...

— Та ей-богу ж, Виктор... Та провалиться мне на месте... — заволновался Андрей.

— Ладно, ладно! Выдавай свой секрет.

— Та какие ж у меня от тебя секреты?

— Чёрт тебя разберёт. Ты — хитрый!

— Я?!

— Ты.

— Я?! — Андрей чуть не заплакал от обиды. — Бессовестный ты! — сказал он дрожащим голосом. — Если ты на Веру намекаешь, так я ж тут при чём?

— А кто ж при чём? — посмеивался Виктор.

— Я ж ею ни капельки не интересуюсь...

— Развратный ты человек, Андрей! — смеясь, сказал Виктор. — Вскрутил девочке голову, а теперь — в кусты...

— Так когда же я ей вскрутил? — взмолился совсем расстроенный Андрей. — Я ж с нею и слова не сказал ни разу. И не целовались мы никогда...

— Ладно, ладно! — поддразнивал Виктор, зная, что попадает в больное место. Андрей, нежданно-негаданно, себе на беду, покорило хрупкое сердечко Веры, дочери старика-соседа. Он долго даже не подозревал об этом, а когда ему сказали ребята, вспыхнул, покраснел и разозлился на «кучерявую дуру», как он её тут же назвал. Скромный и честный, он не мог не почувствовать, как легла теперь на его душу ответственность за эту чужую, не нужную ему любовь. И не знал, что делать.

— А вот я её оттягаю за косы, — мрачно сказал он, — сразу вся дурь пройдёт.

Они уже подходили к вокзалу.

— Где тебе! — смеясь, сказал Виктор. — Вот увидишь, она ещё тебя на себе женит.

— Та ни в жизнь! — вскричал в ужасе Андрей и испуганно оглянулся.

— Женит, женит! Пойдём лучше, пока ты ещё холост, в буфет, пива выпьем. А то потом жена не даст.

Они зашли в буфет и спросили пива. На вокзале было оживлённо — ждали скорого Москва—Минеральные Воды.

— Поедем на Минеральные Воды, Андрей, а?..

— Нет. Я к морю хочу, — задумчиво отозвался тот, вытирая с губ пену.

— Ну, к морю, так к морю. Всё одно минеральные воды не полезны для шахтёрских желудков. Я так считаю, а?..

Наконец, пришёл скорый. Ребята вышли на перрон. Поезд стоял здесь всего минуту. Они проводили его спсхойным, чуть-чуть насмешливым

взглядом, без тоски и зависти. В чём дело? Они и сами могли поехать на курорт в Минеральные Воды! Но Андрей хочет к морю.

Поезд прошёл, оставив за собой облако пара и дыма, — и перрон опустел. Только одна девушка, вероятно пассажирка скорого, осталась на перроне. Она стояла спиной к ребятам, стройная, молодая, в строгом чёрном костюмчике; пикейный беленький воротничок кокетливо высовывался из-под пиджачка.

— Э-э! — восхищённо прошептал Виктор. — Обратите внимание! — Он подмигнул приятелю и вдруг беглым шагом подошёл к девушке. Андрей за ним.

— Поднесём, барышня? — крикнул на ходу Виктор, подражая носильщикам.

Девушка обернулась и радостно вскрикнула:

— Виктор!

Он остолбенел.

— Даша, ты? — не то удивлённо, не то разочарованно произнёс он. Так это только Даша, дочь дяди Прокопа! Но как она изменилась! Действительно, стала городской барышней, совсем киноактриса, красивая, стройная — и чужая. И всё-таки это только Даша — девчонка, которую они когда-то чуть не оттащали за косы в полутёмном штреке.

А она стояла перед ними весёлая, возбуждённая, даже уши от волнения порозовели, и улыбалась обоим. Так всегда бывает, когда после долгой разлуки возвращаешься домой, к родным местам; первый встретившийся знакомый кажется тебе самым родным, самым близким человеком на земле.

— Какие вы оба здоровые стали, черти! — говорила она, трясая их руки.

— А ты? Совсем — дама!

Они говорили теперь наперебой, почти не слушая друг друга. Только Андрей молчал, он вдруг оробел.

— Так ты на каникулы?

— Ой, так соскучилась!

— А мы и не думали, не гадали. И дядя Прокоп — ничего...

— Я так соскучилась, так соскучилась...

— Ты б хоть телеграммой предупредила...

— А зачем? Я взрослая! И потом, я думала — трамвай...

— Трамвай скоро пустят! — сказал вдруг низким басом Андрей и смутился. Он был совсем подавлен. Нет, это не Даша, какую некогда знал он смешной, чумазой девчонкой-лампоносом, с русыми, тощими косичками. Теперь это — барышня, студентка Горного института. Вот какой у неё крутой и высокий лоб! Андрею казалось, что никогда ещё не видел он девушек с таким умным лбом. А глаза?! И глядит она смело, открыто, весело, прямо в лицо человеку, не то что та «кучерявая дура». Нет, никогда ещё не встречал Андрей столь прелестной и столь недоступной девушки, как эта Даша. Он смотрел на неё исподлобья, украдкой, но уже не отрываясь. И сам на себя злился, что смотрит: «вот уставился, как баран на новые ворота», а не смотреть не мог. «Светик!» — вдруг вспомнил он, как звали её шахтёры когда-то.

— Что ж мы стоим тут, як дурни на свадьбе? — спохватился Виктор. Он взял чемодан Даши и приподнял его: чемодан был нелёгкий. — Ого! — сказал он. — Меньше як за тройк не понесу!

Он чувствовал себя с Дашей так же легко и свободно, как с любой рудничной девушкой. В конце концов, это ведь только Даша, вот и носик у неё смешной, курносый, и веснушки, и волосы растрепались из-

под берега, и вообще ничего особенного, просто милая, хорошенькая девочка, он и не таких видал!

— Ну, пошли, что ли? — громко сказал он. — По дороге чи навпростец?

Решили идти «навпростец», через степь и Гремячую балку — так ближе, а тропинки все известны наперечёт. Сразу же и двинулись, и Даша, уже на ходу, нетерпеливо стала расспрашивать, что нового на «Крутой Марии», какие новости. Новости? Виктор только удивлённо пожал плечами. Какие ж могут быть новости на шахте! Работаем...

— Сейчас мы на новом горизонте работаем, — сказал он. — На горизонте 640. Недавно подготовили.

— Знаю, — отозвалась Даша. — Мой батя тоже там...

— Как же! Он як раз у нас начальником участка.

— А что батя? Постарел? Да? Сильно постарел?

— Та как же он может постареть? — удивился и даже обиделся Виктор. — Нет, постареть он никак не может! — прибавил он с суровой нежностью, с какой всегда говорил о старике, о своём учителе.

— Всё-таки! — озабоченно вздохнула Даша. — Ему как-никак уже пятьдесят семь...

— Он нас сам пригласил к себе на участок работать! — гордо сказал Виктор. — Правда ж, Андрей?

— Правда... — пробурчал тот.

— Ну, а ещё что нового? — спросила Даша.

— Ну, новую подъёмную машину установили.

— Мощную?

— Та хватает! Абы было чего качать...

— А с добычей как?

— План выполняем...

— И звезда горит?

— Та горит!

— Ещё вентилятор у нас теперь новый... — негромко напомнил Андрей.

— Да! — засмеялся Виктор. — Поставили-таки. Там такая музыка! Оркестр.

— Осевой вентилятор? — заинтересовалась Даша.

— Та какой же ещё, осевой!.. Там така музыка!.. Его за шахтой поставили, в Шубинском лесу. Он за сто вёрст воеет, як домовый. Вот послушай. Мабуть, и тут слышно.

Они остановились и прислушались. Вокруг них всё гудело, пело и выло на все лады. Где-то лязгало железо, ухал паровой молот, можно было различить и резкий, крикливый голос станционной «кукушки», и стрекот электросварочного аппарата, но все эти разнообразные звуки всё же сливались в один басовитый, многотонный и общий гул, и в нём невозможно было разыскать и выделить ровное, заунывное гудение вентилятора «Крутой Марии».

— Нет, тихо. Не слышать, — с сожалением сказал Виктор. Ему и в самом деле казалось, что над степью висит нерушимая гижина: к обычному же привокзальному и рудничному гулу он давным-давно привык и просто не замечал его, не слышал.

Андрей взвалил Дашин чемодан на плечо. Двинулись. И Даша снова начала жадно выспрашивать новости.

— А правда, что вентиляционный ствол проходить начали? — спросила она.

— Та начали понемногу...

— А где, где?.. — встрепелась Даша. Она интересовалась этим не только как студентка Горного института. Она с детства привыкла жить жизнью шахты. И с детства же привыкла радоваться при словах «новая проходка».

Вообще новостей на «Крутой Марии» оказалось неожиданно много, особенно когда стали перебирать людей: кто умер, кто уехал, кто пошёл на выдвижение, а кто и загремел вниз, а этот женился, а другого взяли в армию, а тот справил себе собственный домик в три окна и даже корову купил...

— А вы не женились, ребята? — лукаво спросила Даша.

— Для нас ещё невесты не родились! — гордо ответил Виктор. — А ты?

— Я? Вст ещё глупости!

— А то в Москве женихов много. За артиста хочешь пойти?

— Почему ж за артиста? — удивилась Даша.

— Та вы все ж с ума по артистам сходите и карточки собираете! — презрительно сплюнул Виктор. — Я ж вас знаю! Много у тебя карточек?

— А вот ни одной нет!..

— И правильно! Разве ж артист тебя возьмёт? Ты ж у нас курносая да конопатая... — Виктор всегда так ухаживал за девушками, и чем больше девушка ему нравилась, тем больше дерзостей и грубостей он ей говорил. Но Даша нисколько не обиделась на него, только презрительно хмыкнула, она эту манеру коногонского «кавалерничанья» знала!

— Ничего, — сказала она, беспечно тряхнув головой. — Найдутся такие, которые и конопатую засватают.

— Вполне возможно! — подхватил Виктор. — Как говорится, на всякую кривую невесту есть свой слепой жених.

Они спустились уже в Гремячую балку и шли по тропинке среди зелёной, весёлой ольхи и молодого орешника...

— А что Митя Закорко, ещё тут, на шахте? — будто невзначай спросила Даша.

— Тут! А куда ж он денется? — отозвался Виктор и тотчас же подозрительно остановился. — А тебе Митя зачем?

— А он писал мне, что будто берут его во флот.

— А-а! — с неожиданной для самого себя и непонятной ревностью воскликнул Виктор. — Так вы в переписке?

— Ну и что с того? — чуть смутилась Даша, но тотчас же гордо вскинула голову и прямо в глаза посмотрела Виктору.

— Ну, не знал я, что ты в Митю Закорко влюблена! — усмехнулся он. — Что ж, Митя хлопец хоть куда. Только рыжий.

— Да ты знаешь ли, какой Митя парень? — вдруг горячо сказала Даша. — Ты по виду не суди. Он всю семью кормит и тянет. А знаешь, какая у них семья? Мал-мала меньше. А отца нет...

— Ладно, ладно! — обиженно проворчал Виктор. Он терпеть не мог, когда при нём кого-нибудь хвалили, тем более Митю Закорко, вечного соперника. — Целуйся со своим Митенькой, не прекословлю. — И он замолчал, надувшись.

Молчал и Андрей. Он совсем вспотел под своей ношей, но виду не подавал. Чемодан был тяжёлый, парни несли его по очереди. Но Андрей неохотно уступал очередь товарищу: если б ему позволили, он и Дашу понёс бы на руках в посёлок.

Но Даша уже заметила, что парень устал.

— Давай я теперь понесу! — предложила она и взялась за чемодан.

— Что вы, что вы! — вскричал Андрей, сам не замечая, что называет Дашу на «вы». — Как можно? — Он рывком переложил чемодан с

плеча на спину, согнулся и побежал вперёд, словно боялся, что у него отнимут драгоценную ношу.

Виктор уже заметил это «вы» и тотчас же подхватил его.

— Что вы, товарищ горный инженер? — с усмешкой сказал он Даше. — Не извольте беспокоиться, товарищ горный инженер! Чего вам утруждать? Он — мужик чёрный, шахтёр, мурло — он и донесёт! Эй, ты, ходу! — крикнул он приятелю и, вложив пальцы в рот, дико, по-коногонски, свистнул.

— Как хотите! — презрительно пожала Даша плечами. — Кавалерничаете? А я б и сама донесла... Подумаешь!

— Да нет, что вы, товарищ горный инженер. Зачем же? — продолжал ломаться Виктор. — Вы ж, простите за выражение, девушка. Существо хрупкое, душистое, як монпансье... Ручки у вас тоненькие, ледашенькие; косички, як мышинные хвостики. Та куда вам в шахту! Вас и Митенька не пустит...

Даша не выдержала и рассердилась.

— Ну, ты, легче! — сказала она всердцах. — Ты-то сам кто? На шахте без году неделя, а туда же!.. А я родилась тут, — гордо сказала она. — Я ещё помню, ты, как заяц, бегал по штреку...

— Ка-ак? — с хорошо разыгранным удивлением вскричал Виктор. — Так вы здешняя?! А я-то, дурень, думал... Так ты — шахтёрка?! Тю! — и он, вполне довольный собой, свистнул. Андрею внезапно захотелось поставить чемодан наземь и в первый раз в жизни от всей души избить друга.

Но Виктор, уже считавший, что спектакль удачно закончен, снял свою капитанку, чтоб вытереть потный лоб, и из кепки, как жёлтые бабочки, полетели билетки.

— Счастье, счастье летит! — закричал он. — Эй, держи! Лови счастье! — и сам стал ловить листки на лету. — Даша! Хочешь свою судьбу узнать? — весело обратился он к девушке. — Ну, Даша?

— Отстань! — отмахнулась от него ещё сердитая Даша. — Ты меня лучше не затрагивай!

— Ты чего? — искренне удивился он. — Обиделась?

Он сказал это так простодушно, что Даша невольно засмеялась. Действительно, на кого обижаться-то?

— Ну, давай своё счастье! — снисходительно сказала она. — Эх, ты...

Виктор засуетился.

— Эй, попка, попочка! — подмигнул он Андрею. — А ну, вытащи-ка милой барышне ихнее счастье... Самое наилучшее...

— Нет, нет, я сама! — живо сказала Даша. — Какой рукой брать, левой? — и она, невольно волнуясь, взяла билетик левой рукой.

— Вслух, вслух читай! — нетерпеливо закричал Виктор. — Так не годится!

— Боже, глупость какая! — передёрнула плечиками Даша, прочитав билетик. — Ну, изволь! «Вы родились под знаком Козерога. Вас ожидает удача во всём, кроме семейного счастья. Остерегайтесь чёрных глаз. Окончательное счастье найдёте с серыми». Вот чепуха-то, — и она, сердито скомкав бумажку, швырнула её в траву.

Виктор расхохотался:

— Ты не расстраивайся, Даша, береги здоровье! Ну, что такое семейное счастье? Трын-трава! Ты и старой девой проживёшь, вполне свободно...

— Я не расстраиваюсь, вот ещё!.. — фыркнула Даша. — Кто тебе сказал, что я хочу замуж? Ещё попадётся такой охломон... — она посмотрела на Виктора и вдруг вскрикнула.

— Что ты? — испугался Андрей.

А она только показывала пальцем на Виктора и хохотала; смех у неё был звонкий, мальчишеский, во всё горло; так коногоны хохочут в шахте — кровля дрожит; горожане так смеяться не умеют! И Андрей радостно засмеялся вслед за нею, сам ещё не зная, чему смеётся...

— Смотри, смотри! — восклицала она сквозь смех и всё показывала пальцем на Виктора. — Вот они, чёрные глаза!.. Ой, страшно!..

Виктор смутился.

— Ну и что ж, что чёрные? — пробормотал он. — Вот ерунда какая!

Теперь он рассердился. Он не любил, когда смеялись над его внешностью или костюмом. Он считал себя красивым парнем и гордился этим. Особенно глазами. Их действительно боялись рудничные девчата. «Огненные у меня глаза!» — любил по-мальчишески думать про себя Виктор.

— Эй, черноглазый! Куда же ты? — крикнула Даша и насмешливо запела: — Очи чёрные, очи страстные... Как боюсь я вас, в мой последний час...

Он вдруг круто обернулся к ней.

— А то не боишься? — хрипло спросил он, прищуриваясь. — Будто?

— Видали мы таких! — немедленно ответила ему со смехом Даша. Она ничьих глаз не боялась. Она была истая шахтёрка и дочь шахтёра, девчонка смелая, независимая, гордая; она часто повторяла любимую поговорку отца: «У шахтёра спина гнётся только под пластом, а перед людьми никогда не гнётся!»

— Ну-ну, посмотрим! — протянул Виктор и недобро усмехнулся. — Подумаешь — цаца московская!

Но тут вдруг Андрей рывком свалил чемодан с плеча наземь и подвинул его Виктору.

— Неси! — хрипло приказал он.

— Что? — не понял тот.

— Неси, чёрт! — яростно заорал Андрей, да так, что даже Даша вздрогнула.

Никого на свете не боялся Виктор, сам первый драчун, а кроткого и смиренного друга своего боялся. Он уже знал, что бывают такие минуты, когда Андрея лучше не трогать. Послушно взял он чемодан на плечо и молча пошёл вперёд. Удивлённая Даша чуть ли не со страхом уставилась на Андрея. «Да он бешеный какой-то!» — испуганно подумала она. Но ничего не сказала. Ей ещё трудно было разобраться в характерах обоих своих неожиданных «кавалеров» и в их странной дружбе.

Да и разбираться-то было некогда! Они уже входили в посёлок, и от шахты, садов и огородов уже пахло на Дашу знакомым и милым дыханием, той странной смесью запахов зелени и гари, жилья и степи, разгорячённой земли и тихого, стоячего ставка, сожжённой зноем травы и влажного пара над кочегаркой, жужелицы и полыни, пыли на дороге и бесстрашных цветов в палисадниках, дикой маслины в балке, чебреца на кладбище, угля, курившегося на сортировке, — тем неповторимым, терпким и для чужого непривычным букетом, какой только шахте одной присущ, а для каждого шахтёра только одно и означает: запах родного дома.

Дома... «Вот я и дома! Дома!» — и удивляясь, и ликуя, и чуть не плача от радости и умиления, думала Даша. И уже не шла, а бежала по улицам. Вот школа, где когда-то, да нет, совсем недавно училась она. Вот парк. Сейчас будет сухая, неглубокая балка... вон она... и тропинка вот... И крутая круча над яром. Милая круча — Гималаи детства!.. Теперь — Собачёвка. Постой, где же она? Собачёвки нет. Как же? Но это после, после... Вот зелёная Конторская улица, директорский сад... Потом — улица Ударников, беленькие каменные домики, все одинаковые, с палисадниками, и астры, и анютины глазки, и гвоздики, и ночные фиалки — шахтёрская услада... И вот, наконец, вот — как стучит сердце! — вот знакомая калитка... Дома!

Даша остановилась.

— Ну, спасибо вам, ребятки, что помогли! — торопливо сказала она, протягивая обе руки своим кавалерам.

— Ну, что ты, что ты, пожалуйста! — галантно ответил Виктор и задержал Дашину руку в своей. — Когда ж мы увидимся теперь, Дашок?

— Увидимся.

— Нет, так нельзя! Ты свидание назначь. Как полагается...

— Хорошо. Послезавтра.

— Та ну? Где?! — обрадовался Виктор.

— В шахте.

— Э, нет! — засмеялся Виктор. — Моя любовь облаков требует! Ей под землёй тесно... — и он легонько, но уверенно обнял девушку за талию. — Так как же, а?..

Даша проворно выскользнула из его рук и побежала к калитке. Но вдруг что-то вспомнила, остановилась. Вытащила портмоне из кармана.

— Получите! — сказала она, протягивая Виктору трехрублёвку. — Сдачи не надо.

— Это что, зачем? — опешил тот.

— А как улавливались! До свиданья, ребята! — и, звонко расхохотавшись, скрылась за калиткой.

А Виктор так и остался с трехрублёвкой в руке...

#### Глава 4

Впрочем, что касается Виктора, то на следующее утро он ни разу и не вспомнил о Даше. Правда, в забое он вообще редко думал о постороннем. Ещё по дороге на шахту, в клетки, даже в штреке он мог и шутить и балагурить с товарищами; тут он ещё был тем бедовым Виктором, каким его все на шахте знали. В забое же он сразу становился другим. Сжатый воздух, с силой попав в его отбойный молоток, словно перетряхивал и самого Виктора. Он делался и суровее и старше.

— Дядя Виктор! Лес на месте, — докладывал ученик, щуплый, мечтательный Паша Степанчиков.

— Хорошо, — отрывисто бросал мастер. Цеплял лампочку за обаяпол. Оглядывался. — А воздух? — строго спрашивал он.

Он приступал к работе с такой жадностью, словно изголодался по ней, словно жизнь вне забоя была ненастоящей, зряшной, пустопорожней жизнью, а настоящая жизнь только тут, в уступе; вот он к ней, наконец, дорвался и теперь надо жадно хватать её и пить, пить, пить дысыта...

Резким движением присоединял он молоток к шлангу, нетерпеливо открывал кран воздушной магистрали, словно и воздух этот был нужен не молотку, а ему самому, словно ему без этого воздуха дышать не-



чем. Беспкойно ощупывал он пальцами резину шланга и чуял, как упругой походкой бежал воздух — точно горячая кровь по жилам, — как мгновенно густела и твердела под рукой резина, наливалась неукротимой силой... И вот вздрогнул, наконец, молоток, ожил, стал живым и нетерпеливым; он уже сам тащит Виктора за собой к углю, на битву. И вместе с ним, послушный его властному зову, врывается, разъярясь, шахтёр в вековые недра — и рушит, и рушит, и рушит...

Отбойный молоток никогда не был для Виктора только орудием труда, простым инструментом, который кормит шахтёра. Для Виктора его молоток был почти живым, почти человеческим существом, как конь для коногона, собака для охотника, лодка для рыбака.

Впервые Виктор увидел отбойный молоток пять лет назад. Тотчас же после возвращения на «Крутую Марию» Андрей торжественно, как на смотрины, привёл его в уступ к дяде Прокопу. Андрей волновался — ему очень хотелось, чтоб молоток понравился товарищу.

— Можно вашу технику посмотреть, а, Прокоп Максимович? — попросил он, и забойщик охотно позволил: он любил показывать свою «технику». Сам он крепил сейчас. Молоток лежал в сторонке. Прежде всего он показался Виктору нисколько не похожим на молоток, — от обыкновенного молотка в нём действительно ничего не было, скорей был он похож на бур или даже на лёгкий пулемёт. Он вообще больше казался оружием, чем инструментом. Виктор взял его в руки: молоток был тяжёлый, куда тяжелей обушка, но это Виктору даже понравилось. Понравилось и то, что, несмотря на угольную пыль в забое, молоток был чист; Виктор погладил ладонью металл раз и другой — пальцам было приятно...

Вдруг молоток, как живой, подпрыгнул в его руках — это дядя Прокоп незаметно включил воздух, а Виктор как раз нажал на рукоятку, и его встряхнуло и затрясло...

— Что, выходит, конь-то мой с норовом, брыкается? — довольнo засмеялся дядя Прокоп, видя, как вырывается отбойный молоток из рук Виктора. Парень еле удерживает его, но не сдаётся, ещё сильнее жмёт на рукоятку. — Ну, ничего, ничего! Коня всякого оседлать можно.

А у Виктора в самом деле было сейчас такое чувство, словно он держит под уздцы горячего жеребца, а тот рвётся из рук и злобно фыркает. И захотелось железной рукой обуздать непокорного строптивца, да вскочить на него и, дико гикнув, понестись, как ветер...

— Дядя Прокоп! — сказал Виктор, опуская молоток. — Возьмите меня в ученики. Ладно?

— В ученики? — удивился мастер. — Да ты ж, говорят, учиться не любишь. Гордый.

— Возьмите! — снова тихо попросил Виктор.

Так появился «университет» дяди Прокопа, сразу вызвавший много и разговоров, и толков на шахте.

— Ты что ж, помесечно со своих студентов берёшь али поурочно? — спросил Прокопа его тесть, ядовитый старичок Макар Васильевич, когда они семейно ужинали вечером под воскресенье.

Прокоп только добродушно засмеялся в ответ.

— Та невжеди ж даром? — изумился тесть. — Ну и ну! Значит, за спасибо стараешься?

— Мне и спасибо не надо.

— И не жди! Молодёжь, она, брат, на спасибо забывчивая. У тебя же выучится, да тебя ж и обгонит, да ещё срамить будет...

— Ну и пусть обгоняет! — беспечно сказал Прокоп, вытряхивая трубку. — Мой ли уголёк, его ли — он ведь в одну топку идёт! Так, что ли, тестюшка?

Хуже было то, что заниматься со своими «студентами» дядя Прокоп мог только урывками, невзначай — работали в разных уступах. Но тут в дело вмешался секретарь партийной организации шахты Ворожцов. В те поры на «Крутую Марию» чуть не ежедневно прибывала новая техника. То компрессор, то партия новеньких отбойных молотков, то электровоз. Одна за другой переходили на механизированную добычу угля лавы «Крутой Марии». Дозарезу требовались забойщики, владеющие отбойными молотками. Их не было. Надо было срочно подготовить. И по совету Ворожцова дядю Прокопа временно назначили инструктором: ему дали пятерых ребят в науку, среди них и Виктора, и Андрея. Днём они проходили практику в забое, под руководством дяди Прокопа, вечером — теорию, на курсах, которые тоже были организованы по совету Ворожцова. Тут изучали материальную часть молотка, правила ухода за механизмами, общие основы горного дела — в общем то, что скоро стали называть техминимумом горняка.

Как и Андрей, Виктор исправно посещал курсы, но куда с большей охотой проходил «практику» у дяди Прокопа. Ему хотелось поскорее овладеть отбойным молотком и стать самостоятельным забойщиком. Сперва не ладилось, но теперь не от недостатка усердия, а скорее от избытка его, от нетерпения. Что было силы наваливался он всем телом на молоток, загонял пику под самую пружину, стараясь поглубже впиться в пласт, чтоб сразу отвалить глыбищу угля и удивить инструктора; но глыба не отваливалась, а пика ломалась или увязала так, что Виктор еле вытаскивал её.

А дядя Прокоп смотрел и посмеивался.

— Жадничаешь? Животом хочешь взять? А технику, брат, животом не возьмёшь. Её умом надо.

Виктору он ничего не прощал.

— Что это у тебя молоток сегодня хворый, еле дышит? — насмешливо спрашивал он, бывало. — Заболел, что ли?..

— Думаю, воздуху маловато.

— А-а! Вот оно что!.. А у тебя, значит, всё в исправности?..

— Всё... — отвечал Виктор, но нерешительно, осторожно.

— А ну, дай сюда молоток! Посмотрим. Та-ак... Пика болтается. И футорка, видишь, грязная. Не любишь ты, брат, свою технику!

— Как не люблю!.. Да я...

— Значит, не той любовью любишь, не хозяйской. Вот, — спокойно продолжал осматривать молоток дядя Прокоп, — и масла не залил. Маслёнка-то при себе?

— Тут... — сконфуженно протягивал маслёнку Виктор.

— Да-а... Не забогливая твоя любовь. А работу от молотка требуешь. А какое ж ты имеешь право требовать-то? А? Прав у тебя нет, нету!.. — Он промывал футорку, смазывал молоток, продувал его сжатым воздухом, и с молотком свершалось чудо: он словно оживал и молодел, и вместо семисот ударов в минуту готов был дать всю тысячу.

— Гляди! И воздух появился! — насмешливо удивлялся мастер. — А ты говорил: воздух плохой. Эх ты, забойщик! На, бери-ка!..

Виктор послушно брал молоток из его рук.

— Что? Обижаетесь на меня? — свирепо раздувая усы, спрашивал Прокоп Максимович. — Га? Ну, говори? Я ж тебя знаю.

— Нет... — бормотал пристыженный Виктор. — Спасибо вам, Прокопий Максимович...

И он действительно не обижался на учителя, что было вовсе уж не похоже на Виктора и удивляло всех. Он только иногда жаловался Светличному, с которым всё-таки подружился:

— Не любит меня наш старик. Ох, люто не любит! — и вздыхал. — Он Андрея любит...

А Светличный только смеялся в ответ:

— Ну, балованный же ты хлопец, Витька! Привык, чтоб тебя ни за что любили. Любовь заслужить надо.

— Так я ж стараюсь, — уныло отвечал Виктор.

Он старался. И иногда ему удавалось целую упряжку проработать, не получив выговора, но и не получив похвалы. При дяде Прокопе он старался работать ровно, припоминая все уроки и наставления; он мог так работать и час и два, но потом всё-таки увлекался, загорался охотничьим азартом, жадной добытчика; казалось, вот-вот теперь всё наладилось, всё могу, молоток в порядке, уголь поддаётся, струя видна. Он лихо вонзал пику в пласт, в самое сердце кливажа, потом делал резкий поворот молотком в сторону, чтоб отвалить глыбу, но при этом забывал выключить молоток — и пика с треском ломалась.

И тотчас же над ухом раздавался знакомый насмешливый басок:

— Та-ак! Готово?

— Та что ж его делать, если пики такие!.. — всердцах вскрикивал Виктор. — Сталь слабая.

-- То характер у тебя слабый! — сердито отвечал учитель. — Не забойщицкий у тебя характер: терпения нет. — И он, как умел, обуздывал не в меру горячий нрав ученика, говоря при этом: «Сперва человеком стань! Будешь человеком — сделаешься и забойщиком». Так умный взводный командир борется со слабостями стрелка: в «моргуне» — парне, испуганно мигающем перед выстрелом, старается победить трусость, а у «дергуна», нетерпеливо дёргающего спусковой крючок, — воспитывает выдержку и хладнокровие.

Виктор был «дергун». И дядя Прокоп знал это. Да и сам Виктор знал и проклинал свой злосчастный норов. Он понимал теперь, что уголь ни «животом», ни удалю не возьмёшь. Он уже не раз видел: у иных богатырей уголёк капает тощей, жиденькой струйкой, а у шуплого, но ловкого Митя Закорко валится водопадом. Но Митя Закорко с детства шахтёр, сын и внук шахтёров, он уголь понимает. Значит, есть тут свои загадки, — соображал Виктор, и ему нетерпеливо хотелось в эти тайны проникнуть.

Однажды дядя Прокоп сам открыл ему один из своих забойщицких секретов, открыл без всякой торжественности и загадочности: он охотно, походя, дарил ребятам тайны своего ремесла. «Секрет» заключался в том, что рубку угля в уступе дядя Прокоп всегда начинал с «подбойки» (а не с зарубки кутка). Вырубал в нижней части пласта узенькую щель. А крепёжные стойки ставил не вплотную к груди забоя, а чуть отступив — на ладонь, не больше.

— Соображаешь, зачем? — спросил он Виктора.

— Да-а... То есть нет. Не соображаю, — сознался ученик.

— А ты гляди! Вот я подрубил щель под пластом. Значит, что я этим сделал? А лишил уголёк опоры на почву, вот что! Так? Стало-быть, и уголь податливей, сговорчивей делается, ему, брат, деваться некуда. А тут ещё кровля на него сверху давит как раз в том месте, где мне надо рубать. Я-то ведь стойки не вплотную поставил. Значит, дал кровле полную свободу давить. Вот она для меня и старается: давит! — хитро подмигнул он. — Соображаешь? Вот возьми молоток, попробуй.

Рубать действительно стало куда легче, и Виктор с удивлением это почувствовал. Уголь стал «сговорчивее» — отваливался охотно. А когда Виктор уверенно пошёл по «струе», то и просто хлынул лавиной, как у Мити Закорко.

— Здорово! — в восторге закричал Виктор. — Та, ей-богу ж, здорово!

Он ликовал. И не оттого даже, что рубать стало легче, и уголь сыпался весело, шумно, празднично, и пика не ломалась и не увязала, а оттого, что вдруг в новом неожиданном свете представилась Виктору его профессия, неволью избранная им на всю жизнь, и в ней, в этом тяжком и на первый взгляд тупом, однообразном ремесле забойщика теперь открылось столько нового, неизвестного, остро-любопытного, замысловатого, даже загадочного, что дух захватывало. «Так вот оно что! — возбуждённо думал Виктор, продолжая меж тем с азартом рубать уголь. — Так секреты на самом-то деле есть? Я ж так и знал!»

А ведь всеми этими тайнами и чудесами Виктор может теперь свободно овладеть! Можно выведать их у знающих людей, у того же дяди Прокопа — старик с охотой откроет. Можно и самому о многом догадаться, стоит только с умом рассмотреть пласт, в котором работаешь, дознаться, как он складывается, как течёт и отчего так течёт, а не иначе. Можно изучить все капризы и причуды кровли, повадку почвы... Многое можно! «Я ж парень грамотный! И не вовсе ж таки дурень! Да и дядя Прокоп поможет», — и он с нежностью и благодарностью посмотрел на старика.

А тот только лукаво ухмылялся в усы. Он был доволен. И в этот день Виктора не ругал. Но и не похвалил ни разу. Он вообще считал, что Виктора хвалить вредно.

Только однажды, уже много времени спустя, он изменил этому правилу. Неволью залюбовавшись действительно красивой работой Виктора в уступе, он не выдержал, крикнул и сказал удивлённо:

— Смотри! А из нашего Витки-то, кажись, получается толк, скажи-ко!.. — Но в те поры Виктор уже не был его учеником, сам стал заметным шахтёром, а отбойный молоток умел разбирать и собирать с такой автоматической быстротой и чёткостью, с какой на смотру, на глазах начальства, лихой пулемётчик разбирает и собирает замок станкового пулемёта. Быстрее Виктора на «Крутой Марии» этого никто делать не умел, даже Митя Закорко. Люди нарочно захаживали на курсы посмотреть искусство Виктора. И удивлялись. Пришла слава. Правда, не широкая, не громкая слава, местного, районного значения, как бывает местный дождь, но всё-таки слава.

В те дни как раз завязывалось соревнование между Виктором и Митей Закорко, знаменитое соревнование, затянувшееся на долгие годы, и оттого, что оба соперника были парни молодые и ярые, сразу принявшее характер острой, почти спортивной борьбы. Вся шахта следила за этим поединком, равнодушных не было. Даже дядя Прокоп, как ни старался, как ни твердил своё излюбленное: «В одну топку уголёк-то идёт, в одну!» — не смог остаться безучастным и даже беспристрастным зрителем. Как-никак Виктор был его ученик, а Митю Закорко учил старик Треухов, Митин дядя по матери, — отца у Мити не было, его завалило в забое ещё в 1923 году.

Это соревнование захватило Виктора всего, целиком и надолго. Начавшись в забое, оно тотчас же перекинулось и в рудничный клуб, где оба — и Виктор, и Митя — играли в драмкружке, и в комсомольскую политшколу, и на стадион, и даже на танцевальную площадку. Как боевые петухи, носились оба, один — пламенно-рыжий, другой — чёр-

ный, трясли губами и старались переплясать друг друга... А однажды даже поспорили при всём народе — кто кого перепьёт, и быстро напились оба.

А время меж тем незаметно шло да шло. Пробежал год, потом второй... Незаметно стали наши мальчики женихами, робкие ученики сделались завзятыми шахтёрами. Как-то само собой перезнакомились они со всеми людьми на шахте, а со многими и сдружились, и теперь было куда ходить в гости по вечерам. И так же само собой, хоть и не сразу, признали их старики «Крутой Марии» и поверили, что эти хлопцы с шахты уже не уйдут, и стали считать их своими коренными, кадровыми, словно они и родились здесь, на Собачёвке. И старухи забеспокоились, подыскивая им невест. А в парикмахерской, в столовой и даже в клубном буфете открыли ребятам кредит до получки. И за «столом ударника» в рудничной столовой были у них теперь свои, постоянные места. И когда в шахткоме распределяли талоны на промтовары или добавочные пайки, про них обязательно вспоминали. И ребята сами понимали теперь свои права и, не стесняясь, добивались их, особенно Виктор — его уже побаивались в конторе и связываться с ним не любили. И так же незаметно, но уверенно и прочно вошли наши ребята в постоянное, надёжное, рабочее ядро шахты и стали, как и дядя Прокоп, с насмешливым презрением смотреть на «протоплазму» — на летунов и сезонников, и болеть за славу «Крутой Марии», и жить её жизнью, и теперь не вспоминали они так часто, как прежде, про Псёл и Чибиряки, и называли себя не полтавчанами, а донбассовцами, и гордились тем, что они — донбассовцы, шахтёры, люди боевого фронта первой сталинской пятилетки...

В каждом из них произошли великие перемены с тех пор, как они приехали сюда, на «Крутую Марию», но сами ребята почти не замечали их или, вернее, о них не думали. Они не думали о них потому, что перемены эти свершались не сразу, не вдруг, а постепенно, незаметно, капля за каплей, каждый день и в суеде ежедневных дел и забот... Запоминались же внезапные события: отъезд товарища, чья-нибудь женитьба или смерть.

Так поистине великим событием в жизни ребят из «общезития дяди Онисима» была неожиданная женитьба Серёжки Очеретина. Он сам объявил о ней товарищам в таких выражениях:

— Каюк, ребята, свободному орлу Серёжке Очеретину! Поминай как звали. Женюсь!

— Да ну? — ахнули все. — На ком же?

Но Серёжка только безнадёжно махнул рукой, и все поняли, что женится он на Насте, с которой был у него долгий и, по его словам, жестокий роман. Ребята знали эту Настю из ламповой, девку могучую и злую в работе, её и начальство побаивалось.

— Ну, возьмёт теперь тебя Настя в свои руки! — сочувственно сказал Виктор. — Возьмёт!

— Возьмёт, — печально согласился Серёжка.

— Да зачем тебе жениться-то так рано? Она, что ли, требует?

— Она, — вздохнул Серёжка и поник кудрявой головой. А все вокруг невольно засмеялись.

По сему случаю был устроен мальчишник. Ребята выложили на стол всё, что осталось у них от пайка, и пир вышел хоть небогатый, а дружный. Серёжка сначала горестно плакался на свою судьбу, а потом вдруг заважничал и под конец даже сказал товарищам:

— Печально мне глядеть, ребята, на вашу одинокую жизнь! — обвёл взглядом железные солдатские койки и прибавил: — Уюта нет...

Все так и грохнули: это Серёжка-то, пастушонок, затосковал об уюте! Но он нисколько не смутился, а стал ещё более важным и сказал:

— Значит так, ребята: как обставимся мы с моей Настей в нашем домике, так милости просим в гости, без всякого!

Утром в воскресенье Настя сама пришла за ним в общежитие и, не обращая никакого внимания на насмешливые взгляды ребят, увела Серёжку навсегда к себе. Ушли они в обнимку, причём сундучок Серёжкин несла Настя. Ребята даже удивились: до чего ж она нежна и тиха с Серёжкой...

— А может, у них, ребята, и в самом деле большая любовь? — задумчиво произнёс Мальченко и почему-то вздохнул.

Затем вскоре женился Осадчий и тоже ушёл из общежития. Женился он на молоденькой и хорошенькой фельдшернице с соседней шахты и сам перевёлся туда: у жены был маленький домик, доставшийся ей от покойного отца — маркшейдера.

Грустно было ребятам расставаться с Володькой Осадчим — его все любили. Но дядя Онисим в утешение сказал:

— Ничего, ничего, хлопцы! Женильба, я так считаю, это есть наилучшее закрепление кадров. Чи не так? Як бы моя воля, так я б всех вас тут на донбассовках переженил, чтоб не бегали...

— А если кто женится да донбассовку с собой увезёт? — лукаво спросил Светличный.

— А за это — расстрел! Расстрел на месте! — свирепо ответил дядя Онисим.

Уехал с шахты Глеб Васильчиков, парень из Харькова. Его отпустили по состоянию здоровья, — так смущённо объяснил он ребятам. Те ни единого слова не сказали в ответ, только молча, насмешливо следили, как, мелко суетясь, укладывает Васильчиков свои вещи в чемодан и торопится, чтоб поскорей кончить тяжёлую сцену.

Провожать его никто не пошёл.

А однажды вечером объявил о своём отъезде и Светличный. Он пришёл в общежитие необычно возбуждённый, праздничный и весело закричал чуть ли не с порога:

— Ну, ребята! Придётся вам нового комсорга себе выбирать. Еду учиться! — И он потряс путёвкой над головой.

Вероятно, ожидал он шумных поздравлений, дружеских пожеланий, расспросов, всего, чего угодно, только не того, что произошло: ребята молчали. Вся комсомольская лава была тут, в большой, сумеречной, похожей на воинскую казарму, комнате. И эта лава молчала. Светличный удивлённо посмотрел на ребят, потом нахмурился.

Разгорелся спор. Виктор доказывал, что отъезд Светличного — пусть хоть на учёбу! — есть замаскированная форма бегства с шахты.

— Сейчас главное — уголь! Своё образование можно получить и потом! — горячился он, невольно вспоминая свою клятву на Косогоре. И все были на стороне Виктора и уже отчуждённо, почти враждебно смотрели на своего бывшего комсорга.

А тот и не оправдывался.

— Правильно! — насмешливо сказал он, когда Виктор выкричался. — В аккурат то же самое и Казимир Савельевич думает, наш малоуважаемый, полукрасный спец...

— А при чём тут Казимир Савельевич? — опешил Виктор.

— А при том, что он тоже так рассуждает: вы, мол, шахтёры, чёрная кость, уголь рубайте, а я, старый инженер, белая косточка, буду вами руководить и свою политику на шахте делать, какую захочу. И вы

мне ещё долго в ножки будете кланяться, поскольку вы техники дела не знаете.

— А мы можем и без Казимира Савельевича уголь рубать! — возбуждённо выкрикнул Виктор.

— Можешь? — прищурился Светличный.

— Можем!

— И горными работами руководить можешь?

Виктор промолчал.

— И геологию знаешь? И теорию проветривания? — Светличный подождал ответа, потом презрительно махнул рукой. — Эх, ты! Рубака! Нет, довольно! Пора уж действительно нам свою собственную интеллигенцию иметь.

— А-а! — злорадно закричал Виктор, будто этих слов только и ждал. — В интеллигенцию лезешь?

— Лезу! — спокойно ответил Светличный. — Изо всех сил лезу! И вас заставлю карабкаться, черти вы окаянные! Вы как понимаете слова товарища Сталина, что большевики должны овладеть техникой и стать специалистами? А? Или вас эти слова не касаются?

— А уголь? Кто ж уголь будет рубать? — непримиримо крикнул Мальченко. Это был страстный, молодой, даже мальчишеский спор, и уже не о Федьке Светличном, не о его судьбе, а о судьбе всего нашего поколения. И спор этот уже был решён жизнью: правда была на стороне Светличного, и он это знал.

На прощанье он всё-таки обнял Виктора, притянул его лохматую голову к своей и шепнул на ухо:

— Люблю я тебя, чёртушка! И жду на рабфаке.

А через год, осенью 1932, уехали на учёбу непримиримый Мальченко и с ним ещё трое парней с «Крутой Марии». Андрей и Виктор провожали их. А когда поезд канул в ночную тьму, долго задумчиво смотрели вслед.

Потом Андрей осторожно спросил:

— Ну, а теперь какое будет твоё мнение, Виктор?

— Насчёт чего?

— Ну, например, насчёт учёбы?

— А хорошее... — лениво пожал плечами Виктор. — А что?..

— Нет, ничего... Ну, всё-таки?

Но в те поры в самом разгаре было соревнование между Виктором и Митей Закорко — уехать с шахты Виктор и не мог и не хотел. А весной тридцать третьего Андрей и сам не посмел заикнуться об отъезде на учёбу: минувшей зимой Донбасс круто попятился назад.

То была на редкость лютая зима, с заносами, морозами, буранами и такими свирепыми, колючими ветрами, каких даже ко всему привычная донецкая степь не помнила. Были дни, когда на терриконах невозможно было не только работать, но даже стоять; неумолимо секло ледяным ветром, люди замерзали. На подъездных путях в глубоких сугробах стыли составы с крепёжным лесом. Все дороги были забиты окоченевшими эшелонами угля. «Кругую Марию» словно отрезало от внешнего мира.

А шахта задыхалась от нехватки леса. Нехватало и порожняка. Не было воздуха. В устье ствола появился лёд — затруднилась работа подъёма. Каждый день случались аварии то на компрессоре, то на воздухопроводе, то в кочегарке. Но в этом уж не были виноваты ни заносы, ни холода.

Как всегда бывает в такие дни, вдруг обнажились и проступили наружу, как чирья, все болячки шахты. Обнаружилось, что на «Крутой

Марии» хозяина нет. Или, вернее, что хозяев слишком много. В рудничной конторе суетилось и толклось великое множество людей. Все они были небритые, все озабоченные, все простуженные, с косматыми шарфами, кое-как замотанными на шее, и все сипло кричали по телефону, приказывали, оправдывались, клялись, умоляли, грозили, — но в шахту за недосугом не ехали, и делу помочь не могли и не умели.

Виктор остро, и за себя, и за шахту, переживал трудности этой зимы. Теперь не могло утешить его то, что и Мите Закорко было не легче. Вместе с Митей шумели они в подземной конурке заведующего участком: «Да до каких же пор будут безобразия с воздухом?». Воздушные магистрали были в плачевном состоянии; изо всех щелей, вентиляей и соединительных муфт со свистом зря уходил сжатый воздух. Он, как пар, шипел повсюду в штреках, едва ли десятая доля его попадала в отбойные молотки: дряблый, расслабленный, жидкий, он только беспомощно хлопал в шланге, как вода, — никакой силой он уже не был. И бывалые шахтёры невесело шутили: «На воздух надейся, а сам не плошай!» — и вместе с отбойным молотком брали в забой и дедовский обушок. А люди, которым доверено было внедрять на шахте механизацию, делали это неумело и неохотно. Их уже называли на шахте «анти-механизаторами», и на беспорядочных, внезапно возникающих наряде митингах горячий Володя Стружников, комсомольский секретарь, требовал поднять против них «ярость масс».

Эта ярость клокотала и в Викторе, и по-своему, не так бурно, зато более сосредоточенно — и в Андрее. Это была ярость против всего, что вредило и мешало «Крутой Марии», а стало быть, вредило и мешало и им — Андрею Воронько и Виктору Абросимову. И они после работы, в тех же шахтёрских чунях и рукавицах, только заменив каски тёплыми шапками-ушанками, шли вместе со всеми рудничными комсомольцами на расчистку подъездных путей от заносов. Они бесстрашно ходили в бесконечные рейды лёгкой кавалерии, в дозоры и патрули механизации, на авралы и штурмы, — в те дни в ходу был военный язык, — сами вызывались охотниками в заградительные пикеты и по ночам останавливали на дорогах и вокзалах дезертиров и уговаривали их вернуться на шахту; в ту пору летуны и прогульщики были главными врагами «Крутой Марии», и если б дали Виктору права и волю, он каждому из них перегрыз бы горло. Тучи их всю зиму бродили по донецкой степи, между шахтами. Они бродили, сами не зная, чего хотят и чего ищут, но везде получали продовольственные карточки, спецовку и жильё... А весной, когда с Орловщины, Смоленщины, Брянщины, Полтавщины принеслись в Донбасс стоустые слухи о невиданном укреплении колхозов, летуны разом отхлынули в деревню, шахты обезлюдели, и кадровикам, — а значит и Андрею и Виктору, — пришлось работать каждому за десятерых...

— Ох, не знает центр про наши дела, не знает! — качая головой, говорил дядя Прокоп. — Конечно, контора пишет — на бумаге всё гладко. Бумага иной раз и солнце заслонить может.

Но девятого апреля на «Крутой Марии» стало известно, что вчера Центральный Комитет партии и Совет Народных Комиссаров приняли, за подписями Сталина и Молотова, специальное постановление о работе угольной промышленности Донбасса. Это постановление прочёл на наряде новый секретарь шахтпарткома — Ворожцова уже не было на шахте.

— Совнарком Союза и ЦК ВКП(б), — медленно начал читать секретарь, и все люди в нарядной притихли, а глуховатый крепильщик Кал-



дыбин протискался вперёд и сел на пол прямо перед секретарём. — Совнарком Союза и ЦК ВКП(б), — читал секретарь, — устанавливают, что, несмотря на непрерывный рост технической вооружённости Донбасса и улучшение рабочего снабжения, план добычи не только не выполняется и добыча угля не только не возросла, а, наоборот, упала... СНК Союза и ЦК ВКП(б) считают, что главной причиной этого позорного движения назад является всё ещё не изжитый, окончательно обанкротившийся канцелярско-бюрократический метод руководства угольной промышленностью...

— Верно! — вздохнул кто-то за спиной Виктора. Но Виктор не обернулся. Он внимательно слушал. Сперва с удивлением: «Смотри-ка, да ведь это про нашу «Крутую Марию» написано!». Потом с радостью: «А-а, так, значит, там, наверху всё известно? Это хорошо, что известно!». Затем, встревоженно: «Но как же выкарабкаться, как выкарабкаться-то?». И, наконец, с восторгом, когда тем же суровым и ясным языком постановление продиктовало — как Донбассу выйти из позорного прорыва.

Да, те, кто подписал это постановление, хорошо знали, что творилось на шахтах Донбасса в эту тревожную зиму! Знали куда больше, чем знал об этом Виктор Абросимов, шахтёр «Крутой Марии». А главное, видели и указывали причины и корни прорыва. Бывало, замаявшись в бесконечной возне с неисправными шлангами, в руготне со слесарями и механиками, в мелких стычках с десятниками и начальниками, Виктор в отчаянии восклицал: «Кругом безобразия, а концов не найдёшь!» «А тут,— думал он, слушая постановление правительства,— нашли-таки концы!» Нашли и указали виновников, поимённо назвали их антимеханизаторами и чинушами, которые «не поняли коренного изменения в условиях добычи угля при её механизации и продолжают рассматривать шахту как место работы простых землекопов, тогда как шахта превратилась уже в настоящий завод со сложными механизмами».

«Да, крепко припечатано!» — с восторгом думал Виктор, слушая крутые слова постановления о виновниках беспримерной текучести в Донбассе, когда «значительная часть рабочих и служащих, если не большинство, не столько работает, сколько бродит «без устали» от шахты к шахте, из шахты в деревню, из деревни в шахту, взваливая всю тяжесть работы по добыче угля на наиболее честных и постоянных рабочих и служащих угольного Донбасса». Постановление требовало положить этому конец, навести порядок на шахте, чтоб появился на ней один, но настоящий хозяин, ликвидировать уравниловку в системе заработной платы, сосредоточить на шахтах лучших хозяйственников и инженеров, перебросив их из аппаратов трестов и учреждений в шахты, поднять среди рабочих новую волну социалистического соревнования и ударничества и добиться полного выполнения плана добычи угля.

— Ну, ребята, — громко сказал старик Треухов, учитель Мити Закорко, когда секретарь дочитал до конца, — теперь не журись! Сам товарищ Сталин взялся за наши дела — значит, порядок будет! — Как всегда, старик сказал за всех то, что все чувствовали...

Через несколько дней в Сталино открылась Вседонецкая конференция шахтёров-ударников. Делегатами от «Крутой Марии» поехали Прокоп Максимович Лесняк, Митя Закорко и Виктор. Впервые был Виктор на таком почётном слёте. В местной газете писали, что тут собралась вся шахтёрская гвардия, весь цвет угольного Донбасса. Виктору это было лестно читать. «Значит, и я теперь отношусь к гвардии», — с гордостью подумал он. Дядя Прокоп показывал ему и Мите

известных в Донбассе людей: заведующих шахтами, инженеров, забойщиков, проходчиков, знаменитую Королёву, активистку движения жён шахтёров. Королёва была худенькая, маленькая старушка, в длинной чёрной юбке, в сапогах и в платочке, повязанном у горла. С виду она ничем не была примечательна и держалась среди делегатов тихо, побабьи жалась к стенам и колоннам. — А ты Королиху послушай, как она выступать будет! — усмехнувшись, сказал Виктору дядя Прокоп. — Гроза, а не баба! Всем тут достанется от неё, не сомневайся: и наркомам, и стрелочникам. — И вдруг вздохнул: — Вот и мать моя, покойница, такая же была бесстрашная.

Прошёл Никита Изотов, высокий, плечистый, осанистый. Виктор узнал его и почтительно посторонился, дал дорогу. А потом долго смотрел вслед, как идёт Изотов через весь зал по проходу, уверенно, словно по ходу родной шахты. К нему тотчас же бросились какие-то люди, может быть, корреспонденты, может быть, служащие треста, и стали что-то торопливо и вразнобой говорить ему, а он, заложив руки за ремень своей полувоенной гимнастёрки, спокойно и терпеливо слушал их, возвышаясь над всеми целой головой, русой, коротко остриженной сзади. «Да, вот кто настоящая шахтёрская гвардия!» — с невольной завистью подумал Виктор.

На конференцию от Центрального Комитета партии приехал Лазарь Моисеевич Каганович. Делегаты тепло встретили его, когда он появился в президиуме. Виктор видел Кагановича впервые. И было лестно, что такой человек приехал к ним на конференцию, и немного неловко перед ним, что приехал он в то время, когда в доме, в Донбассе, беспорядок.

Это чувство неловкости испытывал и Прокоп Максимович Лесняк. «Да-а... Некрасиво мы выглядим в нашем нонешнем-то положении! — бормотал он. — Ох, некрасиво!» То же чувствовали многие делегаты, особенно старики. Один из них, сухонький, жилистый, «жвавый», как говорят в Донбассе, подошёл в перерыве к дяде Прокопу и, не поздоровавшись, сказал:

— Вот оно какие дела-то, куманёк! Как говорится, всем сестрам по серьгам! — и сконфуженно вытер лысину платком. Лысина была синяя: это уголь светился под кожей. «Значит, в крепкий взрыв или завал попал он когда-то, бедолага!» — сообразил Виктор.

— Какая работа, такая и награда! — мрачней, ответил дядя Прокоп. — Да, заслужили, заслужили, дожили! — вздохнул сухонький старичок. — Всегда Донбасс запевало был, а нонче...

— Ну, это временное явление, — сказал дядя Прокоп, и все вместе они двинулись к выходу.

Виктор думал, что дядя Прокоп и сухонький старичок давние приятели, и только по дороге в столовую, где кормили делегатов, с удивлением узнал, что старики в первый раз видят друг друга. Тут же и познакомились. Сухонький старичок оказался Колесниковым, забойщиком с «Юного Коммунара». Виктор слыхивал про него: славился он тем, что, как и дядя Прокоп, любил обучать новичков забойщицкому искусству. Об этом писалось в газетах.

По дороге дядя Прокоп неожиданно и без причины раскричался на Митю Закорко. Вся вина Мити была в том, что задержался он у киоска, где продавалась газированная вода, — заговорился с хорошенькой продавщицей. В столовую дядя Прокоп пришёл совсем мрачным, даже есть не стал.

— Вы что ж не кушаете, Прокоп Максимович? — робко спросил Митя, чувствуя себя без вины виноватым. — Харч хороший.

— А ты заслужил этот харч?

— А отчего ж? — обиделся Митя. — Я — ударник, я своё сполняю...

— Вот! — с горечью сказал Прокоп Максимович Колесникову. — Видишь, какая у них, у молодых, совесть.

— Ну, ничего!.. — снисходительно отозвался Колесников. — Народ молодой, балованый...

— Не балованый, а бессовестный! — проворчал дядя Прокоп. — Ни совести у них нет, ни стыда, ни памяти. А мы, старики, свою донбасскую славу помним! Оттого и стыдно нам сейчас...

С этим он и выступил на конференции. Взойдя на трибуну, он долго молчал, насупив брови, потом негромко сказал:

— Стыдно! — посмотрел в притихший зал и ещё раз повторил: — Стыдно! — Видно, это одно слово, одно это чувство и нёс он на трибуну. — Стыдно! — в третий раз и уже очень громко, с силой произнёс он, и Виктору даже издали показалось, будто слёзы блеснули на глазах старика. — Для нас, шахтёров, ничего не жалеет правительство! — продолжал Прокоп Максимович. — Килограмм хлеба получаем мы в такое трудное с продовольствием время. Килограмм! Никакой другой рабочий столько не получает. Только мы, шахтёры. А как мы оправдываем этот дорогой килограмм? А? Стыдно! — он вдруг повернулся лицом к президиуму. — Так и товарищу Сталину передайте, Лазарь Моисеевич, мол, горняки сами понимают: стыдно!

— Передам! — сказал Каганович.

Собирался выступить и Виктор. Нервно делал заметки в блокноте, но слова ещё не просил: ждал, слушал. Дали слово Никите Изотову. Он, видно, привык уже выступать перед людьми. Уверенно вышел, положил локти на трибуну, потом подался всем большим своим телом вперёд и сказал:

— Давайте поговорим откровенно. Я — старый горняк, и вы — старые горняки. Мы поймём друг друга. — И он начал откровенный разговор о том, почему отстаёт Донбасс.

А за ним так же откровенно и по-хозяйски говорили другие. Очень бойко, смело выступил тихонький старичок Колесников. Виктор даже удивился. Горячо говорил Саша Степаненко, ученик Изотова, комсомолец. Попросила слова и старуха Королёва. Она вышла в своём бабьем платочке, на трибуну не взошла, а стала подле, только левой рукой взялась за край трибуны. Говорила она без всяких записей и бумажек, и говорила не запинаясь, певучим своим, неожиданно звонким голосом, а правой рукой, ребром ладони, всё время однообразно рубила воздух, словно шинковала капусту.

Большую речь произнёс на конференции Лазарь Моисеевич. И из этой речи особенно запомнились Виктору слова: «Передовые люди Донбасса, храбрецы, герои угля, не сумели ещё повести за собой остальную шахтёрскую массу. Ваша задача, товарищи ударники, заключается в том, чтобы стать организаторами и повести за собой всех, кто отстаёт». Виктор много думал над этими словами. Хотел даже выступить, взять на себя перед всеми какое-нибудь лихое обязательство, какого никто другой тут ещё не брал, но ничего особенного не придумал и слова не взял, а потом, когда конференция уж окончилась, жалел об этом.

Домой делегаты «Крутой Марии» возвращались в самом приподнятом настроении, даже дядя Прокоп повеселел.

— Ничего-о! — говорил он, бодро покручивая усы. — Сейчас Донбасс в унижении, будет опять в славе. Мы, шахтёры, такой народ — для нас в хвосте места нету... А вы что же не выступили, ребята, а? Оробели? — добродушно спросил он.

— А я в забое поговорю. Угольком! — лихо ответил Митя Закорко. — Вот и Виктора вызываю. Идёт, что ли, Виктор?

— Идёт! — отозвался Виктор. — Только я такое условие предлагаю: не кто больше угля вырубит, а кто больше учеников выучит.

— То есть, как это? — озадачился Закорко.

Но дядя Прокоп понял и пришёл в восторг.

— А что ж, верно, верно! Берись за это дело, Виктор! — подхватил он и, не выдержав, самодовольно засмеялся. — Это уж будут тогда вроде как мои внуки...

Дома делегатам пришлось выступить перед шахтёрами. Свою речь Виктор начал так:

— Я, как делегат Вседонецкой конференции шахтёров-ударников... — Но сказал он это без всякой тени хвастовства, и не для хвастовства эти слова были сказаны. Тут же на митинге он взял на себя обязательство: выучить пять забойщиков. И Митю Закорко вызвал.

Сразу же после конференции на «Крутой Марии» произошли большие перемены. Прибыл новый заведующий шахтой, грузный, большой, молчаливый человек. О нём дядя Прокоп почтительно отозвался: «Старый горняк!». Скоро все на шахте стали звать заведующего Дедом. Приехал и новый главный инженер, Пётр Фомич Глушков, человек тоже старый, а инженер сравнительно молодой. Дела на «Крутой Марии» пошли веселее. Вновь загорелась звезда над копром: включить рубильник было доверено лучшему забойщику шахты Виктору Абросимову. А осенью, в Международный юношеский день, комсомольская организация передала Андрея и Виктора в партию.

Рекомендацию обоим дал Прокоп Максимович Лесняк. Дал с той торжественной суровостью, какая этому случаю приличествует, но только старым коммунистам ведома. «Вы, смотрите! — казалось, говорил весь его строгий и парадный вид, когда, надев очки в тусклой серебряной оправе, подписывал он бумагу. — Смотрите, в какую партию я вас ввожу. Чувствуете? Ну, то-то!»

Приняли ребят единогласно, но переволновались они немало, особенно, когда Виктор стал откровенно рассказывать историю бегства. А после собрания, притихшие, шли по тёмной улице домой и молчали, каждый по-своему переживая это самое великое событие в их жизни.

— Ну, а дальше как теперь жить будем? — наконец тихо спросил Андрей.

— А работать! — отозвался Виктор. — Раньше рубали мы уголь по-комсомольски, теперь по-партийному надо рубать.

— А с учёбой как? Не поедем?

— С учёбой успеется.

— Тогда давай хоть в вечерний техникум запишемся.

— Ну, давай! — не раздумывая, согласился Виктор.

Он согласился только потому, что этого Андрей хотел. А сам он в те поры и не собирался стать инженером или техником. Зачем? Ему и в забое хорошо. И с каждым днём всё веселей и лучше. Однако, подчиняясь Андрею, он стал ходить по вечерам в техникум. Сперва скучал, потом привык. Но жил он, всей душой жил только в своём уступе.

За эти пять лет на «Крутой Марии» прожил он большую забойщицкую жизнь. Доводилось ему рубать уголёк и крепкий, и мягкий, и «филялку», как называют шахтёры мокрый, тяжёлый пласт. Работал он и на аршинной «Аршинке», и на «Девятке», и на твёрдом «Алмазе», и на капризной, словно танцующей «Мазурке», и на хитром, увёртливом «Никаноре», и на «Куцем» пласту, и на «Солёном», и на «Вонючем», прозванном так оттого, что тут уголь едко пахнет сероводо-

родом, и на «Известнячке», где кровля хорошая, прочная, и шахтёры там работать любят, и на «Берале», где кровля слабая... Сколько километров прошёл он со своим отбойным молотком за эти пять лет под землёй? Сколько тысяч тонн угля выдал на-гора?

В лето тысяча девятьсот тридцать пятого года он работал на новом горизонте 640, в третьей восточной лаве, у дяди Прокопа...

## Глава 5

Паша Степанчиков, ученик Виктора, любил хвалиться перед ребятами своей улицы.

— Вы хоть знаете, ребята, у кого я работаю? У самого Абросимова, Виктора Фёдоровича. От як! А вы знаете, как дядя Виктор уголь рубает? Як Будённый шашкой! А знаете, какой у него кулак! А-а! У него кулак — могила, смертью пахнет. Его на шахте все боятся, а он — никого, даже Деда... От у кого я работаю!

В уступе он влюблёнными глазами следил за работой своего учителя.

— Ой, дядя Виктор! — восхищённо шептал он. — Ой, як же ж вы здорово уголь рубаете!.. От я видел в цирке, как там на рапирах билась, — так куды там, у вас красивше!

Виктор слышал это и усмехался. Он любил, когда люди его хвалят, даже если это и Паша Степанчиков. Он и сам чуял в себе сейчас богатырские силы. Вот, сбилось: размахнулся — улица, повернулся — переулок. Когда-то он мог только мечтать об этом. Сейчас он легко давал две нормы в упряжку. Он бы мог давать и больше — с досадой подумал он — если б было где развернуться. Ему уже стало тесно в этом карликовом уступе. Что ему жалкие восемь метров? Вот и до полудня ещё далеко, а он уже прошёл их, дальше итти некуда.

— Ну что, Пашка? — сказал он, выключая молоток. — Конец свадьбы? — Он посмотрел, как летели вниз последние глыбы угля, потом заложил руки за голову, потянулся всем телом и сказал уже скучным голосом:

— Ну, давай крепить, что ли.

Крепить он не любил. Он считал это не забойщицким, а подсобным, плотничьим делом. Какого чёрта должен он подбивать колышки под кровлю? И молоток полсмены лежит без дела.

Он сказал вдруг неожиданно для самого себя:

— Я б один мог пройти всю лаву...

Он сказал это сгоряча, со злости, оттого, что хмельно бродила в нём неистраченная забойщицкая удаль. Но увидел тень сомнения на лице своего верного ученика и нахмурился:

— Ты что, Пашка, не веришь? — грозно спросил он.

Пашка не верил. Он во всё поверил бы, в любой подвиг своего героя, даже самый фантастический. Поверил бы в то, что дядя Виктор один, левой рукой раскидал в драке целую сотню шахтёров. Поверил бы, что в дальних выработках, куда Пашка Степанчиков и нос сунуть боится, дядя Виктор встретил самого Шубина и в единоборстве победил его. В любую сказку, в любую небывальщину свято поверил бы бедный Пашка Степанчиков. Но он был шахтёрский мальчонка, внук и сын шахтёра, и он не мог поверить в то, что дядя Виктор — даже дядя Виктор! — один за смену пройдёт всю лаву — восемьдесят метров.

Он смущённо залепетал:

— Ой, дядя Виктор!.. Так это ж никак невозможно такое подобное... Вы як хочете...

— Ладно! — строго остановил его Виктор. — Крепи, давай! — Сейчас он снова был весь в работе...

Ещё два часа оставалось до конца смены, а Виктору больше нечего было делать в уступе.

— Ну, Пашка, — сказал он, усмехнувшись, — твоё счастье, что попал ты к такому забойщику, как я. Можешь теперь свободно ехать на-гора да гулять, — твоё счастье. А я к Андрею заверну.

Он собрал инструменты, сложил их в сумку и пополз в уступ к Андрею. Тот ещё крепил. Виктор молча лёг в сторонке, прямо на уголь. Отчего вдруг стало ему так невесело? Скучно, что ли?

Тихо потюкивал топорик — это Андрей подбивал обаполы под нависший корж. Андрей тоже скоро кончит урок, и тогда уж им обоим нечего будет делать в лаве. Придётся ехать на-гора. Ну, что ж, это хорошо, в бане толкотни не будет. Они свой дневной урок выполнили. С честью. Перевыполнили даже. Не стыдно людям в глаза глядеть... А выехать на-гора почему-то стыдно!

«Да мы-то тут при чём? — словно оправдываясь перед кем-то, подумал Виктор. — Вы нам ходу дайте, ходу!»

Он лёг на спину и широко разбросал руки. Хорошо! Что ни говори, хорошо! Уголь прохладный, влажный, можно вообразить, что лежишь ночью в степи на сырой траве или на мокром песке у Псла... И тогда кровля над головой представится тебе тёмным, тёмным небом, а свет шахтёрской лампочки, зацепленной за обапол, — светом далёкой звезды. Когда-нибудь люди будут летать на звёзды! Если б Виктор попал в лётчики, он обязательно определился бы в межпланетную авиацию. Такой нет ещё? Ну, будет! А сейчас ему, как шахтёру, больше пристало стремиться не ввысь, а вглубь. Хорошо б пробить такую шахту, чтоб до самого центра земли!.. Говорят, там одна расплавленная лава. Интересно... Когда-нибудь люди всего достигнут — и звёзд, и центра земли, и полного счастья. Это будет, вероятно, уже при мировом коммунизме. «Интересно, чи доживём мы с Андреем до этого? Ну хоть не до всемирного, а до первоначального?»

— Коммунизм! — проворчал он. — А пока два здоровых бугая себе ладу найти не могут. И в штреках — грязь... И пути неисправны...

— Что? — откликнулся Андрей.

— Ничего... Это я к слову...

Нет, лучше не думать об этом! «Да что в самом деле? — рассердился он сам на себя. — Чего я себе голову морочу? Начальство не думает, а я что ж?.. Что мне, больше всех надо? Я — шахтёр, я про шахтёрское думать должен — про баню та про борщ...» Но он уже не мог не думать о главном...

Андрей кончил крепить и с сожалением отложил топор в сторону.

— Эх! — сказал он, потягиваясь. — А я разошёлся только...

Он работал не так споро, как Виктор, но и ему было тесно в уступе, и он легко давал полторы-две нормы, упирался в «край» и кончал работу задолго до гудка.

— На-гора поедем, что ли? — нерешительно спросил он и стал собирать инструмент. У него была такая же сумка, как и у Виктора — Вера сшила и подарила обоим. Укладывая инструмент в сумку, Андрей всякий раз вспоминал Веру и всегда с досадой. «И чего только пристаёт, ей-богу? Я-то тут при чём?» Но сумку не выбрасывал.

— Так на-гора, что ли? — снова спросил он.

— Можно и на-гора... — не сразу ответил Виктор. — Слушай, Андрей, — вдруг сказал он, — а ты б мог один всю лаву согнать за смену?

— Один? — удивился Андрей. — Та нет, конечно, не смог бы...

— Нет, ты стой! Ты подожди!.. Ну, а если б, скажем, лес заранее

доставить, разложить по уступам, воздуху вдоволь, всё приготовить, тогда как, управился бы?..

Андрей подумал немного.

— Не! — покачал головой. — Вряд ли! — Он засмеялся. — Ох, и фантазёр ты, Витька!.. — И уже обычным тоном спросил: — Десятника будем ждать или нет?..

Но десятник Макивчук сам пришёл в эту минуту.

— Уже кончили? — удивился он, как удивлялся каждый день. И это удивление, и подобоострастная его улыбка, и шуточки — всё было фальшивым, как и сам Макивчук, тёмный человек.

Он стал замерять выработанное.

— Орлы, ну чисто орлы! — воскликнул он, записывая итог в свою клеёнчатую книжечку. — И куда вы только деньги девааете, хлопцы? Вроде и не пьёте?..

— Ты б чем наши деньги считать, лучше бы уступ дал подлиннее, — сердито сказал Виктор. — Видишь: ходу нам нет!..

— Так вам только дай ход, в госбанке червонцев для вас не напасёшься, — отшутился десятник. — Та невжели вам и так денег мало?

— Деньги, деньги... — пробурчал Виктор. — Копеечная твоя душа.. Неужели только деньги и главное?..

— А як же? — на этот раз искренне удивился Макивчук. — Деньги — всё!

Он вопросительно посмотрел на ребят и вздохнул. Уже давно хотел он предложить им «комбинацию»: он бы приписывал им добычу, а деньгами делились бы. Хлопцы — ударники, лишняя тонна никого не удивит. Но он всё не решался. «Они ж, черти, партийные. Завзятые. Ещё донесут!» Он опять вздохнул и молча уполз из уступа.

Виктор посмотрел ему вслед.

— Деньги! — с горечью сказал он и даже сплюнул. — Вот так станешь за шахту душой болеть, а такие скажут: «за длинным рублём гонишься».

— Так он же — петлюровец, чего ты хочешь?

— А чего таких в шахте держат? Разве ж им в шахте место?..

Они спустились в штрек и тут встретились с Прокопом Максимовичем — начальником участка.

— А-а! — радостно приветствовал их старик. — Уже управились? Вот молодцы!.. Кабы все такие, как вы, шахтёры были б, ого-го! Куда там!.. А то и такие есть, что и нормы не выполняют.

— А вы таких гоните к чёртовой матери! — сказал Виктор. — А нам с Андреем по два уступа дайте. Мы управимся.

— Да... да... Я и то думаю... Вы ж у нас моторные! — он ласково глядел на бравых хлопцев. — А давно ль, как слепые котята, тыкались в шахте? Говорят, ты, Виктор, и в бане быстрее всех управляешься. Верно?

— Верно! У меня, дядя Прокоп, руки длинные...

— Ишь ты! — удивился старик.

— Так дадите по два уступа?

— А может, вас на проходку поставить? Штрек у меня как раз остаёт. Совсем меня этот штрек замучил.

— Та мы ж не проходчики! Вы нам в забое простор дайте!

— Им, видите, больше всех надо, — ехидно сказал подошедший Макивчук. — Жадный народ! И чего только жадничают, удивительно!

— А мы не конёшники! — гордо ответил Виктор. — И жадность наша твоему понятию недоступная.

— Ишь ты! — фыркнул десятник.

— А вот именно!

«Конёшниками» в дни карточной системы на «Крутой Марии» прозвали лодырей, которые вырубали не больше «коня» — одну крепь. Им и не надо было больше: выход на работу всё равно записывали, а стало быть, и продовольственные карточки выдавали как рабочим. А много ль нужно было денег, чтоб выкупить паёк? Потом, когда открылись на шахте коммерческие магазины, «конёшники» чуть оживились. Стали рубать угля побольше, приговаривая при этом: эх, а это на поллитра, а это на колбасу! Но Виктор и в те поры рубал уголь не за паёк и не ради денег.

— Жадность! — пробурчал он, привычно шагая во тьме. — Вот как некоторые понимают ударников...

— А ко мне дочь приехала! — неожиданно сказал дядя Прокоп. — Да, как же! Даша.

— Так мы ж её уже видели! — вырвалось у Андрея.

— А? Ну, да, да... Она говорила. Вы б зашли к нам, ребята, вечером, а? — пригласил Прокоп Максимович. — Всё ж таки из Москвы. Студентка!

— Ладно, — небрежно отозвался Виктор, — как-нибудь зайдём...

Они простились со стариком и поехали на-гора. В бане, действительно, было ещё пусто...

Вечером Андрей, словно невзначай, спросил товарища:

— Так что... к дяде Прокопу пойдём? — он не посмел сказать: к Даше.

— Нет, ну её к чёрту! — сказал Виктор. — Она — ломака...

— Отчего ж это ломака? — обиделся Андрей.

— А так... Воображения у неё много. Я таких терпеть не могу! Я не люблю, чтоб девка мною командовала. Я, брат, сам командовать люблю.

— Зачем? — тихо спросил Андрей.

— Что, зачем? — поразился Виктор. — А так! Раз ты девка — будь девкой. А парень — парнем. Я так понимаю. Я покорных девок люблю, тихих, смиренных... А ты?

— Не знаю... — не сразу ответил Андрей.

Но к дяде Прокопу в этот вечер они не пошли.

## Глава 6

Они остались в общежитии. Лежали на койках. Скучали. Даже Вере обрадовались, когда она пришла. Она сначала робко постучалась, потом заглянула в комнату.

— Я на минутку! — сразу же сказала она, вся пламенея от смущения. — Вы не спите? Извините, пожалуйста. Товарищ Нещеретный велел напомнить, что завтра производственное совещание... — Бедняжке было всё трудней и трудней придумывать новые поводы для посещений.

— Заходите, Вера! — ласково позвал её Виктор. — Та ничего, ничего, заходите. Он сегодня не кусается.

Она зашла. Села на краешек стула у самого входа, готовая каждую секунду вспорхнуть и улететь. Украдкой посмотрела на Андрея: нет, он ничего, не сердится. Она немного успокоилась и улыбнулась. У неё была светлая, тихая и радостная улыбка; она любила улыбаться, смеяться она не умела.

Отчего Андрей невлюбил её? Она была чистенькая, беленькая, хорошенькая девочка — такая беленькая, что карие глаза казались на её лице чужими. Эти глаза только и были примечательны в ней. Никакой другой, резкой, характерной черты в ней не было — всё мягко, всё



округло, чуть-чуть расплывчато даже... Созрев, она обещала стать полной. Она была не красивая, но «аккуратенькая». От неё уютно пахло душистым яичным мылом.

И в её наряде не было ничего яркого, пёстрого, ни одной кокетливой мелочишки: ни бантика, ни ленточки, ни букетика. Она даже не носила, как все комсомолки на шахте, красной косынки, а всегда — беленький платочек. И в этом беленьком платочке на золотых, пшеничного цвета волосах, в простенькой белой блузке и холщёвой юбке была очень похожа на полевую ромашку.

Её можно было не заметить, пройти мимо, но заметив, уже нельзя не улыбнуться ей, такая она милая и ласковая. В ней всё доверчиво тянулось навстречу людям, как всё в подсолнечнике тянется навстречу солнцу. Её любили бабы, жалели старухи, пожилые шахтёры сразу же говорили ей: «дочка!».

У молодых парней она успеха не имела. Она не была ни резвухой, ни хохотуньей, ни проказницей; ни развязности в ней, ни бойкости. Но и тихим омутом она не была. В ней вообще не было ничего затаённого, тёмного, смутного или беспокойного. Она вся была простодушно открыта людям, и её внутренний девичий мирок был прост, ясен и удивительно светел.

Она рано стала хозяйкой при овдовевшем отце и вела своё хозяйство с мудростью женщины и беззаботностью шахтёрской девочки. Она трудилась целый день — то в конторе, то дома: на кухне или на огороде. Когда никто не слышал её, она тихонько пела.

По вечерам она читала отцу газету и терпеливо слушала, как он рассуждает о международных событиях. Она умела слушать. Она была в курсе всех дел на шахте, и хотя никогда сама не работала под землёй и даже ни разу там не побывала, она тоже, как и все рудничные люди, жила добычей, переживала прорывы, радовалась звезде над копром. Она была дочь шахтёра и обещала стать хорошей женой шахтёру. Но Андрей не любил её и боялся её любви.

— Ну как дела, дочка, контора пишет? — весело спросил Виктор, когда Вера устроилась на краешке стула. Он всегда называл её дочкой. Он относился к ней снисходительно-ласково, как к маленькой; ему была симпатична эта тихая, добрая девочка, а её смешная любовь к товарищу искренно его потешала.

— Контора пишет, приказчик еле дышит! — ответила как всегда Вера, и через минуту они уже тихо и дружно болтали о пустяках.

Андрей молча лежал на койке и листал книгу. Он совсем не хотел обижать Веру. Если б не её дурацкая влюблённость, он бы тоже сейчас, как Виктор, задумчиво болтал бы с нею. Но эта досадная любовь и стесняла и злила его. Особенно сейчас. Слушая Верин тихий, почти глухой голос, он невольно вспоминал другой — звонкий, весёлый, смелый, и жалел, что не пошли они с Виктором к дяде Прокопу в гости, в его тихий, счастливый домик под этернитовой крышей.

Вошёл дядя Онисим, как всегда не постучавшись.

— Электричество действует? — строго спросил он, чтоб показать, что пришёл не зря, и, не дождавись ответа, важно сел.

Он был попрежнему комендантом общежития, но уже пообвык в этой должности и исправлял её торжественно и многозначительно. Сквозь его общежитие и теперь текли да текли люди. Но дядя Онисим привык к этой вечной перемене лиц и даже скучал, когда в общежитии было тихо. Попрежнему потешал он новичков побасенками и всякой небывальщиной, пичкал их советами и наставлениями, и для многих молодых горняков рассказы дяди Онисима были первым шахтёрским

университетом. «Мы все прошли академию дядя Онисима!» — говорил, бывало, Светличный.

Гордостью этой «академии», тихой гордостью души дяди Онисима, были Андрей и Виктор. Он всерьёз считал их своими воспитанниками. Он любил их ревнивой, скаредной любовью одинокого старика и скрывал, что любит. Иногда он по-старому принимался поучать их, а потом вдруг спохватывался, что учить-то их теперь не приходится, да и чему может он научить их? И времена другие, и шахта другая. Самому влору у молодёжи учиться. Но он не хотел сдаваться. Он хорохорился. Он не отрицал ни механизацию, ни новшества на шахте, как то делали иные упрямые старики, он только отбирал их от молодёжи себе, своему поколению, он их новшествами не признавал.

— Это и при нас было! — говорил он. — Не вами задумано, не вами и кончится!

— И электровозы были? — невинно спрашивал Виктор.

— А что электровозы? От сказал!.. Вы, што ль, электричество выдумали? У нас и не такое бывало!..

— А какое?..

— А такое, — сердился старик, — що ты и не бачив! У нас, як хочеш знать, даже в трактире машина была. Музыку играла. Сама. А на ярмарках механическую барышню показывали... Так та даже вальс плясала...

— Та не может быть! — восклицал Виктор и, не выдержав, хохотал...

Эта тема всякий раз подымалась с приходом дяди Онисима, словно сходились два поколения шахтёров — старое и молодое — на полюбовный бой, где старость доказывала, что она — молода, а молодость — что она опытна.

Разгорелся этот спор и сейчас. Только сегодня дядя Онисим пришёл во всеоружии. Это видно было по тому, как озорно и молодо блестели его глаза.

— А что, — спросил он будто невзначай, — всё спросить хочу: что врубовки ещё существуют?..

— На пологих пластах существуют... А что?..

— Та ну? — удивился старик, хитро прищуриваясь и покачивая головой. — Ай-я-яй! Скажи, пожалуйста!.. А я всё думал, что вы новенькое придумали, своё...

— А это что ж, старенькое?

— Та порядочно-таки... При нас выдуманно.

— Какие ж это врубовки у вас были? — пренебрежительно сказал Виктор, задетый, однако, за живое. — Небось, деревянные?

— Зачем? Настоящие врубовки. Як водится, — спокойно, торжествуя ответил дядя Онисим. — Постой, от я тебе один факт расскажу. Вы слушайте!.. — обратился он ко всем, обсосал усы, потом вытер их и начал. — А было это в тысяча девятьсот двадцать первом году... Заведующим у нас был...

— Егор Трофимович, — подсказал Андрей.

— А ты откуда знаешь? — удивился дядя Онисим.

— Так все ж ваши истории одинаково начинаются...

— Да? — Старик был озадачен. Потом подумал, подумал и объяснил, улыбнувшись: — А это потому, что я ж вам одни чистые факты рассказываю. Вы слушайте... Та-ак... И вот пришла весна, а шахтёры не едут в шахту. Не едут, тай всё! Егор Трофимович и спрашивает меня: «Гей, Онисим, а чога ж эти барбосы в шахту не едут?» А я говорю: «Оттого, что весна, Егор Трофимович, народ на огороды пошёл, грядки копают». «Грядки? Так они ж — шахтёры, какого им чёрта надо землю

пахать?» А тогда голодная весна была, снабжение — никакое. Ну, народ сам себя спасает, не надеется, огородничает. Да-а... А в шахте — прорыв. Стали тут руководители думку думать, что б оно такое умное выдумать, и придумали. «А давай, говорят, мы им в три дни все ихнии огороды перекопаем, пушай потом в шахту едут и ни о чём не думают». И вспахали! А чем бы, ты думал, а? — прищурил он левый глаз.

— Ну, тракторами, вероятно...

— Тю! — засмеялся старик. — Тогда о тракторах и понятия не было. — Он выждал паузу, потом вдруг хлопнул себя по коленкам и, привскакивая, как мячик, ликующе закричал: — Врубовками вспахали! Слышь, ты?! Врубовками!..

— Как же так, врубовками?.. — удивился Виктор.

— А так. Насобирали где-то врубовок... ну, лядашеньких таких... какие в те времена были... Ну, приспособили их, плуги прицепили, наладили — и вспахали!

— Да быть этого не может! — смеясь, вскричал Андрей. — Как же так, врубовками?

Но в это время широко распахнулась дверь, и в ней появилась высокая фигура в сером плаще и кепке, надвинутой на самый нос. Она появилась так внезапно, так неожиданно, что Верочка даже вскрикнула и закрыла лицо руками. Ей показалось, что в комнату влетела большая и беспокойная серая птица.

— Смотри! — удивлённо закричал Виктор. — Светличный! Ты?

— Нет. Не я, — спокойно ответил Светличный и поставил свой чемодан на пол. — Здравствуйте, дядя Онисим! А вы всё ещё тут, ребята? — спросил он, снимая плащ и вешая его на гвоздь у двери. — Пора уже вешалки завести, дядя Онисим!

— От! Приехала-таки моя самокритика! — засмеялся комендант. — Да ты хочь покажись: какой ты? — он легонько покружил парня и оттолкнул от себя. — Скелет! На поправку приехал?

— Нет. На практику.

Они все были обрадованы и даже растроганы неожиданной встречей, но ни поцелуев, ни объятий, ни даже шумных, восторженных восклицаний не было, словно и долгой разлуки не было. Шахтёр и радость, и опасность, и даже самую смерть — всё встречает грубоватой шуткой, и только.

Верочка, смущённая появлением Светличного, хотела незаметно скрыться, она боялась быть лишней при встрече друзей. Она уже юркнула к двери, но тут её остановил дядя Онисим:

— Э, нет! Стоп, дочка!.. Дело есть. — Он обернулся ко всем и грозно скомандовал так, словно был комендантом не общежития, а крепости или гарнизона. За эти пять лет старик уже вошёл во вкус своей «власти». — Значит так, хлопцы, команда будет такая: всем смиренно сидеть на месте и ждать. А мы — мигом! А ну, дочка, шагом марш за мной! — и он шумно вышел.

— Бушует старик! — усмехнулся ему вслед Светличный. — А клопов он вывел? — Светличный присел на койку к Андрею, и тому показалось, что вообще никакой разлуки не было: снова с ними их старый комсорг. Сейчас он сурово спросит: «а как у тебя дело с нормой, товарищ? Выполнил?» Но теперь Андрею этот вопрос не страшен!

Но Светличный спросил:

— Так вы всё ещё тут, ребята?

— А где ж нам быть?

— А я думал — вы поузнели. Учиться пошли.

— Не всем же учиться! — насмешливо сказал Виктор. — Кому-то

надо и уголёк добывать. А ты, Фёдор, действительно интеллигентом стал. Ишь, какой дохлый! Очки ещё не носишь? А шляпу?

— Сам ты — шляпа! Я тебя в тридцатый раз спрашиваю: почему не учишься?

— Куда нам! Мы — люди тёмные!

— Да учимся же и мы, — вмешался Андрей. — Зачем зря говорить? В вечернем техникуме учимся.

— А-а! Поумнели-таки, — обрадовался Светличный. — Ну, рассказывайте, как живёте, что делаете...

Вернулись дядя Онисим и Вера. Принесли вина, закуску. Дядя Онисим сразу же засуетился у стола.

— Эй, Вера, дочка! — командовал он. — Давай чистую скатерть! Цветы давай! Какой гость у нас! Дорогой гость! — Он умильно посмотрел на Светличного и всплеснул руками. — Смотри! Вернулся-таки! — воскликнул он, словно только теперь дошло до его сознания, что Светличный вернулся. — А? На шахту вернулся! Ну, дорогой!..

— А куда ж мне ещё деваться, дядя Онисим? — засмеялся Светличный.

— Некуда! Верно! Ах, золотые твои слова, умница! Нам от шахты, ребята, а ни шагу! А она ж наша и кормилица и поилица, — привычной скороговоркой произнёс он, но голос его стал почтительно-нежным, как всегда, когда говорил он о шахте. — Выпьем за неё, деточки! — попросил он. — Уважительно выпьем!

Они чокнулись и выпили. Вере тоже налили, она покраснелась вся, но не посмела отказаться и чуть пригубила.

— Ну, как там город Сталино? Живёт? — спросил дядя Онисим, нюхая чёрную корочку. — Я ж его ещё Юзовкой помню...

— Не узнаешь ты Юзовку, дядя Онисим! Уже не Юзовка — столица!

— Да-а? Ишь ты!.. Люди стареют, а города — молодеют, как это теперь понимать, а?.. — Он засмеялся.

— А у вас как дела? — в свою очередь спросил Светличный. — Слышал: гремит наша «Мария»!

— Ещё как! — воскликнул дядя Онисим. — Звезда над копром у нас теперь не потухает!

— Гремим! — сказал Виктор. — Как пустая бочка. — Он взял огурец и, разрезав его пополам, стал круто солить. — Так и гремим! — повторил он уже сердито.

Светличный внимательно посмотрел на него. Сколько лет они не виделись? Четыре года. Говорят, при встрече старые друзья прежде всего ищут в товарище прежние, дорогие черты, то, что и было любимое. Это неверно. Первый при встрече взгляд всегда острый и недоверчивый: а ну, что нового появилось в моём друге? Да и друг ли он ещё? А уж потом с восторгом или сожалением узнают старые черты в новом, чужом человеке.

Светличный весь вечер придирчиво приглядывался к Виктору и Андрею. Прищурился глазом и обхватив длинными руками колено, чуть покачиваясь, он смотрел и слушал, как раскрываются перед ним ребята — туго, со скрипом, будто нехотя, и не хотел торопить их. Он узнавал в Викторе старую и милую ему горячность, резкость, а в Андрее знакомое медлительное упорство, и этот смешной соломенный хохолок над упрямым лбом!.. Он узнавал их и не узнавал. Как они выросли! Уже не те робкие ребята, что были пять лет назад. И походка стала твёрже. Тяжело ступают по половицам, стон стоит в ветхом общежитии дяди Онисима от их шагов. И глаза прищурились; больше нет в них ребячьего удивления, есть — опыт. Да и то сказать — пять лет в тёмном забое

при свете блендочки, — тут любые глаза станут мудрыми, как у совы. Да, выросли, выросли, черти! Возмужали! И, кажется, поумнели, а?..

— Виктор то имел в виду, — медленно объяснил Андрей, шагая по комнате, — что могла бы наша шахта лучше работать. — Он остановился перед Светличным и пожаловался: — Тесно нам в забое...

— В полсилы люди работают! Это тебе понятно, Фёдор? — перебил Виктор.

— Уступы короткие. Какой же это уступ—восемь метров? Разойтись негде, — продолжал Андрей. — И опять же, воздух...

— Стой, Андрей! Дай я ему объясню!..

Вера тихонько выскользнула из-за стола. Ей не хотелось уходить, но и мешать встрече друзей и их беседе она боялась. Однако она не ушла, а только незаметно пересела на стул подле койки Андрея и занялась делом: стала чинить рабочую куртку Андрея. К тому, о чём шумели ребята, она не прислушивалась. Мужчины спорят о своём, о мужском, а она делает своё — женское. И ей хорошо! Всегда бы так!

А Светличный всерьёз заинтересовался тем, о чём говорил Виктор. Перестал иронически щуриться. Уже не улыбался, хмурился. Слушал, не перебивая. Он вдруг почувствовал зависть к ребятам. От их рассказов пахло на него знакомым запахом жизни и шахты. А он эти четыре года, как школьник, просидел за партой!

Он сказал, вставая:

— Так за чем же дело стало, ребята? Чего вы хнычете? Ломайте!

— Чего ломать? — опешил Виктор.

— А всё! Старые порядки. Старые предрассудки. Старые нормы и условия труда. Всё ломайте к чёртовой матери!

— Э-эй! Ты, хлопче, поосторожней, поаккуратнее! — посоветовал дядя Онисим. Он таких речей не любил.

Светличный засмеялся:

— Нет, нет... Давай уж без всякой осторожности! Пс-шахтёрски давай: всё под корень. И — к чёртовой бабушке! — Теперь ему хотелось дразнить дядю Онисима, подзадоривать ребят. Как замечательно всё сложилось! Он приехал сюда на практику, а попадает в самую гущу драки. Опять драка — хорошо! Опять борьба. Вечная борьба нового со старым. Родная стихия. Он подумал, что без этого тугого, порохового воздуха боя ему и жить было бы невозможно.

Он спросил:

— А вы с кем-нибудь уж делились своими идеями, хлопцы?

— Та нет... С кем же? — отмахнулся Виктор.

— Зря. Кто у вас начальник участка?

— Прокопий Максимович. Дядя Прокоп, — ответил Андрей.

— А-а! Хорошо. Умный мужик. Смелый. А завшахтою Дед?

— Дед. Кто же ещё?

— А главный инженер кто? — Светличный уже чувствовал себя на поле боя. Ему надо было знать дислокацию сил, состояние артиллерии, тылов, резервов. Он должен был угадать возможных противников и неожиданных друзей. — А парторг кто? — спросил он.

— Нечаенко Николай Остапович...

— Новый, не знаю его... Из шахтёров? Деловой? С Дедом ладит? На драку пойдёт? Боевой?

Андрей ответил не сразу. Ему ещё никогда не приходилось думать о парторге: какой он? Как никогда не приходилось думать о Деде, о главном инженере шахты, об управляющем трестом: а они какие?

— Нечаенко Николай Остапович? — задумчиво переспросил он. — Он — хороший человек...

— Хороший человек — понятие беспартийное... — засмеялся Светличный.

Андрей опять немного подумал, потом покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Раз человек хороший, так он нашей партии...

### Глава 7

Уже давно прошло то время, когда Андрей полагал, что шахта, как и мир, устроены идеально, а порядок в них — вечен и непогрешим. Теперь он знал, что и в шахте, как и в мире, всё не только меняется, но и должно меняться к лучшему. Таков уж закон жизни, закон движения.

Эти перемены всегда несёт с собой человек, люди. Те беспокойные, хлопотливые, вечно и всем недовольные, неудовлетворённые, одержимые жаждой всё переделывать да перестраивать люди, которых называют революционерами, передовиками или новаторами. Сам Андрей, к сожалению, ещё не чувствовал себя таким человеком. Но хотел им быть.

В то жаркое лето обоих товарищей впервые стало томить чувство великого беспокойства. До сих пор их жизнь текла, как мирный ручей — с камня на камень, один день, как другой; они были довольны этим мирным течением и не пытались изменить его.

А сейчас стало им в этих берегах тесно. Как ручей весной, набухая от внешних талых вод, вдруг начинает буйно метаться и разливаться по равнине, так заметались и наши ребята, чуя, как распирают их неведомые внешние силы, желания и страсти, как в каждой жилке ходит и гудит горячая, тревожная кровь... Но если Виктора томил главным образом избыток мускульной силы, — всю целиком он не мог истратить её ни в забое, ни на гулянке, ни в бешеном плясе на шахтёрской «улице», — то в Андрее пробуждались и властно заявляли о себе силы душевные. Приезд Светличного только ускорил их созревание, — так майский дождь убыстряет рост пшеницы.

Виктор, тот только об одном мечтал: чтоб дали ему всю лаву, где мог бы он хоть раз разгуляться на воле и показать себя. Уж он такой бы рекорд двинул, что и самому Никите Изотову впору! Он верил в свои силы, в свою споровку, в своё шахтёрское счастье.

А Андрей знал, что затея Виктора — удалая мечта, не больше. «Ещё будь лава прямой, — рассуждал Андрей, — тогда бы куда ни шло! А то восемь уступов, значит восемь раз зарубать кутки, восемь раз закопироваться... Да потом ещё крепить за собой всю лаву... Ну, разок можно блеснуть, показать рекорд! А каждый день — это не выйдем. Значит, — продолжал размышлять он, — тут одной удалю не возьмёшь. Тут умом надо. А что, если спрямить лаву? Что, если иначе организовать труд забойщика? Что, если сломать весь порядок в шахте?»

Теперь Андрей часто думал об этом и в забое, и дома. Незаметно для него самого это стало теперь делом его жизни. Он знал, что и Виктор, и Светличный, и дядя Прокоп, и Даша — они и её посвятили в свои мысли, — а может быть, и ещё шахтёры по всей стране думают о том же. Для этих дум как раз пришло время.

По вечерам в тихом домике Прокопа Максимовича Лесняка шумели долгие споры.

Виктор горячился:

— Что судить да чертить? Вы мне лаву дайте, я вам на практике докажу! Вы, Прокоп Максимович, — начальник участка, от вас зависит...

Но старик только недоверчиво качал головой:

— Эй, не справишься, парень! Эй, осрамишься!..

— Я? Я-то?.. — задыхался Виктор. — Да я... — у него даже слов не-

хватало, и он в беспомощной ярости озирался вокруг: да неужто никто, никто не верит ему, его рукам, его умению?

Странное дело, одна только Даша была на его стороне. Она верила. Но как раз её поддержке Виктор и не был рад. Он всё боялся, как бы вдруг эта поддержка не обернулась хитрой насмешкой, — от этой девчонки всего можно ждать.

А Даша верила искренно. Не в Виктора — она попрежнему относилась к нему чуть-чуть насмешливо, — а в его идею. И ей уже чудилось, как это всё будет: длинная, бесконечно длинная лава... как степь... и угольные искры, как капли росы под солнцем... И идёт по этому раздолью один-единёшенек статный добрый молодец, может быть даже и Виктор, ей всё равно, и бесстрашно рубает и косит уголь, как косарь в песне... Только звон стоит! Ну разве это не красиво? Разве это не весело? Она сама пошла б на этот рекорд, если б её пустили...

Ах, отчего в самом деле не родилась она мальчишкой? Она была бы лихим шахтёром! Она шахту любит. Пусть это непонятно иным её московским знакомым, а это так. Они в толк не возьмут, как можно любить подземелье, а ей непонятно, как это можно не любить...

Она выросла в советской шахте, иной не знала. И шахта никогда не была для неё чёрной каторгой, а всегда вторым домом, сперва — таинственным, а потом — родным; старым, добрым, милым домом, где живут и работают отец, дядя и соседи. В детстве она любила рыть норы в песке, играть «в шахту» с мальчишками. Так же играючись, пошла она и работать. Её поставили лампоносом — ей эта игра понравилась. Ей нравилось являться, как луч света, в тёмный забой с долгожданной лампочкой для забойщика. Ей нравилось, что шахтёры зовут её Светиком. Ей всё в шахте нравилось — и низкие своды, и ропот подземных ручьёв, и звон капели, и резкий ветер на «свежей струе», и, главное, этот таинственный лабиринт ходов, галлерей и просек, в котором она привыкла бесстрашно бродить. Она ничего не боялась. Даже в те детские годы, когда у каждого ребёнка сказка перемешивается с жизнью, она уже знала, что в шахте нет ни волшебников, ни духов, ни гномов, ни эльфов, а есть — дядя Степан, запальщик, и дядя Трофим, бурильщик. Но на поверхности и дядя Трофим и дядя Степан только тихие, добрые соседи. Там, в шахте, они, как и её отец, становились всемогущими великанами, чернородыми и многорукими. Ведь именно они, понимала Даша, и есть настоящие волшебники, обычно добрые, а иногда, когда напьются, и злые.

Потом Даша выросла, сама стала работать в шахте, теперь — училась. Сейчас каждый таинственный ходок в шахте, каждый самый потаённый закоулок обозначились для неё техническими терминами, даже воздух шахты, её дыхание, её испарения, её летучие газы — всё легко и просто уложилось в точные формулы. А детское, поэтическое отношение к шахте, как к сказке, всё-таки осталось навсегда! И об этом никто даже подумать не мог бы, глядя на Дашину крепко сбитую, круглую, подбористую фигурку в лихих сапожках со стальными подковками. С детства все привыкли считать Дашутку сорванцом, сорви-головой, мальчишкой. Она умела свистать по-коногонски, была скоро и на язык, и на руку, мальчишкам спуску не давала, вечно ходила в синяках и царапинах.

— Отчего ты боишься, папа? — бесстрашно наступала она теперь на отца, словно от него одного зависело, быть рекорду Виктора или нет. — Эх, какой ты, папа... нерешительный...

— Да ты погоди, погоди, очень я тебя прошу! — торжился Прокоп Максимович. — Ты-то здесь при чём? Хоть ты не вмешивайся, когда

люди о деле говорят. — Но в душе он был рад, что она вмешивается в шахтёрские дела. Да и как ей быть в стороне? Будущий инженер. Моя дочь!.. И он счастливым взглядом ласкал статную фигуру дочки.

А она, зная это, не унималась.

— Я считаю, — звонко восклицала она (и Андрей откровенно, обо всём на свете забыв, любовался ею), — я счигаю, что дело это вполне реально. И не только один Виктор может дать рекорд. И другие найдутся. Вот хоть Митю Закорко взять... Или Андрей. Ты ведь смог бы, Андрей, а?..

Он едва ли слышал её вопрос. Он просто любовался ею, её смелым, разгорячённым в споре лицом. «Какая ж она хорошая! Лучше никого на свете нет!» Он не мог бы сказать сейчас, что в ней особенно красиво, глаза или губы; ни одной чёрточки врозь он не видел, потому что и любил он в ней (а он уже любил, хоть и никому не признался бы в этом) не глаза и не губы, а всю её за то, что она — такая! В этой любви ещё не было ни желанья, ни страсти, а только необыкновенная и какая-то почтительная, пугливая нежность, но и эта нежность уже кружила его бедную голову.

А она ждала ответа.

— Ведь правда, Андрюша, да? — ласково, но уже нетерпеливо переспросила она.

— Что правда? — очнулся он.

Все засмеялись, а Светличный лукаво прищурился.

— Я говорю, — сказала Даша, сердито хмуря брови, — что ты тоже смог бы, как и Виктор, дать этот рекорд. Правда ведь?..

— Нет, — тихо ответил он. — Я не берусь... — Он смущённо развёл руками и тотчас же нагнул голову, готовый покорно встретить любую Дашину насмешку. Но он не мог соврать ей.

— Вот видишь, видишь! — обрадовался дядя Прокоп. — А я что же говорю?

Даша недовольно отвернулась от Андрея, но при этом ничего не сказала. Как это ни странно, а она побаивалась этого тихого парня и вгаине уважала его.

— Во-от! — довольно сказал Прокоп Максимович. — Вот как умные-то говорят... Не берусь. И верно! Восемь уступов — восемь кутков...

— А что, если спрямить лаву? — предложил Светличный. В нём, как во всяком испытанном вожаке, смелость всегда шла рядом с осторожностью. Уже три недели прошло с тех пор, как он приехал на «Крутую Марию» и стал работать помощником у дяди Прокопа на участке; он пригляделся, продумал многое, но атаку ещё не трубил.

— Ладно! — пожал плечами Виктор. — Давайте прямую, давайте с уступами... Мне всё едино... Я за себя отвечаю.

Теперь все смотрели на дядю Прокопа, а он думал, нервно теребя усы.

— Д-да... — сказал он, наконец. — Для Виктора это — резон. Так может выйти...

— И выйдет! — ликуя, закричала Даша.

— Д-да... Только надо не об одном Викторе думать, а о шахте.

— А что ж, плохо будет шахте, если я один за восьмерых сработаю? — горячо сказал Виктор и даже обиделся.

— Не плохо. Отчего ж плохо? Хорошо!

— Ну?

— Ну, нашумим, не спорю!.. А дальше что? Ну, ты сработаешь один за восьмерых... Пускай и Андрей... и Митя Закорко... Как раз трое вас, орлов! Только боюсь, даже вам не под силу будет каждый день всю



лаву в одиночку обрабатывать. Люди ведь — не машины!.. Для рекорда — хорошо, а для каждой упряжки — трудно. Что же выйдет тогда, ты по-государственному разочти, не горячась?.. В прямой лаве-то, без уступов, других забойщиков уже не посадишь... Так? И придётся тебе, Виктор, иной день и пол-лавы проходить в смену, а то и меньше того... Вот и сядет тогда наша шахта на мель, и выйдет ей не слава и не прибыль, а чистый конфуз! Так, что ли? Вот как я по-стариковски-то рассуждаю. Может, у вас по-комсомольски иначе выйдет? — прибавил он, усмехаясь и оглядывая всех, особенно дочку, насмешливым взглядом.

Все смущённо молчали. Виктор хотел что-то возразить сгоряча, но Светличный остановил его:

— Нет, ты стой! погоди!.. Что же вы предлагаете, Прокопий Максимович? — спросил он спокойно.

— А что ж тут можно? — развёл руками старик. — Удлинить уступы... Иного ничего не придумаю!

— Так в этом уступе, как ни удлиняй, мне всё одно не развернуться! — вскричал Виктор. — Какой же там может быть знаменитый рекорд?

— А тебе что нужно: рекорд или уголь? — спросил строго дядя Прокоп.

— Слава ему нужна! — сказал Светличный.

— Не мне слава, всей шахте слава, — пробурчал Виктор. — Что мне-то в славе? А только скучно мне... И слушать-то вас... скучно! — он досадливо махнул рукой и отошёл к окну, стал смотреть в сад. С тополей уже летел беспокойный пух...

— А ты как полагаешь, сынок? — ласково обратился дядя Прокоп к Андрею, своему любимцу.

— Я? — вздрогнул Андрей. — А я думаю...

## Глава 8

Он действительно думал. Никогда не вмешивался в спор. Молчал, слушал и думал. И здесь, и в общежитии, и в забое. В забое—больше всего. В шахте хорошо думается. Вероятно, нет рабочего человека многодумнее, чем шахтёр. Шахтёры все философы да мечтатели!

— Высоко вы заноситесь, ребята! — сказал как-то дядя Онисим, послушав речи Светличного. — Ишь, государством ворочает! Раньше на этакое шахтёр и не отваживался. А и мы, бывало, тоже мечтали... — грустно ухмыльнулся он. — Как же!.. О пьяной субботе мечтали... Або там о пёстрой корове, чи о синем зайце...

И, присев на койку к Андрею, он стал рассказывать про шахтёрские мечты:

— У каждого своя мечта была, особенная. Без мечты в шахте как же? Темно! Иной всю неделю колотится-колотится, изо всех сил старается, на-гора не едет, в шахте спит, только б побольше заработать!.. А в субботу выедет на-гора, получку получит — и прямо в лавку. Купит там себе всё честь по чести, на все деньги: сапоги бутылками, або пиджак, а то ещё рубаху алую с «разговорами» или с петухами. Ну, оденется, пройдёт по Конторской улице — раз, другой, третий, погарцует перед народом, покуражится — и в кабак. Только его до понедельника и видели! Всё с себя пропьёт — и сапоги, и пиджак, и рубаху... даже крест нательный. Ну, а в понедельник — опять в лямку, снова до пьяной субботы. Эх! — махнул он рукой. — А были и такие, что вовсе не пили. Эти о пёстрой корове мечтали...

Мечта о пёстрой корове тоже была почти реальной. Пёструю корову можно было запросто приглядеть на любой ярмарке. Её можно было

даже купить, только бы деньги! И не один сезонник — орловец, могилёвец или курянин — всю зиму колотился, сбивал грош к грошу, и если не срывался весной и не пропивал всё в кабаке, — что чаще всего и случалось! — то в конце концов приводил к себе в деревню корову.

Мечта о синем зайце была фантастичнее. Синего зайца никто не видел. Но старики твёрдо знали: живёт этот вольный зверёк в заброшенных выработках. Только не всякому дано его встретить: трус — не дойдёт, глупый — не увидит. Но придёт такое время, когда синий заяц сам покажется людям: всем — и смелым и робким. Тогда и воцарятся на земле правда и справедливость, а шахта перестанет быть каторгой.

— А неужели, — простодушно спросил Андрей, — неужели никого не было, кто мечтал бы, как добычу поднять, как дело усовершенствовать?

— А зачем? — удивился дядя Онисим. — Кому на пользу? Бельгийцу-хозяину, немцу-директору? Не-ет! Каждый о своей пользе старался. — Он подумал немного и прибавил: — Да и прогрессивки тогда никакой не было...

Андрей думал не о своей, а о всеобщей пользе. Законоурившись и сложившись в три погребели под низкой кровлей, в узкой щели забоя, глубоко под землёй, без солнца и неба, думал шахтёр Андрей Воронько о родине, о государстве, о месте шахтёра на земле... Отчего раньше никогда не приходили к нему такие думы? Крыльев не было. Дела не знал. Сам был, как слепой щенок в шахте. А теперь... Теперь нет для него в шахте ни тайн, ни тёмных углов. Теперь он тут хозяин. И хозяйски видит: а и плохо же я хозяйничаю! Можно больше взять. Можно лучше работать. Можно иначе организовать труд.

Ему уже смутно мерещилось, как это надо сделать. Это было ещё не решение, только мечта. Он никому и не открывал её до поры до времени.

«Надо бы с Дашей посоветоваться... — иногда думал он. — Как ей покажется? Она ведь учёная...» Но посоветоваться с ней он хотел не потому, что она «учёная», а потому, что теперь без Даши не было у него ни мысли, ни желания, ни поступка. Всё теперь относилось к ней, всё было с ней связано.

Думал ли он о родине — он и о Даше думал: ведь это и её родина. Мечтал ли о будущем шахты, города, государства, опять выходило так, что это он о своём и о Дашином будущем мечтает, и даже — тут он невольно краснел — о будущем... их детей. Всё сплеталось в единый, тугой узел: Даша, любовь, шахта, государство, Виктор, дружба, успех, которого надо добиться ради родины и ради Даши, — и всё вместе это и была жизнь, какою он теперь жил.

Как раньше невозможной и невысказанной для него была бы жизнь без Виктора, так теперь невозможно и невысказанно стало ему жить и без Виктора, и без Даши.

Даша всегда была с ним — и в его мыслях, и в его снах. Даже работая, он не забывал о ней. Она являлась к нему в забой не как небесное видение, а как весёлый Светик с шахтёрской лампочкой в руке. Хозяйски располагалась она в его одиноком уступе. Здесь она была дома. И от её незримого присутствия ему было легче и работать, и думать, и жить...

Иногда, увлечшись рубкой угля, он на минуту забывал о ней. И тогда она сама властно напоминала о себе, вдруг возникала где-нибудь в волнистом течении пласта, или в струе, или в матовом зеркале кровли над головой и лукаво улыбалась, и он в ответ виновато улыбался тоже и снова начинал с ней свой безмолвный и бесконечный заду-

шевный разговор о любви, о жизни, о счастье и будущем, как он его понимал. И представлялся ему тихий, добрый, дружный лад их жизни, трудовой и скромной. У них обязательно будет свой беленький домик с этернитовой крышей, такой, как у Прокопа Максимовича, и в палисаднике анютины глазки, махровая гвоздика и астры осенью... Андрей, конечно, станет учиться, чтоб не отстать от учёной Даши. Будут вместе читать и спорить. Но они никогда и никуда не уедут с шахты, да и некуда им ехать, они — горняки. А по вечерам будет к ним приходиться в гости Виктор. Он тоже женится, поставит свой домик рядом, и каждый вечер будут они большой семьёй сходить в сад под акацией для мирного чаепития и согласной, душевной беседы...

В этих простых, незатейливых мечтах было для Андрея столько неизъяснимой прелести, столько несбыточного счастья, что голова шла кругом...

Чаще всего ему казалось, однако, что этого никогда не будет, не может этого быть, в отчаянии думал он, слишком уж это было бы хорошо для такого нескладного парня, как он! Разве Даша полюбит такого?

Но иногда, особенно когда рушились под его молотком могучие глыбы угля и приходило радостное сознание своей силы и значения в мире, он становился храбрым и начинал верить, что всё сбудется и Даша переступит порог его беленького домика под этернитовой крышей.

Ей, однако, он ещё ни разу не сказал о своей любви. Тысячи невысказанных любовных слов так и остались немотствовать в душе Андрея. Да их и нельзя было выговорить — они не существовали в языке, они выговаривались взглядами. Андрей продолжал любить втайне и думал, что это и для всех — тайна. Он и не знал, бедняга, что уже давно ни для кого тут секрета нет, даже для самой Даши.

«Вот поставим мы с Виктором рекорд, — решил он, — тогда ей и признаюсь».

Он и сам не смог бы толком объяснить, какая связь существует между признанием и рекордом. Но смутно предчувствовал он, что связь эта есть и что после рекорда вся жизнь — и его, и Виктора — станет иною.

Между тем до рекорда было ещё далеко. Попрежнему собирались все у Прокопа Максимовича, судили, рядили, спорили, а к решению прийти не могли. Андрей, как всегда, молчал.

Однажды Виктор не выдержал и взорвался:

— Да до каких же пор будем вола вертеть? Вы мне прямо скажите: поддерживаете вы меня или нет?

— А ты не горячись! — посоветовал Светличный. — Дело не шуточное.

— Бойтесь?

— Боюсь.

— А раз боишься, так отступись. В сторону! А мне не мешай. Я один пойду, на свой страх...

— А если сорвёшься?

— Вам что за беда? Мой риск, мой и позор.

— Э, нет! — сказал Светличный. — Ты сдуру сорвёшься, а идею хорьшую погубишь.

— Так и идея-то моя!.. — закричал Виктор.

— Нет, врешь. Уже не твоя — наша.

— Так что ж мне теперь делать, а? — в отчаянии воскликнул Виктор. — И связали вы меня, и подрезали, и пикнуть даже не даёте. Ты хоть то пойми, что не могу я теперь по-старому работать. Не могу! Тоска и стыд!..

— Очень мы это хорошо понимаем, сынок! — сочувственно вздохнул дядя Прокоп. — Вот и ищем выхода. Идея у тебя богатая, а осуществить её невозможно.

— Нет, возможно! — вдруг тихо сказал Андрей.

Он сказал это ровным, обыкновенным голосом, сам не подозревая, какая взрывчатая сила была в этих простых словах, какое новое, великое дело они начинали.

Потом, много лет спустя, когда этот вечер стал уже для них только историческим эпизодом, не больше, они не сумели даже вспомнить, как всё было. Кажется, удручённый Виктор просто не расслышал слов Андрея. Светличный удивлённо взглянул на него, но ничего не сказал, не спросил, а дядя Прокоп даже поморщился.

— Эх, Андрей! — с досадой сказал он. — Что говоришь! Ведь сам давеча...

— Нет, возможно! — упрямо повторил Андрей и покраснел. — Надо только вот что, надо труд разделить...

Его опять не поняли. Он, запинаясь, объяснил:

— Понимаешь, пусть забойщик только рубает уголь, а крепят за ним лускай крепильщики...

— Как?! — ахнул Светличный.

Это было так неожиданно и так просто, так замечательно просто, что именно поэтому никому из них до Андрея и не пришло в голову. Они и сейчас не сразу взяли в толк его идею, хоть и была она совсем проста. Но она одним взмахом сметала давно заведённый порядок вещей, а к этому не вдруг привыкнешь. Спокон веков забойщик и рубал уголь, и крепил за собою. Для шахтёра это было таким же естественным законопорядком, как для крестьянина то, что поле надо сперва вспахать, а потом уже засеять. И вдруг является парень, Андрей, не учёный, не инженер, и одним словом обрушивает естественный порядок. Как тут не ахнуть!

Предложи Андрей нечто совсем фантастическое, несбыточное, и тогда это не так бы всех поразило: против совсем неизвестного куда легче в бой итти, чем против давно заведённого. Даже самый пустой фантазёр может высидеть у себя в кабинете «новую», «философскую» систему или новую, ни для кого не обязательную религию; для этого смелости не надо! Но только подлинный революционер находит в себе мужество восстать против проклятого «так заведено», против самой страшной силы на земле — силы привычки.

Эта сила привычки была так велика, что даже дядя Прокоп, смелый, мудрый горняк, не сразу взял в толк мысль Андрея.

— Нет, ты погоди, постой! — пробормотал он. — Как же так? А управление кровлей? А потом, как же с заработком? Что же, поровну делить, а? — Это были всё пустяковые возражения, и он сам тут же отшвыривал их. Но он искал их и цеплялся за них, чтобы хоть самому себе объяснить: отчего же раньше никто не додумался до таких простых мудрых вещей, до каких так легко дошёл этот мальчишка, Андрюшка, его названный сын и выученик?

И вдруг неожиданно, перебив самого себя на полуслове, он закричал:

— А ведь верно, верно! Всё верно! — И в полном восторге пошёл обнимать Андрея.

Вокруг смущённого Андрея теперь столпились все.

— Да нет! Правда ли? Возможно ль то, что предлагает Андрей? — восклицала Даша, с надеждой заглядывая то в лицо отца, то в глаза Андрея.

— Возможно! Всё возможно! — шумел больше всех обрадованный

Виктор. — Ну, теперь только ходу, ходу нам дайте! Э-эх! — и он высоко поднимал над головой свои могучие кулаки и тряс ими, словно уже шёл на рекорд.

— А Дед? — неожиданно спросил Светличный.

Но и это не потушило общего восторга.

— Что Дед? Что нам Дед? — задорно крикнул Виктор. — Нас теперь и Дед не остановит.

— Конечно, загадочный мужик Дед, от него всего ожидай! — сказал Прокоп Максимович. — Но — умный... Вообще в шахтпартком следовало бы за поддержкой сперва пойти, да беда — Нечаенко в отпуску...

— А к Нещеретному и итти не стоит! — махнул рукой Виктор. — Этот не решит.

— Ну что ж, пойдём к Деду!

В этот вечер в тихом домике дяди Прокопа был праздник. Словно всё уже свершилось. Словно благословил уже Дед ребят на рекорд. Словно и рекорд уже был поставлен, и от этого всем людям стало лучше жить на земле. Словно сбылись уже все надежды и все мечты — Светличного о новой шахте, Виктора о славе, Андрея о любви и вечном счастье с Дашенькой...

## Глава 9

Дедом все в посёлке звали заведующего шахтой «Крутая Мария» и за глаза иначе никак не звали. Между тем настоящее его имя было — Дядок, Глеб Игнатович. Именно — Игнатович, а не Игнатьевич, на этом он настаивал. Всякий раз, когда именовали его неправильно, он терпеливо поправлял, никогда, однако, не сердясь при этом.

Он был родом белорус, Витебской области, Городковского района. Родные места он покинул давным-давно, ещё мальчуганом, и с тех пор на родине больше не бывал, да и не собирался туда. Но он всегда называл себя белорусом, очень гордился этим, носил сорочки, вышитые витебским крестиком, картошку называл бульбой и любил её во всех видах, а в его речи и до сих пор слышалось мягкое цокание, особенно если он волновался.

Когда на шахту прибывала очередная партия земляков, он немедленно находил её. Являлся в казарму, сразу спрашивал, нет ли городковских, витебских — городковские обязательно случались, — и потом долго расспрашивал их о своих родных (их осталось мало) и о знакомых (а их было много, все перебивали у Деда на шахте). Затем он требовал водки и бульбу, истово пил, никогда не пьянея, и, опершись сизым крутым полбородком о свою знаменитую суковатую палку, с которой даже в лаве не расставался, слушал протяжные песни родины...

«Марией» он управлял два года, и управлял хорошо. При нём слово «прорыв» забылось. Он был дельным и строгим хозяином, дотошно знал горное искусство, начальство его уважало и даже побаивалось: планы ему всегда давали посильные.

Однако секрет его удач был не в этом. В те годы текучка ещё лихорадила шахты. Здесь, как в море, бушевали ежедневные приливы и отливы. Но в отличие от законов моря тут никаких законов не было, даже сезонных. Никогда нельзя было угадать, куда подует ветер, что будет завтра, сколько людей выйдет в упряжку, сколько совсем уйдёт с шахты.

Трепала текучка и шахту Деда, но зато недостатка в рабочей силе он не знал никогда. Его вырочали белорусы.

Не только в Городковском районе, но и далеко за пределами его,

по всем белорусским сёлам гуляла легенда о Деде, о добром земляке — хозяине шахты, негордом, приветливом и свойском. «Эй, иди к Глебу — будешь с хлебом! — говаривали старики-отходники. — Где Глеб, там и хлеб. У Деда, как у Христа за пазухой — и тепло, и мило». И земляки в белых свитках и кислых овчинах валом валили на шахту к Деду, он принимал всех.

Он был добрый и простой человек, шахтёры его любили. Жил он скромно и одиноко — жена давно умерла, взрослые дети разъехались, и в его казённом, конторском доме было пусто и холодно; он только спал там, жил же он на людях: в шахте, в конторе, в общежитиях. Он был почётным гостем на всех званых обедах, посажёным отцом на всех шахтёрских свадьбах, кумом на всех крестинах. Поп мог и быть и не быть — ни свадьба, ни крестины от этого не расстраивались, а без Деда не бывало на шахте ни крестин, ни свадьбы.

Когда большой, грузный, уже по-старчески обрюзгший, но всё ещё величавый, шёл он, тяжело опираясь на палку, по улицам посёлка, словно по штрекам шахты, хозяином, все встречные торопливо снимали перед ним шапки и кланялись. Не улыбаясь, он молча кивал в ответ. Он вообще улыбался редко. Он никогда не говаривал ласковых слов людям, не шутил, не балагурил с шахтёрами, не похлопывал по плечу, не называл их «ребятами» или «орлами». Панибратства он не терпел и не допускал.

Но не только каждого шахтёра в посёлке — каждую шахтёрскую жёнку, всю рудничную детвору знал он по имени, знал, чей это замурзанный мальчишка роется в песке, чья это тоненькая девочка с алым бантиком в тощей косичке бежит с большим бидоном за керосином в лавку. Он знал всё и про всех, потому что только этим и жил он, да и жил-то только ради этого, ради этих людей. Его не зря величали Дедом. Его уважали и боялись не как начальника, — шахтёры никого не боятся! — а именно как Деда. Так в старых крестьянских семьях чтут своих патриархов, уже почти не слезающих с печки, но попрежнему властных, непогрешимых и мудрых.

Дед и был таким патриархом в большой семье шахтёров и, как родной отец, любил своих чумазных детей, любил по-своему, угрюмой, строгой и бережной любовью.

Когда год назад произошла на «Марии» катастрофа — взрыв газа в восточной лаве — и семнадцать шахтёров погибли в шахте, Дед не стал прятаться от осиротевших семей, от их горя и их ярости, а сам пошёл к ним. Пошёл не за тем, чтобы утешить вдов — этого он и не умел, — а чтоб посоветовать им или даже приказать, как жить дальше.

— Ты плачь, плачь! — говорил он, заметив, как при его появлении испуганно смолкала баба и принималась торопливо утирать глаза фартуком. — Плачь, как не плакать? — он усаживался на табурет, ставил меж колен палку, потом трубно сморкался в большой клетчатый платок и продолжал ровным, спокойным голосом: — Такого мужа, как Антон, тебе, кума, теперь не найти! Хороший был мужик, старательный, непьющий... — Он словно нарочно бередил свежую рану. Вдова заливалась слезами, уцепившись за её подол, принимались реветь дети, а Дед невозмутимо сидел среди них, тихо качал седой головой и говорил негромко и наставительно:

— Да, Дуня, такое твоё вдовье дело — плачь! Деньгами тебе государство поможет, опять же углем и так далее. Не пропадёшь!.. Теперь, замуж будешь выходить — не осудим. Ты это знай.

— Что вы, батюшка, Глеб Игнатович? — возмущённо вскидывалась вдова. — О том ли мне думать?..

— А ты не спорь, Дуня, не спорь!.. Я лучше знаю. Детишкам твоим отец нужен. Вон они какие махонькие!.. — Он притягивал к себе самого крохотного из детворы и продолжал: — Замуж соберёшься — посоветуйся со мной. Та-ак!.. За молодого не выходи. Это не надо. Сурьёзного себе мужика возьми, самостоятельного. Ты меня слушаешь?

— Слушаю, Глеб Игнатович. Зачем только и говорите вы такое, слушать нехорошо...

— А ты — слушай! Я дело говорю. Суть главное. То-то!.. Лучше всего выходи за вдового. Вот за Севастьянова за Герасима. Ничего мужик, работающий, к детям ласковый... Так-то, кума! — говорил он, уже вставая. — Жить — надо!.. А я к тебе ещё наведуясь...

И он шёл в следующий дом, навстречу новым слезам и новому горю. И там так же невозмутимо и с виду равнодушно слушал вопли баб, причитания старух и рёв детей и не останавливал их, а давал им выплакаться. А потом вместо жалких слов утешения принимался толковать о земных делах, о том, как теперь жить и что делать...

— Ты теперь, Мотя, получишь за мужа большую сумму от государства. Слышишь? Так ты эти деньги не трать, не форси. Не твои деньги — ихние! — показывал он на ребят. — Ты деньги на книжку положи. А я проверю. Слышишь?

— Слышу, Глеб Игнатович, — угрюмо отвечала вдова.

— Ну, вот! — кивал он головой. — И хорошо!.. Злая ты баба, кума, но теперь это ничего, это можно. Теперь тебе с твоей злостью даже легче жить будет. Та-ак!.. А если о замужестве мечтаешь, — неожиданно прибавлял он, — так ты это брось!.. Тебя замуж никто не возьмёт. Ты не Дуня.

— Я и не собираюсь. Один был муж, да и того вы убили...

— Не я убил — газ.

— А мне всё едино! Убили, а мне теперь с сиротами горе мыкать.

— А кому ж? Ты их народила, тебе и воспитывать. Ты то пойми, кума, — твоя бабья жизнь теперь кончилась. Теперь для детей жить надо. А про своё счастье — забыть. — Как всегда, он говорил прямыми, жёсткие слова, без околичностей и прикрас, и они, как всякая правда, действовали вернее и надёжнее, чем фальшь. — В детях теперь твоё счастье, кума!.. — продолжал он. — Вот Васятку вашего я теперь в забой переведу, там заработки лучше, а он уже парень большой. Петьку тоже пора пристроить...

— Не пушу в шахту, не дам! — дико взвизгивала Матрёна. — Не дам! — И, как разъярённая квочка, заслоняла детвору всем своим телом.

— Э, пустые твои слова, баба! — морщился Дед. — Куда ж шахтеру кроме шахты? Жить надо, кума, а не верещать зря. То-то! Я твоего Петьку к камеронам поставлю, пусть учится. А Анютка пускай в школу ходит, как ходила. А потом и остальную мелкоту определим как следует быть. Так, значит! — И он, тяжело опираясь на палку, поднимался и шёл в следующий дом.

Таков был Глеб Игнатович Дядок, Дед, заведующий шахтой «Крутая Мария», к которому Андрей и Виктор собрались нести свою заветную мечту о рекорде.

Дед назначил им быть в конторе вечером, в пять часов.

За час до срока в домике Прокопа Максимовича Лесняка встретились все участники «заговора»: надо было решить, кто да кто пойдёт к Деду.

— Вам с Виктором надо итти! — сказал Андрею дядя Прокоп. — Вы — застрельщики...

— Боюсь, мальчишки мы для него... — смущённо сказал Андрей. — Дед нам не поверит. Я хотел вас просить, Прокоп Максимович...

— А что ж? Я пойду! — согласился старик. — Дед меня знает.

— А хорошо б Светличный ещё... — робко прибавил Андрей.

Светличный засмеялся:

— Все орудия сразу в бой?

— Да видишь ли, говорить я не мастер, — словно оправдываясь, объяснил Андрей. — И Виктор — горяч... А ты, Федя, ты ж у нас известный политик... — и он преданными глазами посмотрел на друга.

— Все пойдём! — смеясь, сказал дядя Прокоп. — Навалимся на Деда — ему и не выкрутиться!.. Мы его в кольцо возьмём!.. — И он пошёл переодеваться.

Виктор и Светличный остались в домике допивать холодное пиво, а Андрей и Даша вышли в садик. Даша заметила, что у Андрея еле приметно дрожат напряжённые скулы — он стиснул зубы и губы сжал, левая щека чуть подрагивала.

— Ты что, волнуешься? — удивилась она.

— Волнуюсь! — сознался Андрей. Он не мог объяснить ей, что для него этот рекорд... Но и молчать он больше не мог. — Если Дед разрешит рекорд... и рекорд выйдет... я... я тогда тебе кое-что скажу, Дашенька... — прошептал он, думая, что говорит загадочно.

— Да ну? — усмехнулась она. — Ну, буду ждать!

Она знала, о чём он хочет сказать ей, — о своей любви. Ну что ж, он может это сделать и потом, как и сейчас. Всё равно, она про эту любовь знает. Она подумала, что если б вдруг признался ей в любви ну, скажем, Светличный, она смутилась бы, а если б Виктор — даже рассердилась... А Андрея она могла слушать спокойно.

Нет, ей было приятно, ей было очень приятно, что вот её любят, и что любит Андрей — очень хороший и славный парень. Ей было необыкновенно радостно от горделивого сознания, что её, девчонку, уже, оказывается, можно любить и любить так горячо и преданно, как Андрей. «Если я прикажу ему: бросайся в шурф, Андрюша! — он кинется. Ей-богу, кинется, прямо головой вниз!»

«Как это славно, когда тебя так любят!» — счастливо думала она. Дотоле ещё никто не любил её и не говорил о любви. С Митей Закорко они были просто друзьями с детства. Андрей был первым, кто полюбил её как девушку. И она была благодарна ему за это и уже сама любила его за его любовь.

Но любила ли? Ей было приятно, легко, даже весело с ним, хоть он всегда молчал и только, волнуясь, ломал спички. Зато он умел восхищённо слушать её болтовню и удивляться её уму, её знаниям, её доброму характеру. И она сама вдруг начинала чувствовать себя и умней, и добрей, и старше; она росла в собственных глазах, видя своё отражение в его глазах влюблённого. И это было захватывающе приятно!

Но она никогда не скучала, если его долго не было, думала о нём редко и спокойно, не краснела при его появлении, не металась в тоске, отлично спала в самые лунные ночи и с прежним шахтёрским аппетитом садилась за обеденный стол. Нет, в книгах иначе писали про любовь. Но, может быть, книги вралы?

Наконец появился Прокоп Максимович. Он оделся в свой парадный костюм, словно шёл на праздник.

— Трогаем, хлопцы? — бодро крикнул он и первый двинулся вперёд.

Даша проводила их до калитки, потом долго смотрела вслед. Андрей обернулся, она приветливо махнула ему платком; в эту минуту она действительно любила.



## Глава 10

В конторе, кроме Деда, находился ещё главный инженер шахты Пётр Фомич Глушков, человек с седыми лохматыми бровями и живыми чёрными мальчишескими глазами. Когда-то эти глаза, вероятно, искрились смехом, острой мыслью, жизнью; теперь они только тревожно бегали. Странные это были глаза! Они не потускнели, не потеряли ни прежней живости, ни даже блеска, но теперь это был блеск тревоги и живость паники. Пётр Фомич был человек, однажды сильно испугавшийся, да так навсегда и застывший в своём испуге.

Год тому назад случилась катастрофа на «Марии». Никто, ни один человек не обвинял в ней Петра Фомича, никто даже упрёка ему не бросил. Несчастная случайность катастрофы была слишком очевидной для всех, кроме самого Петра Фомича. Он уже сам не знал, виновен он или нет. Может быть, всё-таки он чего-то не предусмотрел, не вспомнил, не принял каких-то необходимых мер? Он стал мнительным, осторожным, пугливым, недоверчивым к людям и мелочно-придирчивым к себе.

Он теперь уже не столько работал, сколько оправдывался. Отдавая распоряжение по шахте, он тут же мысленно приводил все объяснения и оправдания в свою защиту, все параграфы законов и положений. Он словно всё время был под следствием сам у себя. И главной его заботой стало огородить себя бумажками и инструкциями, оправдательными документами и оговорками; он жил теперь за частоколом спасительных параграфов.

Ни Пётр Фомич, ни Дед не знали, зачем напросились к ним на приём Андрей и Виктор. Но оба, не сговариваясь, чували, что речь тут пойдёт не об обычных шахтёрских просьбах, а о чём-то куда более важном. И Пётр Фомич уже заранее нервничал и заранее ошетикивался против всего, что собирались предлагать ребята, а они, несомненно, собирались предложить что-то новое и, стало быть, небезопасное.

Дед же, как всегда, был непроницаем. Он медленно поднял голову, когда ввалились в кабинет ребята во главе с Прокопом Максимовичем, и поморщился:

— Что-то больно много вас...

— Дело — большое! — разводя руками и благодушно улыбаясь, ответил Прокоп Максимович.

— И все по одному делу?

— Все.

— Ну-ну! — проворчал Дед. — Садитесь. Слушаю. — И закрыл глаза. Андрей умоляюще посмотрел на Светличного.

— Начинай ты, Фёдор!.. — прошептал он.

Светличный пожал плечами и начал.

Он начал прямо с того, что положение на шахте нетерпимое (услышав это, Пётр Фомич в испуге даже подскочил с места), что забойщики и их отбойные молотки используются в полсилы, что в уступах тесно, развернуться негде («людям в глаза стыдно смотреть!» — перебил его Виктор), что передовые шахтёры давно уже болеют этими мыслями и думают, как улучшить дело, как брать угля больше («так, так, так!..» — шептал Андрей), и что вот в результате долгих раздумий нашли шахтёры Андрей Воронько и Виктор Абросимов выход из положения и...

— Какой же? Какой выход? — нетерпеливо закричал Пётр Фомич и почувствовал, как нервная судорога уже стягивает кожу у него на лбу и на лысине.

Дед невозмутимо молчал. Казалось, он и не слушал вовсе, дремал. Его глаза попрежнему были прикрыты тяжёлыми веками.

— Какой выход? — усмехнулся Светличный. — А вот... — и он просто и кратко изложил проект Андрея и Виктора: дать забойщику всю лаву, а труд разделить.

— Но это нельзя... нельзя... невозможно! — вскричал Пётр Фомич. — Это... не предусмотрено. И при том опасно!.. В смысле управления кровлей... И как вы можете говорить: нетерпимое положение на шахте? А план? Мы же систематически выполняем план, даже перевыполняем на один-два процента... Вот цифры, извольте, поглядите... Будьте добры!.. — Он разволновался, расстроился; в Светличном и Викторе он теперь видел не просто беспокойных людей, а грозных обвинителей. Болезненно морщась, он ждал, что вот сейчас кто-нибудь из них — молодых, беспощадных, — бросит ему в лицо обвинения.

А Дед молчал.

— Да вы не волнуйтесь, Пётр Фомич! — улыбаясь, вмешался дядя Прокоп. — Вы разберитесь. Я и сам по-первах растерялся. И те же доводы привёл: кровля, зарплата, обычаи... А разобрался...

— Нет, нет, и не говорите! — испуганно замахал на него руками Пётр Фомич. — Вы просто не всё учли, недодумали... Вот хоть взять инструкцию по технике безопасности... вот последний циркуляр наркомата, — он стал судорожно разворачивать какие-то папки. — Или правила ведения горных работ... Это в любом учебнике... — он вспоминал все эти книги, циркуляры и параграфы затем, чтоб успокоить себя, но, вспомнив их, окончательно сам себя запугал и закричал, испугавшись: — Нет, нет, я категорически, категорически против... То, что вы предлагаете, немыслимо, невозможно... не выйдёт!

— Нет, отчего же? — раздался вдруг негромкий голос Деда. — Это возможно.

Андрей обрадованно повернулся к нему.

— Да? Правда ж? — благодарно воскликнул он и подумал: «Какой же хороший человек Дед!»

— Вполне возможно. Отчего ж? — равнодушно подтвердил Дед и поднял сонные глаза на Андрея. — Всё у вас? — спросил он.

— Да-а... Это — всё.

— Гм... Ну-ну! Хорошо. Тогда, что ж, будьте здоровы! — неожиданно сказал он, мотнул головой и придвинул к себе бумаги. Разговор был окончен.

Андрей растерялся.

— А... а рекорд? — ничего не понимая, спросил он.

— А про рекорд забудь! — строго сказал Дед. — Забудь! Слышишь? — приказал он. И опять углубился в бумаги.

Но тут уже Виктор взорвался.

— То есть как же забудь? Нет. Стой! Мы про это забыть не можем!.. Вот это где у нас! — крикнул он и гулко ударил себя кулаком в грудь.

— А я говорю: забудь! — не повышая голоса, но властно и с силой повторил Дед. — Понял? Не будет у меня на шахте рекордов. Пока я жив — не будет!

— А ты легче, Игнатович, легче!.. — возмутился и дядя Прокоп. — Ты не забывай себя. Зачем же так? Мы к тебе не с просьбой пришли. Мы, если хочешь знать, мы требовать пришли. Не один ты на шахте хозяин. Мы, брат, все — хозяева.

— Плохой же тогда ты хозяин, кум! — сердито скривился Дед. — Хороший хозяин — тот даже о своей собаке думает. А ты... ты разве о людях подумал? Эх, ты! — с горечью сказал он. — Стыдно! Стыдно, старик! Ну, пускай они, — презрительно мотнул он головой на ребят. — Они — молодые, им прославиться надо, выскочить... А ведь ты — старый горняк. Ты б хоть о товарищах подумал...

— А о ком же я думаю? — растерялся старик. — Невжели о себе? — Он ничего не понимал.

И ребята не понимали. «Да что ж мы плохого сделали? — встревоженно спросил себя Андрей. — Мы ж не для себя... Мы же для шахты... для всеобщей пользы?!»

Кажется, только один Светличный тонким чутьём политика разнюхал, в чём тут дело. Он усмехнулся и осторожно, как-то вкрадчиво даже, спросил:

— Рекордов боитесь, Глеб Игнатович?

Дед сразу же поднял на него глаза. Светличный ему не нравился. Он уже слышал о нём, что беспокойного нрава человек, всех на шахте критикует. «Видать, молодой да ранний!.. — недоброжелательно подумал он о Светличном. — Студент. Карьеру делает. Все они нонче такие. Грамотеи. Умники. Критиканы!..»

Он насупился.

— Я, сынок, ничего не боюсь, — сказал он угрюмо. — Стар я бояться.

Но Светличный словно не слышал этого.

— Боитесь, что после рекорда вам план повысят? — опять невинно, даже как бы сочувствуя Деду, спросил он.

— И этого не боюсь. У нас начальники умные. Не мальчишки.

— А главное боитесь, что нормы повысят? Так, что ли?

— Я о людях думаю... — нетерпеливо махнул рукою Дед, желая прекратить допрос.

— А о государстве? — тихо спросил Светличный.

— А государство, — раздражаясь и повышая голос, ответил Дед, — это и есть мы — рабочие люди, шахтёры...

— Верно! Значит, будет богаче государство, будем богаче и мы, шахтёры?

— Да... Будут богаче шахтёры — будет богаче и государство.

— А вы что же думаете, после рекорда станут шахтёры беднее?

Теперь и дядя Прокоп, и Андрей, и Виктор поняли, наконец, в чём дело.

— Ах, Глеб Игнатович, Глеб Игнатович! — обрадованно воскликнул дядя Прокоп, и у него на сердце стало легко и весело, словно тяжкий камень свалился. — Вот о чём ты беспокоишься, добрая душа! Так мы и это подсчитали, ты не сомневайся! Куда как вырастут заработки шахтёров после рекорда! Ведь больше угля дашь — больше и получишь...

— Кто получит? — рассердился Дед. — Этот вот... — мотнул он головой на Виктора, — да этот... — мотнул головой на Андрея, — да ещё три-четыре таких же молодых, ловких... А остальные? А все?

— А кто ж остальным мешает хорошо работать? — искренне удивился Андрей. — При нашем методе всем работать легче.

— Вы б, товарищ заведующий, не на отстающих, а на передовиков равнялись бы. Передовиков бы поддерживали... — с обидой сказал Виктор.

— А что вас поддерживать? Вы и так вон какие зубастые! Кто вас обидит? А слабых да сирых, кроме меня, защитит некому.

— А ведь это хвостизм, Глеб Игнатович! — мягко сказал Светличный и пристально посмотрел на Деда.

И тогда, может быть, за долгие годы впервые вдруг взорвался Дед. Он вскочил с места и с дикой силой грохнул волосатым кулачищем по столу.

— А-а! Хвостизм? — прохрипел он. — Готов уж ярлык? Ты, видать, скорый на такие дела... — крикнул он, с ненавистью глядя на Светличного.

Его шея побагровела, да так страшно, что Пётр Фомич испугался: вот сейчас хватит старика удар.

— Что вы, Глеб Игнатович? — метнулся он к нему. Но Дед грубо оттолкнул его, он теперь никого не видел, кроме Светличного.

— Хвостизм? — прорычал он. — Ах ты, ты!.. — ему нехватало ни слов, ни воздуха. Он задыхался. Так вот в чём обвинили его теперь! В том, что он о своих детях, о шахтёрах печётся? Да! Пекусь! Зато не о себе.

«Мне для себя ничего не надо. Ни каменных палат, ни длинных рублей, ни карьеры, слышь, ты, студент?» Он в одной комнате живёт. Он все свои деньги раздаёт людям. Он ничего с собой в могилу не унесёт, не бойсь!.. Ни одна чужая копейка ещё никогда не прилипла к его рукам. Всё им — шахтерне, землякам, детям.

Не в первый раз приходится ему страдать за свою любовь к ним. В прошлом году тоже вот приехали такие же, скорые, молодые, грамотные... Стали копать, вскрыли, что десятники приписывают рабочим упряжки и добычу и делятся с ними. Для Деда это новостью не было: он на это сквозь пальцы смотрел. «Э!—рассуждал он. — Государство наше богатое, не оскудеет. А этому бедняге-десятнику, сукину сыну, приварок!» И он не мог понять, за что тут судить да взъеживаться? Государство-то от этой милости не рассыплется!..

Государство... Погружённый в мелочные заботы о своей шахте, о своих шахтёрах, он редко размышлял о нём. Государство представлялось ему опромным золотым мешком; раньше этот мешок принадлежал капиталистам, сейчас принадлежит рабочим. Ради этого и революцию делали, и кровь проливали, и сам Дед свою кровь пролил. И сейчас он, как умеет, служит государству. Ведь не для себя ж он уголь-то добывает! Не хозяйчик же он в самом деле, и не приказчик у хозяина!..

Но в глубине своей заскорузлой души, сам того не сознавая, понимал он себя не человеком, поставленным от государства управлять государственной шахтой, а как бы артельным старостой, выборным от рабочих. И как настоящий староста, норовил он ловко обойти все другие артели и побольше урвать из государственного мешка для своей.

Ему казалось, что именно за это и любят его шахтёры. Не зря же величают и отцом, и благодетелем! И он гордился и дорожил этой любовью больше, чем любовью начальства. Пуще всего на свете боялся он, чтоб не упрекнули его в том, что он забурел, зажрался, оторвался от своих. Оттого-то и жил он в одинокой, пустой комнате, и от положенного ему конторского выезда отказался — ходил пешком, и на курорты не ездил, и премии делил поровну между всеми — каждому по крохе, забывая только самого себя...

Однажды, заметив это, заезжий пропагандист из центра полюбопытствовал: «А как вы представляете себе социализм, Глеб Игнатович?» Дед растерялся. Он редко рассуждал на столь отвлечённые темы. «Э... — пробормотал он. — Я так думаю, а?.. Социализм — это, чтоб по справедливости... Всем, значит, поровну...» «То есть отдай голому последнюю

рубашку, так, что ли?» «Вроде так... — пожал плечами Дед. — Нечего в рубахе-то щеголять, когда голый рядом». «Д-да... — засмеялся пропагандист. — В общем, получается у вас социализм нищих. Не равенство, а уравниловка. Нет, Глеб Игнатович, не так!» — и он терпеливо, как школьнику, стал разъяснять ему, как строится социализм в нашей стране, и как затем, на базе всеобщего изобилия, будет построен и коммунизм. Дед слушал его молча, не возражал и не перебивал, только недоверчиво качал головой и про себя думал: «Ох, книжники-златоусты! А мы, грешные, на земле живём, в навозе пачкаемся». И хотя и он, как и пропагандист, свято верил в победу коммунизма на земле и за это даже кровь свою пролил, но казался ему коммунизм красивой, справедливой, но такой далёкой мечтой, что о ней в практической жизни пожилому человеку и думать как-то совестно.

Ему и невдомёк было, что живой коммунизм уже сидел перед ним в образе этих молодых ребят-новаторов, а он гнал его прочь из своего кабинета, да ещё обижался, когда за это объявили его хвостистом.

Он вдруг устало и грузно опустился на стул. Сейчас он чувствовал себя только очень обиженным и — старым.

Он сказал, ни на кого не глядя:

— Уходите... Все уходите... домой...

Ребята торопливо схватились за кепки, им самим не терпелось поскорее уйти. Уж больно страшно было глядеть на багрово-чёрную шею Деда и слышать, как он хрипит и задыхается.

Но тут вдруг поднялся оскорблённый Прокоп Максимович. Ни наливая кровью шея Деда, ни его гнев, ни его власть не испугали его. Он выпрямился во весь рост и сказал с обидой, но и с достоинством:

— Хорошо. Пусть будет так. Но точку на этом разговоре я не ставлю. И с тем до свидания. А продолжим мы наш разговор, товарищ Дядок, — прибавил он, чуть повышая голос, — на партийном собрании. Как коммунисты будем говорить. Потому разговор наш не простой. Идём, хлопцы! — крикнул он и вышел, сильно хлопнув дверью.

## Глава 11

Даша нетерпеливо ждала возвращения «делегации» от Деда. Несколько раз выбегала к калитке, смотрела на дорогу. В сумерках каждый прохожий кажется тем, кого ждёшь; каждая новая ошибка приносит уже не разочарование, а тревогу.

«Что ж они так долго у Деда? — беспокойно думала Даша. — К добру это или к худу? Неужели Дед не согласится? Что же будет тогда?» «А ничего не будет! — думала она уже через минуту. — Будут работать, как раньше работали, только и всего!» Но она знала, что «как раньше» уже не будет, не может быть, а как теперь будет — не знала и потому металась.

Она одна была со своей тревогой, одна во всём посёлке. Никто на шахте не знал, зачем пошли к Деду закопёрщики; никто об этом и не думал. И не гадал никто, что в эту минуту, может статься, решается рабочая судьба каждого.

Посёлок жил своей обычной жизнью, сумерничал. Наступал тот тихий вечерний час, когда люди, вернувшись с работы, думают уже только о себе и о своём, — час позднего шахтёрского обеда и послеобеденного отдыха. Все собираются вместе под акацией. Набегавшиеся за день дети послушно и устало припадают к мамкиным коленям. Сонная Жучка заби-

ваются в свою нору под крыльцом. Куры прячутся в сарайчике. Всё прибивается к своему затону.

С холмов в посёлок возвращается шумное козье стадо — крупный рогатый скот шахтёров. Козочки, дробно стуча копытцами, резво, как школьницы после уроков, разбегаются по своим дворам и сразу из безымянной и бессловесной скотины превращаются в милых Манек, Дусек, Белянок — любимых подруг шахтёрской детворы. Даша видела, как в соседний двор верхом на Маньке-козе торжественно въезжала Манька-девочка; рядом, осторожно придерживая ребёнка за плечи, шёл отец. И все были счастливы — и ликующая девочка, и сытая козочка, а больше всех отец, усатый проходчик из знаменитой бригады Фёдорова. Но сейчас он был не проходчик, и не шахтёр, и не знаменитый ударник, он был просто счастливый отец.

В этот час во всём посёлке дружно закипают самовары, словно в сотнях маленьких доменных печей поспела плавка. Самоварный дымок низко-низко плывёт над плетнями и палисадниками, и сладкий запах древесного угля напоминает шахтёрам не забои, где целый день рубились они в каменном угле, а детство: лес, костры в ночном, туманы над рекой... В этот час в каждом, даже самом оседлом шахтёре, вдруг просыпается позавчерашний крестьянин или даже внук крестьянина. Властно тянет к земле. На этот случай у шахтёра есть огород, или клумба с цветами, или просто узенькая полоска вскопанной земли вокруг хаты. И дотемна ползают по грядкам пожилые забойщики, крепильщики и машинисты, сосут погасшие трубки, возятся около кустиков, дышат младенческими запахами рассады и в этом находят свой отдых...

В этот час незримо, неслышно и вдруг расцветает у порога ночная фиалка. Могучий аромат её внезапно разносится над посёлком, всё покрывая собой. Он, как сигнал, как звук боевой трубы, стучится в окна общежитий и барачных и всех приводит в смятение. Девчата откатчицы, сортировщицы и плитовые начинают метаться по комнатам. Они уже сняли свои шахтёрские робы — жёсткие куртки и брезентовые штаны — и превратились в обыкновенных девушек — тоненьких и беленьких, нетерпеливо готовых к счастью. Теперь они носятся по коридорам, наскоро глядят в сушилках свои ленточки, бантики, блузки, «плюются» единственными на всё общежитие заветными щипцами или раскалённым гвоздём и выпархивают лёгкими стайками из общежития: идут «страдать» на Конторскую улицу, как ещё недавно ходили «страдать» на колхозную левую...

Словом, все в посёлке в этот заветный час думают о себе и о своём: мечтают о счастье, ищут его, находят, теряют, вновь надеются найти... И сколько людей — столько и вариаций счастья.

Только одна Даша стоит у калитки и думает в этот час не о себе, а об отце и ребятах, которые тоже пошли к Деду не ради своей, а ради всеобщей выгоды.

Она ждёт, нервничает и, наконец, начинает злиться на самоё себя: «Да что в самом-то деле, чего я-то беспокоюсь? Что мне в их рекорде? У меня у самой — тяжёлая зима впереди. Я скоро уеду».

Но она не могла уже не думать о деле, ради которого пошли к Деду стец и товарищи, не могла не волноваться за исход его. И если б все люди в посёлке знали, что делают сейчас у Деда закопёрщики, что предлагают, за что дерутся, — они тоже забросили б свои огороды и своих коз и все свои маленькие, частные дела и заботы и стояли бы, как и Даша, у калиток, нетерпеливо ожидая возвращения ходяков.

Наконец пришёл отец — один. Даша радостно бросилась к нему на встречу, но отец как-то испуганно отстранил её от себя, словно боялся расспросов, потом с досадой махнул рукой и вошёл в дом. Даша поняла: у Деда ничего не вышло.

На минуту она растерялась. «Что ж теперь будет?»

И вдруг рассердилась, не на тупого Деда, а на ребят. «Эх, шляпы! Не могли толком доказать! — презрительно думала она. — Ах, отчего я сама не пошла? Уж, я бы!..» Злая, она вошла в дом. Отец что-то сердито кричал в кухне. Потом выскочил оттуда, схватил кепку и ушёл из дому.

— Бешеный!.. — печально улыбаясь, сказала ему вслед мать. — Словно я виновата... — Она зябко закуталась в белый оренбургский платок и прибавила с бабьей насмешливой покорностью: — У мужиков всегда так: на шахте у них аукнется, а на кухне у нас — откликнется... Будем одни пить чай, доченька? — спросила она, вздохнув.

Но Даша тоже не могла теперь сидеть дома.

— Я пойду, мама, — сказала она решительно.

— Куда? — удивилась мать.

— Пойду на люди.

Она набросила косынку на плечи и выскочила на улицу... «Пойду на люди» — этим точно определялось то, что нужно было сейчас делать; она понимала отца — дома оставаться невозможно.

Она пришла в клуб. Там сегодня было весело и шумно, затевались танцы. Подлетел Митя Закорко, курчавый, озорной, в алой майке. Топнул перед Дашей ножкой, схватил, закружил. Даше показалось, что она внезапно попала в костёр — на Мите всё пылало, всё пламенело: майка, золотисто-рыжая шевелюра, щёки, глаза... Даша еле вырвалась из его жарких рук, еле спаслась от этой бешеной шахтёрской пляски без музыки и лада. Митя хохотал. Ни Андрея, ни Виктора, ни Светличного в клубе не было.

Даша пошла в шахтпартком. Ни здесь, ни в парткабинете ребят не было тоже. Не было их и в комсомольском комитете, и в шахткоме, и на Конторской улице, и в летнем саду в кино...

Только сейчас, после долгого кружения по улицам посёлка, Даша, наконец, призналась себе, что ищет ребят. «Зачем?» «А чтоб отругать их... Сказать им, что они — шляпы! Ух, и задам же я им перцу!» — говорила она себе. Но чем дольше искала и не находила их, тем больше тревожилась, и если б сейчас нечаянно встретила — бросилась бы им на шею. А уж потом... Ну, потом стала бы и ругать. За то, что её с собой к Деду не взяли, за то, что всё дело провалили... шляпы!

«Где ж они прячутся? — металась она. — Неужели дома сидят?» Ей вдруг представилось, как молча, друга на друга не глядя, бродят ребята по своей одинокой берлоге, тычутся в углы, надсадно курят, молчат и в этом унылом кладбищенском молчании хоронят свои мечты: Виктор — о славе, Андрей — о любви, Светличный — о великом подвиге.

«А вот придю, растормошу их... скажу, что нечего нос вешать. Ещё ничего не потеряю», — думала она, уже направляясь к общежитию, где жили ребята. Она никогда не бывала у них, но общежитие это знала. «Завтра же поташу их к Деду, в горком, в трест. Не может такое дело пропасть зря! Не может!» Она уже не шла, а бежала по улице. Ну вот — они отчаялись, опустили руки, теперь она сама за всё возьмётся, всё сама устроит... Будь она парнем, чёрт возьми, она и рекорд сама бы поставила!

— Где Андрей Воронько живёт? — налетела она на сторожиху, дремавшую в коридоре подле ещё тёплого «титана».

Старуха испуганно проснулась и показала.

Даша с треском рванула дверь, влетела в комнату и остановилась. Ребят не было и здесь.

Она растерялась. Так ясно представляла она эту минуту, как влетит в мрачную, накуренную берлогу, словно свежий ветер с гор, словно Светик в тьму забоя и крикнет с порога: «Эй, свистать всех наверх, ребята!» — и вдруг — никого нет. Пусто.

Впрочем, какая-то девушка смущённо поднялась ей навстречу. Девушка была незнакомая — беленькая и чистенькая, в лёгкой сиреневой блузке. «Странно, что глаза у неё карие, — бегло подумала Даша. — Ей полагаются синие...»

— Здравствуйте! — запинаясь, сказала она. — А... никого нет?

— Нету... — смутилась и девушка. — Я сама... тоже... случайно... — и вся залилась краской.

«Как же она здесь?» — подумала Даша, не зная, что теперь делать: уходить или оставаться ждать... А ребята, где же они всё-таки? Неужто что-нибудь с ними стряслось?..

— Вы не знаете, — спросила она, — они так и не приходили? — её голос невольно дрогнул. Кареглазая девушка побледнела.

— Нет. А что-нибудь случилось?.. — спросила она, замирая от страха.

«Да ведь это Вера! — досгадалась Даша. — Это Вера, моя «соперница». Она вспомнила, как подтрунивал Виктор над Андреем, и усмехнулась. Так вот она какая, эта Вера! Ну, что ж, — славная девушка и хорошенькая... Она ещё раз посмотрела на Веру. Девушка, волнуясь, стояла перед нею и в тревоге прижимала к груди какую-то вышитую сорочку — дотоле она держала её в руках. «Вероятно, Андрею сорочку вышивает. Так она, действительно, его любит? И этот букет цветов на тумбочке — это тоже от неё...»

— Нет. Я думаю, что с ними ничего не случилось, — сказала Даша. — Может, мне сесть? — Теперь ей уже не хотелось уходить.

— Ах, простите, ради бога! — спохватилась Вера. — Вот сюда, пожалуйста. — Она подвинула стул.

— А разве вам Андрей ничего не говорил о том, что они идут к Деду?

— К кому? Нет, ничего не говорил...

«А он её несколько не любит! — подумала Даша. — Она, наверно, и про рекорд ничего не знает». Но это было почему-то приятно Даше.

— А вы, вероятно, Даша Леснякова? — вдруг тихо спросила Вера.

— Да... — удивилась Даша. — Разве вы меня знаете?

— Нет... но я так думаю... — смутилась Вера.

— Вам Андрей обо мне рассказывал, что ли? — усмехнулась Даша. И рассердилась. Вот ещё новости! А девочка, небось, ревнует и мучается. Да берите, берите, хоть сейчас возьмите себе вашего вислоухого Андрея! Зачем он мне? Шляпа! Даже Деду ничего доказать не мог!

— Нет, он ничего мне про вас не говорил! — тихо сказала Вера и грустно улыбнулась. — Он такой молчаливый...

Андрей действительно ничего не говорил ей о Даше. Он вообще никогда и ни о чём не разговаривал с нею, и она привыкла к этому. Она была даже рада, что он молчит, — она растерялась бы, если б он заговорил с нею. И тогда он увидел бы, что она дурочка... Нет, пусть молчит, только бы не хмурился и не гнал прочь от себя.

Но теперь она ревниво подумала: «А с нею, с Дашей, он не молчит. С нею он обо всём разговаривает! — Она исподлобья, украдкой рассматривала Дашу. — Конечно, она умная, красивая, городская. Она в Москве учится. Он её любит». И ей вдруг стало так горько, так горько...



Ей никто не говорил о Даше и о любви Андрея к ней, но она знала, знала, давно уже знала и чувствовала это. Она и сама не понимала, откуда пришло к ней это з н а н и е, но именно в эту минуту кончилась юность Веры: девочка стала женщиной, женщиной, которая любит и готова постоять за свою любовь.

Но тут она опять подумала об Андрее: она так и не узнала, что с ним.

— Вы только не скрывайте, пожалуйста... — торопливо сказала она Даше. — Что случилось с Андреем?

— Да ничего с ним не случилось, ничего! — рассердилась Даша. — Шляпа ваш Андрей! — И она неожиданно для самой себя стала сбивчиво рассказывать о событиях сегодняшнего вечера — об идее рекорда и провале у Деда.

Вера молча слушала. Она не всё понимала из этого растрёпанного рассказа, да и техническая терминология, которой щеголяла Даша, была почти недоступна ей, но одно для неё тут же выяснилось: Андрею плохо, а эта девушка не любит его...

«Так она его не любит?» — подумала Вера и, странное дело, это открытие её даже не обрадовало. Оно обидело её. Обидело за Андрея. «Но как же, как же можно его не любить?» Она всполошилась. «Боже мой, а уж он как любит! Что ж теперь будет с ним?» В эту минуту она готова была отказаться от всех прав своей преданной любви.

Но в это время раздались громкие шаги за дверью, дверь распахнулась и в комнату ввалились ребята: Светличный, Андрей, Виктор, все трое в странном виде.

## Глава 12

Виктор был пьян. Даже не пьян, а то что называется «пьяненький», то есть находился в том жалком, но безобидном состоянии полной беспомощности, разнеженности и телячьего благодушия, которое свойственно не пьяному, а именно пьяненькому...

Уже давно замечено, что человек в пьяном виде ведёт себя противоположно тому, каков он трезвый: весёлый человек — мрачнеет, молчаливый — становится болтуном. Так и Виктор, озорной и дерзкий в трезвом состоянии — в пьяном был размягчённо кроток, тих, даже слезлив. Ему хотелось всех обнять, перед каждым стать на колени, в чём-то виниться, каяться, просить прощения; все люди казались ему сейчас хорошими, и только он один был плох.

«Ну что ж, не взыщите, выпил! — говорил весь его благодушно-птрёпаный, виноватый вид и дурашливая, жалкая улыбка. — Выпил, извините великодушно».

Но как раз Светличный и Андрей и не склонны были прощать Виктора. Беспощадные и прямолинейные, как все молодые люди, они и не понимали и не прощали этого грехопадения. Правда, после неудачи у Деда они все были встрёпанные и взъерошенные, им всем хотелось «отвести душу». Слишком неожиданным был отказ, слишком странной — мотивировка.

— Вот! — невесело сказал Светличный. — Наглядный урок истории: мёртвое хватает за ноги живое.

Но ни ему, ни Андрею и в голову не пришло «отводить душу» в пивной.

— Ничего! — сказал, тряхнув лохматой головой, Светличный. — Не всюду же мертвецы!

На перекрёстке они расстались с дядей Прокопом и молча пошли домой. Где-то по дороге, в сумерках, Виктор и исчез.

Только час тому назад друзья нашли его в пивной, у вокзала. Виктор уже «отвёл душу». Лёгкий и пустенький, он сидел среди шумной компании и горланил: «Шу-ме-е-ел камыш, де-ре-е-вья гну-у-лись...» Увидев Светличного, он сразу притих. Притихла и компания — чёрен и страшен был в эту минуту Светличный.

— Рекорды ставишь? — прохрипел он, окинув недобрый глазом длинный ряд пустых пивных кружек, и вдруг схватил Виктора за шиворот и рванул к себе.

— Не бей! Не бей его! — вскрикнул Андрей, бросаясь к товарищу.

И Светличный не ударил.

Он только потряс что было силы Виктора, так, что у того в глазах весь мир перекосялся и поплыл по диагоналям, а затем поволок из пивной на улицу. Виктор блаженно улыбался. Мир, даже перекосившийся, всё равно казался ему сейчас прекрасным, а друзья, даже грубо обращавшиеся с ним, всё равно — самыми лучшими и самыми добрыми людьми на земле. Из всех троих он один был безмятежно-счастлив, но ему никто не завидовал.

Андрей никогда ещё не видел друга в таком жалком, овечьем состоянии. Они оба принадлежали к тому поколению шахтёров, которое уже не считает пьянство доблестью. Пьянство есть пьянство, то есть свинство, и больше ничего! Было противно смотреть, как раскис Виктор: розовые слюни текли по подбородку; в первый раз друг вызывал омерзение.

С этим чувством брезгливости и отвращения они и втащили Виктора в общежитие. Но здесь оказались девушки — Даша и Вера. Приходилось сдерживаться. Ребята подвели Виктора к койке и усадили.

— Сиди, чёрт! — строго приказал ему Светличный и, обернувшись к девушкам, хмуро буркнул: — Здравствуйте! — Ему, как и Андрею, было стыдно за товарища.

— Здравствуйте! — ледяным тоном ответила Даша. Она стояла, скрепя по-бабьи руки на груди и поджав губы, совсем как мать, когда отец возвращался под хмельком домой. — Хороши! — прибавила она, бросив уничтожающий взгляд, но не на пьяного Виктора, а на Андрея. В ней всё кипело. «А я-то, я-то, дура! — думала она, кусая губы. — Я-то стремглав бежала к ним, чтоб поддержать, утешить. А они вот как быстро утешились!»

А виновник всех этих переживаний, Виктор, сидел на койке и бессмысленно улыбался... Он понимал, что сделал что-то неправильное, некрасивое, но ему было хорошо сейчас, легко и радостно, не то что три часа назад, и все люди казались ему милейшими милягами, а всё в жизни — простым и незамысловатым, не стоящем огорчения, трин-травой.

— Беленькие... чистенькие... — умильно сказал он, глядя на девушек, и вдруг весело подмигнул им. Потом нахмурился и спросил: — А я — свинья?

— Ладно уж! — поморщившись, перебил его Андрей. — Сиди!

— Нет, я свинья! — гордо объявил Виктор. — А почему?

Ему показалось, что он должен всё это объяснить, высанить, чтоб не было недоразумений и огорчений у хороших людей. Он встал и сделал шаг навстречу девушкам, но пошатнулся и чуть не упал.

— Извиняюсь! — сказал он, уцепившись за спинку кровати. — Я никого не обидел?

— Ложись спать. Живо. Слышишь? — прикрикнул на него окончательно разозлившийся Светличный.

— А почему? — удивился Виктор. — Почему такое? Почему спать, если хорошая компания? Я ведь никого не оскорбил? Тогда — извините.

И он опять сделал движение в сторону Даши, та испуганно и брезгливо отскочила. Но Виктор не заметил этого. Ему казалось, что всем непременно хочется поскорее услышать от него, почему он выпил. Он обвёл ликующим взглядом хмурые, встревоженные лица товарищей и остановился на Вере — жалостливые глаза девочки были полны слёз.

— Понимаешь, выпил, — сказал он ей. — А почему? — И, словно сам удивляясь, развёл руками. — Я так объясняю: стал свиньёй! — Он радостно засмеялся. — А почему? А потому! Хотел, как орёл, — в небо, понимаешь? А Дед меня мордой в грязь. — Он опять засмеялся. — И крылышки мне чик-чик, и отчищал, — он показал пальцами, как отчищали ему крылышки: чик-чик, и залился бессмысленно-весёлым смехом, от которого всем стало жутко. А ему думалось, что всем очень смешно. — Мне товарищ Дед так пояснил: не бывать, мол, тебе, шахтёр, орлом, будь свиньёю! Ну, я и того... — он хлопнул себя пальцем по воротнику, подмигнул и хотел опять захохотать во всё пьяное горло.

Но тут вспомнилось ему всё, что случилось с ним в этот вечер, всё, с чём он старался забыть в пьяной, весёлой компании посторонних шахтёров и что, казалось, забыл и похоронил на дне пивной кружки, а вот оно встало со дна и снова мутит его и мутит... Да что ж это такое! Что ж это такое сделали с ним, с Виктором Абросимовым, забойщиком первого класса, что нет ему теперь ни радости, ни покоя!

— Караул! — шёпотом сказал он и вдруг опустил на пол и заплакал.

Это было так неожиданно, что все смутились. Андрей порывисто рванулся к нему, взял за плечи:

— Витя, что ты? Зачем? Ну, встань, встань, пожалуйста! Ну я тебя очень прошу!

Но Виктор продолжал сидеть на полу и плакал горькими пьяными слезами.

И даже Светличный не знал, что с ним теперь делать.

Тогда Даша решительно шагнула вперёд.

— А ну, вставай! — приказала она. — Дур-рак!..

Он удивлённо поднял на неё глаза, но плакать перестал.

— Дур-рак!.. — сказала она ещё раз и прикрикнула: — Ну, вставай же!

Он послушно встал и зачем-то поднял руки вверх. Так и стоял перед ней, словно сдавался в плен.

А она уже знала, что надо делать.

— Снимай пиджак! — скомандовала она тоном, не допускающим возражений.

Ничего не понимая, но уже улыбаясь, он снял пиджак. Уронил его на пол. И опять поднял руки вверх.

— А теперь ботинки! — приказала Даша.

Ухватившись рукой за спинку кровати и подпрыгивая на одной ноге, он стал снимать и ботинки; теперь всё это казалось ему смешной, милой игрой.

— Которая его койка? — меж тем спросила Даша и, когда ей указали, быстро раскрыла постель.

— Вот! Уже! — гордо сказал Виктор, протягивая ей башмак.

— А теперь — рубашку и штаны. Живо! — приказала Даша.

Вера, вспыхнув, отвернулась. Виктор обвёл всех недоуменным, тревожным взглядом, словно спрашивая: а этой команде тоже нужно подчиняться, это тоже входит в правила игры?

— Ну! — нетерпеливо прикрикнула Даша, и он поспешно стал раздеваться.

Даша равнодушно смотрела на него. В трусах и майке он был похож на спортсмена. У него было красивое, стройное, тугое тело; даже пьяненькое, оно не могло стать вялым и дряблым. Он был великолепно сложен, и всякая другая девушка, не Даша, вероятно, заметила бы это. А она только одно видела: он — пьян, и его нужно уложить спать.

— Ну! — притопнула она ногой. — Марш в постель!

— А почему? — заартачился вдруг Виктор. — А я не хочу!

Но он уже весь был в её власти.

— Нет, я не хочу! — повторил он ещё раз, но уже неуверенно.

И она, торжествуя и сама восхищаясь и удивляясь своей власти, и уже всё прощая Виктору за это, увидела, как он, пошатываясь, пошёл к постели.

Разумеется, он подчинился ей только потому, что был пьяненький. Ему не хотелось никого обижать. Он чувствовал себя виноватым перед всеми. Он был беспомощен и жалок. Но друзья презирали его за это, а Даша — жалела.

Он послушно пошёл к своей койке. Спать ему не хотелось. Ещё не всё успел он высказать, не всё объяснить. Ещё надо было поговорить о том, почему же он всё-таки не орёл. Но Даша... Он вдруг лукаво прищурился: вот что он сделает — он перехитрит её. Он притворится, что спит. Он ведь никого не оскорбил? Пожалуйста, он ляжет.

И он лёг и даже натянул одеяло на голову, но тотчас же высунулся из-под одеяла и крикнул:

— А я уже сплю! — и для правды зажмурил глаза.

И вдруг — в самом деле уснул. Уснул к всеобщему удивлению. Уснул, как ребёнок, набегавшийся и досыта намаившийся за день. С его лица слетело всё пьяное, мужское, нечистое: младенчески полуоткрылся мягкий, влажный рот, девичьи ресницы прикрыли глаза, лицо стало бледным и милым. И только сейчас впервые увидела Даша, что Виктор красив.

— Да. Хорош, когда спит! — сказал Светличный, словно угадав мысли Даши. — А ты — молодец, Даша! Ну и ну! — удивлённо покрутил он головой. — Ловко ты его укротила!

Она смущённо засмеялась и с любовью почти материнской посмотрела на тихого Виктора: он так мило посапывал во сне! И губами сладко причмокивал, как ребёнок.

— Я пойду. Извините, пожалуйста! — вдруг нервно сказала Вера. Она давно уже мучилась неловкостью. Теперь она загоропилась и, хотя никто её не удерживал, не ушла, а выбежала.

— Что с ней? — удивился Светличный.

Потом посмотрел на Андрея и Дашу и нахмурил косматые брови. «Ох, пора и в это вмешаться мне!» — вздохнув, подумал он. Даже в личные дела своих друзей он не мог не вмешаться.

— Пойду и я! — сказала Даша. — Андрей! Проводишь?

Андрей молча кивнул головой.

Они вышли из общежития и пошли по улице.

— Ты не сердчай на Виктора, — тихо попросил Андрей. — Он это так, он не пьяница...

— А я оправдываю его! — запальчиво ответила Даша. — Я б на его месте ещё б все стёкла у Деда выбила.

— К Деду мы напрасно ходили, — нехотя сказал Андрей. — Дед — отсталый человек.

— Отсталый?

— Да. Совсем отсталый.

— А ты, что ж, передовой? — насмешливо спросила она.

— Я? Да, — просто ответил он. — Я — передовой. Я о государстве думаю.

Даша искоса посмотрела на него, но от насмешки удержалась. Она только удивилась про себя: полно, тот ли это Андрей, что всего полтора месяца назад робко ташил за нею чемодан с вокзала?! Тогда он показался ей неуклюжим, мешковатым и, если правду сказать, туповатым парнем — пентюхом. Что это с ним теперь? Чего доброго, он скоро и самоё Дашу запишет в отсталые.

— Нам надо было сразу же к Нечаенко итти, к парторгу, — сказал Андрей, словно думая вслух.

— А его сейчас нет на шахте. Он в отпуску.

— Ну, приедет.

— И ты думаешь, он поддержит вас?

— Поддержит! — уверенно сказал Андрей. — Как нас не поддерживать? Мы полезное предлагаем...

— Ну-ну! — передёрнула плечами Даша. — Блажен, кто верует! — Теперь она возражала только ради того, чтоб возражать. Вот ещё новости! Она не позволит ему взять над ней верх! Если б он утверждал, что снег — белый, а уголь — чёрный, она и тогда бы спорила. Он ведь влюблён в неё, это все знают... А она... она ещё не решила. Значит, верх за нею!

— А ты не веришь, что парторг поддержит нас? — встревоженно спросил Андрей. — Отчего?

— Ну, мало ли! — уклончиво ответила она; ей, собственно, и нечего было отвечать. — В жизни нельзя быть легковерным. Надо всегда готовиться к худшему, — заключила она торжествуя.

— А ты в коммунизм веришь? В мировую революцию?

— Ну, при чём тут это? — рассердилась она.

— Нет! — покачал он головой. — В хорошее всегда надо верить!

Он сказал это, как мужчина, — хорошо и просто. Странно, что девушке это не понравилось. Но она сама была парень в юбке. Она терпеть не могла покровителей и утешителей, она не нуждалась в подпорках, она сама мечтала стать опорой родному человеку.

И ей вдруг вспомнился Виктор, как он лежал, бедняга, скрючившись, с детской, страдальческой улыбкой на устах... Вот он-то всегда будет и спотыкаться и ошибаться, и ему всегда будут нужны и поддержка, и утешение, и дружеский совет.

### Глава 13

В середине августа из отпуска вернулся Нечаенко, парторг «Кругой Мариин». В тот же день он был на наряде второй смены. Здесь с ним и познакомился Светличный, проводивший наряд участка вместо внезапно занявшего Прокопа Максимовича.

— А вас тут два молодых человека ждут не дождутся, товарищ Нечаенко! — широко улыбаясь, сказал он.

— Кто?

— Андрей Воронько и Виктор Абросимов.

— А-а! А что у них?

— Да есть одна идея... Посоветоваться хотят.

— Идея! Насчёт чего? — заинтересовался парторг. — Так пусть заходят.

— Ну, сегодня-то вы будете отдыхать с дороги.

— Так давайте завтра.

Так и условились. Но в тот же вечер Нечаенко неожиданно сам пришёл в общежитие. Ребята только ахнули, увидев его в дверях своей комнаты.

— Принимаете гостя, хлопцы? Нет? — весело спросил Нечаенко с порога. — Зашёл на огонёк. Можно?

— Та входите, входите!.. — растерянно пригласил Андрей.

Нечаенко вошёл в сопровождении дяди Онисима и сразу же заполнил собою всю комнату, хотя был он человек невысокого роста, худощавый, стройный и проворный.

— Давно я у вас не был! — весело сказал он. — Ну, как вы, хлопцы, не женились? Пора, пора. Женихи богатые... Э, а крыша-то у вас течёт! — заметил он сырое пятнышко на потолке. — Как же это, дядя Онисим, а? Не годится! Ох, видно, придётся взяться за тебя.

— Ну и характер у тебя, товарищ Нечаенко! — покрутив головой, ответил смущённый дядя Онисим. — А кругом говорят: добрый, добрый... — Он потоптался ещё немного в комнате, а затем деликатно вышел.

А Нечаенко уже стоял подле этажерки и перетряхивал «библиотеку» хозяев: две-три растрёпанные книжки да с десяток справочников и брошюр.

— Не густо у вас с культурой, герои, не густо! — говорил он при этом. — Удивляюсь я вам: богатые люди, забойщики, а хороших книг купить себе не можете. Или денег жалко?

Он пришёл в гости, а держал себя как хозяин. Такова уж была его манера: слишком много жизненной браги клокотало у него в груди. На него было приятно глядеть. От него ещё пахло морем. В своём полотняном костюме, тибетейке и белых тапочках он совсем не был похож на парторга, тем более на парторга шахты. Сейчас он был просто артельный парень, шумный, весёлый, озорной.

Таких ребят в народе называют заводилами. Такие всегда сами собой и часто против собственной воли оказываются в закопёрщиках. Они всегда — центр водоворота. Даже отдыхая в санатории, они невольно, но зато уж по горло влезают в общественные дела, становятся организаторами всех и всяческих экскурсий, вылазок и турниров, зачинщиками бунтов против шеф-повара и вождами всенародного движения за отмену мёртвого часа. За месяц отдыха они устают больше, чем за полгода работы. Даже не умея петь и не имея голоса, они всё равно — первые запевалы хора...

— А я пришёл послушать вас, — сказал Нечаенко, отходя от «библиотеки». — Говорят, у вас, ребята, идеи завелись...

— Та какие там идеи! — смутился Андрей. — Так, думка одна, действительно, есть.

— А думка есть?

— Та есть же...

— Ну, так выкладывайте свою думку! — сказал Нечаенко, подошёл к столу, сел и положил на стол локти.

Всё это время Светличный цепко приглядывался к нему. Парторг ему понравился, несмотря на свои тибетейку и тапочки. Светличный уже знал, что Нечаенко совсем не такой простодушный, беспечный парень-рубаша, каким кажется с первого взгляда. Он много слышал о нём, особенно от Прокопа Максимовича, давнего члена горкома партии.

— Нечаенко у нас — забияка! — ласково и с уважением говорил дядя Прокоп. И эта характеристика для Светличного была самой важной: работников смиренных и добреньких он не терпел и им не верил. Ему больше по душе были зубастые. А Нечаенко, видать, и был таким. На пленумах и конференциях его выступления всегда нетерпеливо и оживлённо ждали. Знали — скучно не будет. Знали, что этот парень ничего и никого не боится, и прятаться он не станет, и сбить его невозможно; не остановится он, даже если первый секретарь нахмурится, а второй обидится.

Наш народ любит смелое слово куда больше, чем острое. Нечаенко и не был остряком в том смысле, как это принято понимать. Не был он и записным оратором. Его речи не блистали ни заранее приготовленными шутками, ни картинными фразами, ни поговорками. Зато был в них огонь неугомонного забияки и искренность человека, болеющего за общее дело. Эти речи надо было не читать, а слушать.

— Думка у нас простая... — нерешительно сказал Андрей. — А как её высказать — даже не подберу...

— Недовольны мы! — хмуро сказал Виктор. — Ходу нам нету.

— Кому — вам? — спросил Нечаенко.

— А забойщикам... кому ж ещё?

— В общем, задумали ребята совершить небольшую революцию в лаве, — вставил Светличный.

— Надеюсь, бескровную?

— А кто его знает! Парламентский путь пробовали — не вышел.

— Ну, так рассказывайте! — решительно сказал Нечаенко. — Если надо кровь пустить — пустим! Ну? — И он всем телом подался вперёд, готовый слушать.

Ребята переглянулись.

— Говори ты, Федя... — вздохнув, пробормотал Андрей. — У тебя складно выйдет.

— Хорошо! — И Светличный стал обстоятельно рассказывать идею рекорда.

— Постой, постой! — вдруг удивлённо перебил его Нечаенко. — Да ведь это же очень просто!..

— Чего проще! — улыбнулся Светличный.

— Это ведь элементарное разделение труда. Так я понимаю?

— Да, так!

— Нет, в самом деле, удивительно просто! — растерянно повторил Нечаенко и в волнении потёр переносицу. — А с завшахтой вы толковали об этом?

— Да.

— И с главным инженером?

— Тоже.

— Ну и что же они?

Светличный только пожал плечами.

— Не поддержали нас начальники, — угрюмо сказал Виктор.

— Отчего же?

— Боятся... А чего боятся, и сами не знают.

— Да-а... Значит, мировые авторитеты против вас? А вы не покоряетесь?

— Да как же этому можно покориться, Николай Остапович? — вскричал Виктор.

— Дерзкий вы народ! — усмехнулся Нечаенко. — А ну, давайте-ка поподробнее вашу идею... — И он начал спрашивать с подробностях,

всё придиричивей и придиричивей, просил повторить по несколько раз одно и то же, доискивался смысла в мелочах. Ребята охотно отвечали ему, и опять всё получалось просто, ясно и убедительно. Но именно эта простота и пугала его. «Отчего ж, если так всё просто и очевидно, никто раньше этого не применил?» Значит, есть тут какая-то заковыка, и эту заковыку, вероятно, легко разглядел бы любой инженер, любой техник или даже старый, опытный шахтёр. Если Нечаенко и не видит её, так только потому, что он не специалист.

Да, он не был специалистом. Он не был ни горняком, ни инженером, ни техником. О своём образовании он обычно говаривал с грустной иронией: «У меня образование низшее, незаконченное». И это было его самое большое место.

Он был черноморец, сын балаклавского рыбака и сам рыбак; его даже крестили Николаем в честь Николая-чудотворца, покровителя моряков. Его детство пришлось на годы гражданской войны, он и начального училища окончить не успел. Правду сказать, тогда он мало горевал об этом. Рыбачий парус на шаланде, надутый ветром, увлекал его в куда более интересные плавания!

Но вот он стал комсомольцем. Стал в те дни, когда парусом была уже путёвка на рабфак, а попутным ветром — тот, что дул на север. Подхватило этим ветром и Николая Нечаенко. Он оказался в Ленинграде, на рабфаке. Где-то далеко-далеко впереди замаячила и желанная профессия — кораблестроителя.

В это время на всю страну прошумел призыв партии: послать 25 000 добровольцев-рабочих в деревню! Рабфаковцев это не касалось, но в студенческих общежитиях об этом говорили и много, и горячо. Двадцатипяти тысячникам завидовали! Мудрено ли, что встрепенулся и Николай Нечаенко, едва только услышал призыв трубы? Он сам не сознавал, что делает. Сознание тут было ни при чём. Он просто повиновался неукротимому движению сердца. Каждый день читал он в газетах о классовых боях в деревне. Уже были жертвы, уже пролилась кровь. И Нечаенко пошёл добровольцем.

Он стал рядовым солдатом коллективизации — пропагандистом, избачом, сельским кооператором, наконец, председателем сельсовета. Деревня сделалась для него университетом жизни, академией битв и борьбы. Ни разу не пожалел он, что ради неё бросил рабфак. Но чем дальше, тем острее чувствовал он, что учиться всё-таки надо. Его уже перегоняли деревенские ребята из семилетки. Подвернулась путёвка на курсы механизаторов сельского хозяйства. Он поехал. Ну что ж, решил он, кораблестроителем не буду, стану механизатором. И жадно бросился на учёбу. Но на курсах оказалось гнилое руководство. Недолго думая, Нечаенко полез в драку. Драка была жестокой. Он вышел из неё победителем. Его избрали секретарём партийной организации курсов. А через два месяца он уже был инструктором горкома партии.

— Активность меня погубила! — говорил потом Нечаенко. — Эх, надо было не обнаруживаться!..

Но когда в третий раз вырвался он на учёбу — в областную партийную школу, повторилась та же история. Напрасно давал он себе зарок не обнаруживаться, «молчать в тряпочку», сидеть тихо, как мышь. Он не умел молчать в тряпочку. Нечаянно для себя он выступил на партийном собрании. Его заметили. Горкому как раз дозарезу нужен был крепкий и честный человек в местную промышленность. «Доучишься потом!» — пообещали Нечаенко. Он подчинился. При очередной перетасовке кадров его «перебросили» в политотдел на транспорт, а при



следующей — в район, на уголь. Его считали крепким, способным, растущим работником, а сам Николай Нечаенко с грустью видел, что постепенно превращается он просто в профессионального функционера. Правда, у него появились хватка, опыт и талант организатора, он научился всё хватать на лету; на каждом новом месте он добросовестно изучал дело, технику, по ночам сидел за книгами и справочниками. Но ему нехватало тех элементарных, систематических, именно школьных знаний, которых никакая интуиция и никакой талант заменить не могут. И он сам замечал это с тоской и тревогой.

Он злился на себя за эти непрощенные мысли. «Да кто я такой, чтоб жаловаться? Я — рядовой солдат партии. Партии виднее, где мне стоять, где драться, где умирать!»

Но душой он уже угадывал, что партии теперь мало полезны хоть и преданные, но неграмотные солдаты. Сейчас нужны коммунисты-инженеры, коммунисты-агрономы, коммунисты-учёные. Кадры решают всё. И в комитетах должны сидеть образованные люди. Нельзя руководить нарсдом, имея «низшее, незаконченное...» Как остро он почувствовал это сейчас! Эх, если бы был он инженером! Как поддержал бы он этих молодых, горячих ребят, затеявших «революцию в лаве»! Как помог бы им!

А им надо помочь! Всем своим опытом партийного работника, чуть-кого ко всему новому и передовому, догадывался он, что ребята правы. Главное, то было дорого, что идею свою ребята выносили и выдвинули сами. «Значит, думают по-государственному, вот что дорого! Да ещё как смело думают!»

— Вот что, товарищи, — взволнованно сказал он, — чую я, что хорошее дело вы затеяли. Ещё не знаю, выйдет ли, а — верю... Всей душой верю.

— Спасибо вам, Николай Остапович! — обрадованно вскричал Андрей.

— Это вам спасибо, — ответил парторг. — Теперь вот что мы сделаем, хлопцы. На всякий случай потолкую я ещё с Дедом и с главным инженером. А завтра вечером поеду в горком партии к товарищу Рудину. Или ещё лучше — к товарищу Журавлёву. Он углем занимается. Вы мне только ещё раз и поподробнее расскажите суть дела, и во всех деталях.

Он просидел у ребят ещё полтора часа и ушёл, когда уже совсем стемнело...

#### Глава 14

Нечаенко не пришлось ехать в горком к товарищу Рудину. Рудин сам. ранним утром появился на «Крутой Марии» и, как водится, сразу же отправился на наряд. Так было заведено с давних пор: секретарь должен побывать на наряде.

В жизни каждой шахты и каждого шахтёра нарядная занимает такое особое, такое своеобразное место, что об этом не легко рассказать. Официально «нарядная» — это помещение, где три раза в сутки начальники участков, их помощники и десятники (а когда-то штейгеры, артельщики или приказчики) «наряжают» очередную смену: выясняют, сколько людей вышло в упряжку, кто едет в шахту, назначают, где и кому работать, что, как и сколько сделать. Обычно нарядная на старой шахте — это большой, продолговатый, казённого вида зал, где стены измазаны шахтёрскими спинами, на цементном полу — угольная мелочь, потолок задымлен, а самым примечательным является камен-

ная стена с прорезанными в ней маленькими окошечками: за окошками в своих конторках сидят начальники, у окошек толпятся шахтёры.

Когда-то эта стена наглухо отделяла два мира: тех, кто управляет, от тех, кто трудится; тех, кто сидит за окошечками, от тех, кто робко у окошек толчётся. Здесь, у этой мрачной стены, под этими узенькими, равнодушными оконцами разыгрывались ежедневные и однообразные шахтёрские драмы; здесь терпеливо маялись безработные, неделями ожидая «счастья» впрячься в лямку; здесь уныло канючили уволенные и оштрафованные; несмело бушевала голодная «золотая рота»; плакали бабы-вдовы, умоляя взять их ребят на работу, унижённо кланялись в глухую стену и ребят заставляли кланяться...

Сейчас хоть кое-где окошечки и остались, а стены нет. Теперь и шахтёры свободно и запросто заходят по ту сторону стенки, присаживаются к столу начальника, чтоб потолковать о делах, да и сами начальники — вчерашние шахтёры или дети шахтёров. Из нарядной навсегда, начисто выветрился старый, рабский дух, горький запах нужды и унижения, и сама старая нарядная повеселела и переменялась. И не от того, что побелили стены в ней, — как их ни бели, всё равно шахтёры быстро измажут их своими спецовками, — и не от того, что стараниями клубных работников и жён-активисток появились в нарядной и картины, и плакаты, и стенная газета с хлёткими карикатурами, и даже цветы в кадках. А от того, что всё, решительно всё и круто переменялось на шахте, и прежде всего — труд.

Наряд больше не был, как раньше, ежедневной запряжкой голодных людей в лямку; он стал своеобразным торжественным церемониалом, как развод караула или вечерняя «зоря» в лагере. Теперь шахтёр приходил сюда не только за тем, чтоб получить наряд и уйти. Сюда, соскучившись по шахте, забегали и отпускиники, повидать товарищей, узнать новости. Сюда заходили давно ушедшие на покой старики-пенсииеры, по привычке, или просто чтоб потолкаться среди живых людей.

Здесь единственный раз за день собиралась вместе вся смена, чтоб затем разойтись по всей шахте, по своим одиноким уступам, забоям, брембергам или уклонам. Здесь можно за час наговориться досыта, чтоб потом всю смену молчать в тиши забоя; накуриться вволю, чтоб потом восемь часов не курить в шахте. Здесь можно узнать все новости и слухи — от международных до местных, базарных. Можно всласть поругаться с десятником из-за неправильно записанной упряжки и тут же пожаловаться начальнику участка. Здесь можно встретить заведующего шахтой, или парторга, или председателя шахткома, или даже всех сразу, и с каждым из них, если есть нужда, поговорить. Сюда обязательно заглянут приехавшие на шахту люди из центра — инспекторы, корреспонденты, инструкторы. И нарядная нечаянно в одну минуту может превратиться в дискуссионный клуб, в майдан для митинга, в театр, где ко всеобщей потехе разыгрывают хвастуна и лодыря, или в зал собрания. Но и собрание, и митинг, если уж они возникнут, будут не такими, как везде. Здесь можно выступать не записываясь и даже просто не подымаясь с полу, на котором сидишь по-забойщицки, на корточках, привалившись спиной к стене. Здесь говорят не речисто, без тезисов, зато и не стесняясь в выражениях. Здесь можно и вообще речи не держать, а только одно словцо бросить, и если оно меткое, то навсегда прилипнет к человеку, станет кличкой. Здесь критикуют люто, по-шахтёрски, на чины не глядя и ничего не боясь. И оттого иные руководители не любят бывать на наряде, побаиваются. Но и зря тут шахтёр ничего не скажет, не соврёт, иначе его тут же разоблачат и засмеют товарищи.

Но нарядная всё-таки не клуб. Люди приходят сюда затем, чтоб через час спуститься в шахту. Все уже в шахтёрках. У каждого в руках инструмент и лампочка. Тесной кучкой сбиваются они вокруг своего бригадира, как бойцы вокруг отделённого перед боем. И над всем, что говорят, что делают и что думают люди в нарядной, властно стоит Труд, ради которого они и собрались здесь.

Вот что такое нарядная. Побывать на наряде, послушать, что говорят, чего хотят, чем живут сейчас шахтёры — неписанный закон для каждого партийного работника, приехавшего на шахту. Вот почему и секретарь горкома Рудин приехал на «Крутую Марию» так рано и сразу же отправился не в контору, не в шахтпартком, и не на квартиру Нечаенко, а в нарядную. Дорогу туда он хорошо знал.

В нарядной его сразу заметили и узнали.

— Смотри, смотри! — зашептал Андрей Светличному. — Рудин приехал! Вот этот, большой такой... — Но Светличный уже сам догадался об этом.

Рудин был то, что называется видный мужчина. Был он высокого роста, гибкий и молодцеватый, с каштановой гривой волос, откинутых назад и уже седеющих на висках. Он носил костюм военного образца и цвета хаки, но не солидный френч, а юношескую гимнастёрку, галифе и высокие хромовые сапоги, а зимой — бурки. У него было незаурядное лицо — лицо оратора, вожака: орлиный нос, высокий лоб, гордо посаженная голова, всегда чуть-чуть откинутая назад. Вероятно, в молодости он был замечательно хорош собой. Сейчас всё в нём чуть-чуть обрюзгло и отяжелело, зато стало ещё более значительным. У него были светлосерые, цепкие глаза ястреба и капризные, пухлые губы ребёнка, он надувал их и громко сопел, когда сердился или скучал. Морщин на его лице не было; только две резкие складки у рта и одна на переносице; они свидетельствовали либо о силе характера, либо о привычке к власти.

Андрей восхищённо смотрел на него. Теперь всё зависело от этого человека.

Рудин лёгкой походкой прошёл на середину нарядной. Вокруг него тотчас же собрался народ. Десятники и начальники участков выглянули из своих окошечек. «Будет-таки митинг!» — недовольно поморщился Дед, но вслух ничего не сказал.

— Ну, здравствуйте, товарищи! — громко поздоровался Рудин и привычно огляделся по сторонам. — А, Прохор Макарович! — окликнул он кого-то и помахал рукой. — Привет! Здравствуй, Трофим Егорыч! — Он знал всех почётных стариков в районе и всегда величал их по имени-отчеству. — Скрипишь ещё, Пётр Филиппович? — протянул он руку стоявшему подле него крепильщику Кандыбину.

— Та замажешься! — конфузливо сказал тот, показывая свои грязные от угольной пыли руки.

— Ничего, ничего! — засмеялся Рудин. — Уголёк не чернила. Чернилами я, действительно, мазаться не люблю. А уголёк — святое дело!

Сквозь толпу к Рудину пробился бригадир бутчиков Карнаухов. Про него на шахте говорили, что его хлебом не корми, дай только постоять подле начальства.

— Золотые твои слова, товарищ Семён! — запел он. — То есть в самую точку! Угольком не замараешься. Я так скажу: шахтёр — самый чистый человек на земле, он каждый день в бане моется.

— Верно! — подхватил Рудин. — А мы, начальники, только тогда в «баню» и попадаем, когда нас в центр вызовут холку мылить! Ну, а у вас как дела, как добыча?

— А что дела! Жаловаться не приходится! — за всех ответил Карнаухов своим сладким, старческим тенорком; в детстве он певал на клиросе. — План, слава богу, выполняем, на все, как говорится, на сто...

— Жаловаться не приходится, да и хвастаться нечем! — усмехаясь, перебил его высокий, хмурый шахтёр, стоявший прямо перед Рудиным.

— А что? А что? — взъерепенился Карнаухов. — Ты выполнением плана недоволен, товарищ Закорлюка?

— План! Да какой же это план? Перед соседями стыдно!.. Вон на «Софии» смеются над нашим планом...

— А-а! План тебе маловат? Тебе больше надо?

— Да мне что? — передёрнул плечами Закорлюка. — Отвяжись ты от меня, сделай милость! — сказал он, отодвигаясь от Карнаухова.

— Ему больше всех надо, он — жених! — злорадно выкрикнул откуда-то из толпы Макивчук. — У них с Катькой свой госплан...

— Нам всем больше надо! — строго сказал старик Треухов. — Не на хозяина работаем. Правильно, Закорлюка! Говори всё.

— Да что, товарищ секретарь, — вмешался вдруг Митя Закорко, смело поблёскивая глазами, — если правду сказать: в полсилы мы работаем. То воздуха нет, то порожняка пол-упряжки ждём...

— С порожняком оттого причина, что путя у нас плохие, — сказал кто-то, судя по кнуту на плече, — коногон. — Путя давно бы почистить надо...

— Грязи много, верно!

— А с воздухом отчего? — спросил Митя.

— А с лесом? Неужели в России леса мало? — крикнул кто-то и засмеялся. И все засмеялись вокруг.

— Болезней у нас много, товарищ секретарь! Беда — доктора нет.

— Постойте. Дайте мне слово сказать, — вдруг негромко произнёс коренастый шахтёр, до тех пор молча и солидно стоявший чуть-чуть в стороне.

Его голос услышали.

— Говори, говори, Очеретин! — зашумели вокруг.

Это и в самом деле был Серёжка Очеретин. Но трудно было узнать в этом солидном, уважаемом, даже чуть-чуть раздобревшем шахтёре прежнего Серёжку-моргуна. Правда, он и теперь нег-нет да подмигивал левым глазом бессознательно, по привычке, но это был уже совсем другой человек. Настя прочно женила его на себе, и он стал образцовым семьянином, жены побаивался, а новым домом — гордился. Каждую получку они под руку с Настей ходили в магазин, чаще прицениваться, чем покупать. У них в новой квартире уже всё было для тихого семейного счастья: хорошая кровать с горою подушек, славянский шкаф с зеркалом, дубовый буфет, патефон с пластинками, велосипед, радио... Теперь Очеретин подумывал о пианино. «Дети вырастут, учиться будут!» Детям — Любке и Наде, близнецам, — было сейчас по два года.

Про Очеретина злые языки говорили, что он жадничает, старается в забое только ради денег. Но это была неправда. Не меньше денег нужен был ему и почёт. Он привык к нему. Без почёта теперь он не смог бы ни жить, ни работать. С тех самых пор, как впервые увидел он своё имя — С. И. Очеретин — на красной доске у проходных ворот, он лишился покоя. Сперва он боялся, что записали его на доску «по ошибке» — ошибка выяснится и его имя с доски сотрут, потом стал бояться, что другие забойщики перегонят его в работе, а он отстанет и имя его опять же сотрут с доски. Он и теперь ещё каждый день, приходя на шахту, поглядывал: висит ли ещё его портрет. Дома, на буфете, на На-

стиных кружевных дорожках лежал пухлый плюшевый альбом с вырезками из газет и журналов и с портретами знатного забойщика шахты «Крутая Мария» С. И. Очеретина. Нет, не только ради денег старался в забое Очеретин. Научился он и на собраниях выступать. Умел с достоинством сидеть в президиуме. Ездил на слёты ударников. Только подмигивать он не отучился, хотя Настя за это его поедом ела. Ей всё казалось, что это он девочкам подмигивает из президиума.

— Ну, слушаю вас, товарищ Очеретин! — ласково сказал Рудин, всем корпусом поворачиваясь к нему.

Очеретин откашлялся и начал:

— Правильно люди говорят, товарищ секретарь, про воздух, про лес, про порожняк. Вы на это обратите ваше внимание.

— Хорошо! — улыбнулся Рудин. — Учтём. Обязательно.

— Но про главное никто не сказал, — невозмутимо продолжал Очеретин. — Про главное. Про то, что у нас на «Крутой Марии» забойщику ходу нету!

Он остановился. Все вокруг внимательно слушали.

— Ты что это имеешь в виду? — не выдержав паузы, беспокойно спросил Карнаухов.

— А то я имею в виду, — сказал Очеретин, — что устарела наша система добычи. Устарела и портит нам кровь. Какая у нас система выемки угля? Короткими уступами. Так? Вот какая система.

— А как бы ты хотел, голубь? — насмешливо спросил Карнаухов. — Долинами?

— А я б хотел, — с достоинством ответил Очеретин, — чтоб забойщику простор был. Я против уступов не спорю. Не отрицаю я уступов. Но, обратите внимание, какая же может быть добыча у забойщика, если малый уступ? Да мне повернуться там негде, не то что... Вот спросите забойщиков: правильно ли я говорю?

Андрей и Светличный переглянулись.

— Нет, ты слушай, слушай! — прошептал Светличный. — Ай-да Серёжка-моргун!

«Значит не мы одни про это мечтаем!» — радостно подумал Андрей и крикнул:

— Верно, Серёжа!

— Всякий скажет, что верно! — спокойно закончил Очеретин. — Дай нам уступы длиннее — в два раза больше угля дадим.

— В десять раз! — раздался вдруг звонкий, сильный голос.

Это сказал Виктор. Он стоял у окошечка.

— В десять? — переспросил Рудин. — А ну-ну, послушаем!

— Да, в десять! — возбуждённо повторил Виктор. — Я слово зря на ветер не брошу. Тут Серёга Очеретин говорил: дайте мне длинный уступ, я в два раза больше угля дам. Так? А я говорю, — потрянул он головой, — дайте мне всю лаву, я один её за смену пройду!

— Один? — ахнул Очеретин, изумлённо глядя на Виктора.

— Да, один! — гордо повторил Виктор. В эту минуту он был способен на всё.

Старик Карнаухов повернулся в его сторону и участливо спросил:

— А ты, голубь, трюхи... не того? — и он постучал пальцем по лбу. — А?

— Того, того! — злобно подхватил Макивчук. — Рятуйте его, добрые люди, — окончательно парень с глузду съехал от великой гордости!

Нарядная грохнула могучим шахтёрским хохотом.

— Ай-да Виктор! Высказался!

— Так он же Илья Муромец, богатырь, чи вы этого, хлопцы, не знали?

— Артист!

— Иван Поддубный!

— Иди в цирк, Виктор, большие деньги огребёшь! — неслось из всех углов.

Наступил как раз тот момент, когда нарядная внезапно превращается в театр. А Виктор стоял, как провалившийся, но гордый актёр, и только глаза его из-под шахтёрской шляпы пылали жёлтым пламенем.

— Надо выручать Витьку! — прошептал Светличный и крикнул: — Да дайте ж человеку до конца сказать!

Его голос услышал Рудин.

— Правильно! — снисходительно сказал он. — Пусть товарищ окончит свою мысль.

Все поутихли.

— Я говорю: в десять раз можно больше угля дать! — презрительно улыбаясь, сказал Виктор. — А мне не верите, спросите Андрея Воронька. У него и план есть.

— А-а, и Андрей!.. — удивлённо пронеслось по нарядной. Андрея на шахте знали. Андрей был осторожный, вдумчивый, молчаливый человек.

— Просим товарища Воронька! — сказал Пётр Филиппович Кандыбин.

Андрей, смущаясь, выступил вперёд, в центр круга.

— Собственно, — запинаясь, сказал он, обращаясь главным образом к Рудину, — дело ещё непроверенное... Но — мысль есть. Правильно сказал Очеретин: в полсилы работаем. Называемся забойщиками, а много ли мы отбойным молотком работаем? Часа три в смену, не больше. А остальное время чего только не делаем! И лес тащим, и крепим, и убираем, — а молоток лежит, угледобычи нету... Оттого и заработка у нас небольшие. То есть обыкновенные... Как ни старайся — больше полторы нормы не дашь.

— Ох, верно! — громко вздохнул кто-то. В нарядной было тихо, этот вздох услышали. Услышал его и Андрей. Ему стало легче говорить. Тут же заметил он, как сквозь толпу осторожно, стараясь не шуметь, продирается запоздавший на наряд Нечаенко и издали улыбается ему. И Андрей в ответ тоже улыбнулся ему и уже с большей уверенностью стал продолжать свою неожиданную речь: — Вот мы и предлагаем лаву спрямить, уступы ликвидировать и дать всю лаву забойщику. Пусть он в полную силу рубает, а за ним крепильщики пускай крепят...

— То есть как это? — недоумённо перебил его старик Кандыбин. — Забойщицкую крепь препоручить крепильщикам. Так, что ль?

— Да. А отчего ж? — ответил Андрей. — Разделение труда.

— А заработок как же? Попролам али как?

— Почему ж попролам? Как же это можно забойщика равнять с крепильщиком? — обиженно сказал Серёжка Очеретин. — Никак это невозможно!

— И я про то ж, что нельзя! — обиделся и Кандыбин. — Крепильщик это, брат, первая квалификация в шахте!

— Это кто ж вам сказал такое, дедушка?

— Да постойте вы с заработками! — с досадой вскричал Митя Загорко. — Что у вас всё про одно? Тут, может, человек хорошее дело для шахты предлагает, а вы — заработки! — и тотчас же нетерпеливо обратился к Андрею. — Ты практически расскажи, Андрей, как ты это дело мыслишь. Не тyani!

Его поддержало несколько голосов:

— Поподробнее просим!

— Как-то непонятно нам...

— Больно мысль твоя, Андрей, удивительная. Ты ясней скажи!

Но Кандыбин с сомнением покачал головой.

— Э, что-то ты не то говоришь, Андрюша! — сказал он, страдальчески сморщившись, словно жалея молодого, горячего парня и сокрушаясь, что приходится его урезонивать. — Против смысла говоришь. Всю жизнь мы тут на шахте толчёмся, а такого не слыхивали, чтоб крепильщик, например, забойщицкую крепь крепил...

— Так это ж одна его фантазия! — раздался резкий, насмешливый голос откуда-то от стены. — Ты б ещё про синего зайца рассказал, Андрюша! — И там, у стены, засмеялись.

Но насмешки, сопротивление, отпор действовали на Андрея не так, как они обычно действуют на робкие души. Никогда они не обезоруживали его, а делали ещё упрямей. И сейчас он только глубже втянул голову в плечи, словно сжался весь перед прыжком и приготовился к бою.

— Вы о заработках не беспокойтесь, дедушка Кандыбин! — сказал он. — Наш шахтёрский заработок, от угля идёт. Сколько угля дадим — столько и заработаем. Так?

— Это справедливо! — согласился Кандыбин.

— Верно, верно, Андрей! — крикнул Светличный. — Ты Расскажи людям, сколько угля можно дать.

— Вот и подсчитаем, — ободрённый этим возгласом, продолжал Андрей. — Сейчас забойщик сколько угля рубает один? Ну, десять, ну, от силы двенадцать тонн. Верно? А тогда, на пару с крепильщиком, он и пятьдесят, а то и семьдесят тонн даст...

— Сколько?! — ахнули вокруг него.

— Семьдесят! — твёрдо повторил Андрей и посмотрел на Рудина. Но тот в это время о чём-то тихо говорил с Дедом. До Андрея донеслось:

— Балуются ребятки! — и он понял, что это о нём и о его предложении сказал Дед.

— Семьдесят? — даже побледнев от волнения, пролепетал Серёжка Очеретин. — Ты как это, ты всерьёз? Всерьёз?

— А я так думаю, что и все сто можно взять! — возбуждённо выкрикнул Виктор.

— А может, мильон? — спросил Карнаухов. — Ты уж прямо мильонами считай, парень, чего сотнями пачкаться-то!..

— Ох, и фантазёр народ пошёл! — покачал головой Кандыбин.

— Та я ж вам говорю, хлопцы, это ж сказка про синего зайца! — донёсся тот же насмешливый голос от стены, и там опять засмеялись. Но тут раздался новый и властный голос:

— А вы чем смеяться зря, прежде выслушали б! — и Нечаенко вступил, наконец, в круг, где стояли Андрей, Рудин и Дед. — Выслушали б, а потом и обсудили бы... — прибавил Нечаенко уже спокойно и подошёл к Рудину поздороваться.

— Интересный у вас народ на «Марии», — улыбаясь, сказал ему Рудин. — Спорят, шумят, волнуются. А главное — думают! Вот что ценно! — Он вдруг посмотрел на часы и забеспокоился. — Эх, а я ещё на «Софию» хотел успеть... Как фамилия этого паренька? — указал он на Андрея.

— Андрей Воронько.

— А-а! Спасибо... — Рудин сделал шаг вперёд, и все вокруг сразу стихли, поняв, что он хочет говорить. — Вот что, товарищ Воронько! — ласково сказал Рудин, кладя руку парню на плечо. — С большим интересом слушал я твоё предложение. И всех вас тоже с интересом слушал, товарищи! — обратился он уже ко всем. — Хорошо, что вы об угле думаете. О том, как бы его побольше взять, как бы побольше уголька дать нашему родному государству. Хорошо! Это — святые мысли! Ваша шахта у нас передовая в районе. И народ у вас передовой. Хороший народ! Сознательный. Так что я вас агитировать не буду, — улыбнулся он. — А просто пожелаю не успокаиваться на достигнутом, а давать родине побольше донецкого уголька! А меня уж извините, придётся мне сейчас к вашим соседям заехать. Боюсь, там у нас совсем другой разговор будет! — засмеялся он и шутливо крикнул сразу же: — Хоть бы вы, ребята, за своих соседей взялись! Пристыдили бы их по-шахтёрски, по-соседски. Или на буксир взяли.

— А мы не против! — охотно подхватил Карнаухов.

— Вот, вот. Возьмите на буксир, большое дело сделаете! — сказал Рудин, помахал на прощание кепкой, которую всё время держал в руке и почти не надевал никогда, и пошёл к выходу. Шахтёры дружелюбно расступились перед ним.

— А как же... — растерянно пробормотал Андрей, но тотчас же сам остановился.

— Кончай митинг, товарищи! — зычно, на всю нарядную крикнул Дед. — Делай своё дело, да — в шахту!

Шахтёры стали расходиться по бригадам. За окном рывкнула автомобильная сирена, было слышно, как тронулась машина, стуча стареньким мотором. Это уехал Рудин.

К Андрею, продолжавшему одиноко стоять посреди зала, подошли Светличный и Виктор. И тотчас же вернулся Нечаенко, провожавший Рудина,

— Ну, вот! Дело и заварилось! — весело воскликнул он. — Обнаружили вашу идею, ребята. Теперь обсудим. А там...

— А отчего товарищ Рудин ничего не сказал?.. — запинаясь, спросил Андрей.

— А как же он мог сразу, тут же и высказаться? Такие дела, брат, с кондачка не решаются! Придётся ещё и ещё обсудить. Товарища Журавлёва в это дело втянем... Вот... — возбуждённо потирая руки, сказал Нечаенко. — Может, кое с кем придётся и поспорить и подраться даже. Ничего-о!.. Только вы уж теперь не отступайте, ребята, — предупредил он.

— Мы не отступим! — тихо сказал Андрей. — Я, если что... я Сталину напишу!

## Глава 15

Был такой случай в истории шахты «Крутая Мария»: у неё украли... гудок.

Случилось это давно, в тысяча девятьсот двадцать первом году. С превеликим трудом восстанавливали тогда шахтёры «Марии» свою родную шахту, назначили уж и утро пуска, а за день до торжества хвятились и выяснили: гудка нет. Шахта стала безголосой.

Сначала в кражу даже не поверили. Ну, кому нужен свисток? Кто и зачем полезет ради него на трубу? Решили, что его просто сбило ветром. Надо ставить другой.



Но к вечеру выяснилось: гудок, действительно, украли. И украли его мальчишки с «Софии», украли из хулиганства, из шахтёрского озорства, из коногонского молодечества, и с торжеством принесли к себе на «Софию» и вручили старикам: вот, мол, какие на «Крутой Марии» ротоzeи, свой гудок прозевали.

Узнав об этом, директор «Крутой Марии» пришёл в ярость: он требовал, чтоб немедленно была поднята на ноги милиция, озорники арестованы, а гудок возвращён хозяевам. Инженер-технорук, пожимая плечами, сказал, что вся эта история выеденного яйца не стоит: поставим новый и — всё!

Но старики-шахтёры только печально покачали головами.

— Э, нет! — говорили они. — Новый гудок — не старый! Не спорим: может, новый и лучше будет, и чище, и на звук приятнее. Да только будет он нам чужой. А мы к своему привыкли. Мы его, хрипушу нашего, бывало, поутру из всех гудков в окрестности отличим. Чужой гудок тебя и не разбудит, а свой запоёт — сразу как молодой вскинешься...

— Мы ведь о чём мечтали? — прибавил от себя дядя Онисим, тогда ещё не комендант общежития, а крепильщик. — Мы ведь о том мечтали, когда шахту восстанавливали, что вот придёт-таки одно прекрасное утро и запоёт наша кормилица на весь мир, как и раньше. А теперь — как же? Торжество, а «Крутая Мария» гудит не своим голосом! Обидно будет... И не узнают люди, что это именно «Крутая Мария» ожила...

— Я ж говорю, — вскипел директор, — надо милицию на ноги поднять.

— Э, нет! — опять не согласились старики. — И так не можно. Позвольте-ка нам самим дело уладить по-своему, по-шахтёрски...

И они поступили по-своему. Тем же вечером старики (а были среди них люди и сорока лет, не старше; но «стариками» на шахтах зовут не тех, кто долго жил на земле, а тех, кто много лет протрубил под землёй) надели свои парадные костюмы — самое лучшее, что у каждого в сундуках было: люстриновые «тройки», в которых ещё под венец шли, тугие крахмальные воротнички или вышитые нежными узорами рубахи под пиджак на выпуск, а те, кто воевал, — аккуратные трофейные френчи с алым партизанским бантом над левым карманом; а сторож инвалид Мокенч даже георгиевский крест нацепил и ни за что не согласился снять этот старорежимный знак, объясняя, что добыл его кровью, — и торжественной процессией отправились на «Софию»: кланяться соседям, просить обратно гудок, выкупать его несколькими ведрами самогона.

И ранним утром следующего дня загудел, раскатился над озябшей степью старый гудок «Марии» и поплыл над холмами, над туманами, над влажными от росы крышами, никого не разбудив, — ибо все ждали его и не спали, — и всех обрадовав. И, услышав знакомый голос «Крутой Марии», со всех концов посёлка побежали к шахте люди, счастливые и гордые. Стали собираться у ствола. Долго, хрипло и недружно, но от всей души кричали «ура». И бросали в ствол шапки и рукавицы.

А гудок всё плыл и плыл над степью...

И старики крестились на звук гудка, как на зvon дерковного колокола, крестились не потому, что верили в бога, а потому, что не знали, как иначе выразить свои чувства. А шахтёрские жёны высоко поднимали ребятишек над головой и шептали им:

— Слушай, сынок, слушай!.. Это наша «Мария» гудит. Теперь хлебушко будет!..

Эту историю рассказал нашим ребятам всё тот же неиссякаемый дядя Онисим, и теперь она вдруг припомнилась Фёдору Светличному,

когда после всего, что случилось на наряде, поехал он в шахту, припомнилась неизвестно почему и в какой связи. А вспомнив, он уж невольно улыбнулся, тепло и растроганно, как улыбался и слушая рассказ дяди Онисима. И опять без всякой связи подумал: «А повезло мне, что я именно на «Крутую Марию» приехал, и именно теперь!»

Казалось, разговор на наряде кончился ничем: пошумели, посмеялись и разошлись. И идее рекорда, так бессвязно и наспех изложенной Андреем в галдже наряда и не поддержанной никем, только и оставалось, что бесславно и тихо, без следа дотлеть, как полубогоревшей спичке, небрежно брошенной на сырую землю. Но так только казалось. И Фёдор Светличный видел это лучше всех.

В этот день он, заменяя хворавшего Прокопа Максимовича, встречался со множеством людей, и все они, кто невзначай, а кто и прямо, заговаривали с ним о том, что произошло в нарядной. Никогда ещё не видел Светличный «Крутую Марию» в таком волнении. Семьдесят, семьдесят тонн — эта цифра, смело брошенная Андреем, стояла у каждого перед глазами. Никакая самая зажигательная речь не могла бы вызвать такого смятения сердец, как эта простая цифра: 70. Семьдесят тонн может дать в смену забойщик, тогда как сейчас даёт десять! И об этих цифрах только и думали люди, тяжело ворочаясь в своих карликовых уступах, показавшихся им теперь ещё теснее, чем прежде, и каждый уже примеривал — с руки ль ему это дело, возможно ль оно, и кто — верил, кто — сомневался, кто — посмеивался и даже злился, но беспокоились все. И одни видели в этом славу родной шахте, другие размышляли о славе для себя, третьи лихорадочно прикидывали, сколько ж в таком случае сможет заработать забойщик. Парни пограмотней подсчитывали, сколько угля даст вся шахта, если метод Андрея окажется дельным, — цифры получались грандиозные, от них голова шла кругом. А нашлись и такие, которые во всей этой шумной, беспокойной затее только одно тревожно увидели: теперь вместо десяти забойщиков в лаве останутся один-два. И мне, стало быть, придётся уходить с «Крутой Марии». А я тут обжился, привык. И огород у меня, и вишене в садике, около хаты. И старый, хриплый гудок «Крутой Марии» слаще для меня любых, самых залиvistых новых гудков. Куда ж мне теперь от всего этого уходить с семьёю?

В этот день десятник Макивчук специально приполз в уступ к Виктору поговорить.

— Бедовый ты парень, Виктор! — льстиво сказал он молодому забойщику. — Не сносить тебе головы!

— Ладно, ладно.. — пробурчал Виктор. — Пугай робкого..

— Весь народ на вас с Андриюшкой озлился..

— Уж и весь?

— Весь! Как один! Обижаются люди: что, мол, эти двое — умней всех хотят быть, больше всех им надо? Остерегаю я тебя, Витька, потому что люблю.. Неровен час.. и пришьют. В шахте тёмных углов много.

— Ладно, не каркай!..

— Унялись бы вы, право.

— Тебе-то что?

— Мне? А мне ничего!.. — засмеялся Макивчук, но непонятной злобой заблестели его глаза. — Я любя говорю.

— Катись ты отсюда, петлюровская сволота! — вдруг рассвирепел Виктор. — А не то, — замахнулся он молотком, — раньше меня свою смерть найдёшь.

— Ладно, ладно.. — отползая прочь, пробормотал Макивчук. — Я по-хорошему. Андриюшку всё-таки предупреди..

Но сам к Андрею в уступ лезть не рискнул.

Зато явился к Андрею совсем неожиданный гость — почти незнакомый ему забойщик Сухобоков, молчаливый шахтёр, недавно появившийся на участке и вообще на шахте: он вернулся из армии, со сверхсрочной службы, люто затосковав по дому. Не поздоровавшись, он присел у стойки и стал молча глядеть, как крепит Андрей. Потом спросил:

— Свободная минутка найдётся?

Андрей, не сказав ни слова, отложил топор в сторону и выжидательно посмотрел на Сухобокова. Тот ближе подполз к нему. Свет лампочки скупо освещал его худое строгое лицо, узкие, острые плечи и длинные, непомерно длинные руки.

— Агитации не надо, — предупредил Сухобоков. — Я грамотный. Практически расскажи, что ты предлагаешь. — И весь застыл, ожидая ответа.

А Митя Закорко, работавший на другом участке, на Западе, перехватил Светличного уже на поверхности у технической бани.

— Слушай! — сказал он. — Я тебя специально жду. У сторожики спрашивал. Нет, говорит, ещё не мылся.

— Вот как? — посмеиваясь, отозвался Светличный. — Зачем я тебе понадобился?

— Слушай! — нетерпеливо схватил его за руку Закорко. — Ты ж в курсе этого дела. Я ж чувствую. Я голову отрубить даю, что без тебя тут не обошлось.

— Ну, возможно...

— Так ты мне одно только скажи: фантазия это или возможный факт? Только одно скажи. С точки зрения техники, — умоляюще прошептал Митя. — Я тебя как друга прошу.

— Факт, — кратко ответил Светличный.

— Значит, будете осуществлять?

— Будем.

— А почему ж они? — ревниво вскричал Закорко. — Почему Андрей и Виктор? Почему ж именно им такое дело?

— А потому, что это их идея, это они сами придумали, — ответил Светличный. Но Митя взволнованно перебил его:

— Слушай, Федя! Ведь я ж здешний, коренной. Я ж с детских лет на этой шахте. И отца моего тут убили, так и не вытащили... Где-то там, может, и сейчас его косточки тлеют... Почему ж не я, а они? Нет, ты пойми, Федя, я ж тебя как старого друга прошу. Я ж теперь покоя навеки решился...

И Серёжка Очеретин, придя с работы в свой новый, аккуратный домик, тоже чувствовал, что лишился покоя. Не радовали Настины цветистые дорожки на полу, и фикус в кадке, и свежая ветка пахучего тополя над зеркалом, и эта лютая чистота парадной комнаты, называвшейся по-местному «залом», где никто не жил, но куда с гордостью любил заглядывать Серёжка, вернувшись из шахты, из пыльного забоя, и где принимал он гостей, соседей и приезжих, всегда в один голос хваливших Настю за аккуратность и домовитость, а хозяйина — за шахтёрскую хватку и хорошие заработки. Но сейчас не обрадовала Очеретина эта «зала», и гордости не было, и не было даже обычного нетерпеливого аппетита, есть совсем не хотелось, хоть из кухни и доносились раздражающие ароматы: там Настя с ожесточением варила варенье на зиму и, услышав, что муж пришёл, немедленно выглянула, крикнула: «Сейчас, сейчас!» — и опять скрылась. А через минуту с торжеством пронесла куда-то мимо Серёжки сладко дымящийся таз, вернулась и стала

собирать на стол. И всё это довольство, даже изобилие в собственном доме, казавшееся Очеретину особенно разительным и полным после стеснённых лет житья на пайке, по карточкам, и вчера еще наполнявшее его добрым покоем и радостью, сейчас и не успокоило, и не обрадовало его, как всегда, а даже почему-то ещё больше встревожило, словно именно в них, в этих тазах и кадках и была причина его сегоднешнего беспокойства.

«Семьдесят, семьдесят тонн! — думал он, шагая по дому, по двору, по садику и нигде не находя себе места. — Та невжели возможно? А как же я, выходит, в стороне от этого дела? Та невжели ж достигнут? А первый ударник Сергей Очеретин, значит, с доски долой?»

— Иди кушать, готово! — позвала Настя, и он неохотно пошёл к столу, хмуро сел, рассеянно стал есть.

Глядя на его встревоженное лицо, испуганно притихла и Настя, но не посмела даже спросить хозяина, в чём дело. Она догадывалась, что думает он о шахте, значит, на шахте что-то случилось.

Но и после обеда не вернулся к Серёжке обычный покой. Помыкался по углам ещё с часок, потом схватил кепку в кулак и выскочил на улицу.

— Ты куда? — ревниво крикнула ему вдогонку Настя, но он только с досадой махнул кепкой и побежал к ребятам в общежитие.

А там оказалось большое сборище. И весь вечер просидел Серёжка в досиня накуренной комнате, слушал споры всё о том же, о рекорде; сам спорил и под конец повеселел и немного успокоился.

Но уходя, всё же вызвал Светличного в коридор и стал шёпотом просить, чтоб и его, Сергея Очеретина, от этого дела в стороне не оставляли, словно всё это зависело от одного Светличного...

В этот вечер, как всегда, сошлись за семейным столом два брата Закорлюки — Закорлюка-старший, забойщик, и Закорлюка-младший, крепильщик. И старший Закорлюка, тот, что на наряде раздражённо говорил, что план шахты мал, перед соседями стыдно, — стал выпрашивать меньшего брата: пошёл бы он с ним в паре работать, если б позволили осуществить то, что предложил на наряде Воронько. Что осуществить это вполне возможно, Закорлюка, старый опытный забойщик, не сомневался ни минуты.

— Мы б вполне свободно управились! — убеждал он младшего брата. — Я б стал рубать, ты — крепить... А? Можно и больше семидесяти тонн взять. Ты только прикинь в своём мозгу, ну? — И они беседовали так допоздна.

В эту ночь долго не мог уснуть Андрей Воронько. Он уже знал, что борьба будет яростная, и готовился к этой борьбе и знал, что отступления уже нет и что отступать он не будет... И совсем не спал в эту ночь Нечаенко. Верный своей привычке до всего доискиваться самому, он притащил к себе домой ворох книг, всё, что нашёл на шахте по горному делу, — учебники, справочники, монографии, курсы лекций и стал искать в них ответа. Разумеется, он ни слова, ни единого слова не нашёл о методе, предложенном Андреем Воронько, но зато и возражений против этого метода не встретил и к утру вдруг окончательно уверился, что рекорд возможен, воодушевился и решил, что дело откладывать преступно, надо немедленно ехать в горком. Он понимал, что в одиночку ему с упрямым Дедом не справиться. Нужно найти сильного, властного, а главное — авторитетного в горном деле человека, который спокойно выслушал бы его, всё взвесил и благословил!

Такого человека Нечаенко и надеялся найти в горкоме. Но Рудина он уже не застал — его вызвали в обком партии, зато встретил второго секретаря горкома Василия Сергеевича Журавлёва, которому подробно и рассказал всё.

## Глава 16

Лицо человека в зрелом возрасте редко сохраняет ребячьи черты и изменяется до неузнаваемости, повторяясь потом только в детях. Но есть люди, которые и до седых волос остаются похожими на свои детские фотографии. Таким никогда не удаётся ни раздобыть, ни полысеть, ни надуться солидной спесью; как их ни корми, они всё останутся тощими, какие чины им ни давай, они всё будут в душе своей простодушными и застенчивыми ребятами. Такие люди почти всегда — хорошие люди.

Таким был и Василий Сергеевич Журавлёв, второй секретарь горкома. Я знал его много лет, и в последний раз видел совсем недавно — в тысяча девятьсот пятидесятом году. Он не изменился, не постарел. Всё тем же тихим, лучистым светом сияли его доверчивые глаза, даже когда он сердился или распекал кого-нибудь.

Есть у меня старая фотография времён тысяча девятьсот двадцать второго года, фотография комсомольской ячейки шахты «Крутая Мария». Я люблю смотреть на неё. Я даже уже приметил, что историю любого моего современника надо теперь непременно начинать с его комсомольской юности: все начинали свою жизнь в комсомоле.

С простительным умилением смотрю я на эту фотографию: здесь все ребята мне знакомы. Вот они сидят или лежат на траве, в своих кожаных куртках, вихрастые, глазастые, бесшабашные — первые комсомольцы-шахтёры, отважно ходившие на бой с зелёнобандитами в Гремячую Балку, в чоновский караул, на первый субботник, а затем на отчаянный приступ рабфаков и институтов — их они тоже брали с боя.

Я знаю историю каждого из этих ребят. Вот этот, в стареньком отцовском пиджачке, стал инженером, заведующим шахтой; этот — озорной, в расхристанной, настежь распахнутой куртке без единой пуговицы — генералом авиации; этот, в чёрной косоворотке, с откинутыми назад волосами, — профессором политэкономии; этот, сероглазый — почётным шахтёром, а этот, что в центре, вожак, с чёрными пламенными глазами, скрестивший руки на груди, — первым заместителем Председателя Совета Министров республики.

Иногда мы встречаемся: все здорово изменились, трудно узнать. И только один остался таким же, как на фотографии, — худеньким слесарьком с удивлёнными глазами: Вася Журавлёв. Внешне он почти не меняется, не стареет, словно знает секрет вечной молодости. В тысяча девятьсот пятидесятом я нашёл его почти таким же, каким оставил в тысяча девятьсот тридцать пятом.

Правда, теперь, в пятидесятом году, он, пристыженный женой и товарищами, надел, наконец, галстук и даже шляпу и очень быстро привык к ним, а тогда, в тридцать пятом, был он в кепке блином, в застёгнутой до горла синей с белыми пуговицами косоворотке навывпуск, под пиджак и в брюках, заправленных в сапоги... Но и тогда под кепкой, как и теперь под шляпой, в нём с первого же взгляда угадывался старый комсомольский работник, и не агитпроп, не политпросвет, а вечный экправ<sup>1</sup> — то есть неугомонный защитник интересов рабочей молодёжи, заступник «бронеподростков», организатор горнопромышлен-

<sup>1</sup> Заведующий экономически-правовым отделом горкома или губкома.

ных училищ, постоянный представитель комсомоли в профсоюзе, деятель юношеской секции рабочего клуба — бич и язва хозяйственников, которые хоть и отмахивались от него, как от досадной мухи, а порой и гнали из своих кабинетов, но почти всегда уступали ему в его просьбах за молодых рабочих и по-своему любили его и уважали. Отказать ему было невозможно.

Глядя на его простецкое, чуть побитое рябинками, сткрытое и доброе лицо, сразу чувствовалось, что чужие дела и интересы для него куда важнее собственных: в сущности, ему самому ничего и не надо. Если бы сказали ему: проси для себя чего хочешь, он растерялся бы и не знал, чего попросить. Он не ведал нужды, потому что никогда не знал и благополучия. Он ел в шахтёрских столовках — и был доволен; часто оставался ночевать в шахтёрских общежитиях — и спал отлично. Даже обзаведясь семьёй, он не обзавёлся хозяйством — ни коровой, ни садом, ни огородом. И не потому, что считал это предосудительным, напротив, в других он это даже поощрял, а просто потому, что было ему недосуг заниматься этим, да и жена попалась общественница, стала председателем совета жён шахтеров.

Вся жизнь Журавлёва проходила на людях; людей он любил: для него они все были разные, все интересные и, главное, все нуждающиеся в нём. У него была привычка интересоваться прежде всего заработком шахтёра, входить в бытовые мелочи и нужды, или, как он сам говорил, «совать нос в шахтёрский борщ». Он не был мастером произносить речи, зато никто лучше его не сумел бы провести беседу в общежитии или на наряде. Профсоюзную работу Журавлёв любил и считался хорошим председателем шахткома. У него даже причёска была какая-то... «профсоюзная»: волосы не назад, а на бочок, на пробор.

Перейдя на партийную работу, Журавлёв понял, что ему многому придётся поучиться. Нехватало теоретических знаний. Зато люди, с которыми предстояло работать, были ему с детства известны, всё тот же знакомый, шахтёрский народ, тут тайн для него не было. А ведь в партийной работе главное — люди.

Как и на всяком месте, куда его ставила партия, Журавлёв и в горкоме сразу же с головой ушёл в работу. Он любил говорить, что второй секретарь горкома это — «лошадка, везущая хворосту воз», и он тянул свой воз старательно, любовно и незаметно.

Нечаенко это знал. Знал, что Журавлёв не отмахнётся от него, не отошлёт к инструктору «подготовить вопрос», а во всё немедленно погрузится сам, разберётся как опытный горняк и решит. Но вот решит ли? Порывистому Нечаенко второй секретарь горкома представлялся всё-таки слишком осторожным, медлительным, кропотливым, неспособным загореться сразу и вдруг. А тут надо именно загореться! И хотя сам Нечаенко только вчера говорил ребятам, что «такой вопрос нельзя с кондачка решить», — сегодня, после ночи, уже проведённой им в маяте, размышлениях и сомнениях, он рассуждал совсем по-другому. Он считал, что тут больше и думать-то не о чём, всё ясно, надо действовать, действовать, и как можно скорей.

С этим он и вошёл в кабинет Журавлёва, решив «взять секретаря штурмом».

— Большое событие произошло у нас вчера на наряде, — возбуждённо сказал он, даже не поздоровавшись как следует.

— А в чём дело? — спокойно спросил Журавлёв.

— Да народ наш взбунтовался против старой системы выемки угля, против коротких уступов.

— Вот как?!

— Народ требует по-новому организовать работу в лаве, — ещё более горячась и досадуя на спокойствие Журавлёва, вскричал Нечаенко. — Вы бы только послушали, Василий Сергеевич, что говорят!

— Так-таки весь народ? — прищурился Журавлёв.

Нечаенко осёкся.

— А вы что, — удивлённо спросил он, — уже слышали об этом?

— Так ведь сутки прошли, мил человек, — простодушно засмеялся секретарь.

— Вам товарищ Рудин рассказал?

— Нет, Семён Петрович ничего не говорил. Я и видел-то его мельком. А, как говорится, на угле живём, углем дышим, а земля, она слухом полнится.

— Ну и что ж вы думаете об этом? — упавшим голосом спросил Нечаенко.

— А ничего ещё не думаю. Как раз к тебе собирался ехать.

— Ну так поедем! — привскочил Нечаенко.

— Вечерком и приеду. А пока садись да расскажи подробно, в чём самая суть дела. Я, как говорится, только понаслышке и знаю. Чайку хочешь?

Нечаенко нетерпеливо сел, от чая отказался, но суть дела изложил подробно, во всех деталях, и на самые придирчивые вопросы Журавлёва ответил толково, как горняк.

— Ну? — с надеждой спросил он, когда все вопросы секретаря иссякли. — Как же теперь будет, Василий Сергеевич?

Журавлёв ответил не сразу и как бы нехотя:

— А как будет? Теперь мне надо ребят твоих увидеть. Вот вечерком, как говорится, и приеду.

Вечером он действительно приехал на «Крутую Марию», в шахт-партком.

— Слушай, Николай Остапович, как зовут того паренька, что высту-пал на наряде? — спросил он.

— Андрей Воронько.

— А, да, да!.. — Журавлёв туго запоминал имена и фамилии, зато хорошо помнил лица. — Значит, Андрей Воронько... Ну, вот мы и пойдём к нему. Где он живёт, знаешь?

— Конечно. Я их предупредил. Ждут.

— Ну, веди!

И они пошли в общежитие.

Ребята ждали. Стараниями Веры и дяди Онисима в комнате был наведён порядок. Пахло полынью. Дядя Онисим утверждал, что полынь хороша от клопов, клопы её люто боятся. На окне, в большой обливной глиняной вазе пламенел ало-красный букет гвоздик: Вера принесла. «Ого! — пошутил Светличный. — Букет-то со значением! Алый цвет — цвет любви». Но и он тоже нервничал, ожидая приезда Журавлёва. Виктор расставил на этажерке, на самом видном месте, только что купленные книги. Потом долго смотрел, как они выглядят на этажерке, и остался в общем доволен. Как и всем, Виктору тоже казалось, что всё это — и книги, и гвоздика на окне, и приятный запах полыни, и чистые наволочки, и камчатная скатерть, которую принесла Вера, — всё необыкновенно важно сейчас, и всё может повлиять на то — быть рекорду или не быть.

Наконец пришли Журавлёв и Нечаенко.

Познакомились. Сели за стол. Хозяева неловко молчали. Молчал и Нечаенко.

— Ну, вот что, ребята, — сказал Журавлёв. — Давайте сразу с дела. Не обидитесь, если прямо спрошу?

— Не обидимся... — за всех ответил Андрей.

— Вы всерьёз свою идею выдвинули или так, брякнули сгоряча?

— Да мы ночи не спим из-за этой проклятой идеи! — пылко закричал Виктор. — Да мы... Эх! — и он махнул рукой.

Журавлёв засмеялся. Эта горячность понравилась ему. Теперь надо было ещё проверить твёрдость.

— Значит, и теперь не отступаете от своего? — лукаво спросил он.

— Нам отступить не приходится, — пожал плечами Андрей.

— Хорошо! — крикнул Журавлёв. — Тогда выкладывайте всё ещё раз, во всех деталях...

Андрей переглянулся с товарищами, откашлялся в кулак и стал, торопясь и путаясь, «выкладывать» свою идею. Журавлёв слушал его, чуть покачивая головой.

— Значит, лаву надо спрямить? — спросил он.

— Конечно.

— На это время надо. И потом... — он задумался. — А если попробовать так, как есть, с уступами, но труд разделить? Можно? — нерешительно спросил он.

— Можно, — сказал Светличный. — Только эффект будет не тот.

— Сколько в таком случае можно будет взять за смену?

Андрей немного подумал.

— Думаю, всё-таки, тонн шестьдесят-семьдесят, — осторожно сказал он.

— Все сто взять можно! — закричал Виктор.

— А сейчас десять в смену даёшь? — спросил Журавлёв.

— Бывает и двенадцать, — ответил Андрей. — Виктор четырнадцать даёт.

— Так! — усмехнулся довольный Журавлёв. — Четырнадцать и... сто!

— Так вы, значит, поддерживаете нас? — обрадованно вскричал Андрей.

— А этого я ещё не сказал, — лукаво прищурился Журавлёв. — Я говорю: надо попробовать, хлопцы. И попробовать в тишине. Если дело выйдет, оно само за себя скажет.

— Мы на это согласны, — подумав, ответил Андрей.

— И даже так я думаю, — прибавил Журавлёв, — попробуем ночью. В ремонтную смену. А, Николай Остапович? — посмотрел он на Нечаненко.

Тот усмехнулся:

— Тайком от Деда?

— Нет, Деда я на себя беру. Он, как говорится, хозяин шахты. А без хозяина в его квартире даже ночью негоже вольничать.

— Не согласится Дед! — с отчаянием сказал Андрей. — Мы уж его просили.

— А теперь мы с Николаем Остаповичем его попросим, — засмеялся Журавлёв. — Так, ребята, значит договорились: ночью, в ремонтную смену? Рубать будете, конечно, на своём участке?

— Ну ясно!

— Кто у вас начальник?

— Лесняк, Проккоп Максимович. Он всей душой за это дело.

— А! Вот это хорошо! — просиял Журавлёв. — Он, значит, и готовит лаву...

— Как, лаву? — вскричал Виктор. — Две! Нас ведь с Андреем двое...



— Э, нет! — покачал головой Василий Сергеевич. — Начинать надо с одной. Что вы, ребята, нет, нет! — замахал он руками. — Так всё дело сорвете. Да и Дед ни за что две лавы не даст.

— Верно! — пробормотал Светличный.

Виктор дико взглянул на всех и опустил голову.

— Ну что ж! — сказал он через силу, еле сдерживая слёзы обиды. — Иди ты один, Андрей... — он круто повернулся и отошёл к окну.

Наступило неловкое молчание. «Э-э! Некрасиво выходит! — озабоченно подумал Журавлёв. — Ах, как неловко! Действительно, оба мечтали, оба имеют право. Молодые ребята, каждому обидно, каждому показать себя хочется. Ах, нехорошо!» Но он деликатно молчал, считая, что всё должно быть решено самими ребятами любовно и между собой.

Молчал и Нечаенко. С любопытством поглядывал то на бледного Андрея, то на Виктора, вернее, на его спину: даже спина эта казалась обиженной — плечи высоко поднялись и заострились, голова совсем ушла в них.

И Андрей молчал. Смотрел в пол и думал о Даше. Ах, если б Даша была здесь. Если б она рассудила. Если б она верно поняла и не обиделась бы, не разлюбила...

Наконец он поднял голову и медленно произнёс:

— На рекорд пойдёт Виктор...

— Нет, ты это брось, брось! — раздражённо закричал живо обернувшийся Виктор. — Я это не приму.

— Виктор пойдёт! — снова повторил Андрей. — Он проворней меня. Он больше вырубит. А тут каждая тонна решает! — слабо улыбнувшись, закончил он.

Журавлёв внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Стали прощаться.

— Значит, в ночь на первое сентября? Так решаем?

— Мы готовы.

— Ну, ну! А я к вам приеду ещё! — пообещал Журавлёв и вышел вместе с Нечаенко.

Было уже темно на улице. Шофёр спал в машине около шахтпарткома.

— Так как фамилия этого паренька, белявого? — спросил Журавлёв, усаживаясь в машину.

— Андрей Воронько, — улыбнувшись, ответил Нечаенко.

— Да, да... Воронько, — задумчиво повторил секретарь. — Ну, теперь никогда не забуду!

## Глава 17

Было окончательно решено: в ночь на первое сентября. Через два дня.

Вечером тридцатого у дяди Прокопа собрался весь, как выразился Светличный, «штаб операции»: Андрей, Виктор, Светличный, Прокоп Максимович, Даша. Ждали только Нечаенко.

Андрей успел уже сообщить Даше, что на рекорд пойдёт Виктор.

— А почему не ты? — удивилась она.

— Виктор сильнее...

Даша посмотрела на него и пожала плечами. А он, трепеща, спрашивал себя, что она подумала, поняла ли его?

Но он ни разу не пожалел о том, что сделал.

Вчера, едва только ушли от них Журавлёв и Нечаенко, Виктор кинулся к нему. Схватил за руки.

— Друг! Друг! — пылко прошептал он. — Этого... никогда... по гроб... слышь, ты? По гроб не забуду. За двоих буду рубать, за тебя и за себя... И слава нехай обоим!

А Андрей только улыбался в ответ. Что слава? Дружба дороже.

Ночью ребята почти не спали. То перебирали вновь и вновь детали послезавтрашнего «боя», спохватывались, что забыли условиться с Нечаенко, чтоб крепёжный лес разложили загодя по уступам; то вдруг принимались вспоминать стародавние времена, «доисторическую эпоху», когда они впервые пришли на шахту и были ещё не шахтёрами, а пещерными дикарями каменного века, не умели даже инструмента в руках держать, не справлялись с нормой, подводили всю лаву и боялись Светличного...

— Ох, как люто боялись мы тебя тогда, комсорг! — признался Виктор. — Больше, чем заведующего шахтой, боялись.

— Ладно, ладно, — проворчал Светличный. — Зато теперь совсем страху божьего лишились. Спите, я вам говорю! Спите, черти!

Но Виктор не угомонился до утра. Так и на шахту пошёл. И на наряде, и в кleti, и потом в забое был он взбудораженно весел, возбуждён и болтлив, так что Светличный даже стал бояться, что Виктор ещё задолго до рекорда израсходует всю свою нервную энергию и на дело пойдёт опустошённый и вялый. Но Виктор был неистощим. Казалось, был заряжен он таким могучим запасом электричества, что своим током мог бы двигать все электровозы в шахте. От него так и разлило краснощёким здоровьем и богатырской силой, сознанием этой силы и верой, что она не иссякнет и не подведёт. Был он весь какой-то искристый, хмельной, счастливый, как человек, вступивший, наконец, на порог мечты. Даша загляделась на него. И, глядя, всё улыбалась.

Наконец пришёл Нечаенко. Пришёл не один, а с Дедом. Это было так неожиданно, что «штаб» растерялся. Забыли даже встать навстречу старику.

А Дед невозмутимо вошёл в комнату, равнодушно и вяло поздоровался со всеми и только на Светличного бросил косой, враждебный взгляд: «хвостизма» он ему простить не мог.

Прокоп Максимович тотчас же кинулся на кухню.

— Дед пришёл, туча-тучей... — озабоченно прошептал он Настасье Макаровне. — Ну, вари бульбу, старуха!.. Авось он от бульбы подобрееет...

Когда все успокоились и уселись, Нечаенко весело спросил:

— Ну, как, ребята, не передумали, не отступились?

— Николай Остапович! — вскричал Виктор. — Да что вы в самом деле? Да если теперь меня от этого дела отставить, так, ей-богу, — в шурф вниз головой!..

Все засмеялись. Был он хорош в эту минуту — кудрявый, шахтёрский молодец. Даже Дед невольно улыбнулся ему: к шахтёрской удали старик не мог остаться равнодушным.

— Ну, раз так... — сказал Нечаенко, и «штаб» стал совещаться.

Было решено, что рубать Виктор будет в своей лаве. Воздух обеспечит главный инженер, а Дед проверит. Крепёжный лес будет заранее разложен по уступам. Крепильщиками вслед за Виктором пойдут Закорлюка-младший и Боровой, оба коммунисты. Нечаенко с ними уже говорил.

— Хороший народ, — согласился Виктор. — Мастера.

— Теперь — откатка... — сказал Светличный.

— Порожняк подготовим. Қоногонов предупредим с утра, чтоб выходили в ночную смену...

— Если позволите, — сказал Светличный, осторожно взглянув на Деда, — наблюдение за откаткой я взял бы на себя...

Дед промолчал.

— Хорошо! — сказал Нечаенко. — Ещё что?

— Отбойный молоток я подготовлю с утра, но чтоб его никому не отдали, — предупредил Виктор. — Я сам проверю.

— За твоим молотком мы присмотрим, — смеясь, сказал Нечаенко. — А сам ты, друг ситный, завтра днём спать будешь.

— Та ни в жизнь! — вскричал Виктор. — Я до тех пор глаз не сомкну, пока сто тонн не нарубаю.

— Будешь спать. В порядке партийной дисциплины, — сказал Нечаенко. — Товарищ Андрей, ты уж присмотри за этим.

Настасья Макаровна внесла дымящуюся бульбу, закуску, водку.

— Ну, за благополучное окончание дела! — провозгласил Прокоп Максимович, подымая рюмку.

Все шумно чокнулись и выпили.

Дед неожиданно сказал:

— Против души своей иду. Против своего сознания... — Он покачал головой и вздохнул. — Да-а... Видно, стар я стал, стар... Пора и на печку. А молодому делу я не хочу мешать, — он махнул рукой и взял стопку.

Из деликатности все промолчали. Нечаенко сказал:

— Василий Сергеевич звонил. Он завтра ночью приедет.

— Это хорошо, — оживлённо подхватил дядя Прокоп.

И все опять заговорили о рекорде.

А Дед, насупившись, ел бульбу, молчал и думал о том, что он, действительно, стар, стар, и всё состарилось вместе с ним, всё, что он любил, понимал, что берёт и чем наслаждался. Даже бульба стала не та, нет в ней прежней сладости и смака... А мир вокруг меняется и молодеет...

И вдруг вспомнился ему девятнадцатый год... И первые коммунистические субботники... И как он сам горел тогда необыкновенным пламенем и подымал за собой других, и бесплатно работал куда лучше и охотнее, чем за деньги, грузил уголь Москве, Ленину...

Отчего же сейчас не понимает он Андрея и Виктора, не верит в их бескорыстие? Разве они не дети его? Может, и у них в душе разгорелся огонь необыкновенной любви, того Великого Старания на пользу родине, которое всем рабочим людям присуще с тех самых пор, как власть в государстве принадлежит им? И он вдруг с неожиданной завистью подумал: «А вот Прокоп не намного моложе меня, а он — с ними».

А вокруг него радостно шумели люди. Сочно чокались. Пили. Пели хором. Веселились шумно и от всей души, как всегда гуляют шахтёры на свадьбах, крестинах и именинах. Между тем это была не свадьба, не именины, не крестины, не новогодняя пирушка... Люди праздновали канун трудового рекорда. Сбывалось! Труд становился праздником.

И тот, кому завтра предстояло этот подвиг совершить, веселился сейчас пуще всех. Громче всех пел. Больше всех пил, не пьянея. Наконец вышел на середину комнаты, топнул ногой и закричал:

— Эх, шахтёрскую! Выходи, Даша! — и, не дождавшись её, пустился в пляс.

На следующее утро Виктор проснулся раньше всех и сам разбудил товарищей. Великое нетерпение сжигало его. Ему всё казалось, что случится неожиданное, и дело отменят. Не позавтракав, он сразу же побежал на шахту. Взял в мастерской свой отбойный молоток, разобрал его, промыл каждую деталь керосином, а затем смазал маслом.

Вокруг него собрались слесари, рабочие, стали добродушно посмеиваться:

— Как за невестой ходишь, Виктор, за молотком... Ишь, как нежно ласкает, ребята, гляди-и!..

О затевавшемся деле они ничего не знали: всё держалось в тайне, как хотел того осторожный Журавлёв.

— Мудришь всё, Виктор, — обиженно сказал рябой Квашнин, бог механической мастерской. — Али уж мы меньше тебя в технике-то понимаем?

— Ладно, ладно, — отмахивался Виктор. — Знаем мы вас, сдельщину...

Он собрал молоток и проверил его под сжатым воздухом. Молоток работал легко и ровно. Виктор протёр его паклей и отдал дежурному слесарю.

— Смотри, — строго предупредил он при этом, — никому не отдавай! Голову сыму!

Затем они с Андреем побежали на наряд. Там встретились с крепильщиками Закурокой-младшим и Боровым, посоветовались и условились обо всём.

Больше на шахте делать было нечего.

— Пойдём, покушаешь хоть, — предложил Андрей.

Виктор вздохнул и подчинился. Действительно, теперь оставалось только терпеливо ждать ночи.

После завтрака Андрей сказал:

— А теперь, Витя, — спать!

— Спать? — взмолился Виктор. — Та разве ж могу я сейчас спать, Андрюша, голубчик?

— Спать, спать! — смеясь, сказал Андрей. — В порядке партийной дисциплины.

Он привёл огорчённого, но послушного Виктора домой, заставил раздеться, лечь и сам заботливо накрыл его лёгким одеялом.

— Теперь спи! Я тоже прилягу отдохнуть...

К его удивлению Виктор сразу же и уснул: намаялся за эти два дня. А Андрей спать не мог. Эти дни он тоже был в страшном волнении, только оно выдавалось в нём не столь шумно, как в приятеле. Напротив, волнуясь, Андрей делался ещё тише, ещё собранней, ещё затаённой... Он тоже тревожился: вдруг Дед передумает или ещё что-нибудь неожиданное стрясётся... И только в одном ни на минуту не сомневался он — в том, что Виктор выйдет победителем. «Витя выдюжит, он не подведёт! — с нежностью думал он о товарище. — Это правильно, что он, а не я. Он — моторный. И азарта в нём больше».

Он не мог лежать. Встал, тихонько придвинул стул к койке товарища и сел подле.

«Пусть хорошенько выспится! — думал он. — Ему нынче сила нужна. Даст он сто тонн? Хорошо б сто... Если сто — сейчас же разнесётся. А потом и я пойду тем же методом... Сто не сто, а восемьдесят, девяносто и я дам. А потом и Серёжка Очеретин, и Митя Закурко, и Сухобокос... Может, и на других шахтах заинтересуются... Угля будем больше давать. И жить станем лучше!» — Он подумал вдруг о Даше. Да, Даша. Вздохнул. Скоро она уедет. Через три дня и уедет. В Москву. Ничего не поделаешь. Она учится. Молодец. А он здесь останется. Да... А где же?.. А они толком ни о чём и не успели переговорить. Даже не объяснились. Это он виноват. Сробел. Но это всё потом, потом, после рекорда... Потом всё устроится само собой. Всё хорошо потом само собой и устроится...

Замечтавшись, он и не заметил, как поползли в окно сумерки. Он только увидел, как вдруг потемнело, точно потухло лицо Виктора.

«Который же теперь час? — спохватился Андрей, испуганно взглянул на ходики и успокоился. — Пусть ещё поспит. Ещё рано». И он опять стал думать... Но теперь даже сам Андрей не мог бы сказать, о чём он думает — так летучи, смутны и обрывисты были его мысли.

Вдруг неожиданный стук в дверь заставил его вздрогнуть. В комнату стремглав влетела Даша и прямо с порога закричала:

— Мама велела...

— Тсс! Тише! — замахал на неё руками Андрей и показал на спящего.

Даша осеклась и в испуге даже рот закрыла ладонью. Потом осторожно, на цыпочках подошла к Андрею и прошептала:

— Мама сказала, чтоб Виктор не смел в столовку итти. Она сама ему всё приговорила...

— Хорошо, хорошо... — тоже шёпотом ответил Андрей. — Только пусть он ещё немного поспит. Ещё чуточку... Ты сядь, сядь...

Стараясь не скрипнуть табуретом, Даша тоже села подле койки и, как и Андрей, стала смотреть на Виктора.

А он безмятежно спал и, видно, что-то очень радостное снилось ему — он улыбался... И Даша вспомнила, как несколько дней назад он так же лежал перед нею, но тогда он был пьяненький и такой беспомощный, жалкий, как дитя... А сейчас он — сильный, он — могучий, он скоро на рекорд пойдёт, он один будет пласты крушить, и завтра о его славе вся шахта узнает... А он вот лежит и улыбается во сне, милый, смешной...

И она вдруг почувствовала, что нет сейчас на земле человека родней ей и дороже, чем этот парень, что она его любит, да, любит, любит... На неё накатило такое шмящее чувство радости, счастья и боли, какого она никогда ещё не знала. И она догадалась, что полюбила, полюбила так, как в песнях поётся и в книжках пишется...

Она сама была потрясена этим неожиданным открытием. Да полно, так ли? — тотчас же и спохватилась она. Откуда свалилась на неё нежданно-негаданно эта напасть? Просто в эти дни все только и говорят и думают, что о Викторе, все его любят и хвалят, и берегут — и отец, и Светличный, и Нечаенко, а Андрей вот даже сон его бережёт... Вот и она поддалась общему настроению, приняла восхищение и дружбу за любовь; всё это сейчас же и выяснится, и пройдёт...

Но сердце говорило ей другое. Оно было охвачено сейчас таким мучительным восторгом, что Даша над ним уже не имела власти. Забыв обо всём на свете, жадно глядела она в дорогое лицо — лицо этого нахального, противного, вечно насмешливого Виктора. Боже, как случилось, что именно его она полюбила и не могла наглядеться? В её глазах сияла такая откровенная, такая ликующая любовь и нежность, что Андрей, нечаянно перехватив её взгляд, сразу всё понял...

## Глава 18

А Виктор спал, жарко разметавшись на своей постели, и даже не подозревал, какие над ним бушуют страсти.

На его влажную губу села муха; Андрей машинально согнал её. Сердито жужжа, она заметалась над его головой.

«Вот и... и всё! И всё! И конец. И точка!» — механически повторял про себя Андрей слова, которые первыми пришли ему в голову; он по-

вторял их, даже не вдумываясь в их смысл. Странно — он совсем не чувствовал боли, он словно оступел от неожиданного удара, окаменел. «Вот и всё! И всё! И точка!» — без конца повторял он.

Даша робко подняла на него глаза: Андрей показался ей поразительно спокойным; только лицо его посерело. И Даша поняла, что Андрей обо всём догадался.

Она не знала, что теперь делать, что говорить... Ей нечего было сказать Андрею, да он ни о чём и не спрашивал её, сидел, застыв. Но и оставаться тут Даше сейчас невозможно. «Боже, как вдруг запуталось всё!» — Она тайком, украдкой посмотрела на Виктора: в сумерках его лицо стало совсем тёмным, он всё улыбался во сне, милый, он даже не подозревает, что я его люблю, и никогда не узнает... Она спохватилась, что опять загляделась на него, Андрей видит это, и ему больно. Встрепенулась, вскочила и быстро выскользнула из комнаты. Андрей не шелохнулся.

И только на улице она почувствовала себя свободной и вполне, вполне счастливой. «Так я люблю, люблю, люблю! — думала она, почти бегом пересекая пустырь. — Боже, как это хорошо и как... стыдно! Но он никогда не узнает об этом. И никто не узнает. Никогда!»

«Но когда же всё это случилось, когда я полюбила — сейчас или раньше? И почему я полюбила именно его? Нет, он хороший, он сильный, он весёлый. И красивый. А сначала он мне казался глупым. И ни капельки не нравился мне. Я его даже презирала. А казалось, что люблю Андрея... Боже, какая же я развратная! — ужаснулась она вдруг. — Неужели я обоих люблю?»

«Но Андрея я совсем не так люблю. Я люблю его, как брата. И уважаю. А Виктора... Виктора как?»

Она была в смятении. Она любила впервые. В первый раз раскрылось её сердце навстречу большому и новому чувству, и она сразу из озорной, смелой, самоуверенной шахтёрской девчонки превратилась в робкую, влюблённую девушку...

Но разве простая девушка может объяснить, почему полюбила этого, а не того, почему вообще полюбила?

Во всяком случае, она полюбила, и уже знала это, и была счастлива, и сама боялась своего счастья, и на душе было хорошо и смутно, и тревожно, и радостно... Только мысль об Андрее смущала её новое счастье. «А как же Андрей теперь? Ведь он любит, он верил... — Но она тотчас же и успокаивала себя. — Ничего, он — сильный. Он это быстро переживёт. Тем более, что через три дня я всё равно уеду».

Бедный Андрей! Его всегда, всю жизнь будут считать сильным и поэтому не станут щадить!

«Вот и всё! И — точка! И не надо об этом думать! — говорил он себе, продолжая неподвижно сидеть у койки товарища. — Тут ничего не поделаешь. Не воротишь. Не поправишь! И никто не виноват. Ни Виктор, ни Даша. Просто мне не суждено счастье».

Если б кто-либо посторонний растолкал его сейчас, вырвал из оцепенения и сказал бы ему: «А ты не сдавайся! Ты бьрись! Дерись за своё счастье. Соревнуйся!» — он бы только удивлённо и горько усмехнулся в ответ: «Зачем? Разве за это дерутся? Да и с кем стал бы я соревноваться? С Виктором? Так я и сам знаю, что он лучше меня. Я сам его люблю. И Дашу люблю. И желаю ей счастья».

«Нет, тут никто не виноват... Тут ничем дела не поправишь... не поправишь...»

«А краденого счастья я и сам не хочу!»

Он вдруг спохватился, что пора будить Виктора. Чёрт возьми, из-за этой несчастной любви он совсем было забыл о главном.

— Вставай, Витя! — осторожно потряс он товарища за плечо. — Вставай, пора!

Виктор сразу же вскочил, как встрёпанный...

— Что? Проспал?

— Нет, но пора... — ответил Андрей, зажигая свет.

— Эх, и разоспался же я! Сладко... — сказал Виктор, потягиваясь. Потом нечаянно взглянул на товарища и ужаснулся:

— Андрюша! Что с тобой?

— А что?

— Какое у тебя лицо!.. Что случилось?..

— Ничего... — нехотя ответил Андрей. — Давай одеваться. Да, вот ещё что... — сказал он, словно вспомнив, — тут Даша забежала, они обед сделали, ждут тебя...

— А-а! — улыбнулся Виктор. — Это кстати...

Они оделись и пошли к дяде Прокопу.

— Вот и они, наконец! — нетерпеливо закричал Прокоп Максимович. — К столу! К столу! Борщ, он ждать не любит. Знаменитый нам сегодня борщ Настасья Макаровна построила: с гречневой кашей.

— Борщ, это хорошо! — улыбаясь, сказал Виктор и сел к столу. Настоящий шахтёр редко ест жареное мясо, котлетки и прочие деликатные блюда; он считает их баловством и всему на свете предпочитает шахтёрский борщ, который «строится», действительно, фундаментально: в него кладутся помидоры, овощи, капуста, добрый килограмм мяса на человека, красный стручковый перец, и всё это заправляется сметаной.

— Да-а... Знаменитый борщ! — жадно набрасываясь на еду, похвалил Виктор. — После такого борща и двести тонн вырубить можно...

— Вот и ешь на доброе здоровье! — промолвила хозяйка.

А Андрей ел неохотно: кусок не шёл ему в горло. Он молча уткнулся в тарелку, стараясь не встречаться взглядами с Виктором, Дашу же он вообще не видел — за столом её не было. Она забилась в угол и оттуда тихонько наблюдала за Виктором; ей нравилось, как он ест: смачно, шумно, с аппетитом. Впрочем, ей всё теперь в нём нравилось.

В самый разгар обеда пришёл Нечаенко. Все сразу заметили, что он взволнован, и всполошились.

— Что случилось? — тревожно крикнул Виктор и побледнел. Ему показалось, что рекорд отменили...

— Большое дело случилось! — ответил парторг. — Сейчас мне Василий Сергеевич звонил: пришло известие — на шахте «Центральная-Ирмино» забойщик Алексей Стаханов вырубил в смену сто две тонны.

— Ка-ак! — ахнул Виктор.

— Стаханов? Это какой же Стаханов? — растерянно пробормотал Прокоп Максимович. — И не слышал такого...

— Он применил тот же метод: разделение труда, — продолжал Нечаенко. — Он рубил, а крепильщики шли за ним...

— Значит, опередили нас? — криво усмехаясь, сказал Виктор. Он оттолкнул от себя тарелку с знаменитым борщом, расплескав остатки на скатерть, и встал. — Всё! — прохрипел он. — По домам!

— Это почему же? — спросил Нечаенко.

— Пошли домой, герои без пяти минут! — еле сдерживаясь, закричал Виктор и шумно двинулся из-за стола.

— Эй, постой, шальная голова! — остановил его Прокоп Максимович. — Постой, сядь!.. Николай Остапович. — обратился он к парторгу, — сколько тонн нарубал этот Алексей Стаханов?

— Сто две тонны. Мировой рекорд.

— А Виктор больше рубанёт! — вскричал старик. — И перекроет Стаханова! И докажет, что не один есть забойщик на земле Стаханов...

— Сто пятнадцать тонн можно дать, если постараться! — взволнованно сказал Андрей.

Теперь все смотрели на Виктора. А он стоял, постепенно успокаиваясь под лучами тёплых, верящих в него, дружеских глаз, и чувствовал, как возвращаются к нему силы, возвращается удаль и вера в себя...

— Ладно! — тряхнул он, наконец, кудрями. — Наш будет рекорд! Пошли!

— Вот и чудесно, друже! — обрадованно подхватил Нечаенко. — Даже не перекрывай, а только повтори рекорд Стаханова, докажи, что он — не случайность, и то святое дело сделаешь! — его глаза сияли, казалось, они сейчас дальше всех видят. — Пошли, ребята! Тронулись!..

— Нет, стой! — строго остановил всех дядя Прокоп. — Надо посидеть перед такой дорогой.

Все торопливо уселись и, как по команде, замолчали. Андрей даже закрыл глаза.

В эту неповторимую минуту пронеслись перед ним, как, вероятно, перед всеми, кто был в этой тихой комнате, странные видения, самые смелые мечты и надежды, словно каждый заглянул в грядущее.

— Ну, Виктор! — торжественно сказал дядя Прокоп. — Пусть сегодня будет твоя рука — крепкой, твой зубок — острым, а уголь — мягким. А теперь — пошли!

*(Окончание первого тома следует)*





---

---

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

★

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

### В ДОРОГЕ

Целый день летит снежок,  
сеется вокруг,  
вьётся, пляшет возле щёк,  
словно белый пух,

оседает на кустах  
по округе всей,  
будто шиплют в небесах  
к празднику гусей.

А земле — и кстати ей  
полог пуховой:  
после ветров и дождей  
время на покой,

после сева да страды  
месяцев на пять,  
расплатившись за труды,  
завалилась спать.

Спят дубы у большака  
в инее седом,  
спят опушки, спит река,  
скованная льдом.

Уже мороз трещит над лесом,  
метель справляет праздник свой,  
а дуб, как листовым железом,  
гремит пожухлою листвою,

бушует, век свой многотрудный  
не в силах отряхнуть с плеча,  
и по коре его чугуновой  
шумит позёмка в три ручья.

А от него, совсем сквозные,  
прозрачным инеем пыля,  
уходят полосы лесные  
в необозримые поля,

Поглядишь — и невдомёк —  
в роздыми седой  
то ли заяц, то ль пенёк  
на меже на той,

куст калиновый за ним  
или клок огня,  
ива клубом или дым  
у границы дня.

И гремит, от снега сиз,  
посреди зимы,  
переваливает «зис»  
вьюжные холмы,

растирает санный след,  
жмёт возы к кустам,  
перед фарами «Побед»  
сторонится сам.

И шофёр, склоняясь к рулю,  
ветру, что ли, в лад  
про любовь поёт свою  
двадцать вёрст подряд!

### ДУБ

по холмикам, у самой кромки  
туч, побратавшихся с землёй,  
идут несчётные потомки  
в свой дальний путь, на подвиг свой.

И может быть, что самый крайний,  
особой отличён судьбой,  
увидит моря берег дальний,  
каспийский медленный прибой.

Но даже там, в степном раздолье,  
он повторит — не для тщеты —  
бойца, что вырос в нашем поле,  
неукротимые черты.

## ТАЕЖНЫЕ ГОСТИ

За Обью, в далёкой Сибири,  
встревожив сыпучий снежок,  
сосну на морозе срубили,  
а шишки собрали в мешок.

А где-то в рассветах синяя,  
на радость большого села,  
у самых границ суховея  
сосновая роща взошла.

Бревно распилили на доски,  
обшили товарный вагон.  
Гремел он на стрелках московских,  
Кавказ переваливал он.

И тени ведёт у дороги,  
лепечет ручьями ветвей,  
что стало прохладней у Волги,  
что стало в Сибири теплей.

## ЯБЛОНЯ

Не в подвенечном платье белом,  
не в бусах утренней росы  
она вот к этим шла пределам  
из среднерусской полосы.

И вот на взгорках гололобых,  
тесня к заборам лопухи,  
она привыкла жить в сугробах  
под скрип тайги и свист пурги.

Нет! Поджимая зябко ветки,  
в снегах, что жалили и жгли,  
она вползала, как в разведке  
ползут, — щекой к щеке земли.

А осенью, как дар победы,  
вложила, трепета полна,  
два яблока, как две планеты,  
в ладонь хозяина она.

И человек, что сам вначале  
смущён был дерзостью своей,  
к ней с фонарём ходил ночами  
и дымом кутал ветки ей.

И людям чудится ночами,  
когда снежинки шелестят,  
что это шепчется ветвями  
и лепестками сыплет сад!

## ЗИМА

Как на своё гнездовье птица,  
в луга и рощи за селом  
зима наискосок садится,  
черкнув сияющим крылом.

и на пристывшем водопое,  
где мерин, фыркнув, пьёт с лотка,  
и далеко в студёном поле,  
где в полдне тают облака.

И ветер, прошлых зим наследник,  
играет пухом и пером  
и там, где, кончив рейс последний,  
приткнулся к берегу паром,

День меркнет. Снег шумит, как пена  
и в нём, пушинки шевеля,  
тут скрылась озимь постепенно,  
там ёжик низкого жнивья,

и там, где ель по глине синей  
почти что к берегу сползла,  
где растревоженной гусыней  
шипит под кручами лоза,

а к ночи — глядь! — всё с места  
сдвинув  
и расплескавшись широко,  
по всем ложбинкам и долинам  
пурга кипит, как молоко.



---

ИВАН ВАРАВВА

★

## СОЛДАТСКИЕ СТИХИ

### ВЫШЛИ НА ЗАНЯТИЯ ГВАРДЕЙЦЫ

Трубный звук плывёт в лазурь живую,  
Где-то за околицей рассеется.  
Глянешь на дорогу полевою —  
Вышли на занятия гвардейцы.

На ремнях — винтовки, пулемёты.  
На щитках — мишени над колонной.  
Девушкам в степи не до работы,  
Как идут ребята к полигону.

Лягут в ряд стрелки на огневую.  
Ждут команду, как при наступлении  
— Выполни задачу боевую!  
Сосчитай пробоины в мишенях!

Молодой солдат, а дело знает.  
Молодой стрелок, а глазом меткий.  
Незнакома служба фронтовая,  
Не ходил он в дальние разведки.

Но зато движением привычным  
Он винтовку взял на изготовку.  
Выстрел... Ротный щурится: отлично.  
— Фронтовая, — говорит, — сноровка.

И идёшь ты в роте молодецкой.  
Рота с песней крепко подружила.  
С песней, что о Родине советской  
Боевая гвардия сложила.

### ПО КАРАУЛАМ

Команда:

— Штыки

примкнуть.

В шеренгах равнение.

— Смирно!

За грудью вздымается грудь

Стеною зелёных мундиров.

Торжественная тишина.  
И роты, как перед присягой.  
И снова родная страна  
Вселяет в солдата отвагу.

Проверив наряд по постам,  
Вручает пароли дежурный.  
Оркестр, соблюдая устав,  
Ударил согласно и бурно.

Команда свободно, легко  
Шеренги в колонны сомкнула.  
И слышно над лесом штыков  
Протяжное:  
— По ка-ра-улам!

### ОТБОЙ

И отбой. Святое слово.  
— Отдыхай, стрелки!  
В пирамидах у винтовок  
Свёрнуты курки.

Рота вечером усталой  
С тактики пришла.  
Греет байка одеяла  
Крепкие тела.

А в соседней караулке  
Огонькам гореть.  
Часовые шагом гулким  
Ходят во дворе.

Соблюдая распорядок,  
Богатырский сон  
С разрешения наряда  
Входит в гарнизон.



---

---

ЧЖАО ШУ - ЛИ

★

## РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА

Рассказ

*Чжао Шу-ли видный современный китайский писатель. С художественными произведениями он выступил сравнительно недавно,— до того был актёром, деревенским учителем, затем—во время войны с империалистической Японией—сотрудником центрального органа китайской коммунистической партии «Синь-хуажибао». Первый же опубликованный Чжао Шу-ли рассказ—«Женитьба маленького Эр Хэя»—привлёк внимание широких масс читателей.*

*Основная тема повестей и рассказов Чжао Шу-ли—борьба нового со старым, демократические преобразования, происходящие под руководством коммунистической партии в китайской деревне. Его произведениям присущ подлинный национальный колорит, глубокое знание крестьянского быта.*

*Повесть Чжао Шу-ли «Перемены в Лицзячжуане» и несколько его рассказов опубликованы в переводе на русский язык.*

*В 1949 году писатель в составе делегации деятелей китайской культуры посетил Советский Союз.*

### 1. «Любимая монета»

**Д**орогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам новую историю. Однако сначала следует объяснить, что такое «любимая монета». Лет тридцать назад подобное объяснение было бы излишним. Но сейчас это необходимо, ведь слушатели мои по большей части молодёжь. Поэтому, прежде чем приступить к моей истории, я обязательно должен рассказать о монете.

Говорят, что монета, которую прозвали «любимой», появилась в царствование императора Кан Си маньчжурской династии. Она того же размера, как и другие монеты времён Кан Си, и отличается только тем, что в иероглифе «Си» с левой стороны недостаёт одной чёрточки, да цветом, особенно жёлтым, она похожа на золото. Рассказывают, что когда чеканили эти монеты, то к меди прибавили золотое изображение Будды, поэтому сплав на три седьмых состоит из золота. Правду ли говорят или нет—не наше дело, но то была действительно всеми любимая монета. Найти её было не лёгким делом. Когда эти монеты ещё были в обращении, мальчишки всегда рылись в деньгах, которые приносили домой взрослые, но и в полгода или даже в год редко находили одну. Молодые деревенские щёголи любили держать такую монету во рту, подобно тому, как городские любят вставлять золотые зубы. В некоторых глухих местах этот обычай до сих пор ещё сохранился. Сейчас эти монеты уже не ходят, но всё равно—из рук их не выпускают. К сожалению, их осталось очень мало.

Вот и всё о «любимой монете», теперь начнём рассказ.

В деревне Чжанцзячжуан жил плотник по фамилии Чжан. У плотника Чжана была очень хорошая жена, которую все называли «Летающая бабочка». У них была дочь по имени Ай-ай. Если считать по лун-

ному календарю, то 15 января 1950 года ей исполнилось восемнадцать лет и пошёл девятнадцатый. В той же деревне жил молодой парень Сяо-вань, который ухаживал за Ай-ай.

Этот рассказ и будет о них.

Итак, семья плотника Чжана состояла из трёх человек — муж с женой да дочь Ай-ай. У них был маленький дворик, муж с женой жили в северной комнате, а дочь в западной. 15 января в деревне состоялось шествие с драконами и фонарями. Плотник Чжан издавна считался мастером выступать с бумажным драконом в процессиях. В этот вечер он, как только кончил есть, сразу ушёл. Ай-ай вымыла кастрюли и чашки, затем вместе с матерью они заперли двор на замок и тоже отправились на праздник. Там все трое разошлись в разные стороны: плотник Чжан играл бумажным драконом, «Летающая бабочка» глазела на улицы, полные народа, Ай-ай пошла смотреть фейерверк, — его зажигал Сяо-вань. Ай-ай дождалась пока Сяо-вань кончил возню с фейерверком и вернулась домой. «Летающая бабочка» обошла все улицы и тоже вернулась домой. Только плотник Чжан должен был носить бумажного дракона до самого конца торжества, поэтому он вернулся позднее всех.

Ай-ай прошла в северную комнату и, не дождавшись матери, уснула на её кровати. «Летающая бабочка» вернулась домой и увидела на своей кровати дочь. Она потихоньку подошла и стала её будить: «Ай-ай, проснись!». Ай-ай, не просыпаясь, только повернулась на другой бок, и в это время какая-то светлая вещица выкатилась из её кармана и со звоном упала на пол. «Летающая бабочка» взяла лампу и осветила на пол.

— Экая девчонка, когда это она успела стащить мою «любимую монету»?

«Любимая монета» обычно лежала в шкатулке, спрятанной в сундуке. Мать не стала будить Ай-ай. Сначала она отперла ключом сундук, потом открыла маленькую шкатулку и только было хотела положить на старое место «любимую монету»...

— Что такое, моя монета на месте?

Она взяла обе монеты и стала рассматривать под лампой. Обе были одинаковы. Она бросила взгляд на Ай-ай — дочь продолжала сладко спать. «Дурочка! — мысленно обратилась к ней мать. — Ты, оказываешься, тоже этим занимаешься? Наверно тоже обменяла на колечко?»

Она посмотрела на руки Ай-ай — на них ничего не было. Пощупала её карман, — казалось, будто в нём лежит колечко, но то, что она вынула, оказалось напёрстком. Она вздохнула:

— Ой, что это такое? И мать и дочка, обе обменяли колечки на «любимые монеты»! Надо завтра позвать Пятую тётушку<sup>1</sup>, чтобы скорей Ай-ай сосватали. Нельзя ждать, пока получится какая-нибудь неприятность.

«Летающая бабочка» сунула напёрсток обратно в карман Ай-ай. С двумя одинаковыми монетами в руках она вспомнила историю своей «любимой монеты».

Здесь обязательно нужно дать некоторое объяснение...

Для того, чтобы рассказать историю «любимой монеты» матери Ай-ай, нужно сначала объяснить, почему её прозвали «Летающей бабочкой».

Больше двадцати лет тому назад плотник Чжан 30 декабря по лунному календарю женился. В день свадьбы вся деревня собралась по-

<sup>1</sup> Пятая тётушка — жена пятого по старшинству брата в семье. (Примеч. переводчика.)

смотреть на молодых. Когда с головы невесты сняли красное покрывало, один молодой паренёк шепнул на ухо другому:

— Смотри-ка — «Летающая бабочка»!

— Как две капли воды! — ответил тот.

Немного спустя везде — в комнатах, во дворе, из уха в ухо все шёпотом передавали два слова: «Летающая бабочка», «Летающая бабочка»!..

Дело в том, что в этих местах выступала в оперной труппе знаменитая танцовщица. Она была невысокая, стройная, молодая, не старше двадцати лет. Все её движения были полны огня, брови и глаза, казалось, говорили. В опере «Храм Золотой горы» она выступала в роли Белой богини, и когда по ходу действия бежала по сцене, её белое шёлковое платье трепетало и развевалось. В этот момент она была похожа на бабочку шелкопряда в полёте. Зрители прозвали её «Летающая бабочка». Невеста плотника Чжана была очень похожа на эту танцовщицу. Плотник Чжан сам говорил:

— Чем больше смотришь, тем больше похожа.

На второй день свадьбы был первый день Нового года. По обычаю этой деревни, невесту выводили две замужние женщины, мальчик с красным ковриком забегал вперёд, и все они должны были ходить по соседям кланяться и поздравлять с Новым годом. На самом же деле никто на колени не вставал и поклоны не бил, просто приходили и поздравляли друг друга. После завтрака, как только в дверях появился мальчик с красным ковриком, какой-то молодой парень закричал на всю улицу:

— «Летающая бабочка»!

Как только он крикнул, на улице собралась толпа, точно на шествии дракона 15 января. Каждое движение невесты вызывало у всех интерес и любопытство.

— Смотрите, смотрите! Она вошла в дом Пятой тётушки!

— Выходит, выходит! Пошла во двор Лао Цю!..

Когда плотник Чжан женился, он, конечно, чувствовал, что получил сокровище. В первые девять дней после женитьбы молодые только поздравляли дядю с Новым годом, больше у них не было желания никуда выходить. И днём и ночью Чжан был занят своей «Летающей бабочкой»: чтобы рассмешить молодую жену, он переодевался в женскую одежду, нарочно украдкой брал колечко жены, чтобы она гонялась за ним по всей комнате, но у «Летающей бабочки» не было такого весёлого настроения, и она ему холодно говорила:

— Хватит баловаться!

Несколько месяцев спустя кто-то из родной деревни «Летающей бабочки» принёс слух, что у неё дома был возлюбленный, которого звали Бао-ань. Когда этот слух дошёл до деревни Чжанцзячжуан, молодые ребята стали дразнить плотника Чжана:

— Эй, плотник, ты, когда возвращаешься домой, обязательно покашливай, чтобы не столкнуться с Бао-анем!

— «Летающая бабочка» не вся твоя, она наполовину Бао-аня!

Плотник Чжан лишь тогда понял, почему «Летающая бабочка» с ним так холодна. Несколько раз он собирался поругаться с женой, но, входя в дом, всегда отступал от своего намерения. «Не будем вспоминать прошлого. Пусть только в будущем она поведёт себя хорошо, тогда ладно!»

Слухи дошли до ушей его матери, она позвала сына к себе и выругала за бесхарактерность. Ругая, она приговаривала:

— Человек — жалкое существо! Если его хорошо ударить, тогда он изменится. А жалеть нельзя!..

После такого нравоучения плотник Чжан стал с подозрением приглядывать за «Летающей бабочкой».

Однажды у своего тестя он встретил Бао-аня. На руке у того было колечко совершенно одинаковое с колечком жены Чжана. Вернувшись домой, плотник первым делом посмотрел на руку своей жены. У «Летающей бабочки» из двух колечек действительно осталось лишь одно.

— Она и вправду наполовину принадлежит Бао-аню!

Об этой новости он рассказал своей матери, на что та сказала:

— Бей скорее! Если побить сейчас, то ещё можно её исправить. Но бить нужно хорошо, чтобы она почувствовала, а если слегка, то ничего не получится...

И так уж плотник Чжан был полон гнева, а тут ещё мать прибавила злости. Естественно, ему ничего не оставалось — только бить жену. Он взял железную кочергу, но мать его остановила:

— Брось это. Этим нельзя. Тонкая палка бьёт куда больнее, а кости не ломает. Самое лучшее — взять сухую палку от ручной пилы.

Он взял пилу и выдернул из неё палку длиной в пол-аршина, толщиной в палец. Палка оказалась крепкая, можно было бить сколько хочешь.

Но откуда его мать знала, что именно палка от пилы бьёт больно?

Оказывается, в молодости с матерью плотника Чжана случилось то же, что и с «Летающей бабочкой», и отец Чжана исправлял её в своё время точно такой палкой.

Но не будем отвлекаться...

Плотник Чжан с почерневшим лицом, зажав в руке палку, вышел из комнаты матери.

«Летающая бабочка», увидев его, спросила:

— Ты что принёс?

Муж не обратил внимания на её слова. Указывая палкой на руку жены, он сердито спросил:

— Почему только одно колечко осталось? Говори...

При этом вопросе «Летающая бабочка» подняла голову и со страхом взглянула мужу в лицо. Его глаза были так страшны, будто он хотел съесть её. Она так испугалась, что не могла ничего ответить. Палка в руках плотника Чжана заходила по её ногам. «Летающая бабочка» была изнеженной девушкой, её никогда до этого не били. С первого же удара она закричала и, опустив голову, начала тереть ногу. Чжан схватил жену за волосы, прижал к кровати и принялся нещадно колотить. Вначале она боялась, что люди услышат, и потому не плакала, потом не выдержала, хотела расплакаться, но не могла, и только тяжело дышала. Наконец, обессиленный плотник Чжан бросил палку и ушёл. «Летающая бабочка» долго тяжело дышала. Прошло время от обеда до ужина, и только тогда она расплакалась. Свекровь даже не вышла из своей комнаты и только издали кричала:

— Что ты плачешь? Нечего сказать, красиво, прилично!..

«Летающая бабочка» перестала плакать, но её тело болело, будто всю её искололи шилом. Она пощупала себя, рука была в крови. Сжав зубы от боли, она хотела встать, но не могла.

Каким образом она подарила своё колечко Бао-аню, плотник Чжан не спрашивал, понятно, и сама она тоже не говорила об этом. Дело было так. В летний праздник, когда жена плотника приехала к матери, Бао-ань попросил у неё какую-нибудь памятку, и она, сняв с руки,



отдала колечко. Она попросила его тоже подарить ей что-нибудь. Баоань отдал ей «любимую монету», которую держал во рту.

После того, как муж побил «Летающую бабочку», «любимая монета» стала её самым большим сокровищем.

Плохо, когда сердце человека обижено! При виде Чжана его жене теперь казалось, что она видит волка. Ещё не начав говорить с ним, она уже дрожала. Плотнику Чжану больше не удавалось увидеть улыбку на её лице. Возвращаясь домой, он с улицы, из-за калитки, каждый раз видел жену живой, разговорчивой, но стоило ему войти во двор, она сразу становилась, как деревянная. Однажды «Летающая бабочка» загоняла курицу, не хотевшую садиться в гнездо. Как раз в это время вернулся плотник Чжан. Жена его действительно была похожа в тот миг на «Летающую бабочку», игравшую в опере Белую богиню, но как только она увидела мужа, сразу бросила загонять курицу и молча вернулась к себе в комнату. Плотник Чжан рассердился, догнал её и сказал:

— Люди говорят, что ты — «Летающая бабочка», почему же ты, когда видишь меня, опускаешь свои крылья? — И он дал ей пощёчину.

«Летающей бабочке» не хотелось больше получать пощёчины, поэтому она попыталась улыбнуться, но, к сожалению, как она ни старалась, ничего у неё не выходило. Плотник Чжан больше не видел «Летающую бабочку» весёлой, оживлённой, поэтому дома ему было не интересно, и когда он работал на стороне, то по полугоду и даже по году не приезжал домой. Даже когда проходил мимо своего дома, и то не хотел в него входить. Говорили, что он завёл себе нескольких возлюбленных.

Когда плотник Чжан уходил, в доме оставались только свекровь и невестка. Свекровь была на стороне Чжана. Целыми днями она ни слова не говорила с невесткой, а при встрече отворачивалась. Родители «Летающей бабочки», услышав, в какую историю попала их дочь, сочли неудобным навещать её. Таким образом, во всём свете не было ни одного человека, который встал бы на сторону «Летающей бабочки». Ей оставалось лишь ухаживать за своей свекровью да украдкой играть со своей «любимой монетой». Каждый день после того, как свекровь ложилась спать, она возвращалась в свою комнату, запиралась, вынимала из шкатулки «любимую монету» и долго, долго смотрела на неё. И иногда нащёптывала:

— «Любимая монета», ты отняла у меня жизнь и ты даёшь мне жизнь! Если меня даже заколотят до смерти, всё равно я не брошу тебя. Жить и умирать мы будем вместе!

Иногда, как ребёнок, награв «любимую монету» в руке, «Летающая бабочка» прикладывала её то к щеке, то к груди, или держала во рту... Исключая те немногие дни, когда плотник Чжан возвращался домой, она без «любимой монеты» не могла уснуть. И только когда родилась Ай-ай, она спрятала монету в шкатулку. Оставшееся у неё колечко ещё с тех пор, как её побил муж, тоже хранилось в шкатулке.

Когда Ай-ай исполнилось пятнадцать лет, «Летающая бабочка» взяла шкатулку, чтобы найти шёлковые цветы на шапочку дочери. Девочка увидела колечко и начала просить его у матери. Испугавшись, как бы Ай-ай не увидела «любимую монету», та отдала ей своё колечко и поскорее закрыла шкатулку на замок.

К этому времени отношения между Чжаном и «Летающей бабочкой» улучшились — дочь их выросла, мать плотника уже умерла, а с Баоанем всё давно было кончено. Ай-ай была их единственной дочерью, и они оба часто шутили с ней. Показывая на колечко, которое Ай-ай надела на палец, плотник Чжан сказал:

— Раньше их была пара.

— А где же другое? — заинтересовалась Ай-ай.

— Спроси у матери!

Ай-ай уже раскрыла рот, но «Летающая бабочка» так сердито взглянула на мужа, что Ай-ай не задала матери вопроса и подумала, что та, наверно, потеряла колечко.

Вот как колечко оказалось у Ай-ай.

Все прошедшие дела мы уже выяснили, теперь вернёмся к ночи 15 января 1950 года.

«Летающая бабочка» держала в руках две «любимые монеты», она вспомнила историю своей монеты, историю, в которой смешалось и горькое и сладкое. Трудно считать эту историю хорошей, ибо с ней связано слишком много горького. Сказать, что она плохая, тоже нельзя — всё же вспоминаешь её не без интереса.

Но со своей монетой — хорошо или плохо — всё уже в прошлом. А как обстоит дело с «любимой монетой» дочери? «Летающая бабочка» не решалась просто отнять монету. Но если монету вернуть, то неужели придётся допустить, чтобы дочь пошла по той же горькой дороге, по которой пришлось пройти матери?

Она ничего не могла придумать.

За воротами послышался шум — вернулся плотник Чжан после шествия с бумажным драконом. Раздумывать больше было нельзя, и «Летающая бабочка», поспешно бросив обе монеты в шкатулку, заперла её.

Время было уже позднее, скоро должен пропеть петух. Плотник Чжан, увидев, что Ай-ай ещё не пошла спать к себе в комнату, рассердился и закричал:

— Ай-ай, проснись!

Ай-ай испуганно вскочила.

— Что случилось?

— Разве нельзя потише! Смотри, как ты напугал дочь! — сказала мать и обратилась к Ай-ай. — Ничего не случилось. Отец говорит, чтобы ты шла к себе в комнату.

— Избаловала ты её! — сердито сказал плотник Чжан.

Ай-ай молча улынулась и ушла в свою комнату.

Плотник Чжан, раздеваясь, тихо говорил «Летающей бабочке»:

— За эти два года многие сватались за Ай-ай. Ты всё выбираешь и выбираешь и все тебе не подходят. Тот, кого сватает Пятая тётушка, тоже не подходит? Надо Ай-ай выдать поскорее. Уж очень много ходит пустых разговоров. Про Янь-янь из семьи Ма да про нашу Ай-ай только и сплетничают в деревне. У Янь-янь уже есть жених, осталась только Ай-ай.

«Летающая бабочка» спросила:

— Разве сельское управление разрешило Янь-янь выйти замуж за Сяо-дина? Я слышала, что они хотя и зарегистрированы в районе, а сельское управление не выдаёт им свидетельства. Разве теперь это уже улажено?

— Люди сплетничают о ней с Сяо-дином и, конечно, сельское управление не выдаст им свидетельства. Теперь появился новый жених из деревни Сиванчжуан. Его сватает Пятая тётушка, послезавтра будет регистрация.

— По-моему, в сельском управлении сидят лжецы, — возразила «Летающая бабочка», — придираются попусту. Если у нашей Ай-ай нет доброго имени, тогда почему же к ней сватается так много жени-

хов? И почему сам заведующий гражданскими делами посылает Пятую тётушку сватать за его племянника?

Не отвечая на её вопросы, плотник Чжан сказал:

— Эти дни я был занят праздничными делами и позабыл тебя спросить, как живёт эта семья за последние годы, какие у неё недостатки.

— Я тоже не знаю, — ответила «Летающая бабочка». — Хотя мы и из одной деревни, но они живут на южном конце, а семья моей матери — на северном. Общих дел у нас нет и мы не ходим друг к другу. Пятая тётушка говорит, что она завтра пойдёт и всё разузнает. Может быть, и мне завтра сходить к матери? По пути можно зайти к ним и посмотреть.

— Можно, конечно, — согласился плотник Чжан.

Немного погодя он опять обратился к «Летающей бабочке»:

— Я хочу ещё спросить тебя... Наша Ай-ай и Сяо-вань, всё-таки... Между ними что-нибудь было?

«Летающей бабочке» не хотелось рассказывать о «любимой монете» и она просто ответила:

— Не надо вмешиваться в эти дела. Дочь наша выросла, найдём ей семью, отдадим замуж и ничего плохого не будет.

## 2. Удачный выбор

Ай-ай поступала так же, как её мать в молодости. После того, как у неё завелась «любимая монета», она каждую ночь спала с монетой — в руках или во рту. В тот вечер она вернулась домой рано, перешарила все карманы и не могла найти «любимую монету». С лампой в руках она осмотрела весь пол, но ничего не нашла, так и пришлось лечь спать. На второй день Ай-ай встала раньше всех и особенно тщательно подмела пол. Всё же монета не обнаружилась. Немного спустя, услышав, что мать уже встала, Ай-ай принялась подметать и в её комнате, «Летающая бабочка» видела, как она даже под кроватью подметает. Не трудно было понять, что Ай-ай ищет «любимую монету». Мать знала, что дочь тратит время зря, и со смехом сказала:

— Смотри, как моя Ай-ай почитает родителей! Как она старательно метёт пол!

После завтрака зашла Пятая тётушка, чтобы вместе с «Летающей бабочкой» отправиться к её матери. Плотник Чжан по заведённому им издавна обычаю тоже пошёл с ними к теще.

Нужно объяснить, почему плотник Чжан привык так делать.

Двадцать лет назад он обнаружил, что «Летающая бабочка» его не любит, что она подарила колечко Бао-аню... Мог ли Чжан после этого хорошо относиться к жене? Каждый раз, когда «Летающая бабочка» отправлялась к родным, он сопровождал её, ни на шаг не отпуская от себя. Давно уже умерла мать Чжана, выросла Ай-ай и отношения плотника с женой прочно установились, но эта привычка всё равно осталась. «Летающая бабочка» однажды спросила мужа:

— Ты всё ещё беспокоишься?

— Всё равно... Я привык, пойду с тобой вместе, — ответил плотник Чжан.

Итак, Пятая тётушка, плотник Чжан и его жена втроём должны были двинуться в путь. «Летающая бабочка» спросила дочь:

— А ты, Ай-ай, не пойдёшь к бабушке?

— Нет, не пойду, я же была недавно, на третий день Нового года.

— Не хочешь, оставайся, — сказал отец. — Хорошенько карауль дом и не носись по улицам!

После этого все трое ушли.

Ай-ай не могла примириться с тем, что не нашла своей «любимой монеты». Если бы ей попался ключ и она вздумала порыться в шкатулке, то там она нашла бы сразу две «любимых монеты». Но ей и во сне не снилось, что монета может находиться в шкатулке. Она искала «любимую монету» только там, где, как ей казалось, та могла быть. Был уже полдень, но никаких следов монеты не отыскивалось. Она так огорчилась, что даже не хотела готовить себе обед. Только под вечер съела две пампушки. В это время пришёл Сяо-вань, Ай-ай взяла его за руку и сразу же сообщила:

— Я потеряла «любимую монету».

— Ну что ж, потеряла, так потеряла!

— Так обидно, что я даже не могла обедать.

— Стоит ли расстраиваться, даже если б она была, какая от неё польза? Скажи лучше другое. Я слышал, что твои родители вместе с Пятой тётушкой из восточного двора отправились искать тебе жениха. Правда это?

— Не знаю, отчего эта старая карга так любит соваться не в свои дела!

— Значит между нами всё кончено?

— Ничего подобного.

— А если они просватают тебя?

— Не может этого быть...

— Почему?

— Я не захочу.

— Будто это уж только от тебя зависит?

— Посмотрим.

Тут кто-то пришёл, и они замолчали. Оказалось — это Янь-янь из семьи Ма.

Ай-ай встретила её словами:

— Сестричка Янь-янь, скорее садись!

Янь-янь, увидев их вдвоём, смеясь, сказала:

— Извините, я лучше уйду.

Ай-ай тоже засмеялась, но ничего не сказала и, только положив ей руку на плечо, усадила на стул. Янь-янь спросила:

— Как ваши дела? Вы что-нибудь придумали?

— Мы только что говорили об этом, — ответила Ай-ай.

— Надо скорее что-нибудь придумывать, не будьте такими, как я. Я уже прозевала... — Как только Янь-янь это сказала, у неё на глазах появились слёзы. У Ай-ай и Сяо-ваня при этих словах тоже стало тяжело на душе, и немного спустя им всем троиц пришлось вытереть глаза.

— Вы ещё не зарегистрировались? — спросил Сяо-вань.

— Завтра регистрируемся...

— А что он за человек? — спросила Ай-ай.

— Я даже тени его не видела, — ответила Янь-янь.

— Разве поздно отказаться? — опять задала вопрос Ай-ай.

— Моя мать заявила: «Если ты не пойдёшь замуж, я умру на твоих руках». Что же мне делать?

— В прошлом году, — сказала Ай-ай, — ты ходила с Сяо-дином в сельское управление за свидетельством. На каком основании тебе его не выдали?

— Какие там основания, — ответила Янь-янь. — Это всё заведующий гражданскими делами. Мудрит, старый дурень! Сказал, что репутация плохая. Мало того, что не пишет свидетельство, так ещё заставляет меня заниматься самокритикой.

— Ну, а завтра разве он вас не заставит опять заниматься самокритикой? — спросил Сяо-вань.

На это Янь-янь ответила:

— А зачем мне самой ходить? Раз выходишь замуж не по своей воле, тогда — пожалуйста! — всякий может за тебя пойти и получить свидетельство. А тем, кто действительно выходит замуж по своему желанию, свидетельство не дают, да ещё заставляют заниматься самокритикой, говорят, что они идут против воли родителей...

— По-моему, наше дело кончено! — обратился к Ай-ай Сяо-вань. — Во-первых, сватают тебя за племянника заведующего гражданскими делами и, во-вторых, это желание твоей матери. Сегодня твоя мать послушает Пятую тётюшку с восточного двора, а завтра она пригрозит, что умрёт на твоих руках. Что ж, разве ты после этого не пойдёшь в район регистрироваться?

— Моя мать не поступит так, она боится, как бы я не устроила ей скандал!

За дверью кто-то закричал:

— Дядя Чжан! Дядя Чжан!

Ай-ай сказала:

— Это Сяо-дин тебя ищет!

Янь-янь не успела ничего ответить, как в комнату вошёл Сяо-дин. Янь-янь давно собиралась излить ему свою душу, но все эти дни не было подходящего случая, и теперь она быстро пересела на кровать Ай-ай, освободив место на скамейке. Янь-янь смотрела на Сяо-дина, но ничего не могла выговорить. Он же не обращал на неё внимания, даже не сел, а только спросил Ай-ай:

— Где дядя Чжан? Его все ждут на площадке, он обещал нам показать, как носить бумажного дракона.

— Отец ушёл к бабушке. Садись!

— Я занят... — ответил Сяо-дин и, покосившись на Янь-янь, быстро вышел из комнаты.

— Пошли гулять, Сяо-вань, — крикнул он со двора, — чего ты зря время тратишь? Вернётся домой, попроси отца поставить несколько пикулей<sup>1</sup> риса, и девок будет сколько хочешь!

Янь-янь уткнула голову в подушку и заплакала. Ай-ай и Сяо-вань долго не могли её успокоить.

Перестав, наконец, плакать Янь-янь сказала:

— Вы должны поскорее что-нибудь придумать. Видите, как со мной получилось, разве это приятно?

— Как же нам поступить? — спросила Ай-ай. — У наших деревенских стариков головы старые, никто не хочет вмешиваться. Хотя бы найти кого-нибудь, кто поговорил бы с моей матерью...

— Хорошее сказать некому, — перебил Сяо-вань, — зато плохое наговорить найдутся многие. Целыми днями наговаривают моему отцу: поскорее надо женить парня, нельзя откладывать.

Янь-янь вдруг выпрямилась, будто давала клятву:

— Я буду вашей свидетельницей! Я поговорю с вашими родителями. В нашей деревне только нас обоих считают бесстыдными девушками. Меня уже погубили! Неужели и тебя нужно погубить?

— Я должен тебе поклониться, Янь-янь, — встав, сказал Сяо-вань. — Неизвестно, выйдет из этого что-нибудь или не выйдет, но я прошу тебя, поговори с моим отцом. Если не выйдет, придётся нам расставаться... Лучше уж так, чем ни да, ни нет. Так и сделаем... Ну, надо

<sup>1</sup> Пикунь — мера веса около 58 килограммов. (Примеч. переводчика.)

мне уходить, пока заведующий гражданскими делами нас не встретил и не заставил заниматься самокритикой.

С этими словами он ушёл.

Ай-ай и Янь-янь занялись выработкой плана: как поговорить с тем, как с другим, что сделать, чтобы не покориться, если Пятая тётушка с восточного двора всё-таки сосватает племянника заведующего гражданскими делами. Они ещё продолжали возбуждённо обсуждать свой план, когда вернулась «Летающая бабочка». Янь-янь не терпелось начать разговор с ней, но не успела она ещё и рта открыть, как в комнату вошла Пятая тётушка.

— Что о нём самом говорить, что о его семье, всё равно не найдёшь недостатка! — затараторила Пятая тётушка. — А мать его — родная сестра заведующего гражданскими делами нашего села. Вы не представляете себе, какой у неё хороший характер! Ручаюсь, что в их семье твою дочь не обидят! Решайся, не ошибёшься..

— Пусть это пока останется между нами, — ответила ей «Летающая бабочка». — Я посоветуюсь с мужем.

Пятая тётушка, поняв, что «Летающая бабочка» не очень-то склонна согласиться с ней, немножко ещё поболтала и ушла. Ай-ай так обрадовалась, что от смеха всё её лицо покрылось ямочками.

Почему же «Летающая бабочка» была против этого брака?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать, что случилось, когда она ходила к своей матери.

Добравшись до деревни Сиванчжуан, они все втроем сначала зашли к матери «Летающей бабочки». Пятая тётушка хотела немедленно показать семью племянника заведующего гражданскими делами. Но «Летающая бабочка» сказала:

— Вместе идти не хорошо. Лучше ты иди сначала, а я приду потом, будто бы позвать тебя домой. А то будут ещё говорить, что я напрашиваюсь в их семью со своей дочерью.

Сестра заведующего гражданскими делами деревни Чжанцзячжуан жила на южном конце деревни. Семья была невелика, три человека: муж, жена и сын. Мальчик как раз ушёл играть, дома были одни родители. После обычного при встречах разговора старик спросил Пятую тётушку:

— Какая же самая подходящая из тех трёх семей, о которых вы говорили?

— По-моему, все одинаковые, только у двух уже появились женихи, остаётся только семья «Летающей бабочки».

— Почему так быстро? — удивился старик.

— Взрослые девушки по восемнадцать-девятнадцать лет, конечно, быстро замуж выскакивают, — ответила Пятая тётушка.

— Я говорила, надо скорее решать, а ты всё тянул да тянул. Теперь хороших уже другие забрали! — сказала старуха.

— Молодых невест сколько хочешь! — умышленно вставила Пятая тётушка. — Я могу вам сосватать девушку лет в четырнадцать. Всё равно будет старше вашего ребёнка!

— Оставьте шутки, — сказала старуха. — Если бы мы хотели брать молодую — в четырнадцать или пятнадцать лет, то зачем было бы беспокоить такого человека, как вы?

— Взрослых невест больше не найти. Почему вы говорите, что всех хороших забрали? По-моему, из этих трёх — самая красивая из семьи «Летающей бабочки». Да вы, наверно, её и сами видели. Разве она не такая же, как «Летающая бабочка» лет двадцать тому назад?

— Наружность сойдёт, но, говорят, репутация плохая!

— Если бы не этот маленький недостаток, как вы думаете, осталась бы она до девятнадцати лет дома?

— Что ж тогда получается, — продолжала настаивать старуха, — за наши же деньги мы приобретаем мешок неприятностей...

— Не слушайте сплетен чужих людей! — огорчённо ответила Пятая тётушка. — Если бы действительно у неё был такой большой грех, разве стал бы ваш почтенный брат просить меня сосватать её за вашего сына? Стоит ли считаться с небольшим недостатком. Если она будет у вас, это легко исправится.

— Что уж тут исправлять, — снова заговорил старик. — Какая мать, такая у неё и дочь родится. «Летающая бабочка» смолоду такая же бесстыдница была.

— Можно исправить, — возразила Пятая тётушка. — Известно, человек жалкое существо. Хорошенько побить — всё исправится.

— Если человек таким родился, битьём не исправишь, — не соглашался старик.

— Битьём всё можно исправить! Можно! — громко закричала Пятая тётушка. — Плотник Чжан исправил же когда-то палкой свою «Летающую бабочку»!

Как раз во время этого разговора во двор вошла «Летающая бабочка» и услышала последние слова Пятой тётушки. Она сразу остановилась и осмотрелась кругом: никого не было видно. Тогда она потихоньку вышла со двора и пошла обратно.

«Летающая бабочка» шла и думала: «Разве битьё тоже переходит в наследство из поколения в поколение? Ну их, не отдам я свою дочь обучать палкой!».

Когда она вернулась в дом матери, та, в один голос с Чжаном, спросила:

— Ну, как?

— Нет, с ними каши не сваришь!

— Почему?

— Не будем об этом больше говорить. Не подходит и всё!

Старуха заметила сердитое лицо дочери и спросила, чем она расстроена. «Летающая бабочка», конечно, не хотела рассказывать, и она только сказала:

— Ночью плохо спалось...

Потом ушла в другую комнату и легла на кровать.

Но разве она могла уснуть?

Слова Пятой тётушки растравили старые раны. Новое и старое встало перед её глазами.

«Почему и у матери и у дочери судьба так одинакова? — думала она. — Не знаю, какой чёрт меня толкнул обменять колечко на «любимую монету». Из-за этого меня избили до полусмерти, и до сих пор я всё ещё хожу, как арестант, стоит только выйти из дома, как за мной следом — муж-конвоир. А теперь такое же несчастье выпадает и моей дочери. Я натворила и ты тоже ухитрилась! Дурочка! Полжизни мать не могла выбраться из тупика, неужели и тебе тоже придётся мучиться?»

Она перебирала в памяти прошлое: все женщины, у которых была история, связанная с «любимой монетой», непременно были биты — свекровь била, муж бил, и если они не кончали самоубийством, то ходили вдовами при живых мужьях...

«Да, повод уже есть... Пропала ни за что! Не захотела быть порядочной. За кого теперь ни выдай, всё равно будут бить».

Будь «Летающая бабочка» простоватей, наверно на том бы она и

примирилась... Стоило ей закрыть глаза, она сразу вспоминала, как плотник Чжан бил её, будто осла, по десятку ударов без передышки...

«Ой, мама, как страшно! Двадцать лет прошло, а и сейчас как вспомню, так по всему телу дрожь пробежит. Нет, разве моя Ай-ай сможет пережить такое?..»

И она продолжала раздумывать — то так, то этак. В обед ей не хотелось есть. Только чтобы успокоить свою старуху-мать, она с трудом съела три-четыре пельменя.

Пятая тётушка не могла дожидаться «Летающую бабочку» и явилась сама. Но «Летающая бабочка» отказалась идти на южный конец деревни.

— Боюсь, что уже поздно, — сказала она, — и мы не успеем засветло добраться до дому.

И они вернулись обратно в свою деревню Чжанцзячжуан. Пятая тётушка всю дорогу нахваливала племянника заведующего гражданскими делами, по её словам он был хорош на сто двадцать процентов. Мать Ай-ай не хотела её слушать и шла так быстро, что казалось — летела. Недаром её прозвали «Летающей бабочкой» двадцать лет назад. Она держалась от Пятой тётушки всего на десять шагов впереди, но та всю дорогу не могла нагнать её.

Как только они вошли в свою деревню, молодые ребята гурьбой увели плотника Чжана на площадку, чтобы он научил их искусству вождения бумажного дракона. Пятая тётушка, пошедшая вслед за «Летающей бабочкой», получила вежливый отказ, после чего, пробормотав что-то, вынуждена была отправиться домой.

Ай-ай, как я уже говорил, радостно смеялась, узнав, что её мать не даёт согласия на свадьбу, а Янь-янь решила, что в такую минуту ей будет легче начать разговор, который она задумала.

Сделав Ай-ай глазами знак, Янь-янь обратилась к «Летающей бабочке»:

— Тётя! Можно, я сосватаю Ай-ай?

«Летающая бабочка» приняла это за ребяческую выходку и рассмеялась.

— Да разве ты можешь быть свахой?

— Почему же не могу?

— Разве у тебя такой язык, как у Пятой тётушки с восточного двора?

— Если у неё такой замечательный язык, почему же она не смогла уговорить вас?

— Как могу я дать согласие, если не подходит...

— Значит дело не в том, как говорить, а в том, подходит или не подходит. Я могу назвать одного, ручаюсь что подойдёт.

— Ну попробуй, скажи.

— Сяо-вань!

— Так я и знала, что ты назовёшь его... Оставь-ка Сяо-ваня в покое. Эх, девушки! Пора вам быть посерьёзнее. Очень уж много про вас сплетничают!..

На это Янь-янь ответила:

— Я скажу так же, как сказала Пятая тётушка с восточного двора: «Что о нём самом говорить, что о его семье, всё равно не найдёшь недостатка». Но мои слова куда правдивее, а эта старая дура только попусту мелет языком. Тётя! Вы подумайте, разве я не правильно говорю?

— Ты говоришь о хорошем и молчишь о плохом. А как уберечься от сплетен?



— Всё это получилось из-за Сяо-ваня и только. Да и сплетничают-то выжившие из ума старики. Отдайте Ай-ай за Сяо-ваня, посмотрим, что тогда они смогут сказать?

«Эта девочка не так глупа. В самом деле, если так поступить, то наверняка не будет никаких неприятностей. И Ай-ай не получит порку в наследство»... Раздумывая так, «Летающая бабочка» погладила Янь-янь по голове и сказала:

— Дорогое дитя! Ты настоящая сваха.

Обрадованная Янь-янь быстро спросила:

— Тётя, вы согласны?

— Не торопись, дитя моё! Есть ещё твой дядя, вот он вернётся — я с ним поговорю!

Янь-янь попрощалась и собралась поскорее передать радостное известие Ай-ай, но, выйдя из комнаты, обнаружила, что та стоит под окном. Ай-ай молча схватила её за руку, и они вдвоём вышли со двора.

— Ты, наверное, всё слышала? — спросила Янь-янь.

— Слышала. Спасибо тебе!

— Пока ещё рано благодарить. Осталась ещё другая сторона. Ты пойдёшь погулять, полюбуешься на фонари и подожди меня около кооператива. А я попробую уговорить родных Сяо-ваня.

В доме Сяо-ваня «сваха» тоже начала с женщин и завела разговор с матерью Сяо-ваня. По местным обычаям, если семья невесты дала согласие на свадьбу, то с семьёй жениха столкнуться уже легче. Действительно, Янь-янь не пришлось потратить здесь много времени...

Прибыв к кооперативу, Янь-янь взяла Ай-ай под руку и, рассказав об успешных результатах переговоров, добавила:

— Если сегодня вечером твоя мать уговорит отца, тогда завтра можно итти регистрироваться!

Радостная и довольная вернулась Ай-ай домой.

Янь-янь, оставшись одна, задумалась о чужой судьбе и о своей, сравнила их, и ей стало очень грустно. В безлюдном уголке улицы она тихо и долго плакала. И уже дома, лёжа в кровати, всё время думала. Завтра предстояло либо пожертвовать собой, либо обидеть мать. Другого выхода не было...

Всю ночь она не закрывала глаз.

Ну, а что с «Летающей бабочкой»?

После того, как Янь-янь с Ай-ай ушли, она несколько раз тщательно перебрала в мыслях всю семью Сяо-ваня. Живут они неплохо и в доме у них всегда мир. Характер у родителей спокойный. Парень красив, возраст тоже подходящий. Так, разбирая со всех сторон и не найдя недостатков, она окончательно согласилась на этот брак и про себя похвалила Ай-ай: «Милое дитя! Ты сделала удачный выбор! У сплетников просто старые, глупые головы!».

Тут она вспомнила о вчерашней «любимой монете» и открыла шкапу. Она решила вернуть монету Ай-ай, но не знала, как это сделать. Как раз в этот момент в комнату вбежала Ай-ай.

— Мама, что у тебя в руке? — спросила она.

«Летающая бабочка» ответила:

— «Любимая монета»!

— Откуда она у тебя?

— Нашла.

— Мама, это моя!

— А у тебя она откуда?

— Я... я тоже нашла! — Ай-ай засмеялась.

«Летающая бабочка» посмотрела на неё и сказала:

— Ну, раз твоя, так возьми...

Ай-ай получила «любимую монету» и тут же положила её в карман.

Немного спустя, после игры с бумажным драконом, вернулся домой плотник Чжан. Ай-ай ушла в свою комнату в надежде увидеть хорошие сны. Отец и мать в эту ночь долго разговаривали о свадьбе Ай-ай.

### 3. Регистрация

Ай-ай знала, что мать будет разговаривать с отцом о её свадьбе, и понятно, что она не могла сразу уснуть. Она прильнула к окошку и стала подслушивать, но так как её окошко от комнаты матери отделяли двор и ещё одно окошко, Ай-ай не могла слышать всего и разобрала только две фразы.

Что же она услышала?

Мать говорила:

— Скажи мне, пожалуйста, что плохого, если мы так сделаем?

— Плохого ничего нет, но как прекратить сплетни в деревне?

Больше Ай-ай ничего не могла расслышать.

Как уже сказано, в этот вечер Ай-ай, конечно, долго не могла заснуть.

Наутро, встав, она хотела пойти к Янь-янь, но деревенской девушке, если в доме нет невестки, приходится подметать пол, вытирать пыль, разжигать очаг, готовить пищу, мыть посуду и кастрюли. Всё это повторялось каждый день, и всё это непременно нужно было сделать и сегодня. Ай-ай беспокоилась, как бы Янь-янь не ушла в район; с большим трудом дождавшись конца завтрака, она быстро собрала посуду и палочки и немытыми бросила в кастрюлю. Потом потихоньку прикрыла крышкой и побежала к Янь-янь.

Она собиралась попросить Янь-янь узнать, о чём договорились её мать с отцом. Однако неожиданные обстоятельства заставили отложить задуманный разговор.

Янь-янь ещё лежала в постели, а мать умоляла её встать. Рядом стояла Пятая тётушка и тоже с нетерпением ждала, когда Янь-янь встанет.

— Что с Янь-янь? — спросила Ай-ай.

— Янь-янь боится, как бы я не осталась жива! — ответила мать.

— Всё было сделано по-твоему, — сказала Янь-янь, — а ты ещё говоришь, что я тебя убила!

— Если ты меня не хочешь мучить, почему же ты не встаёшь? Хватит, дорогая, вставай скорее! Пятая тётушка объяснит тебе порядки, существующие в районе. Потом пойдёшь в сельское управление за свидетельством. Вставай скорее, уже поздно!

— Умру, а не пойду в сельское управление! Я боюсь, заведующий гражданскими делами снова заставит меня заниматься самокритикой!

— Эх ты, молодая бабушка<sup>1</sup>. Если не хочешь идти в сельское управление, я схожу сама. Но встать тебе всё равно придётся! Пятая тётушка должна рассказать тебе все порядки в районе.

Янь-янь рассердилась и с шумом села на кровати.

— И так ясно! Всё там делается по старым феодальным порядкам. Вы добиваетесь, чтобы я притворилась и оказалась в смешном положении. Ну, говорите, какие там у них порядки?!

Сердитое лицо Янь-янь заставило Пятую тётушку умильно начать:

— Дитя моё! Не надо упрямиться. Надо быть веселее. Ведь дело-то это радостное!

<sup>1</sup> Назвать молодую девушку бабушкой считается крайним оскорблением. (Примеч. переводчика.)

— Говорите скорее о ваших фальшивых порядках! — перебила её Янь-янь. — Какие ещё радостные дела? Для вас они радостные, а не для меня.

— Ну, ладно, ладно! Не говори сердитых слов, — успокаивала свеха. — Когда придём в район, я отдам твоё свидетельство заместителю Вану, он прочтёт его, спросит, сколько тебе лет, ты ему скажешь столько, сколько есть. Если же спросит: «По своему желанию?», отвечай: «По своему желанию»...

— Как это так «по своему желанию»? — вскипела Янь-янь.

— Дурочка, если так ответишь, всё будет по правилам. После этого, если он ничего не будет спрашивать, то всё хорошо. Если же он ещё спросит, почему ты согласилась, отвечай: «Потому, что он хороший работник».

— Вот тебе раз... Я даже его чёртовой тени никогда не видела. Откуда я могу знать, хороший он работник или нет?

— Вот какая у меня дочка, — вмешалась в разговор мать Янь-янь. — Она не успокоится до тех пор, пока не сживёт меня со света.

— Мама, с чего это ты взяла, что я тебя сживаю со света? Я ведь действительно не знаю его! Ну, ладно, не сердись... Что хочешь, то и буду отвечать. Пятая тётушка, какие там ещё дьявольские порядки есть? Говорите всё сразу, я всё буду делать по-вашему.

— Больше никаких, — сказала Пятая тётушка.

В это время Сяо-вань пришёл за Ай-ай. Встав в стороне, он стал дожидаться конца спора. После того, как Янь-янь согласилась говорить в районе так, как её учили, Пятая тётушка вместе с матерью Янь-янь отправились в сельское управление за свидетельством.

Когда они ушли, Ай-ай сказала:

— Дорогая Янь-янь, у тебя такая неприятность... Я не знаю, что сказать, чтобы успокоить тебя.

— Моя жизнь кончена, какие уж теперь приятности или неприятности? Я ещё тебя не спросила, твой отец согласился?

— Мне неудобно было спросить. Сегодня не стоит, поговорим об этом в следующий раз.

— Нет, я нарочно хочу сейчас же вмешаться в это дело. Если уж начала, то нужно довести до конца. Нельзя, чтобы все были такими несчастными, как я. Если у тебя что-нибудь выйдет, пусть это будет урок моей матери. Ты подожди меня здесь, а я пойду к твоей матери. Если всё в порядке, тогда мы вместе отправимся в район.

И Янь-янь ушла.

— Мой отец, — сказала Ай-ай, — как будто не против. Я слышала, что твои родители тоже согласились. Так что беспокоиться надо только о свидетельстве от заведующего гражданскими делами.

— Я тоже так думаю, — ответил Сяо-вань. — Во все дела нашей деревни он вмешивается, и если что не по его желанию — ничоём не сделает. Везде только и говорит, что у тебя плохая репутация, а если бы ты вышла за его племянника, тогда и репутация ничего...

— Да, дело ясное. Если он нам не выдаст свидетельство, что тогда делать?

Они ничего не могли придумать.

Немного спустя вернулась Янь-янь и объявила, что плотник Чжан дал согласие и что можно вместе отправиться в район для регистрации. Ай-ай выразила опасение, что свидетельство в сельском управлении получить будет трудно. Янь-янь сначала была с этим согласна, но, немного подумав, сказала:

— Ничего, идите! Как только он мне напишет, так вы требуйте, что-

бы и вам написал. Если он откажется, скажите: «Даже когда за свидетельством приходят не сами, вы и то выдаёте, а мы сами пришли, почему же нам нельзя получить?» Посмотрим, что он вам на это ответит...

— Верно, — поддержал её Сяо-вань. — В случае чего мы пойдём регистрироваться в район без свидетельства. И если в районе у нас требуют свидетельство, мы скажем, что у заведующего гражданскими делами нашей деревни феодальные мозги. Другие не сами приходят, он им выдаёт свидетельство, а мы сами пришли, и он нам нарочно не дал.

— У нас спросят свидетелей, — сказал Сяо-вань.

— Я буду вашим свидетелем!

— Да, но свидетель должен присутствовать...

Янь-янь подумала немного.

— Ладно, я пойду с вами!

— Ты ведь не хотела итти в сельское управление, — сказала Ай-ай

— Я и не пойду по своему делу. Мы подождём у ворот сельского управления. Как только выйдет моя мать, мы сразу войдём.

— Но заведующий гражданскими делами может снова сказать, что у тебя плохая репутация и что ты не можешь быть свидетельницей. Как быть тогда? — спрашивала Ай-ай.

— Тут уж я сумею ему ответить.

Так втроём, обсудив всё со всех сторон, они отправились в сельское управление. И добрались туда как раз, когда из ворот выходили мать Янь-янь и Пятая тётушка.

— Тебе незачем итти, — обратилась Пятая тётушка к Янь-янь. — Твоё свидетельство уже выписано.

— Мне нужно спросить, что они там написали. Меня могут спросить, а я не сумею правильно ответить.

Решив, что Янь-янь одумалась, мать рассмеялась.

— Давно бы так! Спрашивается, зачем мне нужно было сюда бежать? Скорей узнай, что тебе надо, и приходи домой.

Заведующий гражданскими делами только что кончил писать и не успел ещё закрыть крышку своей тушницы.

Увидев пришедших, он, не обращая внимания на Ай-ай и Сяо-ваня, сказал Янь-янь:

— Иди домой! Свидетельство уже выдано твоей матери!

— Я знаю, на этот раз мы просим написать для них.

Заведующий покосился на Сяо-ваня и Ай-ай и спросил их:

— Для вас двоих?

— Для нас двоих.

— Вы уже всё обсудили?

— Обсудили. Мы оба согласны.

— Боюсь, что вы ещё не согласились, — иронически сказал заведующий.

— За кого вы боитесь? — спросила Ай-ай. — Мой отец и моя мать тоже согласны!

— Мои родители тоже согласны! — добавил Сяо-вань.

— А кто у вас свидетель? — спросил заведующий.

— Я, — ответила Янь-янь.

— Как же ты можешь быть свидетелем?

— А почему я не могу быть свидетелем?

— У тебя хорошая репутация?

— Если у меня плохая репутация, тогда почему вы только что написали мне свидетельство?

Заведующий гражданскими делами ничего не смог на это ответить и, рассердившись, закричал:

— Убирайтесь вон отсюда! Бесстыдники!

Ай-ай, видя, что их планы провалились, сказала ему напрямик:

— Ну, а если я выйду замуж за твоего племянника, тогда не буду бесстыдницей? Правда?

Вопрос этот был задан так неожиданно, что у заведующего даже дыханье перехватило.

Когда заведующий в первый раз увидел Ай-ай об руку с Сяо-ванем, он сказал себе: «Распутная, совершенно такая, как «Летающая бабочка» в молодости». А когда он сватал своего племянника и сестра спросила, какая будет девушка, он ответил: «Хорошая девушка, в точности как «Летающая бабочка» в молодости!». Он считал, что в этих двух мнениях нет противоречий: когда он говорил «хорошая», он подразумевал, что она красивая, когда говорил «плохая», он подразумевал её поведение. Его взгляды на «красоту» и на «поведение» не были одинаково строгими: красота — дело природы, какая есть, такая и будет; поведение же можно изменить, нужно только побить хорошенько и тогда, какой хочешь, такой жена и будет. В этом отношении взгляды заведующего целиком совпадали со взглядами Пятой тётушки.

Но высказать их вслух он не мог. Ай-ай наверняка ему ответила бы: «С такими взглядами вы не можете быть заведующим гражданскими делами, тогда пусть уж Пятая тётушка с восточного двора будет заведующим!».

Не будем отвлекаться, продолжим лучше наш рассказ.

Заведующий гражданскими делами сердито закрыл крышку тушницы — после неожиданного вопроса Ай-ай он никак не мог отдышаться.

— Как бы вы ни выкручивались, я свидетелство писать не буду!

— Не напишете, мы всё равно пойдём регистрироваться. Пусть нас в районе спросят, я попрошу разобрать этот вопрос!

— Иди попробуй! В районе тоже знают, какая у тебя хорошая репутация...

Они долго спорили, но всё же уйти пришлось с пустыми руками.

После обеда Пятая тётушка, Янь-янь, Сяо-вань и Ай-ай отправились в район. Молодёжь не любила Пятую тётушку и всю дорогу старалась идти впереди. Пятую тётушку замучила одышка, так она устала, догнав своих спутников. У ворот районного управления уже ожидало человек пять-шесть: мужчины, женщины, старые, молодые, но среди них никого из знакомых. Двое взрослых, видимо, были свидетели, а кроме них тут стояли лишь два молодых парня, один лет двадцати, другой пятнадцати. Янь-янь, Сяо-вань и Ай-ай решили, что тот, который помоложе, и есть жених Янь-янь, так как Пятая тётушка уверяла, что ему «полных пятнадцать лет!».

Немного спустя до ворот добралась и Пятая тётушка. Она осмотрелась кругом и спросила:

— Почему же парнишка из деревни Сиванчжуан ещё не пришёл?

Тут только они поняли, что ошиблись. Оказывается, и этот не был женихом!

Из сторожки выбежал мальчик и закричал:

— Старая тётушка, я давно пришёл!

Голос у него был более тонким, чем у Янь-янь, да и сам-то он на целую голову был ниже неё. Волосы коротенькие, щёчки румяные, глазки похожи на кошачьи, а когда мальчик высунул свою маленькую пухленькую руку, то на ней оказались пять маленьких ямочек...

«Мальчишка славный, — подумала Янь-янь, — но он ещё совсем грудной. Почему это ему захотелось жениться?»

— Ну, пойдёмте! — сказала Пятая тётушка.

В январские дни, в связи с новогодними праздниками, все обычно ходят другу к другу в гости. В это время особенно часты свадьбы. В канцелярии в эти дни всё время толпился народ, пришедший за брачными свидетельствами, и помощнику Вану некогда даже пот отереть со лба. В маленькой комнате посетители стояли у дверей, а к столу подходили по очереди.

Стоя у дверей, Янь-янь и Ай-ай наблюдали процедуру регистрации брака. Как и говорила Пятая тётушка, всё было очень просто. Помощник Ван прочтёт свидетельство и спросит: «Как зовут?» — Так-то. «Сколько лет?» — Столько-то. «По своему желанию?» — По своему. «Почему выходишь за него замуж?» или «Почему её берёшь в жёны?» — Потому что хороший работник или хорошая работница... На одинаковые вопросы — одинаковые ответы. Чтобы получить свидетельство, приходилось отвечать только так. В сущности, на весь этот набор вопросов отвечали совершенно машинально.

Потом выдавали красную бумагу, на которой жених, невеста и свидетели ставили отпечаток пальца. Только двум было отказано, потому что обнаружили какие-то неправильности.

Вскоре дошла очередь и до наших знакомцев. Янь-янь подтолкнула Ай-ай и сказала:

— Сначала ты!

Ай-ай подошла к столу. Но тут произошло забавное недоразумение. Когда помощник Ван спросил свидетельство, мальчик из деревни Си-ванчжуан очутился у стола и сразу же подал своё свидетельство. Пятая тётушка торопливо схватила его со словами.

— Ошибся! Ошибся!

Но паренёк не понял и ответил:

— Не ошибся. Это моё свидетельство.

Оказывается, Пятая тётушка ничего ему не объяснила у ворот и паренёк решил, что раз Ай-ай ростом ниже Янь-янь, значит она и есть его невеста. Сяо-вань подошёл к столу и сказал мальчику:

— Раз тебе говорят — ошибся, значит ошибся, а ты не слушаешься! — и, повернувшись, он показал пальцем на Янь-янь: — Вот где твоя!

Все в комнате расхохотались. Помощник Ван вернул мальчику свидетельство, сказав:

— Как же ты женишься, если даже своей невесты не знаешь...

— У нас нет свидетельства, можем мы зарегистрироваться? — спросил Сяо-вань.

— А почему нет свидетельства? — спросил в свою очередь помощник Ван.

— Заведующий гражданскими делами нам не выдал, — сказала Ай-ай. — А вот Янь-янь он выдал, хотя пришла мать, а не она сама. Он хочет, чтобы я вышла замуж за его племянника.

— Вы из какой деревни?

— Из деревни Чжанцзянчжуан.

— Как тебя зовут?

— Чжан Ай-ай.

Помощник Ван внимательно посмотрел на неё и ещё раз спросил:

— Ты и есть Ай-ай?

— Да!

Помощник Ван перевёл взгляд на Сяо-ваня и спросил:

— Тогда тебя наверняка зовут Ли Сяо-вань?

— Да!

— А кто у вас свидетель?

— Я! — откликнулась Янь-янь.

— Как твоя фамилия?

— Ма Янь-янь.

— А, так вы обе здесь! Как же ты можешь быть их свидетелем?

— А почему я не могу быть свидетелем?

— У нас есть донесение из сельского управления, что у вас обеих репутация плохая.

Тогда они спросили все трое сразу:

— Какое же у вас доказательство?

— Вы ведь давно ведёте дружбу, — сказал помощник Ван.

— Что ж в этом плохого? — возразил Сяо-вань. — Если бы мы не вели дружбу, мы легко могли бы наделать ошибок в ответах.

При этих словах все опять рассмеялись. Помощник Ван сказал:

— Раз есть донесение, вам придётся подождать, пока мы проверим.

— Помощник Ван, — сказала Янь-янь, — что плохого, если вы разрешите им свадьбу? Что тут проверять? Никто из них раньше не был женат и ни с кем у них нет недоразумений. Они оба действительно по-настоящему, по своей воле хотят жениться. Так что же ещё проверять?

— Всё равно нужно проверить, — сердито ответил Ван. — С этим делом покончено... Подавай своё свидетельство, — обратился он к пареньку из Сиванчжуана.

Тот протянул своё свидетельство. А Пятая тётушка подала Вану свидетельство Янь-янь.

Помощник Ван спросил мальчика:

— Как тебя зовут?

— Ван-дань.

— На сколько ты старше десяти лет?

— Мне пятнад... двадцать!

Маленький Ван-дань, не успев вымолвить «пятнад...», спохватился, что говорит не то, чему его учила Пятая тётушка. Помощник Ван переспросил:

— Что такое «пятнад... двадцать»?

Маленький Ван-дань ничего не мог ответить.

— Вы по своему желанию? — спросил помощник Ван.

— Да, по своему желанию.

— Почему хочешь на ней жениться?

— Она хорошая работница.

Помощник Ван прочитал свидетельство Янь-янь и спросил её:

— Ма Янь-янь, скажи, пожалуйста, сколько ему в действительности лет?

— Я не знаю...

Пятая тётушка быстро перебила Янь-янь:

— Почему ты говоришь, что не знаешь?

— А я на самом деле не знаю. Разве вы мне говорили?

Пятая тётушка не догадывалась, что Янь-янь нарочно хотела провалить дело, и негодовала про себя: «Вот дурная девка! Даже если б я тебе не говорила, но ведь он сказал — двадцать, почему же нельзя повторить: ему двадцать лет?».

Но тут маленькому Ван-даню захотелось показать себя взрослым и умным, и он сказал:

— Она же действительно не знает. Я живу в деревне Сиванчжуан, она живёт в деревне Чжанцзячжуан и мы друг с другом никогда не виделись, откуда же ей знать, сколько мне лет?

— Я давно догадываюсь, что ты её никогда раньше не видел,—сказал помощник Ван. — Если бы ты её видел раньше, как же ты мог бы ошибиться? Если ты её раньше не видел, почему же ты тогда знаешь, что она хорошая работница? Ты всё врешь, мальчуган! Регистрации я вам не разрешаю! Во-первых, возраст жениха неясен, а во-вторых, он даже не знает, которая его невеста. Совершенно нельзя считать, что это брак по своей воле. Идите все домой!

Они вышли из районного управления.

Маленький Ван-дань повернул к себе в Сиванчжуан, а Пятая тётушка принялась упрекать Янь-янь в том, что та неправильно отвечала. Янь-янь в ответ обвиняла Пятую тётушку, что та её неверно учила.

Некоторое расстояние они прошли все четверо вместе, потом разделились так же, как и прежде,—трое молодых шли впереди, а Пятая тётушка плелась сзади.

Ай-ай с Сяо-ванем говорили, что у помощника Вана голова забита, Янь-янь уверяла, что он ни в чём не разбирается. Они обсуждали, как им поступать дальше. Янь-янь высказала свою готовность продолжать помогать Ай-ай и Сяо-ваню; в свою очередь, Ай-ай и Сяо-вань готовы были помочь Янь-янь восстановить дружбу с Сяо-дином. Выражаясь дипломатическим языком, они заключили «пакт о взаимопомощи».

#### 4. Кто заслужил критику

Раньше мы сказали, что у заведующего гражданскими делами в деревне Чжанцзячжуан о женщинах было такое мнение: «На первом месте — красота, на втором — поведение, но поведение можно исправить по желанию мужа». На самом деле этот взгляд в деревне Чжанцзячжуан был всеобщим, его придерживался не только заведующий гражданскими делами,—если бы он был один такого мнения, ему не удалось бы создать «плохую репутацию» двум взрослым девушкам. В деревне Чжанцзячжуан только эти две взрослых девушки оставались не замужем. Они обе завели дружбу с мужчинами, и хотя их называли «бесстыдницами», все хотели сосватать их за своего человека. Когда же сосватать не удавалось, о «бесстыдницах» сплетничали ещё больше, поэтому репутация у девушек становилась чем дальше, тем хуже.

О том, что они обе побывали в районе, стало известно всем. Старые люди считали дела плохими: девушек уже нельзя сватать. И их больше не сватали. Даже те, кто хотел сосватать в свою семью, теперь больше не заикались об этом. Молодёжь хотя иногда и повторяла то, что говорят взрослые, но в душе давно была согласна с Ай-ай и Янь-янь. А они, если слышали сплетни о себе, спрашивали напрямик:

— Что же тут плохого, если мы поженимся?

В этих словах было много силы, и никто не мог ничего возразить. По этой причине сплетников день ото дня становилось меньше.

В конце концов, противников свадьбы этих двух пар осталось только трое. Первой была мать Янь-янь, она то умирала, то воскресала, но никак не соглашалась на брак с Сяо-дином; вторым был заведующий гражданскими делами, ни за что не хотевший написать свидетельство, а третьим был помощник Ван в районе, который болтал попусту и ничего не делал. Ай-ай с Сяо-ванем несколько раз ходили в район и каждый раз он им отвечал:

— Проверим, видно будет!

Четверо молодых не были хозяевами в доме, даже не могли поехать жаловаться в уезд, так как прежде следовало добиться согласия у себя в семье. При таком положении им оставалось лишь ругать каждый день заведующего гражданскими делами и помощника Вана.



Так они и ругали их целых два месяца, но толку никакого от этого не было.

Однажды вечером Сяо-вань зашёл в кооператив. Заведующий кооперативом, улыбаясь, спросил его:

— Как дела со свадьбой, Сяо-вань?

— В районе всё ещё не закончили проверку.

— А когда же они закончат проверку?

— Может быть, лет через десять, а может, и через двадцать...

— О, как ты долго решил ждать! — сказал кооператор. — Это теперь, пожалуй, лишнее. Разве ты не знаешь, опубликован новый закон о браке! По этому закону вы совершенно подходите друг к другу...

Сяо-вань не поверил.

— Какой вы шутник, однако...

Но тот в ответ подал ему газету.

Сяо-вань едва взглянул на заголовки в газете, как увидел, что ему сказали правду. Он поднёс газету к лампе и начал читать.

— Дай я тебе прочту! — сказал заведующий и, взяв газету, стал читать вслух новый закон.

Из кооператива Сяо-вань поспешил к Ай-ай, но так как у них существовал «пакт взаимопомощи», то Ай-ай отправилась за Янь-янь, а Сяо-вань за Сяо-дином. Вскоре вчетвером они собрались у Ай-ай и открыли «собрание». Янь-янь не хотела сразу же сердить мать, поэтому решили, что сначала Ай-ай регистрируется с Сяо-ванем.

— Если вы получите свидетельство, — сказала Янь-янь, — то уже будет легче уговорить мать. Хотя вы уверяете, что и без этого можно зарегистрироваться, по-моему, всё же лучше будет, если моя мать даст согласие.

На том и порешили.

После «собрания» Сяо-вань и Ай-ай до полуночи составляли план, что им делать, если помощник Ван опять откажется зарегистрировать. Но против всякого ожидания помощник Ван ничего не сказал и даже ничего не спрашивал, он без всяких слов выдал им брачное свидетельство.

А ещё через день из районного управления пришло извещение о том, что свадьба Сяо-ваня с Ай-ай будет первой образцовой свадьбой в районе и что активисты должны присутствовать на церемонии.

После этого вся деревня, за исключением некоторых особенно неисправимых консерваторов, изменила своё мнение об Ай-ай и Сяо-ване. Молодёжь и прежде одобряла этот брак, поэтому очень многие пришли помочь подготовиться к свадьбе. Прошло несколько дней, и всё было готово.

В день свадьбы из района пришли два активиста. Одним из них был секретарь районного управления, а другим оказался не кто иной, как сам помощник Ван. Активисты сельского управления все были на свадьбе. Заведующий гражданскими делами вначале не хотел идти, но в районе сказали: другие активисты могут не присутствовать, но он-то обязан быть.

Так как в районе назвали свадьбу образцовой, то понятно, что на неё пришла чуть не вся деревня. Двор Сяо-ваня был набит битком.

Свадьба началась, и новобрачные встали на отведённое им место. Какой-то мальчишка, неизвестно откуда научившийся новым порядкам, стал просить невесту, чтобы она рассказала о своей любви, начиная с «любимой монеты». Ай-ай сказала:

— Что тут особенного? Я ему подарила колечко, а он подарил мне «любимую монету». Вот и вся история!..

Один из молодых парней спросил:

— Достаточно того, что она рассказала?

— Недостаточно,— закричали все.

— А что нужно делать, если недостаточно?

— Пусть ещё рассказывает!

— Я не согласна с вами,— возразила Ай-ай. — Это ведь не собрание по сведению счетов с помещиком.

— Мы пришли с хорошими намерениями,— заговорили из толпы. — И чтоб было весело. Почему же ты нас гонишь?

— Я очень благодарна, что все пришли мне помочь, — говорила Ай-ай. — Но всё же я не хочу ни в чём оправдываться. О «любимой монете» мне больше рассказывать нечего. Если же вы хотите, чтобы я рассказывала, я могу рассказать вам о чём-нибудь другом.

— Хорошо, говори! Говори, о чём хочешь!

— Вы все знаете, что у меня репутация плохая, — начала Ай-ай. — А знаете ли вы, кого в этом нужно винить? Кто не хотел, чтобы мы поженились, того и винить надо. Подумайте только: если бы мы на год раньше поженились, давно бы уже стали порядочными. Все обычно говорят красиво: «Выходить замуж и жениться нужно по своей воле». Но скажите, пожалуйста, кто в нашей деревне выходил замуж или женился по своей воле? Откровенно говоря, все до одного женились и выходили замуж по желанию родителей.

Все присутствующие знали, что Ай-ай говорит правду, но им казалось неудобным высказать это вслух перед активистами района.

— По правде говоря,— продолжала Ай-ай,— из всех женщин по своей воле выходим замуж только мы, Янь-янь да я. Но заведующий гражданскими делами постоянно говорил нам, что мы должны критиковать себя. Мы себя критиковали, хотя были неправы только в том, что хотели поступить по своей воле. Говоря об этом, я должна признаться: из-за этого я ровно два месяца ругала нашего заведующего гражданскими делами, а сейчас разрешите мне извиниться перед ним.

— Как ты его ругала? — кричали любопытные.

Но Ай-ай отказалась:

— Не стоит больше толковать об этом.

Все настаивали, чтобы Ай-ай рассказала. Тогда встал Сяо-вань и, улыбаясь, заговорил:

— Давайте я расскажу! Я тоже его ругал. Только вы, заведующий гражданскими делами, не сердитесь! Всё это я расскажу теперь, как далёкое прошлое. Я говорил: «Я согласен, она согласна, только вы, заведующий гражданскими делами, не согласны. Если мы женимся, что это может испортить? Старая голова! Мёртвая башка! Своего племянника хочешь женить! Если бы она вышла замуж за вашего племянника, ручаюсь, ей не пришлось бы критиковать себя».

Все смотрели на заведующего гражданскими делами и смеялись. Он молчал. Секретарь районного управления спросил:

— Скажите, какое у вас мнение о помощнике Ване?

— Помощник Ван человек хороший, но, к сожалению, он не различал правду и ложь. Ему нужно было только услышать слова «по своему желанию», но он не вникал, правду ли говорят или лгут. Даже я легко разобрался, что это была неправда, а он всё же выдавал брачные овидетельства. А когда спрашивал, почему женятся, так совсем было смешно. Если действительно выходили замуж или женились по своему желанию, то зачем спрашивать, почему женятся! И люди, как по заученному, отвечали ему: «Потому что она хорошая работница». Но скажите, кто в деревне не может работать, если он не старик? Есть

ли в этом какой-нибудь смысл? Когда же очередь дошла до нас, действительно поступавших по своей воле, тогда Ван сказал, — мол, есть донесение из сельского управления о том, что мы давно дружим, поэтому ещё нужно проверить... Если есть донесение, что мы давно дружим, разве это не доказательство, что мы поступаем по своей воле? Что же ещё проверять? Не тогда ли уж, когда жених и невеста не знают друг друга, они поступают по своей воле? Я хочу сказать ещё более откровенно, мы тоже ругали помощника Вана и говорили: «Помощник Ван, дурной он или не дурной, но только не решает по правде. Сколько он пропустил лживых, а для правдивых потребовал проверки». Помощник Ван, вы на нас не сердитесь, после того как вы нам выдали свидетельство, мы вас больше не ругаем...

— Правильно вы его ругали, — сказал секретарь районного управления. — Я гарантирую, что никто на вас сердиться не будет! Если в деревне некоторые люди говорили, что у вас плохая репутация, то это только потому, что у них ещё осталось старое феодальное мышление. Нужно это изживать. Заведующий гражданскими делами хотел сосватать своего племянника, поэтому он не выдавал вам свидетельства, — это было вмешательство в дела чужого брака. Если кто-нибудь ещё будет так поступать, то после опубликования закона Центрального Народного правительства он будет привлечён к уголовной ответственности. Помощник Ван тянул выдачу свидетельства, потому что не хотел подумать о деле. Это называется бюрократизмом, и по этой причине Вану как раз в эти дни пришлось выступить в районе с самокритикой. Мы должны обеспечить выполнение закона Центрального Народного правительства о браке. У себя в районе мы, коммунисты, как раз этот вопрос и обсуждаем. Сегодня мы пришли сюда специально, чтобы послушать ваше мнение.

Он обвёл взглядом присутствующих и продолжал:

— Товарищи коммунисты, скажите, пожалуйста, правильно ли нас ругают? Если только проверить, то сколько в районе и в селе зарегистрировано ложных браков... Подумайте, сколько людей нас каждый день ругает! Если мы не исправимся, нас ждёт не только партийное взыскание, но и народ будет нас ругать до самой смерти!

...После свадьбы все хвалили брак Сяо-ваня и Ай-ай.

— У этих людей жизнь будет мирная. Уже не повторится то, что было у плотника Чжана, который избивал «Летающую бабочку» до полусмерти!

Даже старики и старухи, не перестававшие сплетничать, и те одобрили этот брак.

В этот вечер мать Янь-янь образумилась. Она сама сказала дочери, чтобы та завтра же пошла в район регистрироваться с Сяо-дином.

*Перевёл с китайского*  
Вл. Рогов.



---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

П. ПАВЛЕНКО

★

## ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

### РИМ

**Б**елёсо-жемчужное море расстилось под самолётом почти до самого горизонта. А на краю неба лежали не то острова, не то узкие тёмные тучи.

— Мы над морем?

— Что вы, пан! — ответила стюардесса-чешка. — Море намного левее, мы идём над горами. Впереди Рим.

Вдали и внизу, освещённый солнцем, действительно угадывался город. Белёсо-жемчужный покров, закрывавший землю, был под нами широко распахнут, как над костром, пылающим светлым пламенем. Вся масса города пылала, светилась и блестела. Лёгкая пыль, напоминающая дымок, прозрачным облаком тянулась от города в сторону Тирренского моря.

Самолёт, вскарабкавшийся на пять тысяч метров перед барьером Альп, ещё мчался довольно высоко. Не будь на пути сплошного облачного покрова, я бы увидел землю так же ясно, как на старых итальянских картинах реющие на облаках святые видят оставленные ими на земле церквушки и сёла.

Но вот наметился крутой вираж. В сущности, мы летели теперь боком. Как ни ясно сознанию, в чём тут дело, зрение не мирится с тем, что земля оказывается на мгновение как бы выше неба. Вероятно, на самом деле это не так — и хорошо, что не так, но почему-то именно в это время хочется отвести глаза к потолку кабины, к прибору, отмечающему высоту.

Мы круто и быстро снижаемся, как лыжники с гор. Вот уже пролетели первые встречные здания. Промчались мимо шеренги отдыхающих самолётов.

Стукнулись колёсами об землю и, подпрыгивая на неровностях асфальта, стали подруливать к зданию аэропорта. Жара влилась в кабину, как в русской бане, когда «поддают пару», окатывая водой раскалённую каменку.

Когда мы вышли наружу, оказалось, что в Риме знойный день без ветра, какие бывают в Москве в июле, а в Крыму в мае. Дело, однако, происходило в середине октября. Ничто пока не убеждало меня, что я в Италии. И только когда регистрировали паспорт и я взглянул на молодого человека в военной форме, занятого записью моего документа в толстую книгу, первое очень знакомое воспоминание пронеслось в памяти. Молодой человек этот был очень красив даже для итальянца. Но не его сытое, чувственное лицо, не большие, мохнатые глаза, не чёрные блестящие усы обращали на себя внимание, а причёска. Густые, пышные чёрные волосы его, добротнo смазанные бриллиантином, были зачёсаны назад с таким щегольским искусством, что терялось ощущение

волос, они казались сплошной массой, чем-то вроде чёрного крема. Это сходство особенно подчёркивалось замысловатыми виньетками у висков, которые отлично сохраняли свою сложную форму в жару, способную расплавить любой шоколадный торт.

Этот молодец с чёрным тортом на голове сразу убедил меня, что я в Италии. Вероятно, нигде в мире нет таких сногшибательных причёсок, какие носят итальянские офицеры, — причёсок, затмевающих своей роскошью головной убор самой изысканной модницы.

Самое удивительное, что точно такая же кондитерская на голове встретила меня в мой первый приезд в Италию.

Четверть века тому назад пароход «Гастейн», некогда принадлежавший «Австрийскому Ллойд», а после первой мировой войны ставший собственностью итальянской фирмы «Ллойд Триестино», пришвартовался к одному из пирсов Триеста. С грохотом раскрылись полукруглые склады из гофрированного железа, и небольшие вагонетки-коробочки подбежали по узеньким рельсам к борту парохода.

Я был единственным пассажиром, следующим до Венеции. Портовый чиновник, далматинец, приказал носильщику перенести мой багаж на крохотный «вапоретто», через час отходящий в Венецию, и я очутился в грязной кают-компании старого парового баркаса, носившего гордое имя яхты «Диана». От стен и диванов кают-компании нестерпимо пахло подгоревшим оливковым маслом, как от сковородки, перекалившейся на огне. Пришлось сразу же выйти на палубу.

Утро было очень свежим для середины мая, восточный ветер ретиво пошевеливал бледнозелёную бухту.

Без звонков и гудка яхта «Диана» отвалила от пристани и, бойко покачиваясь, понеслась к Венеции, первому городу, в котором мне предстояло увидеть Италию.

Маленькие волны круто поддавали в борта «Дианы», и она, точно шарахаясь от них, то и дело валилась с боку на бок, очень музыкально скрипя, гремя и сопя на десятки ладов. Несколько сонных пассажиров в клеёнчатых плащах и макинтошах, с чёрными зонтиками в руках, и команда яхты были первыми венецианцами, которых я видел. Часть из них оказались брүнетами угольного оттенка, другие поражали пламенной рыжеватостью, третьих трудно было отнести к какой-либо определённой окраске: и не брүнеты, и не блондины, и в то же время, пожалуй, не шатены, а что-то среднее, похожее и на одно, и на другое, и на третье.

Только «камерьере», официант буфета, мальчик лет шестнадцати, худощавый, стройный, с острым, как клюв, носом на маленьком озорном личике, выглядел настоящим итальянцем из иллюстрированного журнала. Его большие чёрные глаза метали молнии юмора, когда, прислушиваясь к болтовне пассажиров, он иногда позволял себе вставить одну-две реплики. Чёрные густые волосы были на совесть напомажены и зачёсаны назад, с крупными виньетками у висков. Сложностью конструкции причёска напоминала торт из антрацитового пыли, но фактура была более тяжёлой и вязкой, чем угольная пыль.

Причёска была, видно, самой красивой частью его облика, и он, не скрывая своего беспокойства за неё, то и дело взглядывал на себя в зеркало и, если замечал что-либо неладное, какой-либо ничтожный сдвиг волоска, тотчас вносил необходимое исправление, нимало не заботясь о том, что этими же руками сейчас же брался за посуду, ножи и вилки. Впрочем, пассажиры не особенно докучали ему заказами. Выпив по чашке чёрного кофе, они потягивали содовую воду. А он, с подносом и салфеткой в руке, нервно летал меж столиков и кресел, оглядывая

себя в зеркало, точно носить чёрное пирожное на голове, собственно, и было его главной работой. Он первый обратил моё внимание на то, что мы вошли в лагуну Венеции, и благосклонно, хотя и высокомерно, указал своим длинным носом в сторону уже хорошо видного с «Дианы» собора святого Марка.

Всё, что я отлично знал с юности по бесчисленным картинам и фотографиям, приближалось ко мне, живое, реальное и вместе с тем ещё более неправдоподобное, чем на картинах...

И вот теперь, когда я в составе советской делегации приехал на конгресс Общества «Италия — СССР», — чёрный торт на голове снова встречает меня в Италии.

Рим, каким он представляется приезжему на аэродроме или даже на центральном вокзале, не производит никакого впечатления.

Рим — это улицы. Как только вы оказываетесь в их толчее, как только слухом вашим овладевает быстрая, чёткая, мелодичная итальянская речь; как только вы почувствуете себя во власти порывистого уличного ритма, заставляющего даже влюблённые пары идти со скоростью солдата на марше; как только вы увидите итальянских полицейских, с подчёркнутым равнодушием и обязательно медленно, как бы наперекор всему, шествующих пожарно и о чём-то игриво беседующих, как это делают оперные статисты, играющие без текста; как только вы увидите группы, колонны и толпы людей в сутанах, то бритых, то с бородами, то в шляпах, то в наشلёпках, вроде тубетеек, то с открытыми головами, то в ботинках, а то в сандалиях на босу ногу, напоминающих вам стаи рыбы во время нереста; как только толкнёте раз двадцать молчаливых прохожих, читающих на ходу путеводитель по городу и отвечающих на ваши извинения на каком-то впервые услышанном вами языке, — тогда можно сказать, что вы в Риме и что город этот вы уже никогда не спутаете с другим.

Не знаю, многому ли учат в таинственных школах Ватикана. Есть много оснований думать, что сегодняшние школяры сегодняшнего папы недалеко ушли от того поколения теологов, которое всерьёз спорило о том, был ли у Адама пуп.

Я не сомневаюсь в том, что теология стоит на том же месте, на каком оставил её гоголевский Хома Брут, и что сегодня, как и сто лет тому назад, какой-нибудь учёный францисканец, объясняя учение о троице, образно сравнивает эту самую троицу со штанами, у которых тоже три отверстия, хотя они представляют собой одно целое.

Я не сомневаюсь и в том, что Мария, мать Иисуса, одна из важных фигур христианства, до сих пор изучается католическими школярами с тем болезненно-эротическим привкусом, каким всегда славился католицизм, и особенно здешний, ватиканский, ближайший к первоисточнику и наиболее реакционный. Если бы богомольцев, доверчиво прибывающих в Рим со всех концов земного шара, водили не только по церквам, где хранятся пелёнки Иисуса или тридцать серебряников Иуды, а показывали бы им серебряники пап, — религиозное путешествие носило бы безусловно более увлекательный характер.

Не говоря уж о том, что богомолец посетил бы ряд банков и спекулятивных фирм, его несомненно развлекли бы визиты в публичные дома, в доходах с которых также заинтересован святой престол. Фактически значительная часть финансовой системы Италии находится в руках Ватикана или им контролируется. Это бедствие. Это почти катастрофа.

Нынешний папа Пий XII ненавидит народ, как только может ненавидеть его потомственный патриций.

«Массы, — сказал как-то Пий XII, — это враг номер первый демократии и свободы, они всегда склонны к тирании, эксцессам и насилию».

После того, как Пий отлучил от церкви коммунистов и сочувствующих им, месячник коммунистической печати дал в фонд компартии 426 миллионов лир, а тираж ежедневной газеты «Унита» повысился до 485 тысяч экземпляров.

Народ Италии, следовательно, уже отлично понял, с каким демагогом в лице папы он имеет дело.

Только такой бессовестный лжец мог изречь под видом непогрешимой истины: «Бог, превосходно распоряжающийся нашими судьбами, установил, чтобы в мире были богатые и бедные для лучшего испытания наших человеческих достоинств».

Старые путешественники уверяли, что «Рим — трудный город». Стендаль это подтверждает.

Вероятно, в дни Стендаля и Гоголя, когда Рим ещё сохранял за собой звание «вечного города», путешественник, пытавшийся сразу очутиться в Риме цезарей или пап эпохи Ренессанса, испытывал некоторое разочарование, видя перед собой обычный западноевропейский город с довольно узкими, как в Праге, улицами, с бесчисленными магазинами и лавчонками, с киосками на площадях, где торгуют содовой водой, как в Одессе, с многочисленными кафе прямо на тротуарах по краям площадей и в скверах, как в Вене, с крикливыми газетчиками, с экипажами, управляемыми кучерами в лакированных цилиндрах, с вонючими грязными переулками — особенно в Затиберье, вблизи Ватикана, — как в Париже, с откровенно-пошлым азартом торговли религией в специальных магазинах и в церквях, наконец с удивительным и на первый взгляд непонятным равнодушием города к своему когда-то великому искусству.

Но тот, кто знает, что миф о вечном городе создан литературой и только в ней ещё сохранил своё влияние, тот ни на мгновение не будет разочарован Римом.

Рим живёт как бы сразу в трёх эпохах. В музеях — он ещё в эпохе Возрождения, в Ватикане и церквях — в прочном средневековье, на улицах — в современности. Эти три лика его существуют каждый порознь, почти не соприкасаясь один с другим.

Мы всегда знали Италию гораздо лучше, чем она нас. Великое обаяние старой итальянской живописи и музыки, вместе с событиями из жизни цезарей, оставившими после себя мрачные школьные воспоминания, довольно глубоко коснулись моего поколения, которое сейчас переваливает за пятьдесят лет.

«Рим» Гоголя, «Спартак» Дживониоли, «Овод» Войнич, «Камо грядеши» Сенкевича по-разному вводили нас в мир Италии ещё задолго до того, как мы прочли вдохновенные страницы Герцена о Мадзини и Гарибальди. Мы ещё подростками знали, что несколько русских людей принимали участие в гарибальдийском движении, невольно гордились тем, что наш великий земляк Пирогов извлёк пулю у Гарибальди, что Талочкова-Пешкова поддерживала его борьбу.

Италию и её народ у нас всегда любили. Я ещё помню, каким восторгом наполнилось моё детское сердце, когда я узнал о спасении русскими военными моряками жителей разрушенной землетрясением Мессины и о том, что итальянским королём наши моряки были награждены за этот подвиг.

Мы любили и до сих пор любим и ценим живопись эпохи Возрождения и знаем её не хуже, если не лучше, других народов, а если взять

для примера нашу нынешнюю молодёжь, то тут безо всякой натяжки можно утверждать, что она знает Рафаэля или Микельанджело во всяком случае не меньше, чем мог знать Эннио Гараньяни, двадцати одного года, или Артуро Кьяпелли — сорока трёх лет, расстрелянные итальянской полицией в Модене 9 января 1950 года.

Эннио Гараньяни не ходил — это уже вне всяких сомнений — с экскурсиями в музеи Рима, Флоренции или Милана, ему не читали лекций о великом прошлом родного искусства, он не простаивал часами у входа в музеи, как простаивает наша молодёжь.

Наше знакомство с Италией не закончилось эпохой Гарибальди.

Мы знали Италию пап — и не только по «Риму» Эмиля Золя и другим сочинениям, но и по личному опыту. Ватикан, помогавший капиталистическим разведкам засылать в Советский Союз шпионов в страшные дни голода в Поволжье в 1921 году, Ватикан, предававший проклятию святое дело коммунизма, восстанавливавший против нас соседей, пытавшийся организовать крестовые походы против коммунизма, тоже дал немало для познания Италии, исторические судьбы которой мы никак не хотели подытожить ни эпохой цезарей, ни временем Рафаэлей, ни даже годами гарибальдийской борьбы.

Восстание солдат в Анконе в 1920 году привлекло внимание не менее глубокое, чем поход гарибальдийцев на Рим. Нет, Италия никогда не теряла для нас своего значения, и мы никогда не рассчитывали, что до конца узнаем её в одних музеях искусства.

Живая Италия не была укрыта от наших глаз пластами великих исторических эпох, хотя если бы сложить вместе книги, написанные об Италии XIX и XX столетий, они не заняли бы и шкафа, в то время как книги, посвящённые итальянской старине, вероятно потребовали бы целого особняка.

Англичанка Виолетта Поджет (её псевдоним Вернон Ли), описывающая Рим в начале XX века, не постеснялась воскликнуть: «Как чувствуется Рим отделённым от всей жизни, кроме вечной и неизменной жизни трав и воды, стад и жаворонков. Он кажется подвешенным в какой-то пустыне!»

Нет, мы любили Италию иначе. И у нас были люди, в неё влюблённые без меры, и у нас долгое время считалась она единственным отечеством искусств, но никто никогда не взывал от восторга перед духом Рима, покоряющим, подчиняющим и порабащившим пришельца своей разрушительной, мертвящей силой. Наши отцы не искали в Италии кладбища, где бы можно было слиться с одной из исчезнувших эпох, оставаясь живым.

А ведь как восторженно любил Италию Герцен, как по-детски наивно восхищался ею Гоголь, как многому научила она великого неудачника Александра Иванова, как хорошо писал о ней Горький.

Мы — в лице наших дедов — спасительно избежали покорения нас иллюзорным Римом и выдуманной Италией. Это произошло по многим причинам, одной из наиболее важных явилась полная независимость нашей культуры от тлетворного влияния католицизма.

Когда путешественник вступает на улицы Рима, он с первых же шагов замечает, что оказался в городе, живущем, помимо обычных политических интересов, ещё и интересами особого свойства, интересами Ватикана, атмосферой интриг, козней и авантюры сверхитальянского звучания, замечает, что он вращается в самой кузнице католицизма, из которой по всему свету расходятся религиозные идеи, молитвенники, дарохранительницы, мощи, книги, музыка, картины и диверсии, долженствующие прославить и укрепить величие римских пап на основе



неписаной одиннадцатой заповеди: «Католики должны мечтать, планировать и действовать в масштабах вселенной».

Рим — мировой центр религиозной индустрии. Сутаны монахов, священников и студентов католических семинарий бросаются в глаза приезжему буквально на каждом шагу, так же, как, скажем, в центре угольной промышленности бросились бы в глаза фигуры шахтёров.

Прислужников Ватикана насчитывается в одном лишь Риме до 60 тысяч человек. К их числу следует прибавить несколько тысяч приезжих из провинций и из-за границы. Эта «чёрная моль», как образно прозвали монахов итальянские рабочие, явление исключительно римское. Никакой другой город Италии не даёт нам более красноречивой картины бедствия, в которое погружена живая Италия.

Ватикан — гнездо авантюры, шпионских диверсий, откровенный агент Уолл-стрита — является постыдным общественно-политическим институтом капиталистического мира.

Рим — не особенно большой город, в нём нет и двух миллионов жителей, и в его окрестностях нет предприятий крупной индустрии (Муссолини насаждал индустрию вдали от столицы), это город чиновников, священников и гигантской армии кустарей, среди которых большое место занимают специалисты по выделке предметов религиозного культа, иконописцы, церковные портные, золотошвеи, мастера религиозных скульптур. В Риме десятки колледжей, функционирующих под непосредственным контролем Ватикана, и немало римско-католических семинарий, выпускающих служителей культа. Абиссинская, армянская, греческая, маронитская, русская, украинская и румынская семинарии, а также фашистские общества, вроде «хорватского юнака», «орла», готовят кадры молодых диверсантов Ватикана для юго-востока Европы и Северной Африки. Но имеются ещё учебные заведения, рассчитанные на негров, китайцев, индусов и японцев.

Воздух Рима напоён ладаном (конечно, в переносном смысле), но от этого ладана способна закружиться самая крепкая голова. Рим — город попов, их интриг, их интересов, их доходов, их надежд, их биржевых и политических манипуляций. Явные и тайные иезуиты, явные и тайные диверсанты, предатели коренные и приезжие заполняют город.

Разговаривая с инженером и художником, вы никогда заранее не знаете — не питомец ли он Ватикана? В Болонье открыта, например, специальная духовная семинария, где священников обучают миссионерской деятельности среди рабочих. Там, наряду с теологическими знаниями, семинаристы получают промышленную квалификацию и, познакомившись с таким слесарем или сталеваром из попов, вы увидите перед собой (а может быть, и не увидите, что гораздо страшнее) иезуита, сделавшего целью своей жизни предательство интересов рабочего класса. Но почему бы не открыться семинарии, выпускающей провокаторов-крестьян, провокаторов-деятелей искусств?

Впрочем, возможно, они существуют, хотя и не рекламируются. На улице Карло Альберто в Риме помещается такое таинственное учреждение, как «русская коллегия». В этом мрачном доме ведётся специальная подготовка агентов для засылки в Советский Союз. Выпускники направляются на работу под чужими именами и — не в монашеском одеянии. Само собой разумеется, что эта школа не любит внимания к себе прогрессивной печати. «Вредоносная пресса, — сказал как-то кардинал Мерри дель Валь, — является более опасной, чем меч».

Помимо колледжей, школ, церквей, Ватикан имеет свои издательства, журналы, газеты, банки, радиостанцию, комиссионные конторы, магазины церковной утвари, больницы, музеи, католические общества и клу-

бы — это комбинат огромной хозяйственной мощности, в сферу деятельности которого Рим вползает с головой, сам того иной раз не сознавая. Как в Турине предприятия концерна «Фиат», так в Риме предприятия Ватикана являются наиболее экономически сильными, и точно так же, как Турин не может не считаться с настроениями многих тысяч фабрично-заводских рабочих, ибо они определяют лицо города, — так и Рим не может не отражать интересов и настроений огромной армии людей, обслуживающих концерн Ватикана или косвенно связанных с ним. Этот концерн действует, кроме того, не всегда открыто, не всегда под своим именем. Существуют сотни дочерних предприятий Ватикана, работники которых даже не всегда догадываются, чью политику они осуществляют, продавая репродукции с картин Рафаэля или делая копии с античных скульптур.

Помимо производственных связей с Ватиканом, Рим опутан ещё и другими цепями. Он — один из знаменитейших туристских центров, а вследствие этого и отличный рынок не только для церковных, но и для всяких других товаров.

От прилива или отлива богомольцев и путешественников во многом зависит торговая жизнь всего города, спрос на картины живописцев, посещаемость театров и ресторанов, заселённость гостиниц, и римский коммерсант, верит он в бога или нет, католик ли он или язычник, — с одинаковым вниманием следит за работой ватиканского концерна, от которого зависит его собственное благополучие. Ватикан — релейник, он умеет драть шерсть с любого проходящего мимо барана.

Папа Бонифаций VII говаривал: «Надо продавать в церкви всё, что только угодно покупать простакам».

Осмотр Рима следует начинать с Ватикана.

Последняя треть октября, но Рим полон солнца. Улицы многолюдны, хотя октябрь не сезон туристов и богомольцев. Особенно много их бывает в так называемом «святом году», устраиваемом раз в двадцать пять лет, с лёгкой руки папы Бонифация VIII, проявившего себя талантливым торгашом.

Такси пронесится по улицам Кавура, Империи, проспекту Виктора Эммануила, перебирается по мосту Умберто в Затиберье, к Дворцу Юстиции и узкой, пыльной улицей влетает на площадь де'Ристикуччи.

Перед нами собор Петра. Колоннада работы Бернини, подобно гигантским клешням, цепко держит площадь в каменных объятиях. Египетский обелиск тонкой длинной иглой вонзился в центр площади. Он когда-то украшал собою Гелиополис, город Солнца, но по прихоти императора Калигулы был перевезён на берега Тибра. Два фонтана, работы скульптора Мадерны, как две сверкающих стеклянных пальмы, журчат и переливаются на солнце космами прохладных струй. Собор Петра, говорят, стоит на месте цирка Нерона, где пылали смоляные факелы из христиан и где, судя по преданию, будто бы был распят вниз головой апостол Пётр. Фронтон собора невыразителен. Купола вблизи совершенно не видно.

«Купол ов. Петра напоминает широкоплечего богатыря с маленькой головой, и шапка будто на уши натянута», — писал Суриков своему учителю Чистякову.

«Нынешний вестибюль собора, — писал ещё Стендаль, — мог бы служить входом в театр». Это сходство тем более точно, что перед собором вечно толпятся гиды с путеводителями и видами города в руках и продавцы иконок и чётков, а у входа во внутренние покои Ватикана маячат папские гвардейцы, пёстрые, как арлекины. Нарядный — в треуголке —

карабинер отбирает у входящих в собор авоськи и большие сумки, как это принято в музеях, хотя почти немисливо представить, что, собственно, можно украсть в соборе, где вплоть до мелочей всё огромно, всё тяжеломерно и часто безвкусно.

Храм Петра описывали много раз. Я позволю себе сделать то же. Главная кумирня католицизма заслуживает этого. Храм гигантски огромен — таково первое впечатление посетителя. Я видел храм Софии в Стамбуле и тем не менее был поражён размерами римского собора, когда вступил в него четверть века тому назад. Он, впрочем, способен поразить воображение даже египтянина, ибо высота собора Петра — 141 метр с лишним, всего на 5 метров ниже большой египетской пирамиды. Внутри его могли бы довольно свободно поместиться все наиболее грандиозные храмы мира: св. Стефана в Вене, Миланский собор, София Константинопольская. Величина невольно переходит в величие, хотя бы чисто внешнее. Говорят, собор может вместить 80 тысяч молящихся.

Обилие мраморных статуй, икон, паникадил, исповедальных кабинок и маленьких алтарей в стенах собора настолько внушительно, что не может не удивить даже самого равнодушного. Входишь в собор — и где-то вдали перед собой угадываешь алтарь, но если даже происходит служба, голоса священника вы не услышите, он погаснет на полпути к вам. Звуки органа и хора, вероятно, усиливаются репродукторами, как это принято в гораздо меньшем по размерам соборе св. Витта в Праге.

Посетитель продвигается к алтарю, читая вделанные в пол надписи о размерах знаменитых храмов, которые «и в подмётки не годятся» собору Петра.

Перед алтарём спуск в подземелье, осенённое ста двенадцатью лампадами. Здесь покоится, по легенде, прах апостола Петра.

Запрокинув голову, отсюда можно насладиться чудесной пустотой, образуемой в здании куполом, задуманным Микельанджело. Существует множество исследований, оправдывающих разнотипность стилистики, тем, что собор сооружался не по плану Микельанджело, а представляет грубое смешение многих замыслов.

Два языческих храма дали идею для храма Петра. Браманте взял огромные своды базилики Константина, а Микельанджело развил идею, воплощённую уже в куполе Пантеона Агриппы.

Мне думается, что существующий собор, таким образом, прекрасно выражает идею, которой он посвящён. Ни один монарх никогда не имел более грандиозной приёмной залы, являющейся в то же время династической усыпальницей.

Храм Петра — это церемониальный зал, музей скульптур и в то же время великолепное кладбище. Умершие папы глядят здесь на своих живых преемников с не меньшей ненавистью, чем живые — на своих предшественников. Каждый действующий папа может, при некотором воображении, представить и себя в виде мраморного покойника, позирующего среди других вдоль стен собора.

Не помню, у кого прочёл я, что если бы мраморные фигуры на гробницах в соборе Петра вдруг неожиданно ожили, — собор заполнился бы обнажёнными женщинами и дряхлыми стариками, с бранью и богохульством напирющими друг на друга. Тогда мы увидели бы Ватикан, дворец наместника Петра на земле, во всей обнажённости, во всём ярмарочном азарте его пороков и преступлений.

«Размахистая скульптура многочисленных папских гробниц бьёт на внешний эффект; они вычурны и большей частью чувственны до со-

блазна, до порнографичности», — писал на заре XX столетия Репин в «Записках художника».

Удивительное дело! История папства, то есть, иначе говоря, история владык католицизма, изобилует такими картинами разнузданности и цинизма, какими не может похвалиться ни один тиран, даже если это Нерон. Какие только проходимцы не занимали так называемый престол св. Петра! Были среди них кровосмесители, убийцы, профессиональные отравители и клятвопреступники.

О личных качествах нынешнего папы Пия XII (бывший кардинал Эудженио Пачелли) тоже не очень распространяются. Этот пронырливый поп, принадлежащий к старинной римской знати, прославленной своими фамильными пороками, был довольно значительное время близким другом многих фашистов.

Собор Петра чрезвычайно характерен для понимания папства. Здесь меньше всего думают о боге и религии, даже о подлинной красоте. Если бы папы увлекались конным спортом или греблей, собор украсился бы изваяниями коней и слепками гоночных шлюпок. Это зал для папских представлений, театр, где они иногда принимают участие в пышных спектаклях, цель которых — представить силу и богатство римских первосвященников, а не попытаться убедить в силе и красоте их религии.

Не только Гёте в конце XVIII века, но ещё Монтэн на рубеже XVI и XVII столетий уже находили, что в Риме нечего искать религиозного чувства на церковных торжествах. Праздники, прославленные во всём католическом мире, похожи на гулянья и гульбища в стенах храма. Дореволюционный русский писатель П. Боборыкин писал в 1900 году, имея в виду поведение римской публики в церквях:

«...Приходят, разговаривают, садятся куда попало — спиной к алтарям, приводят собак. Только в Петре видел я запрещение приводить собак, но во все другие церкви им свободный ход».

Много писалось и ещё больше говорилось об исключительно важной роли пап в поддержке старого итальянского искусства. На мой взгляд, всё это неверно. Папы никогда сознательно не поддерживали мастеров Ренессанса, они их просто-напросто использовали в своих целях, как опытные рекламисты. Почему, в самом деле, не приютить великого Рафаэля или Микельанджело, перед которыми преклоняется искусство всех стран, и не заставить их работать на себя, на Ватикан? Почему не украсить их работами свои церкви, если любой владетельный князь украшает Рафаэлями свои палаццо на зависть соседям и во славу страны? И папы поступили, как это сделал бы любой торговец лесом. Они купили лучших мастеров и заставили их служить себе, нимало, впрочем, не заботясь о самом искусстве.

Из всего пышного, но в общем безвкусного великолепия остаются в памяти два произведения: мраморная группа Микельанджело — так называемая Pietà — Мария, держащая на коленях мёртвое тело сына, — и бронзовая статуя Петра. Статуя эта, довольно грубая, прежде была Юпитером и стояла на Капитолии. За то время, что она называется святым Петром, большой палец бронзовой ноги почти что слизан прикосновениями многих миллионов человеческих губ. Идол, ставший католическим святым, очень символичен.

Обращают на себя внимание многочисленные исповедальные кабинки, очень напоминающие телефонные будки, рассчитанные на кающихся католиков всех народов и наций. Дважды обойдя их, я установил, что отсутствуют будки для исповеди на украинском и чешском языках, хотя чехи — католики издавна, а среди жителей западных областей Украины папы несколько столетий подряд насаждали унию.

Что касается русских, то и среди них бывали оригиналы этого рода. Знаменитая княгиня Зинаида Волконская, Демидовы, поэт белоэмигрант Вячеслав Иванов и десятка два ему подобных, из тех, что старились на чужих харчах, тоже были католиками. И тем не менее, при наличии особого внимания к вербовке русских, специальной кабинки для русских исповедальщиков в Ватикане нет.

По разным римским церквям разбросаны уникамы католического мракобесия — «жезл Моисея», «портрет» Христа, когда ему было 12 лет, «стол», за которым якобы совершалась тайная вечеря, «камень», на котором стража метала жребий об одежде Иисуса, «копье», которым прободён его бок. В соборе Петра, вблизи капеллы делла Пьета, показывают «колонну», о которую опирался Христос, споря с фарисеями в храме Соломона.

За недостатком времени не поглядел я на самое замечательное из всех этих «сокровищ», о котором с жёлчной иронией писал ещё Стендаль, — кусочек тела Иисуса Христа, отрезанный первосвященником в раннем младенчестве Спасителя.

Вообще говоря, довольно нехозяйственно, обладая таким сокровищем, держать его вдали от собора Петра. Здесь оно дало бы, конечно, хороший доход, что совсем уж не так безразлично для Ватикана.

Я покинул собор св. Петра не то что с чувством разочарования, а, пожалуй, с некоторым удивлением. Всё в жизни меняется, растёт, приобретает новые формы и новое содержание. Один Ватикан похож на те залитые лавой и превратившиеся в статуи человеческие тела, что показывают в музее Помпей. Это не скульптура, но и не покойники, а как бы моментальный слепок с людей, нечаянно застигнутых катастрофой. Таков и Ватикан. Живя в XX веке, его деятели ведут себя, как в средневековье, говорят, думают и проповедуют, как если бы ещё не было ни Галилея, ни Джордано Бруно, ни Яна Гуса, ни Карла Маркса, ни революции. И всё, что связано с Ватиканом, отдаёт трупной вонью.

Ватиканский музей, конечно, не чета собору Петра. Если в нём и не собрано всё лучшее, что создала эпоха итальянского Возрождения, потому что Ватикан не национальный музей, как наши Эрмитаж или Третьяковская галерея, а так сказать, частное собрание живописи и скульптуры, — то во всяком случае в нём есть много отличных вещей.

Бесконечные ряды белых изваяний, симметрично уставленных вдоль стен, вьнушают чувство почти отчаяния от невозможности разобрататься во всём этом племени статуй и бюстов. В ровном, мертвенном свете музеев сглаживаются и все различия между стилями и эпохами, ибо эпохи разные, а экспозиция одинакова.

Что сказать о фресках Рафаэля в Ватикане? Они выгорели, потускнели, и изучать по ним мастерство художника так же трудно, как играть музыкальное произведение по испорченной временем партитуре.

Я видел в музее на вилле Боргезе его «Форнарину». Старый гид шёпотом сказал, что «женщина эта была причиной смерти художника». Портрет изумителен. Он влечёт к себе тончайшей поэзией письма, лёгкостью, невесомостью красок, точно самопроизвольно возникших на полотне. И тем не менее, Рафаэль в целом не произвёл на меня особенно сильного впечатления. Он менее всего итальянец, он человек вообще, без страстей и ошибок, без восторга и гнева. Его художественная личность кажется ускользающей тенью. Его отечество — католицизм, и в этом смысле он вненационален.

В ватиканском музее никогда не бывает шумно илюдно. Разве пройдёт стайка крикливых американцев, несколько молодых художников, столпившихся у мольберта своего товарища, копирующего класси-

ка, на мгновение огласят зал возбуждённым гудением, да какой-нибудь остроумный гид расскажет вполголоса анекдот касательно жизни того или иного художника.

Здесь, как и вообще в Италии, не принято водить по музею экскурсий и, останавливая их то у одной, то у другой картины, обстоятельно рассказывать о её достоинствах и о роли автора в истории отечественного искусства. Более того, под картинами нет даже фамилий художников. О том, чьей она кисти, вы можете узнать либо из печатного каталога, который вам надлежит купить за наличные, либо из объяснений гида, которого вы также приглашаете за плату.

Крамской писал когда-то:

«Опять пункт величайшего разногласия и споров. Говорят, например: «Поеду, поучусь технике». Господи, твоя воля! Они думают, что техника висит где-то, у кого-то на гвоздике в шкапу, и стоит только подсмотреть, где ключик, чтобы раздобыться техникой: что её можно положить в кармашек и, по мере надобностей, взял да и вытащил.

А того не поймут, что великие техники меньше всего об этом думали, что муку их составляло вечное желание только (только!) передать эту сумму впечатлений, которая у каждого была своя особенная. И когда это удавалось, когда на полотне добивались сходства с тем, что они видели умственным взглядом, техника выходила сама собой. Оттого-то ни один действительно великий человек не был похож на другого, и оттого, часто, художник, не выезжавший ни разу за околицу своего города, производил вещи, через 300 лет поражающие».

И ещё:

«Легко взять готовое, открытое, добытое уже человечеством, тем более, что такие люди, как Тициан, Рибейра, Веласкез, Мурильо, Рубенс, Ван-Дейк, Рембрандт и ещё много можно найти, показали, как надо писать. Да, они показали, и я не менее вас понимаю, что они умели, да только... ни одно слово, ни один оборот речи их, ни один приём мне не пригоден».

Я бы осмелился прибавить ещё, что великое искусство итальянского Ренессанса находится в очень дурных руках. Его хозяева — торгаши, но никак не меценаты. В их задачи никогда не входило учить этому искусству, распространить и поддержать его традиции, они умеют только кичиться и помаленьку подторговывать им, а то, что фрески Рафаэля выгорели, что от дыма ладана и свечей потолок и стены Сикстинской капеллы закоптились, как в чёрной бане, что «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи облупилась и в сущности уже непоправимо погибла,— это их почему-то мало касается.

Ватиканский музей давно бы уже следовало объявить национальной собственностью Италии, отдать толковым искусствоведам, потребовать от них организации образцовой галереи, собрав в неё всё, что ещё разбросано по сотням церквей и тоже находится в дурном состоянии, потому что существует для привлечения публики, а не для самостоятельного показа и изучения.

Чудесный солнечный день. Лёгкий ветер с Альбанских гор шевелит тёплый и чистый воздух.

Небольшой группой мы отправляемся в Затиберье, в узкие, смрадные кварталы старого Рима.

Известный итальянский художник, человек левых убеждений в политике и искусстве, вызвался быть нашим провожатым.

Однако раньше чем мы попали в Затиберье, удалось поглядеть колонну Траяна и следы раскопок вблизи неё, Форум и Колизей.

В Риме к живой жизни на каждом шагу приходится продираться через древности, но это, в конце концов, не мешает видеть то, что хочется видеть.

Колонна Траяна проста и выразительна. Утверждают, что под ней погребён прах Траяна, заключённый в золотую урну.

Колонну покрывает идущий спиралью и в двадцать три ряда обвивающий колонну барельеф, насчитывающий около 2 500 фигур. Это экономно и очень выразительно сделанные сцены из боевой жизни Траяна.

Потом — Форум. Он обнаруживается очень неожиданно, в широкой яме, метров 6—8 глубиной, с территорией в 160 метров длиной и не более 80 метров шириной. Первое впечатление, что на нём, собственно говоря, ничего нет, кроме бесчисленных развалин. Но это только вначале. Спустя четверть часа, вы почувствуете себя в атмосфере древних времён.

После того, как Форум был основательно разрушен в XI веке, папы римские в течение нескольких столетий использовали его в качестве готовых каменоломен.

Таким образом, истории достались последние крохи, в которых способно разобраться только исключительно развитое воображение учёных археологов. Но без помощи исторических поэтов они безусловно не обошлись.

Над Форумом нависают крутые склоны холма с развалинами императорских дворцов. От них остались остро срезанные софы внутренних комнат да щели подвальных галлерей. Построенная на гребне холма вилла Фарнезе поглотила, должно быть, довольно много дворцовых деталей. За виллой Фарнезе опять развалины дворца Флавиев и ещё каких-то других императоров. Сверху Форум кажется совсем маленьким. Трудно понять, как тут действовали римляне в дни праздников и торжеств, трудно представить это кладбище статуй и храмов целым, стройным, с великолепными базиликами и арками. Но, несмотря на малочисленность и бесформенность остатков, воображение ухитряется построить мысленную картину жизни древнего города, и это одно из самых чудесных переживаний, которые удаётся выудить из здешней старины.

Пройдя под аркой Тита, вышли мы к Колизею. В Риме нет ничего совершеннее этих развалин. Только бешенство безграничного самовластия могло создать такое мрачное сооружение. В Колизее — всё величие и вся заносчивость императоров, искренне считавших себя неограниченными владыками мира.

Стендаль в своих «Прогулках по Риму» утверждает, что Колизей вмещал 107 тысяч зрителей. Здание высотой в 52 с лишним метра и окружностью в 547 метров, то есть в полкилометра, было выстроено императором Титом в честь разрушения им Иерусалима. Десятки тысяч пленных иудеев воздвигли этот небоскрёб древности за десять лет. В день открытия цирка на его арене, имеющей 95 метров в длину и 60 с чем-то метров в ширину, было умерщвлено до пяти тысяч львов, тигров и других хищников и около трёх тысяч гладиаторов.

Колизей стоит на месте садов Нерона. Некогда перед ним возвышалась колоссальная статуя этого императора. Желтовато-серый камень из Тиволи, так называемый травертин, придаёт сооружению мрачный вид. Когда-то всё здание снаружи и внутри было облицовано мрамором. Наружное убранство содрано давным-давно, только щели от бронзовых костылей, придерживавших мрамор, ещё пестрят на гигантских стенах театра. Он исполосован рубцами и дырами, как гладиатор. Идея императорского Рима не могла найти лучшего выражения, чем Колизей. На

его арене происходили игры, символизирующие дух самого Рима, всё те же битвы, всё те же схватки с людьми и хищниками, всё те же ристалища, что и на триумфах императоров, и кровь лилась здесь так же нелепо и щедро, как и в действительной жизни.

Здесь императоры выступали перед плебсом во всём блеске своей мощи. Колизей для императоров Рима был тем же, чем собор Петра для пап, здесь представляли пьесу об Империи, как в соборе представляют о Религии. Колизей не совсем цел. Верхние части стен и скамьи широкого амфитеатра провалились, верхний слой арены осыпался, обнажив глубокие зевы подземелий, где содержались звери и рабы.

Как-то я встретил внутри Колизея религиозную процессию во главе с кардиналом. Перед большим крестом, воздвигнутым вблизи арены, молились за христиан, замученных в Колизее. Туристы, случившиеся тут во время молебствия, не без любопытства разглядывали тучного маленького кардинала, вероятно недюжинного комического актёра, вызывавшего смех даже самыми серьёзными своими движениями. А итальянские солдаты, гулявшие со своими девушками, даже не сняли головных уборов перед процессией и кардиналом, а продолжали непринуждённо болтать и смеяться в двух шагах от икон и хоругвей. Одни кошки, преимущественно чёрные, в огромном количестве населяющие развалины Рима, довольно благожелательно разглядывали молящихся. В это же моё посещение Колизей был пуст и как-то особенно понятен. Ничто не мешало вспомнить гладиаторов, которые не раз выходили на эту страшную арену единоборствовать со смертью во имя славы жестокого, гордого города, населённого владыками мира.

В Риме любая новая царапина — и та норовит выглядеть стариной. Если не знать истории Рима, можно подумать, что раньше, чем построить себе жилой дом, владелец окружает его развалинами предыдущих. Две-три тёмные легенды из малоизвестной эпохи — и у вашего дома будут ройться туристы и помаленьку разворовывать камни, которые иначе пришлось бы специально вывозить.

Когда мы отошли на некоторое расстояние от Колизея, наш спутник — итальянец — заставил приглядеться к высокой стене цирка. На ней, у самого верха, едва держащегося от ветхости, красной краской были чётко изображены серп и молот.

— Чего же смотрит полиция Шельбы?

— Она боится задевать наших комсомольцев. Стоит ей стереть этот единственный герб — на завтрашнее утро появится десяток. наших ребят полиция предпочитает лучше не задевать.

Стоит выйти за базилику Бернини, за эту мраморную границу папского Ватикана, как вы окажетесь в кварталах, граничащих с территорией папы. Банк св. Духа, учреждение слишком светское, чтобы квартировать в самом Ватикане, устроился на границе, как корчмарь, заинтересованный в контрабанде. Рядом какие-то церковные канцелярии, особняки, дворцы и сразу — неслыханная нищета узких, тёмных ходов между высокими домами. Это старый Рим. Улицы в ширину распостёртых рук, а переулки и того уже. Нижние этажи без окон. Да и к чему тут окна? Солнце никогда не заглядывает в эти глубокие щели. Поэтому и стирание белья приходится вывешивать на высоте третьих и четвёртых этажей, и оно болтается, как сигнальные флаги на кораблях в день парада, издали живописуя имущественное положение хозяев. На этих уличных выставках белья не встретишь простыни или занавеси, редка и наволочка — одни лишь штопаные сорочки, кальсоны да вылиняв-



шие блузки. В тёмных смрадных помещениях первых этажей ютятся подозрительные склады, прачечные, лавчонки, кустарные мастерские, иногда в раскрытые двери можно увидеть: при тусклом свете семья за обедом, мать баюкает ребёнка, бледного, как восковая кукла, ещё не прошедшая покраски, передевают больного, вероятно к предсмертной исповеди.

Такие чудовищно-смрадные улицы я видел только в кварталах Галаты, в Стамбуле. Здесь, в Риме,—это кварталы честной бедноты и даже не крайней бедноты, а мастеровых, бродячих торговцев, ремесленников, тряпичников, представители того плохо оплачиваемого труда, который не имеет даже профессий. О зелени нечего и мечтать. Самое выносливое дерево немедленно погибло бы в воздухе, составными частями которого являются испарения бельевых корыт, давно не чищенных свалочных ям и уборных. Ни один звук, кроме женских криков да визга ребят, не доносится из глубины тёмных дворов — здесь не играют на роялях и не слушают радио, не заводят патефонов. Ария Джильды должна прозвучать неслыханным оскорблением людям, быстро вымирающим здесь семьями, родами, улицами и кварталами (впрочем, к слову сказать, римские кварталы бедноты не самые страшные: неаполитанские хуже).

И, однако... жизнь, хорошая, умная, темпераментная жизнь теплится и возле этих каменных саркофагов.

У здания, покрытого фресками, явного современника Ренессанса, вблизи дома Галилея, читаю надписи на стенах:

Да здравствует коммунистическая партия!

Да здравствует мир!

Как-то вечером, в одной из улочек, тёмных уже с шести часов дня, старая прачка, узнав во мне советского человека, затащила меня и спутника моего в своё тёмное логово.

— Видите, как я живу? — крикливо спросила она. — Так можно жить? Нет, вы не молчите, синьоры, зачем молчать, вы скажите — можно? — И начала тыкать нам в грудь пальцем, крепким и тонким, как гвоздь. — Так жить нельзя. Скажите у себя, пусть это все знают. И скажите, что с нас хватит. Пора! Пора что-то делать. Пора, дорогой синьор.

Она разговаривала с нами, как с инспекторами собеза или как со старшими в семье, от которых зависит улучшение её жизни, и ей не было никакого дела до того, что мы приезжие. Уже одно то, что мы из страны Сталина, обязывало нас выслушать все её жалобы и принять в своё сердце все её надежды.

Подошёл сосед-сапожник и пригласил к себе на стакан вина. Кувшинчик дешёвого кианти стоил, вероятно, гроши, но я не уверен, что хозяин приобрёл вино за наличные. Отказаться, однако, было нельзя — обида страшная.

Когда вино было выпито, сапожник послунил химический карандаш и просил написать на спинках стульев наши фамилии.

— Чтобы и дети, и дети детей моих знали, кто был у нас в доме... Увидите Сталина, расскажите, что видели. Нельзя, даю слово, нельзя больше терпеть. Поймите меня сердцем.

...Из узких лабиринтов совершенно нечаянно прохожий выскакивает на небольшую площадь с великолепным палаццо Фарнезе. Здание это упоминается у всех путешественников. К сожалению, оно не принадлежит больше Италии. Оно куплено французским министерством иностранных дел под посольство. Тотчас же узким ходом мы попадаем в па-

хучую гущу крикливого овощного рынка на Кампо ди Фиори, что означает Цветочный луг. Яркожёлтые, точно из лакированной кожи, перцы, крупные красные помидоры, капуста брюссельская, цветная, бататы, чеснок, ослики, гружённые цветами... Запахи вялого укропа и лука, гнилых корней и сухих цветов буйствуют на тесном пространстве, превращая его в глухой подвал без вентиляции, хотя площадь представляет не особенно глубокий каменный ящик без крышки. Дома строгой и несколько даже скучной архитектуры окружают площадь, а посреди неё, заваленный горами капусты, плетёными корзинами, пустыми ящиками и мешками, возвышается памятник Джордано Бруно.

Мне сказали, что на памятнике написано: «Здесь был костёр».

Если это так, то надпись замечательна по силе.

Монах из тёмного камня, скорбно слушающий галдёж овощных торговков, производит огромное впечатление. Жизнь, клубящаяся возле костра, ставшего историческим для многих народов Запада, очень естественно окружает место казни. Торговки с ярко окрашенными губами, в модных причёсках и в туфлях на босу ногу, полуголые ребята, воробьи, роющиеся в овощных отбросах, и шум и гам крохотных кофеен и трактиров, разбросанных по углам рынка на манер сторожевых постов, — всё это чрезвычайно колоритно и всё это в духе того Рима, который существует на самом деле, несмотря на непризнание его искусством. Французское посольство в палаццо Фарнезе не только вдыхает гнилые запахи овощного рынка на Кампо ди Фиори. До него доносятся голоса подлинной римской жизни.

Отношение к французам в Риме безразличное, как к людям-невидимкам. В любом иностранце итальянец видит прежде всего американца, и это обстоятельство ни в коем случае нельзя назвать выгрышным по крайней мере — для не-американца. Риск нарваться на откровенный разговор настолько велик, что американские военные избегают пеших прогулок по городу. Редкий римский мальчишка удержится от соблазна свистнуть вслед американскому вояке.

Я как-то, похлывая себя по карманам, с огорчением обнаружил отсутствие папирос.

— Разрешите вам предложить «план Маршалла!» — любезно и, по-видимому, безо всякой иронии сказал мне собеседник-итальянец. — Прошу вас! — и он протянул мне пачку американских сигарет «Честерфилд».

В баре вы можете услышать:

— Парочку «плана Маршалла!» — и увидите, как бармэн, не переспрашивая и не удивляясь, подаёт два бокала кока-кола. Италия, живя неподалёку от Болгарии, с её прекрасными табаками — курит американские сигареты; в соседстве с Германией и Польшей — жжёт американский уголь; страна прекрасной электрической промышленности пользуется лампочками заокеанского производства и ест дорогую американскую муку, американские фруктовые консервы, американскую тушонку, смотрит глупейшие американские фильмы, имея свои отличные, и танцует судорожные заокеанские танцы под аккомпанемент джаза, хотя сама славится на весь мир своими песнями и танцами.

В кварталах старого Рима, вблизи Тибра, есть улицы несказанного очарования. Они узки для трамваев и автобусов. Редко промелькнёт мотоцикл или проползёт, касаясь обоих тротуаров, легковое такси да прогромыхает телега, гружённая вином или зеленью.

На этих улицах, вдали от дорогих магазинов, кинотеатров и казино, живут люди, влюблённые в Рим. Здесь он ещё сохранился таким, каким его могли видеть Гоголь и Герцен. Площади, величиной с хороший двор где-нибудь на Арбате, утыканы фонтанами, а на углу, а то и на двух сразу — крохотные «траттории», где вкусно и сравнительно недорого кормят, где посетители хором подпевают бродячим музыкантам, где нет шумных джазов и никто не мешает вести горячие споры о жизни.

В одной из таких римских столовых за обедом, состоящим из римских народных блюд и римского вина, затеялся разговор об искусстве. Собеседник наш, как я уже сказал, был художником, и незаурядным. Смуглый сицилианец с живыми, лукавыми глазами, которые не знали иных состояний, кроме ненависти и увлечения, остроумный, темпераментный, он о многом думал так же, как и мы, советские люди. Нынешнее положение в Италии его раздражало. О правительстве де Гаспери он и говорить не мог — только потрясал кулаком, свирепо сжав челюсти.

Художник этот бывал за пределами Италии и совсем недавно ездил в Москву.

Он любил Рим, как художественное произведение истории. Он жил в кварталах старого Рима, где любой переулок по несколько раз входил в летописи города или страны, отмечался в монографиях и фотографировался для альбомов.

Угощая нас вкуснейшим обедом из простонародных римских блюд и римского вина, он рассказывал о живописи и жизни сегодняшней Италии.

— Рим сильно опустился, — говорил он, вскрикивая каждый раз, когда хотел подчеркнуть чувства ненависти и любви, — но было бы неверным утверждать, что Рим принадлежит Ватикану. Нет! Пожалуй, наоборот. Я не говорю о том грандиозном митинге на площади Джованни, когда мы с вами вместе слушали Фадеева. Помните, что было! Я хочу набросать вам несколько этюдов из эпохи второго Риссорджименто,<sup>1</sup> как мы называем борьбу за нашу свободу и независимость в 1943—1945 годах.

Слушайте! 8 сентября 1943 года гитлеровцы оккупируют Рим. Так? А в октябре уже дрались вокруг Рима и во всём Лациуме. В Каstellи Романи, в Аррачия, Альбано, Фраскатти — между прочим, это вино оттуда, оно отлично, верно? — возникли маленькие партизанские группы. Вы знаете эти места? Это наши окрестности, старина, оттуда ежедневно крестьяне привозят на рынок вино и сыр, это дачи — так? — и вдруг, представьте, они восстали.

Я сам не верил. Это не Милан, не Турин, не Болонья, это всего-навсего пригороды. Но факт! Они начали. За ними ринулась Умбрия. Там были сильные левые партии. Умбрия поднялась вся.

Когда, в конце января 1944 года, союзники кое-как высадились в Анцио, вся средняя Италия была уже в строю. Патриоты воспрянули духом — победа близка! Все отряды в Каstellи Романи, а они оказались рядом с зоной высадки, забыли об осторожности. Каждый думал только о том, чтобы завтра покончить с Кессельрингом и Муссолини. Из Сицилии и Калабрии, из Неаполя тысячами заторопились на север.

Конечно, я не говорю, что Рим сразу весь, сразу целиком понял, что такое нацисты. Нет, я этого не скажу, к сожалению. Но обыватель — медлитель по природе. И всё же, слушайте, всё же в марте сорок четвёртого Рим получает предметный урок такой силы, что забыть его он уже не в состоянии и по сегодняшний день.

<sup>1</sup> Риссорджименто — Возрождение.

23 марта в самом центре Рима, на виа Разелла, проходит оркестром колонна эсэсовцев. И вдруг — взрыв!.. Поняли? Взрыв неизвестно отчего и чёрт его знает откуда. Тридцать с лишним немцев перестали существовать. Так? Слушайте, слушайте!.. Что делают немцы? Расследуют? Оцепляют квартал? Вызывают ищеек? Нет, нет!.. Ничего подобного. Они вытаскивают жильцов из всех квартир этого квартала и расстреливают их, даже не узнав имён, возраста и профессии.

Они расстреляли несколько сот человек, большая часть которых (они или их родственники) поддерживала Муссолини и немцев, а треть — слушайте, треть! — была связана с Ватиканом. Они уничтожили в тот день десять грудных детей и около тридцати школьников.

Рим был ошеломлён.

Здесь уже слышали кое-что об Освенциме. Верили и сомневались. Допускали и отвергали. Всё-таки, чёрт возьми, немцы — народ грамотный, как же так?

И гитлеровцы, дабы пресечь всяческие сомнения, сами сказали, кто они. 23-го был взрыв бомбы, а 24-го нацисты приказали вывести политических заключённых из двух римских тюрем, на улице Тассо и из «Реджина Чели», общим числом более трёхсот, и расстреляли их в окрестностях города, в Ардеантинских пещерах. Никто из погибших, как потом выяснилось, не имел никакого отношения к взрыву на виа Разелла.

Тогда даже самые наивные поняли, что нацизм и фашизм — режимы агонизирующие, ибо только страхом перед своей неизбежной гибелью можно объяснить такую патологическую жестокость.

Италия сделала вывод из полученного урока. Борьбу за своё освобождение она начала, не откладывая. Какие люди вдруг появились на нашем общественном горизонте! Какие характеры завоевали себе славу! Все обычно иронизируют над итальянской армией. И в этой иронии было, к сожалению, много правды. Но вот восстал народ — и как восстал, как начал драться!

В Риме погиб Винченцо Джентиле — о нём до сих пор легенды ходят, во Флоренции — любимец города Бруно Франтулаччи, в Турине вы услышите о Данте ди Нанни, национальном герое Италии. Какие это чистые души, какие яркие характеры! Они показали, что Италия не измельчала, не оскудела талантами, силой воли, дерзаниями. Один Перотти, генерал партизанский, не слабее какого-нибудь Муция Сцеволы. О нём бы написать в школьных хрестоматиях, чтобы дети учились жить и сражаться, как Перотти. Италия многому научилась. Наш народ не только не станет воевать против вас, но будет сражаться, если придётся, рука об руку с вами.

Взору моему открылся новый Рим, Рим, не описанный в туристских путеводителях, Рим устных легенд, уходящих глубоко в народную толщу, откуда когда-нибудь они вынырнут в виде былин, сказаний и саг о доблести и славе народной Италии.

И уж несколько по-иному стал я вглядываться в уличную римскую жизнь.

— Когда в Валь Тромина примчался однажды эсэсовский автомобиль с привязанным к заднему буферу безымянным патриотом, тело которого проволочилось, вероятно, не один десяток километров по камню горных дорог, — в отряд ушли ученики старших классов нескольких школ. Когда в Оссола патриотов подвесили под рёбра на крюки для мясных туш, — в отряды ушло десятка три монахов. Когда в Фосоли казнили больше сотни заложников, в том числе многих больных стариков, — в церквах зазвонили колокола. И пусть немало партизан погибло,

но они не исчезли бесследно, а оставили нам память о себе, славу свою, традиции, любовь к себе, и какая это школа для будущей счастливой Италии! Какая чудесная школа!

— Вот вам и материал для великих полотен, прекрасных книг и замечательных песен,— сказал я.

Но, видно, замечание моё коснулось больного места. Очаровательный хозяин наш блеснул глазами и заговорил о том, как чуден Рим ранней осенью, в золотисто-прохладные дни с лёгким ветром с Альбанских гор.

— Видели вы мои работы? — спросил он, разложив на тарелки куски жирного бараньего бока, начинённого чесноком.

Я отвечал утвердительно и вкратце рассказал содержание двух его полотен, которые я видел на Венецианской выставке.

Одно было индустриальным натюрмортом — клещи, ножницы, газеты, гаечный ключ и зубила, — исполненным в железных тонах, другое — набросок углем работающей швеи.

— Вы не смеялись надо мной, глядя на «Индустриальный натюрморт»?

— По правде говоря, я был настолько удивлён, что не успел. Влечение к гайкам и шайбам прошло у нас уже лет двадцать тому назад. Ни один художник не выставил бы у нас сегодня даже изображение кузницы или слесарной мастерской без человека.

Не соглашаясь, но и не споря, художник спросил, каково моё мнение о других полотнах Венецианской выставки. Я вынул записную книжку и прочёл ему записи, сделанные под непосредственным впечатлением виденного.

Ни один художник не произвёл на меня сколько-нибудь сильного впечатления, и, бродя по залам, я не раз ловил себя на мысли, что всё это шалопайство я уже где-то видел, причём не однажды.

Футуристические эскизы, столь беспредметные и бессодержательные, что понять, в чём дело, невысказано даже путём догадок.

Обнажённая женщина цвета моркови.

Скелет глобуса, написанный жёлтой краской, три кубистических полотна, беспредметные цветные волны.

Три пейзажа в манере раннего Сарьяна, портрет рыбака, сначала принятый мною за копию с портрета Ван-Гога, два полотна нашего приятеля, кстати сказать, не лучшие среди других.

Пахота на быках — единственная картина труда. Но написана с какой-то нарочитой небрежностью, небрежностью, возведённой в приём.

— Да, всё это очень неважно, всё это пробы, поиски, не всегда оправданные.

— Мне кажется, выставку так и следовало бы назвать — Поиски. Как вы думаете?

И пользуясь тем, что передо мной образованный и бесспорно очень одарённый художник, человек широких взглядов, с которым можно говорить откровенно, я поделился с ним впечатлениями о живописи и скульптуре Запада, накопленными за последние годы в музеях Берлина, Вашингтона, Стокгольма и Праги.

Года два тому назад французы открыли в Берлине выставку скульптуры «От Родэна до наших дней». Это была первая послевоенная выставка французского искусства, и немцы повалили на неё валом.

Искусство Франции стяжало себе славу своими великолепными традициями, и каждому было интересно взглянуть, какие пути нащупаны художниками, пережившими две губительные для их родины

войны, растленный режим Петэна и, наконец, освобождение в результате разгрома фашизма Советской Армией и героической борьбы патриотических сил внутри Франции.

Судя по предисловию к каталогу, написанному Жаном Кассу, директором музея современного искусства в Париже, устроители выставки обещали показать самое передовое, что создала Франция.

«С чувством законной гордости,— писал г. директор,— мы хотим показать здесь, на этой выставке, что французский гений, дав миру в лице Родэна, Бурделя и Майоля творцов, равных по силе самым великим живописцам, продолжает оставаться достойным лучшей художественной традиции, начиная с романских готических скульпторов и пройдя через век Возрождения, Версальскую школу и школу XVII века, он с такой же силой выразился в камне, как и в шедеврах живописи».

Сказано было настолько внушительно, что следовало пойти во что бы то ни стало.

То, что пришлось увидеть, ошеломило до немоты. Какие тут романские традиции, Возрождение и Версаль!

За исключением двух известных работ Родэна, двух — Бурделя и двух — Майоля, остальные 70 или 80 скульптур напоминали выставки наших отечественных футуристов в давно прошедшие дни Татлина.

Были и у нас когда-то женщины без ушей, и титаны без глаз и носов, и музы в виде яичницы с помидорами, но эта «болезнь левизны», к счастью, давно прошла, и всё же страшно было встретить её, спустя много лет, в чужом искусстве.

Самое трагическое было, однако, не в присутствии яичницы с гвоздём, а в том, что её автором мог оказаться вполне демократически настроенный и политически активный человек, может быть даже участник движения сопротивления или узник фашистского концлагеря. Одной рукой сражаясь с реакцией, он другой рукой утверждал эту же самую реакцию «левыми» приёмами, вступая в противоречие с собственными политическими убеждениями. Но не всякий левша — левый по убеждению. Нельзя быть левым только одной стороной своей личности.

И сразу же расхотелось мне запоминать имена бесстыдников, выставивших женщин, напоминающих груды тыкв, похожие на булыжник головы, нелепые конструкции из кусочков дерева и железа, долженствующие изображать не то Прогресс, не то Вдохновение.

Больше всего было изображений женского тела, точно проблема наготы являлась единственной проблемой французского искусства в годы войны и после неё.

Видели ли французские скульпторы когда-нибудь обнажённую натуру? Сомнительно. Может быть, только в тифозном бреде. Если бы случилось, что их работы, пережив века, были бы затем откопаны, потомки сказали бы, что французские скульпторы XX века либо ещё не умели лепить человеческие фигуры, либо сама эта фигура ещё не вышла из стадии обезьяны.

Бесстыдство так называемой «свободы творчества» было тут продемонстрировано со всей откровенностью и производило глубоко неприятное впечатление.

Работы за двадцать лет — и ни одного живого лица, ни одного портрета, ничего, кроме женских задов, не делающих чести телосложению натурщиц.

Страна, по горло залитая кровью в дни оккупации, проданная с торгов в американский гарем, в муках ищет выхода из тупика, а какие-то шустрые жеребчики ваяют дурака из мрамора и глины, пришепётывая о поисках духа.

Тогда кто-то из немецких критиков сказал не без злорадства:

— Французская политика, как и французское искусство, любопытны только, если их рассматривать со стороны женской юбки.

Вот вам и гений, выраженный в камне, как поторопились изречь господя устроители выставки.

Спустя два года в Вашингтонской национальной галлерее увидел я современных американских живописцев — и остолбенел. Да это же копиписты из Парижа! Это же добросовестные выученики всё тех же столпов разврата в искусстве!

Побывал в Стокгольмском музее — то же самое! Точно пока я летел из Америки в Скандинавию, американские живописцы быстренько перевезли свои холсты из Вашингтона в Стокгольм и наспех их там развесили для обозрения. Еду в Прагу — они и там, голубчики! Правда, в меньшем количестве и теперь уже не на первых местах, но всё-таки есть. Попадаю в Венецию — а они уже здесь. И неважно, что в Вашингтоне они носили одни имена, а в Стокгольме — другие, а в Венеции — третьи, живопись-то одна и та же, те же спирали и гайки, женские зады и скелеты. Товар один и тот же, только приказчики разные...

В тот же день, в книжном магазине, случайное знакомство с католическим священником с юга, членом социалистической партии.

Служителю бога лет за пятьдесят. Лицо измождённое, точно после жестокой болезни.

— Как вы совмещаете деятельность священника с пребыванием в рядах социалистической партии?

— Я не совсем понимаю ваш вопрос.

— Атеизм, приличествующий социалисту, не весьма, как мне кажется, уживается с религиозностью, обязательной для священника?

— Вы вот о чём! Ну, сейчас нам, в Италии, надо думать о более практических вещах — о борьбе с Ватиканом, например.

— Разве Ватикан не институт религии?

— Ни в коей мере... нет, этому нет названия. В общем, с Ватиканом надо бороться не на жизнь, на смерть.

— Ваш мундир не мешает вам в глазах верующих?

— Наоборот. Священник, поднимающий голос против Ватикана, фигура популярная в нашем народе. У нас ведь знают, что таких сжигали на кострах. Так что... рекомендации истории превосходные.

— И что же Ватикан?

— Он отлучает таких, как я. Я, таким образом, оказываюсь в одном лагере с коммунистами. И это — ещё раз неплохая рекомендация. Коммунисты принадлежат к членам общества, осуждённым Ватиканом. Верующие должны воздерживаться от заключения браков с ними, и священникам запрещается благословлять такие браки. В случае смерти коммунисты лишаются христианского погребения. Ватикан отлучил заодно с коммунистами и читателей коммунистических книг, и продавцов коммунистических газет. Это должно дать коммунистам много новых голосов.

— Вы думаете? — спрашиваю больше для того, чтобы продлить разговор, чем для получения ответа, для меня и так ясного. Лицо священника от волнения покрывается крупными морщинами.

— И вот моя третья рекомендация: я причащаю и женю всех живых и хороню по христианскому обряду всех умерших. В моей церкви висит Красное Знамя и портрет генералиссимуса Сталина. Моим прихожанам нравится, чтобы им не мешали верить в бога и уважать коммунистов.

Книжная лавка, в которой я разговорился со священником, вероятно принадлежала верующему католику — её специальностью была церков-

ная утварь. Я зашёл посмотреть, пользуется ли католическая церковь работами великих итальянских мастеров, и не нашёл ни одной Мадонны кисти Беллини, Тициана или Рафаэля. Безграмотная же мазня безымянных пачкунов была представлена в громадном количестве, и я обратил на это внимание священника.

— Мадонны Тициана слишком естественны, чтобы удовлетворить Ватикан,— улыбнулся он.— Большое искусство спокойнее держать под замком в музее, чем выпускать его бесконтрольно на улицу. Оно, как орёл, не вернётся в клетку.

Хозяин лавки, как я и предполагал, оказался действительно очень верующим и ко всем свободомыслящим относился насторожённо, что не помешало ему принять посильное участие в нашем разговоре.

— Не в этом дело,— сказал он,— не в этом дело, что одно — орёл, а другое — не орёл. Мадонна должна выглядеть католичкой, а не венецианской кокоткой. Что это за дева Мария, глядя на которую в голову лезут грешные мысли? Конечно, и такие изображения имеют сбыт, но — на любителя. В то время как утверждённые — обязательны, нравятся они или нет. Многие верующие приобретают по две мадонны — одну для чужих глаз, другую — для себя.

Пока он рассказывал о вкусах своих покупателей, священник, порывшись в своём портфеле и найдя в нём какую-то книжечку, собрался прочесть мне текст анафемы, практикуемой Ватиканом.

— Если бы актёры читали его со сцены, они имели бы большой успех,— добавил он, приступая к чтению.

— Но их наверняка за это отлучили бы,— заметил я.

— Возможно. Мольер не мог быть погребён на кладбище, потому что папа, не смея отлучить французского короля, отлучил его драматурга.

— Арлекина тоже, по-моему, отлучили,— сочувственно заметил хозяин, роясь среди утвари за прилавком.

— Арлекина! — подхватил священник. — Отлучены все актёры, игравшие, играющие или будущие играть Арлекина...

— Святой Бернارد предал анафеме огромное количество мух, наполнивших его церковь, и, говорят, они подошли, — как можно серьёзнее добавил священник и стал читать текст проклятия.

— «Да будет проклят такой-то, живёт ли или умирает, пьёт ли, ест ли, жаждет ли, голоден ли, дремлет или спит, бодрствует, стоит или сидит, лежит или работает, отдыхает, мочится или испражняется, пускает ли себе кровь. Да будет проклят он по всему телу, внутри и снаружи, в волосах, в мозгу, в затылке, во лбу, в ушах, в бровях, в глазах, в челюстях, в ноздрях, в зубах, в горле, в плечах, в груди, в сердце, в желудке, в бёдрах, в паху, в детородных органах, в голенях, в коленях, в ногах, в ногтях. Да будет проклят во всей сложности своих членов от головы до ступней и да не будет в нём ничего здорового!». Великолепно, а?

— Вы же не верите в бога,— сказал я, глядя на развеселившегося священника.— Вы же атеист.

— Каждый верит по-своему,— туманно ответил он.

Извечно в Италии обращало на себя внимание обилие копировщиков в музеях. У каждой знаменитой картины их сидело по несколько человек. Стоило вам залюбоваться оригиналом, как копиист сообщал, что к вечеру закончит своё произведение и что оно стоит очень недорого. Молодые скульпторы наперебой предлагали восковые или бронзовые копии статуй и групп, главным образом малоприличных. Сейчас таких



копировщиков не видно ни в ватиканском музее, ни на вилле Боргезе, ни в Венеции, где они обычно располагались на площади Марка.

— В чём дело? — поинтересовался я.

— Невыгодно. Туристов мало, а те, что есть, настолько богаты, что покупают оригиналы.

— А разве можно вывозить?

— Были бы деньги, а то и собор Петра можно вывезти.

— И вывезят?

— Сколько угодно. Многие владельцы отличных частных собраний тем только и живут, что продают оригиналы, а свои коллекции заполняют копиями.

— Чем же существуют молодые художники?

— Кто их знает? Одни пишут иконы, другие... впрочем, я не знаю, что делают другие и есть ли они.

У киосков, торгующих прохладительными напитками, толкотня. Октябрь в Риме нынче почти зноен, хотя ночи уже свежи по-осеннему. Днём забываешь, что по календарю — октябрь. Всё ещё ходят в одних пиджаках и платьях, ничем не покрывая своих курчавых голов.

Климат Рима, говорят, не особенно здоров. Римские лихорадки вошли даже в классическую литературу, и хотя их давно нет, всё равно они числятся налицо, поскольку неоднократно описаны и должны существовать, как развалины Форума. Следуя за литературными традициями, Рим считает свой климат отвратительным. Но этому не следует слепо доверяться.

Во всяком случае, сейчас в Риме чудесно. Дни удивительной яркости и теплоты. С трудом веришь, что в Турине и Венеции дожди и туманы. Ни то, ни другое не вяжется с той ослепительно-солнечной Италией, которую мы знаем по книгам.

А Рим такой, как надо. Он словно позирует перед нами. Вчера наш художник спросил:

— Что вам нравится больше, Париж или Рим?

— Очень разные города, трудно сравнивать, — ответил я, сам ещё не решив тогда, какой же из этих двух городов мне нравится самому.

В самом деле, Париж или Рим?

Париж по-своему неповторим. Та же самая литературная слава, превратившая итальянскую столицу в город, производящий одни развалины, вылепила из Парижа сверхреальный центр искусств, столицу художников и поэтов, будто бы бросающих вызов всему миру. Таким он остаётся по сию пору, хотя уже много десятилетий никому не бросает вызова и утратил своё место в европейском искусстве. Кабачки художников и поэтов выродились в рекламные заведения, а выставки непризнанных художников — в свалку всего бездарного, что не пролезает в салоны, и так переполненные чепухой.

И вместе с тем Париж великолепен.

Ни один русский не может забыть, что он был колыбелью Коммуны, что в Париже жили Герцен, Тургенев, Маркс, Энгельс, Ленин, что на парижских площадях решались судьбы революций, потрясавших Европу.

Сам Париж, тот, что днями торчит и суется в бесчисленных кафе на Бульварах, вспоминает об этом гораздо реже, хотя шум политических споров и схваток здесь и сейчас грозен, как никогда.

Прекрасен Лувр. Хорош Версаль. Очаровательны многие кварталы старого Парижа. И, конечно, всего очаровательнее сами парижане, весёлые, общительные, остроумные люди, искренне играющие в вершителей мировых судеб, в романтиков и бунтарей, а на самом деле — и скопидомы, и осторожны, и, главное, не так чтобы здорово знают дела

мира. Париж — город, в котором весело жить тому, кто думает об удовольствиях. Ещё наш Герцен не без юмора говаривал, что разлагаться всего лучше в Париже. Это до сих пор так.

Но можно ли сравнить его с Римом? Рим — провинция Парижа, если говорить о городе в смысле удобства и полноты жизни, но вместе с тем Рим по красоте архитектурной, по красоте уличных ансамблей и пейзажу гораздо интереснее, красивее, монументальнее и, если хотите, величественнее Парижа. Париж — безбожник, Рим — католический ханжа. В Риме не уважают попов так же, как в Париже, но там умеют зло смеяться над ними, а здесь похихикают в кулак (в лучшем случае), да и замолчат, сделав непроницаемое лицо.

Парижанин смеётся над религией даже в том случае, если он верит в бога. Римлянин осуждает и клянёт её, но смеётся осторожно, потому что он суеверен.

В Париже, конечно, больше библиотек, но зато и больше весёлых заведений.

В Рим всегда ездили за искусством. И как Париж прикидывается страшным гулякой и развратником, так Рим корчит из себя художника.

Конечно, есть два Парижа, два Рима.

Один Париж беспечно и легкомысленно продолжает считать себя наследником болтунов времён Наполеона III, другой молчаливо и серьёзно переживает время накопления сил и осмысления событий, и если возвращается к прошлому, то не к тому, что привлекало в Париж дармоедов со всего света, а к дням Марата и Робеспьера, Делеклюза и Луизы Мишель.

Есть и два Рима.

Один, пока ещё главенствующий, топчется в церквах, заигрывает с Ватиканом и обслуживает его, ничем не гнушаясь, гнёт спину перед любым американским капралом и готов за отпущение грехов работать агентом против любой страны и любого народа. Этот Рим любит похвастаться искусством итальянского Ренессанса, развалинами императорского Рима, Муссолини, д'Аннунцио, потому что все они для него одинаковы, просто знаменитости, просто величины. Папа для него важнее Гарибальди, потому что папы всегда на месте, а Гарибальди умер и у него нет наследников в обществе.

И есть другой Рим, Рим бедноты, вчера пришедший из деревень и ошеломлённый, оскорблённый картиной всеторжествующей лжи и фальши, которая вдруг открывается перед его наивным взором на жреческих церемониях в Ватикане, когда он видит, к стыду и ужасу своему, что здесь всё продаётся — и сам папа, и его кардиналы, и отпущения грехов, и благословения, и проклятия.

Есть Рим людей, страстно любящих родину и в то же время равнодушных к её старине, заслонившей от мира живую Италию с её живым чудесным народом, с его богатырскими судьбами.

Для этого Рима Ватикан — здание, которому давно пора быть похожим на Колизей, то есть на развалины. Для этого Рима нет поэзии в путаной истории императоров, поливавших город кровью, а есть поэзия героев и мучеников, погибших в тюрьмах, в лагерях, сражённых пулями карабинеров.

У этого Рима — свои традиции, свой счёт истории, свои мечты.

Всё это особенно ясно представилось мне, когда однажды вечером мы поднялись на Яникульский холм, к памятникам Джузеппе и Аниты Гарибальди, в окружении мраморных бюстов наиболее прославленных гарибальдийцев.

Оба памятника изваяны сицилианцем Марио Рутелли. Анита Гарибальди — верхом на коне, с пистолетом в руках, мчится в стремительную атаку. Её маленькая, нервная фигурка вся в движении и порыве. Великолепно передан испанский характер подруги великого патриота Италии. А Гарибальди, тоже верхом, с накинутым на плечи пледом, в своей знаменитой маленькой шапочке спокойно и удовлетворённо, как победитель, оглядывает с вершины холма город, о котором сам сказал: «Рим или смерть!» Это не партизан и не полководец, это хозяин страны, озирающий не столько недавнее поле сражения, сколько всю свою родину от моря до моря.

«Я пришёл, я здесь», — всем своим торжественно-простым обликом говорит памятник, царящий над Римом. Он выше дворцов знати и храмов католицизма.

Это как бы символизирует, что во всей многовековой истории Италии и Рима не было человека выше, чем Джузеппе Гарибальди. Этот памятник отовсюду видно, со всех концов города, и с низин, и с подъёмов, и за стенами города, из Фраскати и Альбано. Недаром умирающий Тассо с этого холма простался с жизнью.

В предзакатный час, когда солнце вот-вот опустится за холмы, издавна вошло в обычай любоваться отсюда городом. Низкие боковые лучи солнца освещают тогда не крыши, а стены зданий, город розово-рыжий, точно из солнечных кирпичей, и розовые ходы улиц, розово-зелёный Тибр и всё, что открывается взгляду, приобрело тона старой фрески.

Рим розовее, оранжеевее Флоренции.

В сравнении с ним Париж почти грифельный.

Едва угадывается приплюснутый купол Пантеона, где погребён Рафаэль, термы Каракаллы, Колизей, а ближе махина монумента Виктора-Эммануила нагло лезет в глаза, точно она и есть центр Рима.

Вдали, на востоке, по ту сторону города, прямо перед холмом, в зелени огромного парка, на Монте Пинчио, розово светится вилла Боргезе, выше и левее её — кварталы современной римской знати, уходящей как можно дальше от тёмных и узких улиц старого Рима, где уже неуютно и беспокойно в дворцах, построенных великими зодчими и расписанных великими живописцами. Когда-то эти дворцы тоже были на окраине города. Теперь их окружают вонючие овощные и рыбные рынки.

Вероятно, правы утверждающие, что именно в часы заката Рим выглядит городом красивым, как может быть красиво единое произведение искусств, единый, цельный организм. В этот час, вопреки всем законам стилей, древнее принимает в свой строй более молодое, и между чёрно-рыжим и грузным пятном Колизея и более светлым пятном палатцо Юстиции или палатцо Венеция нет особенной разницы. Только один монумент своей нелепо крикливой архитектурой выбивается из общего ансамбля и, как хорист, обладающий резким, но фальшивым голосом, портит архитектурную капеллу Рима. Монумент Виктора-Эммануила действительно огромен и настолько шикарен, что американские солдаты твёрдо уверены, что Муссолини жил не где-нибудь, а обязательно внутри этого монумента, потому что ничего более красивого они не могли разыскать в Риме. Собор Петра и монумент Виктора-Эммануила — близнецы-гиганты, у которых всё ушло в рост и ничего не осталось для души.

Церемониал заката недолог. Стоит солнцу скрыться за холмом на западе, как становится свежо. Близкие горы, соседство которых днём чувствуется лишь по безобидному ветру, тотчас овладевают воздухом Рима. Человеку, который, поверив глазам своим, вышел утром из

дому без пальто, приходится плохо. Ему плохо сразу по двум причинам — и оттого, что свежо, и оттого, что он без пальто. Все римляне каким-то образом уже успели облечься в макинтоши и надели шляпы или береты. Через час или два будет ещё хуже, и к полуночи в Риме станет холодно, как и полагается в конце октября.

Солнце, скрывшись за холмами, оставило улицы ещё тёплыми, и потому внизу, в центре города, посвежение чувствуется не сразу.

Уличная толпа в Риме шумлива, хотя, на взгляд самих итальянцев, их столица в отношении крикливости далеко отстаёт от Неаполя. Народу, которого на римских улицах много во всякое время дня, сейчас заметно прибавилось. Столики многочисленных кафе заняты. У киосков и в барах — очереди. У кинотеатров — возбуждённая толкотня. А над домами монотонно, как бы осуждая суету сует и зовя к сосредоточенной тишине, звонит церковный колокол. Но его звон никого не тревожит. В детстве так же вот вторгался и чуждо звучал средь уличной жизни Тбилиси истошный голос мацонщика: «Мацони, мацони!» Редко кто отзывался на него. И ещё непонятнее, ещё загадочнее казался скрипуче-жалобный запев старого перса, печально и грустно предлагавшего: «Ковры мить, ковры мить», хотя в нашем районе ни у кого не было ковров, а если у кого и имелись, так мыли их раз в десять лет.

Лютер, недолюбливавший итальянцев, писал: «Итальянцы — нечестивейшие из людей, они насмеваются над истинной религией... Народ здесь — язычник по природе, по темпераменту. Народ больше боится св. Антония или св. Себастьяна, чем Христа, потому что святые эти посылают язвы. Вот отчего, чтобы помешать прохожим мочиться, где не следует, на том месте изображают св. Антония с его огненным копьём».

Вероятно, с тех пор кое-что изменилось. Изображений св. Антония с копьём я нынче нигде не встречал, зато писсуары в виде железных щитков в изобилии украшают стены домов на перекрёстках. По близорукости я не раз принимал их за установку для телефонов-автоматов. Антоний со своим копьём, следовательно, не много добился.

Напротив здания советского посольства помещается женская гимназия. В одном из окон второго или третьего этажа с утра до темноты мелькают фигурки девушек. Не знаю, как они учатся, но дежурят удивительно исправно, и ни один входящий в посольство не минует их взгляда. Вероятно, они знают в лицо всех сотрудников и с жаром, свойственным молодости, обсуждают приезжих. Когда я подхожу к посольству, мне иной раз хочется спросить их: «Мои товарищи уже здесь?» Я почти не сомневаюсь, что они крикнут: «Ах, синьор Павленко, академик Несмеянов только что сел в такси и уехал в музей, а писателя Фадеева сегодня ещё не было!»

Должно быть, этим филёркам очень трудно работать, когда в городе неожиданно гаснет свет, что случается часто. Тогда почти невозможно установить, кто подошёл и звонит у подъезда посольства. Правда, в эти часы можно дежурить на улице, лениво прохаживаясь взад и вперёд, как бы в ожидании запоздавшего поклонника, но не всегда ведь угадаешь время аварии со светом. Тогда девицы, должно быть, шёпотом поругивают правительство, не умеющее создать необходимые условия для шпионской работы. Впрочем, правительству достается здесь ото всех. Его ругают посетители кинотеатров за срыв сеансов (опять-таки из-за света). Его бранят иностранцы, приехавшие пропить и

проедать свои деньги, за то, что в отелях бездействуют лифты. Его бранят собственные чиновники за вечное опоздание на работу из-за забастовок трамвайщиков, автобусников и железнодорожников. Его бранят, наконец, полицейские, которые не так давно даже бастовали, требуя повышения заработной платы.

Забастовки — явление здесь совершенно нормальное, никого не удивляющее и как бы вполне естественное, вроде дождей.

Я очень жалею, что у меня нет знакомого прелата, с которым можно было бы поговорить о Ватикане. Мы живём в дни, когда все дороги ведут к коммунизму. Народы не идут, а — я сказал бы — мчатся к коммунизму, и Ватикан, каким мы его знали до сих пор, бесспорно доживает последние дни. Католицизм как религия существовать ещё будет, но Ватикану пора исчезнуть.

В будущей народной Италии, вероятно, даже учредят праздник — день взятия Ватикана, как у французов есть день взятия Бастилии.

За неимением собеседника-прелата, я отвожу душу, перелистывая альбом «Ватикан». Портреты высших сановников папы доставляют огромное удовольствие.

Кардинал Пинателли ди Бельмонте, префект конгрегации церемониала, — старец с хищным лицом ростовщика. Его крючковатый нос и выдвинутый вперёд подбородок напоминают грим провинциального актёра, играющего Шейлока. Жёсткие волосы коротко острижены и не скрывают больших, мускулистых ушей. Не уши, а звукоулавливатели.

Кардинал Энрико Каспарри, глава папского трибунала, толстенный, пухлый, с масляными нетрезвыми глазами, чрезвычайно напоминает чревоугодников-попов из романов Анатоля Франса.

Я бьюсь на пари, что он любит сальные анекдоты, собирает порнографические открытки и где-нибудь в провинции, а то и в Риме, поддерживает нескольких взрослых дочерей, прижитых им в запрещённом браке. Он такой весёленький и добренький, этот Энрико, что, должно быть, все приговоры даются ему легко.

Кардинал Гульемо О'Коннель, архиепископ бостонский — совсем другое дело. Это типичный американский делец. Крепкое широкое лицо. Жирный подбородок с глубокой ямочкой, маленькие шустрые глазёнки с тяжёлыми отёками и широкий рот крикуна-полицейского. По своим политическим убеждениям он, как и все ватиканцы, фашист, но, в отличие от многих других, не тайный, а явный, прямолинейный, воинствующий. Если он когда-нибудь произносит проповеди, то, должно быть, всегда об аде, о вечном огне, на котором горят грешники-коммунисты, о том, как хорошо выворачивать руки на допросах. Это человек, рождённый для инквизиции.

Кардинал Адольфо Бертрам напоминает портреты пап и кардиналов эпохи Медичей. Холодные безжизненные глаза на маленьком испитом личике. Тесно сжатые, будто затаившие брань, губы. Верхняя длиннее. Эта деталь придаёт лицу не особенно умное выражение. Такие лица можно встретить в альбомах уголовного розыска.

Кардинал Дионисо Дугерти, архиепископ Филадельфийский, на первый взгляд, лицо случайное в альбоме преступников. Это скорее жертва, чем преступник. Такое лицо можно встретить в любой бульварной газете под заголовком: «Муж, задушенный любовником жеңы». Лысый, курносый, со вздёрнутыми вверх губами, будто он подавил зевоту, а лицо тупое-претупое, чванливое и блаженное от отсутствия мыслей. Бровей почти нет, и поэтому глаза кажутся голыми. Очки при-

дают лицу сонливость. Старая повариха, одень её в сутану, должна выглядеть, как Дугерти.

Но вот лицо, вносящее некоторое разнообразие.

Кардинал. Джиованни Батиста Назелли Рокка ди Корнелиано, архиепископ Болоньи — красавец мужчина. Хотя он в очках, но напоминает оперного певца. Пробор в ещё чёрных, с небольшой сединой волосах, придаёт ему светский лоск, а улыбка в уголках губ лишний раз подчёркивает, что он ко всему в жизни относится полушутя. Это актёр, играющий кардинала, причём играющий неважно, что ему и самому ясно.

Джузеппе Эрнесто ван Рой, бельгийский кардинал, именно таков, каким и представлялся мне бельгийский первосвященник — безграмотный деревенский лавочник, которого почтили саном церковного старосты, и он, хоть и польщён, а не знает, что он теперь и как ему держать руку, а главное неизвестно — даром ли этот почёт или придётся за него платить.

Но кто не то что ослепительно хорош, но, я сказал бы, поистине превосходит своей типичностью — это кардинал Хлонд.

Старый шляхтич, в семейных летописях предков которого и кровавые походы на Украину, и погромы евреев, и обращение в католицизм рабынь из-под Киева, и тайные посольства в Московию к русским католикам, и тайные договоры со шведами и немцами.

Квадратный лоб, ограждённый седой щетиной волос. Губы упряма. Лицо холодное, неприступное, лицо инквизитора, с широкими, круто выпирающими скулами. Кажется, он конвульсивно сжимает губы, чтобы не разразиться проклятиями.

Такие, как он, подкладывали хворост под костёр Джордано Бруно, хлестали по лицу Яна Гуса, ездили в колясках, запряжённых украинскими девушками, и со спокойной совестью предавали свой собственный народ когда и кому угодно. Недаром этот прелат, по сообщениям французских газет, получал субсидии от гестапо.

Фотография Шустера, архиепископа Миланского. Я нигде не встречал его портретов, имя его мне было известно лишь по газетам, как имя человека, воспевшего Муссолини в качестве «вождя», посланного небом, и безусловно прижившего свою руку к краже останков казнённого «дуче». И вот — передо мною Шустер, как вылитый, большеухий, испитой, с худым костлявым носом, начинающимся где-то очень высоко, чуть ли не на середине лба и спускающимся на самые губы. Шустер явно из тех, кто считает себя гением.

Рядом с ним и кардинал Спеллмэн — образец античной красоты, хотя на самом деле нью-йоркский архиепископ всего лишь старый боксёр — с перебитым хрящем ушей, носом, как бы вбитым внутрь лица, и щеками, тугими и плотными, как хороший синяк.

Сказать, глядя на портрет Спеллмэна, что это — священнослужитель, трудно. Нет в лице его ничего мало-мальски симпатичного или просто нормального, обыкновенного. Больше всего его лицо напоминает кулак, на котором нарисованы глаза, нос и рот. Он угрожает своим лицом. Он сжал его для удара. Надо думать, что в этой безмятежной голове столько же интеллекта, сколько и в обыкновенном кулаке.

Уместно задать вопрос, почему они все как на подбор? Разве не может человек, занимающийся противоестественным ремеслом, и даже явный жулик иметь приятную внешность? Конечно, может. Но я не знаю, почему в альбоме Ватикана так мало обыкновенных человеческих лиц. Кого бы вы ни взяли, — архиепископа ди Палермо Луиджи Лавитрано с его криво сидящими глазами и несимметрично расположенными ушами,

секретаря ли священной Консистории кардинала Рафаэлло Карло Росси с лицом преступника, которого арестовали в момент убийства, архиепископа ли Флоренции тощего Элиа Далла Коста, кардинала ли Франческо Мормаччи, — все они необычны. Такие лица — уники. В жизни они встречаются чрезвычайно редко.

Профессия наложила на эти, с позволения сказать, человеческие образы свой яркий отпечаток. Но, может быть, они подбираются по внешности, кто их знает?

Среди двух десятков лиц, то явно преступных, то несомненно порочных, шизофреничных, глаз останавливается более или менее спокойно на двух или трёх.

Единственно умное, хотя и недоброе лицо — у камерленга св. коллегии — Пьетро Фумазони Бионди. Лицо политика, умное, хитрое и даже, я сказал бы, симпатичное тем, что оно обыкновенно.

Папа Пий XII задержал моё внимание дольше всех. Вот он, крестный отец фашизма, его кормилец и защитник, старый друг берлинских наци, кардинал Эудженио Пачелли. Большой острый нос, бледные тонкие губы, костистый волевой подбородок, зоркие, сухие глаза из-под очков, кажущихся маленькими на большом угловатом лбу. Чуть сутулая долговязая фигура с приподнятыми плечами. Руки с длинными кривоватыми пальцами.

С Пия XII можно писать портрет фанатика-иезуита, который не остановится ни перед убийством, ни перед клятвопреступлением, ни перед богохульством ради поставленной перед собою цели.

Душа таких людей неполноценна. Ненависть двигает такими. Ненависть ко всему, что не похоже на их собственное представление о жизни, как это бывает у скопцов.

У папы, как у «взаправдашнего» монарха, есть свой дипломатический корпус. При Ватикане аккредитованы послы многих государств. Портреты этих последних, «по сложному закону ватиканского стиля, будто нарочно приданы к галлерее типов священнослужителей и как бы продолжают их. В Ватикане посол Великобритании сэр Фрэнсис Осборн в течение всех лет войны миролюбиво встречался с чрезвычайным послом Гитлера бароном фон Вейцекером и японским послом Харада. Встречаются они и по сю пору в том же самом Ватикане. Папа не считается с тем, что давно не существует Гитлера и что Япония пока что нигде не имеет своих послов.

«Представитель» Словакии Карно Сидор, черноволосый мужчина с короткими жёсткими усиками и густыми бровями над блестящими глазами гипнотизёра, до сих пор квартирует в Ватикане вместе с «представителем» фашистской Венгрии, «послом» королевской Румынии и представителем гоминдана.

Слова, вложенные писателем Джованьоли в уста гладиатора Спартака, звучат современно в Риме 1950 года:

«Я надеюсь уничтожить этот развращённый римский мир и увидеть, как на его развалинах зарождается независимость народов... Я надеюсь потопить в крови угнетателей стоны угнетённых, разбить цепи несчастных, прикованных к колеснице римских побед... Свободу ищу, свободы жажду, свободу призываю, свободу как для отдельных людей, так и для народов, великих и малых, сильных и слабых, а вместе со свободой — мир, процветание, справедливость».

Парк Монте Пинчио один из самых великолепных в Риме. Когда-то он был для местной знати Елисейскими полями, местом галантных

встреч. В нижней части его высится вилла Боргезе, один из наиболее интересных римских музеев.

Описывать ли вам его?

Здесь есть скульптуры Бернини, полотна Рафаэля, Тициана, Веронезе, Корреджио, Тинторетто, Эль Греко и других знаменитых художников. Некоторые из полотен производят и по сию пору сильное впечатление, иные сохранили значение лишь исторических памятников, но в общем человеку, далёкому от специфических, профессионально-живописных интересов, посещение виллы Боргезе не даёт впечатлений, которые бы глубоко и надолго взволновали его. Виной тому, я думаю, не только некоторая удалённость от нас произведений прошлых столетий но, по всей вероятности, то равнодушие, тот до странности необъяснимый нейтралитет со стороны музейных работников, с которыми приходится сталкиваться посетителю итальянских музеев. Здесь искусство показывается, но не пропагандируется. Им не обогащают, а угощают. Вы можете насладиться им, если сумеете, но никто и пальцем не двинет помочь, заметив, что вам трудно что-то понять и осмыслить.

Но, может быть, музеи Италии все, как один, рассчитаны на очень подготовленных посетителей, на людей мастерства?

«Галлерей множество, — когда-то писал И. Е. Репин в одном из своих писем, — но набиты такой дрянью, что нехватает никакого терпения докапываться до хороших вещей».

Репин не только критиковал римские музеи. Он смотрел гораздо дальше и глубже. «Однако, восторгаясь итальянским искусством, совершенно законным в своей стране, нельзя не видеть того непоправимого зла, которое оно внесло в искусство прочих стран, особенно во времена своего упадка».

Верная мысль.

«Итальянщина» в живописи и музыке прошла и по русскому искусству на манер моровой язвы, искалечив не одно поколение художников.

То, что Западная Европа покорно взяла за образец, не просто, не спокойно овладевало русским искусством, а ненадолго овладев, окончательно и бесповоротно было изгнано самобытными усилиями русских реалистических мастеров. «Эта школа (имеется в виду Тициан и Веронезе. — П. П.) мало заботилась о мысли, — с присущей ему прямолинейностью писал Чистякову Суриков, — а только блеском речи поражала слушателей. Итальянское искусство — искусство чисто ораторское, если можно так выразиться про живопись».

И ведь сказано это было не сегодня и не вчера, а во времена, когда всё итальянское в искусстве почиталось за безупречное — в 1884 году.

Вероятно, термы были не просто банями на манер Сандуновских, а чем-то вроде домов культуры и спорта, с бассейнами для плавания, с площадками для игр, с библиотеками и залами для дискуссий. Что термы были обставлены произведениями искусства, подтверждено позднейшими находками археологов.

В термах найдены знаменитая скульптурная группа Лаокоона, фарнезский бык, статуя Геркулеса Фарнезского, бельведерский торс, изумлявший Микельанджело, Венера Каллипига.

Термы Каракаллы в развалинах. Театральные предприниматели устраивают в них концерты и оперные спектакли. Сцена ютится между гигантскими древними стенами, уходя в глубину древней залы без крыши. Вероятно, это красиво, если ставят что-нибудь из древней жизни, и довольно нелепо, если из современной.

Термы Диоклетиана использованы гораздо умнее — в них размещён



национальный музей скульптуры, и это единственное место в Риме, где искусство живёт полной жизнью. Зелень внутреннего двора укрывает резными тенями почерневший от времени мрамор статуй, кошка греется у ног задумчивой Венеры, выглядывающая из-за деревьев колонна витым карнизом своим скрывается в кудрявом плюще, покрывшем стену. Вот так, наверно, оно и было в своё время. Холодная поверхность камня покрывалась вздрагивающими тенями ветвей, и камень оживал на солнечном свету, приобретая с годами более тёмные оттенки, как бы загорая от живой жизни, с которой был навеки соединён.

Термы Диоклетиана — единственное место, где древняя скульптура вмонтирована в быт. Во всех других музеях она, будучи оторвана от архитектуры, теряет половину своих достоинств.

Достоинство музея в термах Диоклетиана также в том, что он мало напоминает музей. На шумной площади, вблизи центрального вокзала, в грохоте оживлённого движения и суеты, высятся темнорыжие стены. Вы входите в узкие ворота и, ещё слыша за собой звонкий голос газетчика или сигнал машины, вступаете в мир, которого давно нет, но который существовал именно на этом месте. Звуки другой жизни вторгались в гигантские залы терм, но и тогда здесь не было особенно тихо. Грохот колесниц по камню улиц, громкая перебранка колесничих, споры спортсменов, голоса певцов из залы поэзии — всё наполняло термы биением жизни. Вероятно, как и сейчас, во внутренние дворы доносились крики продавщиц цветов, и уличная пыль спускалась на мраморные статуи.

Почему бы одни из сохранившихся терм не реконструировать полностью и не дать представления о том, как они выглядели в действительности? Естественная картина древнеримской жизни была бы красноречивей многих учёных трактатов.

Помпея потому так и популярна среди путешественников, что посетитель видит здесь всё в естественном, бытовом распорядке, видит жизнь, а не экспонаты, картину в целом, а не обособленные, отторгнутые от целого детали.

В этом смысле многие церкви и дворцы Италии дают больше, чем специальные музеи. Там живопись и скульптура живут вместе со зданием, входя в его историю, сопутствуя ей и как бы говоря от её имени.

Но не римский Форум, не развалины Колизея и не катакомбы древних христиан, даже не эпоха Рафаэля создаёт стиль Рима, а искусство времён барокко, которое небрежно отодвигает в сторону, как второстепенное, но которое, каким бы оно ни было, является душой и плотью Рима и всей Италии. Не Микельанджело царит на площадях Италии, а Бернини со своей школой.

И удивительное дело — Ренессанс заперт в церкви и музеи и почти не проник в уличную жизнь Италии, а барокко живёт бок о бок с простыми людьми. Изумительные фонтаны Рима принадлежат народной жизни. В душевные летние вечера возле них, как у фонтанов Бернини на площади Навона, собираются дети и женщины, звучат песни. У фонтана Треви, где струи кипят по всей стене сложными каскадами, беснуются римские мальчишки, подкарауливая иностранных туристов, которые, чтобы ещё раз вернуться в Рим, бросают в бассейн мелкие монеты. У фонтанов на площади Петра, где вода высоко взлетает султанами, ищут прохлады извозчики, шофёры, гиды, небогатые паломники, а у тех, что расположены в более бедных кварталах, население ближайшего квартала проводит едва ли не целые дни. В фонтане у собора Павла вода несётся плавными струями, нежно бьёт вверх тонкой блестящей иглой в чашу на Монте-Пинчио. Музыка вод — музыка Рима.

Рим любит не то, чем он славится в путеводителях. В сотнях маленьких лавчонок торгует он картинами безвестных мастеров. Но вы не встретите там ни копий со знаменитых холстов, ни мадонн, ни румяных мучеников, пронзённых стрелами, а удивлённо и, пожалуй, разочарованно увидите виды Неаполя, Венеции и Рима, написанные рукой, учившейся живописи у Коро, а не у Рафаэля, у бесчисленных немцев (которые вот уже два столетия тщательно переписывают итальянцев), а не у Боттичелли.

Картины, подобные этим, писались всеми, кто побывал в Риме. И на местного живописца гораздо большее влияние оказывают, вероятно, приезжие издалека, чем свои, потому что приезжие знают вкус своих путешественников по Италии.

Средний итальянский художник, работающий на иностранцев, и сам пишет, как иностранец, а покупатели его картин, увозя их домой, наивно полагают, что вывезли нечто типично итальянское.

Таким образом, в Риме создают совсем не то, чем он знаменит на самом деле.

### ТУРИН И МИЛАН

Поезд из Рима в Турин отходит в начале вечера, когда светлорыжий Рим лучится опаловым сиянием. Дорога идёт вблизи Тирренского моря. Равнинный ландшафт римской кампаньи очень знаком, хотя и не сразу сообразишь, откуда он. Апельсиновые рощи, пальмы у станционных зданий, полосы каких-то посевов, почти чёрно-зелёные в этот час, ослик с блестящей сбруей, запряжённый в двуколочку,— всё знакомо и безусловно не раз уже овладевало зрительной памятью. А, да это же Аджария, окрестности Батуми! Вот откуда знакомо это всё.

В левые окна вагона то и дело вливается море, лениво облизывающее плоский, как блин, берег от Чивита-Веккиа до Ливорно. Где-то должны были показаться в море далёкие очертания острова Эльбы, но я пропустил это зрелище, обязательное для каждого туриста, потому что уже стемнело, море слилось с небом, и на веру не хотелось ничего принимать.

В Ливорно поезд прибыл поздним вечером, а по прославленной Ривьере ди Леванте, береговой полосе между Специей и Генуей, мы промчались уже в начале ночи, и я не видел ни 25 мостов, ни 20 виадуков, ни 89 туннелей, расположенных на этом участке пути. Впрочем, тому, кто проезжал Байкал с туннелями вдоль его берега, Ривьера ди Леванте едва ли что-либо скажет воображению.

Генуя уже скрылась в ночи, когда поезд подкатил к её вокзалу. Редкие огни города напоминали созвездие, опустившееся к самой земле. Если б не знать, что город карабкается вверх по крутой горе, пожалуй, в самом деле подумал бы о том, что огни улиц перепутались с огнями звёзд. Порт был, как и город, освещён скудно, и это тоже не могло не удивить, ибо Генуя один из важнейших портов Италии. Но здесь столь многое удивляет, что, в конце концов, удивление начинаешь считать чем-то совершенно нормальным. В Италии, богатой «белым углем», не хватает электроэнергии — города плохо освещены, предприятия испытывают энергетический голод, лифты в гостиницах, как правило, не работают, а Венеция, в которой только и можно жить при хорошем освещении каналов, напоминает город, покинутый цивилизацией.

Все писавшие об Италии утверждают, что Генуя не похожа на остальную Италию, что она своеобразнее Венеции и что в её красоте чувствуется много восточного колорита, объясняемого обширными морскими связями древней Генуи. Я жалею, что не видел её.

Старый мир не знал ещё Америки, когда корабли Генуи провозили товары из Индии и Персии. Это были корабли «огромные как горы, с тремя рядами вёсел». Гребцы — были моторами таких кораблей. Лучшими из гребцов считались славяне. Море и корабли — стиль Генуи до сих пор, и все генуэзцы кажутся моряками (недаром Колумб родом из Генуи), хотя, вероятно, большинство из них не нюхало моря. Город-мореплаватель давно уже превратился в купца и портового грузчика. Но, возможно, нынче совсем другое: что-то уж слишком темно и тихо в «великолепной Генуе», как окрестил её Гоголь.

На рассвете — зябком, не итальянском, а ленинградском, — открывается Турин, самый, как говорят, прозаический город Италии, который обычно минуют туристы и искусствоведы, но зато охотно посещают деловые люди.

Узкие улицы туринского центра застроены однообразно серыми домами. Общий цвет города — аспидный, парижский. Движение размереннее, нежели в Риме. Улицы не столь крикливы. Всё как-то спокойнее, сдержаннее, солиднее. В Турине в эти дни заседает первый национальный конгресс Общества «Италия — СССР». Делегаты съехались со всей страны. Мы входим во дворец бывших пьемонтских королей во время речи представителя Сицилии.

Его речь напоминает зажжённый факел, который он то и дело подносит к сердцам своих слушателей. Оратор так страстно взмахивает руками, так энергично отталкивается ими от трибуны, что кажется — в любую минуту может выскочить в публику, а та, отвечая оратору сочувственными криками и пригласительными взмахами рук, как бы торопит его совершить прыжок. В этом шумном единении оратора и слушателей и заключается гармония успеха. Но сицилианец, говорят, далеко не лучший оратор, есть такие, которых немисливо слушать сидя.

«Италия — СССР» строит свою работу как общество массовое. Девятьсот сорок два делегата представляют триста сорок тысяч членов общества, и это итог всего лишь двухлетней работы. В перспективе — миллион!

Выступают бывшие министры, общественные деятели, священники, крестьяне, рабочие. Говорят о культурных и экономических связях с Советским Союзом, о проблемах социалистического гуманизма, вспоминают русских друзей из партизанских отрядов Северной Италии, намечают новые задачи деятельности общества.

В течение двух лет Общество «Италия — СССР» организовало 1362 выставки советских книг и советского искусства, пропустив через них свыше полутора миллионов человек. Оно провело 16 кинофестивалей, длившихся общей сложностью 92 дня, и привлекло около полутора-ста тысяч зрителей. Оно устроило 1900 сеансов советских кинокартин в сопровождении специальных докладов о советской культуре, на которых побывало восемьсот тысяч человек.

Интерес к советской культуре так велик, что эти цифры, несмотря на их внушительность, представляются работникам Общества «Италия — СССР» совсем незначительными по сравнению с тем, что можно сделать в ближайшие год или два. Конгресс в этом смысле чрезвычайно показателен. Среди его делегатов немало рабочих и крестьян, а среди последних не на последнем месте женщины из глухих провинций. Конгресс получил множество приветствий от сельских собраний из Апулии, Калабрии и Сардинии, из больниц, от лежащих на излечении друзей Советского Союза, от инвалидов движения сопротивления и партизанской борьбы и даже от анонимов.

Итальянский язык настолько музыкален и, я бы сказал, пластичен,

что, даже не зная его, чувствуешь, что ещё минута-другая — и заговоришь или по крайней мере начнёшь понимать без особых усилий все эти чётко произнесённые, почти осязаемые на ощупь слова, наполненные музыкой.

Осязаемость итальянского языка особенно ясно обнаруживается, когда, попадая в окружение итальянцев и не успев выслушать переводчика, отвечаешь жестами и сам расспрашиваешь, не прибегая к переводчику. Слово так просто переходит в жест, взгляд и улыбку, что становится как бы музыкальным аккомпанементом жеста и взгляда.

Так произошло со мной, когда, в составе делегации конгресса, я посетил туринский завод «Фиат».

Огромный автобус без верха, обрамлённый стеклом, в каких обычно возят туристов, едва вместил группу делегатов конгресса. Среди них тридцать итальянцев, прибывших в Турин из Сицилии, Калабрии и Эмилии, человек пять или шесть иностранных гостей, два-три переводчика и тот инженер фирмы, который будет показывать нам завод. Он почти свободно говорит по-русски, лишь иногда затрудняясь в выборе слова, и тогда морщит лоб, поднимая глаза к небу.

Пока автобус мчал нас к заводу, мои соседи-итальянцы, наступая на переводчиков, атаковали меня рассказами.

Разговаривая, мы так отчаянно махали руками, что многие прохожие останавливались, недоумевая — не глухонемых ли везут? Почти не утруждая переводчиков, я понял, что сотоварищи мои по автобусу — в большинстве своём партизаны, что они сражались с немцами за Турин и что среди рабочих завода «Фиат» немало их боевых друзей.

Инженер похваливал Гоголя за богатство глаголами и горевал об одном — что у нас трудны деепричастия. Я охотно извинялся за наши деепричастия. Он утверждал, что прелесть русского языка в глаголах, французского — в прилагательных, итальянского — в гармонии, а я подумал, что, должно быть, не случайно древнеславянское существительное «глагол» (слово) превратилось у нас в часть речи, обозначающую действие.

— Я выучился русскому языку, — говорит он, — по радио, и когда забуду слово, ищу его как бы в эфире.

— Чем объясняется ваш выбор именно русского языка?

— Ходят слухи, что скоро мы будем торговать с Советским Союзом. Должно же это когда-либо случиться. Правда ведь? Ну, вот тогда меня фирма и пошлёт в Москву, как знающего язык. У меня, таким образом, хорошие перспективы.

Меня знакомят с выступавшим на митинге сицилианцем, бывшим партизанским деятелем, членом парламента. Он возбуждён предстоящей встречей с коллективом рабочих завода «Фиат», среди которых у него много друзей и знакомых по 1943 и 1944 годам, по партизанским отрядам.

— Я ими командовал, — говорит он, блестя глазами, улыбаясь и сжимая мои плечи своими тёмными, волосатыми руками.

Чтобы несколько успокоиться, сицилианец расспрашивает меня о Крыме.

— На что он похож? На Рим? Или больше на Неаполь, Сорренто? А на Ливорно не похож? Вот Ковпак, будучи в Риме, уверял, что Киев и Рим очень похожи. Это верно?.. А маслины у вас есть? О! А лимоны? О!.. Подумайте!.. У вас лично тоже есть?.. Слушайте, Пьетро... можно так?.. Слушайте, Пьетро, вы знакомы с Ковпаком? Нет? О! Как же это? А я знаком. Да. С Корнейчуком тоже знаком. Украина это советская Сицилия по темпераменту. Верно?.. У нас, чем южнее, тем темпераментнее. У вас нет?..

И вдруг, сжав мои плечи, блестя большими белками чёрных глаз: — Как мы дрались, Пьетро... О!.. Туринцы и миланцы, вообще Пьемонт и Ломбардия — это солдаты первого сорта.

Вот несколько историй, им рассказанных.

— Это был потрясающий парень, Ивано Грегорчи. Родом из Харькова, кажется. Сидел он в концлагере в Нижней Австрии, близ Инсбрука, потом убежал. Куда путь направить? В Италию. У него в концлагере друг был, итальянец. Ивано несколько слов знал по-нашему. В Италию — так в Италию, но карты нет, дорог нет, языка не знает, кругом полиция. Так, знаете, что он придумал? Итальянцем прикинулся. Будто бежал из советского плена, к себе домой возвращается. В тех же местах, у нашей границы, где итальянский язык уже мигрируют знают, корсиканцем себя называл. А какой язык на Корсике, кто знает? Никто не знает. Ну, взял курс на юг! Тепло, думает, будет, легко, хорошо. Какой чёрт! Чем дальше, тем всё холоднее, горы выше и выше, Альпы! Идёт неделю, идёт другую — всё горы. Будь, говорит, очи прокляты, когда же кончатся, сил нет. Идёт он и с собою человек пятнадцать австрийцев, солдат ведёт, дезертиров, гитлеровцев по пути поколачивает, мосты из строя выводит, телеграфные провода рубит. Слышим мы — из Австрии к нам какие-то партизаны перешли. Что за дьявол такой? Кто такие? Заходят в горные деревни, их фашисты с поклонами встречают, а они бац-бац из маузеров и ходу с горы. Наконец, получаем сведения, что во главе этого отряда стоит русский солдат. Посылаем на связь с ним нескольких своих ребят, зовём русского к себе, а он отвечает им: «Сейчас некогда, дела идут хорошо, не хочу отвлекаться».

И вот — было это, я вам скажу, в феврале 1944 года, — в стычке с большим немецким отрядом ранят Ивано. Группа его врассыпную. Наши связисты одни с ним остались.

«Вот, — говорит, — теперь пойдём с вашими ребятами знакомиться».

Пошли. Попали в метель. Наши ребята не выдержали, русский один в живых остался. Нашли его — еле дышит, уши отморозил, нос отморозил, пальцы на одной руке чёрные.

Доставили его крестьяне в Больцано, там наши доктора — партийные люди — поотрезали ему, что попортилось, и отправили его за Димаро, в глухие горы, в один монастырь, в снега. Ледники, глушь, сам чёрт не разыщет. Там у нас замечательный каноник был, отец Джузеппе, выпить мастер, стрелок отчаянный, горы знал лучше молитвенника. Он Ивано в келью определил, как отшельника — это, говорит, святой молчальник, обет дал молчать во славу божью.

Первого марта у нас остановились все заводы и фабрики. Где? Всюду, во всей Верхней Италии.

В Турине, Милане, Болонье, Венеции всё остановилось. Митинги. Собрания. Немцы в страшной панике. Железные дороги не работают, почта и телеграф не работают, женщины окружили городские муниципалитеты, кричат: «Хлеба! Хлеба!». В марте слышим — в горах вблизи Димаро новый партизанский отряд появился. Крестьяне говорят, какой-то святой им командует, в сутане ходит, капюшон низко на лицо спущен, в руках палка, хромает, говорит мало, всё больше пальцем по карте показывает и, отправляя на дело, благословляет. В его отряде кого только не было — и монахи, и старики-пастухи, и монахини, и нищие, и калеки. Слышим, святой этот начал в деревнях крестьянские комитеты создавать, послали на связь с ним. Кто б это, как вы считаете? Он! Ивано Грегорчи, конечно. Слава у него большая была в наших краях, особенно среди

верующих. Молчальник. Будто бы обет дал — как немцев выгоним, тогда заговорит. О-о! Ему верили. А он, конечно, никакой не святой, а советский солдат, коммунист лет десять-двенадцать. Герой! Таких командиров, как он, у нас мало было. Уехал он от нас как-то так неожиданно, как птица за море улетает. Был — и вдруг нету, и уже следов не найти. Мы разыскивали, разыскивали, а Ковпак сказал — такой фамилии, как Грегорчи, у вас и нет вовсе, это, говорит, имя его отца, — Григорьевич. И кто он, где он, этот Ивано Грегорчи, — мы и до сих пор не знаем.

А старухи в горах говорят: «Это святой. Дело своё исполнил и вернулся на небо. Там, у престола господня, заговорит...»

Я этим старухам как-то сказал в шутку: «Да он коммунист, синьоры мои. Коммунист он, а не святой».

А одна, лет восемьдесят ей, говорит: «Это нас не касается, коммунист он, не коммунист. А что святой — это всем видно».

— Вы напишите, — заканчивает сицилианец, — об Ивано Грегорчи. Может быть, он прочтёт и узнает, какая у него тут слава. Первый святой из коммунистов.

— Можете вы рассказать мне что-нибудь о партизанской борьбе? — спросил я его.

— Для сицилианца не существует слова «невозможно», когда он любит или ненавидит, — рассмеялся рассказчик и с невероятной силой опять сжал мои плечи. — Я жил у себя дома в Милаццо, когда союзники вознамерились перепрыгнуть из Сицилии поближе к Риму. Спустя сутки, я уже ночевал у близкого друга в маленькой калабрийской деревне, а затем восточным берегом, через Бари, Анкону, Равенну бросился в Пьемонт, на самый север. Я знал, что здесь будут крепко драться. И не ошибся.

Сицилианец блеснул крупными и яркими зубами, в сравнении с которыми его губы показались мне маленькими и тёмными.

— Тут началось сразу. Когда я прибыл, Москателли уже ушёл со своими первыми последователями в долины Биеллы, а Калимберти увёл своих из Кунео в горы. Я вступил в группу «Ивано» — даю слово! — в честь русских. Потом перешёл в «Бовес», которую тоже создал Калимберти. «Бовес» и «Свободная Италия» — знаешь, на что рискнули? — взорвали раз немецкий аэродром, а потом колонну танков в Каральо. О-о! Гитлеровцы не стали ожидать, когда мы выучимся. Всё запылало, Пьетро, всё! А ты слышал, что такое «Бовес»? Это наш Ковентри, наше Лидице, первая смерть детей на кострах. Четыреста домов сгорело с живыми людьми. В память этого селения мы назвали свой отряд «Бовес».

Военнопленные, среди них и русские ребята из лагеря Кольфиорито, сразу большой группой вступили в отряды Умбрии. Там с первых дней ужас что получилось: в одном отряде — на каждого итальянца по два иностранца пришлось. Русские, чехи, поляки, французы, даже два англичанина. Да-да, слово даю!.. И как дружили, как уважали друг друга, как понимали без слов, с одного взгляда!

Из Пармы и Пьянченцы патриоты шли в Ломбардские Альпы, куда сходились солдаты нашей 4-й армии, пленные французские солдаты и немецкие коммунисты, австрийцы. Тут, Пьетро, мы братались — на жизнь и смерть. Старики-антифашисты говорили — это, как в Испании.

— В Венеции в это время тоже не сидели сложа руки, — заметил высокий, худой делегат, должно быть родом из Венеции.

В районах, граничащих со словенцами, итальянцы охотно вступали в словенские отряды. Из Монфальконе, Гориции ушло больше тысячи

человек. Так возникла итало-славянская «пролетарская бригада» в девятьсот человек. В сентябре, когда другие ещё только почёсывались да совещались, она спустилась в Горицию, заняла железнодорожную станцию, блокировала подъездные пути и закупила движение. Немцы атаковали её при поддержке танков и артиллерии. Три часа дрались. Четыре? Ну, пусть четыре. Дело не в том, три или четыре, а в том, что наших тогда побили в Гориции, хотя в горах стычки продолжались ещё в течение трёх суток. Слух об этом сражении облетел всю страну и принёс большую пользу. «Вот как надо действовать,— заговорили в мелких отрядах,— надо сражаться крупными массами, надо вести и стратегическую борьбу, а не отсиживаться в горных лесах». Правда? Ну вот! Венецианцы молодцы, это все знают.

Наш автобус мчался сквозь очень красивый, но трудно запоминающийся по мелочам город. Он не напоминал ни Рима, ни Генуи. Он был самым собою — очень добротным, деловым, обыкновенным, без чудовищных поповских толп и без туристских колонн. Древняя история держалась скромно и не лезла в глаза, как в Риме. Может быть, её даже вовсе и не было здесь. Во всяком случае, никто из тех, кто окружал меня, ни одним звуком не упоминал ни об идолах, ни о богах, ни об императорах, ни о святых. Удивительная и необыкновенная вещь — весь вечер мы говорили о героях, и не о древних каких-нибудь, а о настоящих, сегодняшних, о тех, кто войдёт в будущую Италию как в собственноручно построенный дом. Я вспомнил Данте ди Нанни, о котором говорил римский художник.

Имя это, конечно, все знали, туринцы же произносили его с особенной гордостью. Национальный герой Италии был их земляком. Сицилианец, однако, и тут не пожелал никому уступить рассказа, хотя в автобусе находилось больше десятка земляков героя. Он захватил эту честь по праву соратника или даже по праву почти что свидетеля подвига, завершившего жизнь Данте ди Нанни.

Туринцы хотели обидеться, но не успели: сицилианец рассказал с таким благородным увлечением и с такими поэтическими метафорами, что они только растроганно похлопали его по плечу.

И хотя рассказ мне удалось понять лишь в переводе, я тоже похлопал сицилианца за неутомимость. Рассказчик, могущий отвечать за всю Италию, представлял незаурядное явление.

Подвиг юноши Данте ди Нанни прозвучал особенно громко, потому что произошёл он на глазах многочисленных зрителей, что часто случается в городских схватках. Данте ди Нанни, будучи ранен, в течение нескольких часов оказывал упорное сопротивление карабинерам, атаковавшим дом, где он нашёл убежище. Толпа, рассказывают, окружала кольцом место неравного поединка. Вероятно, она состояла из городских мешан, с одинаковым любопытством присутствующих на любой драке, потому что никто из толпы не примкнул к Данте ди Нанни, хотя некоторые громко выражали своё сочувствие одинокому юноше. Когда у Данте ди Нанни окончились патроны, он, не желая живым попасть в руки полиции, выбросился из окна на улицу с криком:

— Да здравствует победа!

Его непримиримость могла произвести на толпу только одно впечатление — восторга и преклонения. К тому же многим, со стороны наблюдавшим за схваткой, стало, конечно, стыдно за себя перед лицом этой вдохновенной смерти, и слава о подвиге Данте ди Нанни в одно мгновение обежала Италию. Смерть героя всегда обладает завидным качеством — она порождает новых героев. Так произошло и в этом случае. Туринцы подарили мне фотографию юноши в кипарисовой рамочке. Его лицо мрачно и сурово. Губы сжаты, точно он с грудом

удерживает проклятие. Глаза ненавидят. Это человек, давно распрощавшийся с жизнью. Это — человек-бомба.

Вот ещё одна из партизанских биографий, которая много скажет советскому сердцу.

«23 марта меня арестовали вместе с семерыми гарибальдийцами из бригады «Кунео» и привезли в Сан-Джованни, где мы встретились с несколькими партизанами из Валь Пелличе. Тут всех нас пытали, допрашивали, потом перевезли неизвестно зачем в Турин. В вербное воскресенье нас, двадцать четыре человека, отправили на машине в Пино Торинезе и заставили там вырыть глубокую яму, куда живём было сброшено двадцать товарищей. Гарибальдиец-коммунист и лейтенант, член партии действия, успели крикнуть: «Да здравствует Италия! Смерть фашистам!» Их тут же засыпали, а нас четверых опять повезли в тюрьму. Спустя несколько дней нас объединили с семнадцатью другими пленными патриотами и отправили в Кализо, где целый день продержали на городской площади, чтобы расстрелять на глазах у жителей. Но никто не хотел смотреть, как мы будем умирать, и карабинеры с ног сбились, сгоняя народ. Они были мертвецы пьяные, когда начали расстрел. Пуля скользнула по моей голове, я упал без сознания и был потом подобран городскими сторожами, собравшимися хоронить расстрелянных. Меня укрыли чужие люди. Они вылечили меня, и я опять ушёл в отряд».

Рассказ этот мы с вами могли бы услышать в лесах Белоруссии и в горах Северного Кавказа.

Автобус вёз нас к шестнадцати тысячам рабочих, из которых большинство сражалось за свой завод и город с оружием в руках, а несколько сотен было ранено, и кое-кто мог похвалиться биографией, ещё более жуткой, чем рассказанная.

— Турин восстал 25-го. Немцы вывели против нас танки и атаковали завод, куда мы сейчас едем, атаковали также завод «Гранди мотори». Мы приняли удар, и слушай, Пьетро, — до прибытия партизан, которые только ещё спускались с гор, сражались — знаешь чем? — бутылками с горючей жидкостью. Понял, в чём дело? Обмен же опытом!.. Ваши ребята, военнопленные, научили. Ну так вот, ни на один завод немецкие танки не прорвались.

Теперь слушай, что дальше.

Двенадцать тысяч партизан спешат к нам в Турин.

С юга приближаются англо-американцы. Мы в середине, как начинка, — ты понял, в чём дело? Выхода никакого нет, как только драться. Вот партизанский авангард завязывает бой — и что же узнают ребята? Союзники приостановили операции. Но это ж восстание, а не крестный ход, это ж бой, а не доклад в клубе. Ты понял, Пьетро?

Бросить начатое нельзя. Мы продолжаем драться из последних сил, в полдень 26-го врываемся в город и оттесняем немцев и фашистов к центру. Два дня идёт рукопашная. Она нам обходится в триста человек одних коммунистов — и всё-таки мы сами освобождаем Турин, сами, Пьетро, без всякой помощи англо-американцев.

Немцы покатались на север, домой, а дорог туда не очень уж много, и — ты понимаешь, Пьетро, как это было замечательно, триумфально и исторично, когда наши венецианские командиры «Альберто», «Бруно», «Андреа» и «Ливио» принимали капитуляции от важных оберстов и генералов!

Эту последнюю фразу услышал делегат-генуэзец.

— В Генуе было лучше, — не утерпел он.

— О-о, да!.. О-о! Генуя всех потрясла! — вдохновенно воскликнул



сицилианец и, как можно сильнее сжав в объятиях генуэзца, продолжал за него:

— Пока немцы взрывали суда и склады в порту, наши блокировали выходы из города. Немецкий гарнизон должен был капитулировать безоговорочно, и командующий германскими войсками в Лигурии генерал фон Майнхольд подписал в Генуе акт о капитуляции перед итальянским рабочим Ремо Скаппини, председателем Комитета национального освобождения Генуи. Ты когда-нибудь слышал об этом?

Мне стыдно было признаться, что я ничего об этом не слышал.

— Кое-что, — неопределённо произнёс я, вертя пальцами рук.

— А, кое-что! — насмешливо повторил наш сицилианец. — Об этом не грех бы написать твоим итальянским коллегам. Ты когда будешь у них в гостях, в Милане или, может быть, в Риме, скажи им об этом... Когда вы дразните и поторапливаете друг друга, это, наверно, лучше доходит до сердца?

Наш автобус приблизился к нарядному зданию заводской конторы, но сицилианец, у которого запасы рассказов были неисчерпаемы, ещё успел в нескольких словах рассказать о Милане.

— Когда будешь в Милане, Пьетро, побывай на заводах Пирелли и Бреда. Там много наших. В Милане большие дела творились. Миланцы начали, помню, утром двадцать четвёртого апреля. Там действовали тогда товарищи Серени и Луиджи Лонго. На следующий день все фабрики и заводы были уже в наших руках. Немцы били по заводам Пирелли и Бреда из пушек, но ничего не вышло. Двадцать шестого немцы начали удирать, а на следующий день наши ребята поймали Муссолини и казнили его двадцать восьмого. В Милане он начал, в Милане и кончил. Весь город был в цветах, в знамёнах, как в пасхальные дни, а англо-американцы только ещё высылали разведку к городу. Вояки, я тебе скажу! Пока они вышли на линию реки Пьяве, в пятидесяти районах областей Удине, Тревизо, Беллуно развевался итальянский флаг. К концу борьбы, Пьетро, нас было четыреста тысяч! Понял, какая сила? А опыт какой, Пьетро!

Когда к нам, в Италию, приезжал Ковпак и мы ему рассказали, что у нас делалось, он не сразу поверил. Да и кто поверил бы?

Де Гаспери до сих пор не верит, что у нас произошло второе Рисорджименто, второе Возрождение, и что мы проверили свои силы для победы демократии.

Ты понимаешь, Пьетро, что когда я вижу, как распятый на кресте восемнадцатилетний Альдо Сальветти плюёт в лицо своим палачам, я содрогаюсь от гордости, что я, как и он, итальянец.

Немцы тычут ему штыками под рёбра и спрашивают, кто его сообщник, а он — разве это не эпос? — отвечает им, испуская дух: «Вы их непременно узнаете перед своей смертью».

А Ирма Бандьери? (У меня нет уже ни минуты времени, Пьетро). «Скажи, — кричат ей, — кто с тобой заодно?»

«Скажу, — говорит, — со мной заодно вся Италия».

Ты понял теперь, Пьетро, что у нас есть ещё кое-что, кроме терм Каракаллы и римских фонтанов?..

Мы стояли у стен завода, пять лет назад бывшего полем сражения.

Какая великая страна вставала передо мною вдали от древних развалин и старой живописи!

Потом наш автобус медленно вполз в один из цехов.

— Чао! Чао! Привет! — закричали нам со всех сторон, и мы отвечали рабочим, потрясая сомкнутыми в кулак руками.

Кое-кто взмахивал маленькими красными флажками, фотографиями Сталина и Тольятти.

— Сейчас мы запоём нашу любимую партизанскую, наш партизанский гимн,— сказал мне один из делегатов. И я услышал знакомые звуки нашей «Катюши».

Под высокой стеклянной крышей цеха она приобрела новые краски и обогатилась какой-то свежей мощью, сделавшись из песни лирической — песней походной, боевой.

Сколько непередаваемо прекрасных, молниеносных, в два-три взгляда, бесед прошло здесь.

— Из Москвы?

— Да.

— Чао! Как он? — и быстрым движением пальцев рабочий пригладил воображаемый ус, без слов уточнив, кого он имеет в виду.

— Здоров и бодр!

— Мольто бене! Пусть нас не забывает!

Рука пожилого рабочего до боли сжимает мой локоть.

— Видел, как мы тут?

«Да»,— отвечаю взглядом.

— Расскажи своим. Трудно терпеть.

Ещё рукопожатие.

— От всего цеха!.. Говорить сейчас трудно, руку мою пойми.

Ещё объятие.

— Как зовут?

— Пётр.

— Пьетро?.. Смотри! Вот он тоже Пьетро. А Паоло у вас есть?

— Есть.

— А Никола?

— Есть.

— А твоего отца как зовут?

— Андрей.

— Ха! Я сам Андреа. Вот здорово! Пьетро, смотри, русский тоже Пьетро, а отец у него Андреа... Мольто бене! Чао, Пьетро!..

У коммунистов маленькие значки на спецовках и пиджаках.

— Хочешь, возьми? Дома вспомнишь.

Чья-то обнажённая по локоть рука протягивает билет Общества «Италия — СССР».

— Надпиши на память.

Кто-то резко дёргает за плечо.

Оборачиваюсь. На стене цеха, окружённая венком из засохших лавров, памятка о рабочих, погибших в гестапо.

— У нас и ваши русские были. О-о!.. Молодцы!..

И ладонь моя тонет в сильной объёмистой ладони худощавого, высокого парня в блузе с открытым воротом. На блузе — ленточка партизанской медали.

Ощущение кровного родства с этими быстроглазыми, нервными людьми было в тот час так велико, что я почувствовал, как нелепо, что мы не в состоянии без утайки, без опасений, всласть наговориться друг с другом.

Это ощущение родства и давнего знакомства ещё сильнее дало себя знать в ночь массового митинга на площади Мадама в Турине, созванного по случаю окончания Конгресса.

День был будний, и устроители митинга не рассчитывали на его многолюдность. Считали удачей собрать 5—8 тысяч. Собралось пятьдесят тысяч на площади и обтекающих её улицах, народ стоял плечом к плечу. Комсомольцы прошли через весь город с факелами. Плакаты

«Да здравствует мир!» «Да здравствует дружба с СССР!» «Долой войну!» — пестрели десятками. Впивались в воздух ракеты. Площадь пела, скандировала лозунги мира и покрывала шумными овациями каждое упоминание имени Сталина.

На этом митинге советской делегации было вручено знамя туринских рабочих — друзей СССР, одна сторона которого изображала итальянский, а другая — советский флаги.

Звонкий голос немолодой, худощавой работницы, вручавшей знамя, трогательно вздрагивал на высоких нотах, а в чёрных больших, мохнатых, как пчёлы, глазах её отражались багровые огни факелов, и они лучились незримой слезой.

Не у неё одной стояли слёзы в глазах. С высоты узенького дворцового балкончика можно было различить, как множество белых носовых платков поднималось к лицам.

Дрожал голос и у меня, когда, по поручению делегации, я благодарил туринцев за подношение знамени. Пятьдесят тысяч сердец внимали словам о дружбе между нашими народами. Пятьдесят тысяч сердец в этот час осознавали себя одним из отрядов действующей армии мира, сражающейся там, где она стоит. Впервые видел я вне дома такой грандиозный, сам себя создавший митинг доброй воли. Завтра или, может быть, даже сегодня ночью у тысяч заводских станков затеются разговоры о происшедшем на площади Мадама, и путешествие туринского знамени в Москву будет не раз помянуто, как событие огромной важности. В наши дни народы обмениваются не нотами, а знаками дружбы и уважения. Народы поняли свою силу и значение в вопросах международной политики и хотят принимать в международных делах самое активное участие. И принимают. И влияют на неё. И будут влиять с каждым днём сильнее.

Итальянец, переводчик с русского, рассказал:

— Недавно рабочий завода Ансальдо заметил, что в его семье, довольно религиозной, имя господне упоминается только по воскресеньям, во все же остальные дни он слышит, к огромному своему удовольствию, — СССР, СССР, СССР! Когда его жена приходит с рынка, первое, что она произносит: «Они, в конце концов, доиграются! Москва это так не пропустит».

Это значит, она была свидетельницей каких-нибудь полицейских безобразий, и так как всякое полицейское мероприятие она приписывает лично де Гаспери, возводя его таким образом в ранг международных событий, то и возмездие за него она ждёт тоже в международном масштабе.

Заговорили о политической отсталости итальянской деревни.

— Само понятие отсталости за последние годы сильно изменилось, — сказал мой собеседник. — Что такое отсталый человек? Это человек, который может не знать, кто президент Франции или где и какие военно-морские базы захватывает Америка. Но и самый отсталый, который не знает, кто такой де Гаспери, — прекрасно разбирается во внутренней политике и знает разницу между коммунистами и демохристианами.

...Митинг закончился поздним вечером, но люди не сразу расходятся с площади. Они прильнули к сквозным чугунным воротам дворца и терпеливо ждут нас, чтобы поглядеть на нас вблизи, пожать нам руки или передать привет нашей родине.

Человеческая толпа притягивает к себе, как бездна. Я робко предлагаю пешком пересечь площадь, зная, что говорю о неосуществимом: нас дружески раздавят в объятиях.

Невозможность пожать руку десяти или двадцати тысячам человек угнетает. Остаётся одно: сесть в машину и, открыв боковые стёкла, пожимать руки кому успеешь. И тотчас же, едва первые десять, двадцать, тридцать рук протягиваются к нам, хватают нас за плечи, за локти, за кисти рук, нечаянно цепляются за галстуки и шляпы, касаются лиц, — становится несомненным, что мы погибнем, если не успеем вырваться за пределы площади.

В эти короткие секунды мы слышим много приветствий Сталину, Советскому Союзу и коммунизму. Слово «мир» — как бы производное от этих трёх главных.

В ночь митинга долго не спалось. Картины Рима и Турина чередовались в памяти. Турин мало чем напоминал Рим. Другие люди, другой ритм жизни, другое её наполнение. Отсутствие Ватикана уже само по себе облагораживает город, придавая ему черты благородства, почти отсутствующие в Риме.

Сицилианский оратор, с которым довелось мне посетить завод «Фиат», рассказал мне в местном филиале редакции «Унита» кое-что о себе.

— Вы знаете, что было моим первым революционным впечатлением? Колокольный звон! Да-да. Я уверяю вас честным словом. Вы тотчас согласитесь, что это так. Слушайте, мой друг. Это было в тысяча девятьсот двадцатом году. Мне было двенадцать лет... И вот я услышал, как в нашей приходской церкви колокола вызванивали что-то непривычное. Что бы вы думали? «Красное знамя»... Да-да. Отец опрометью побежал к церкви, старший брат и я — за ним. Отец у нас был социалист, атеист, даже жене, матери нашей, не прощал увлечения церковью — и друг что такое?..

Отец вбегает в церковь, падает на колени, лицо в слезах, кричит нам: «Сынки, плачьте от радости!.. Революция!..»

«Но в чём дело, отец?.. Расскажи!»

«Слушайте, — отвечает он нам, — слушайте орган, если вы не глухие...»

И мы прислушались. И что бы вы думали, друг мой Павленко, — кто-то играл на органе «Интернационал».

А когда мы возвращались к себе домой, колокола стали вызванивать гарибальдийский гимн...

Этот день дал мне больше, чем годы ученья и борьбы. Он дал мне почувствовать, как праздничен будет самый обычный день революции.

Старый наборщик, пришедший пожать руку советскому человеку, подтвердив рассказ сицилианца, даже немножко дополнил его:

— Я был знаком с Массимо Гьорьким. Да. Почти друзья, честное слово, почти друзья. Я ему тоже об этом рассказывал, и он заплакал:

— Доживём, говорит, доживём, Джиованни, когда у нас каждый день церковные колокола будут вызванивать «Интернационал». Ну, он дожил. Хоршо. Я рад, что он дожил. А может быть, и мне повезёт. Как думаете?.. Должно повезти. Я заслужил хотя бы один такой день. Говорю прямо, без стеснения — заслужил!

— Кто заслужил один день колокольного звона, подними кулак! — предложил сицилианец, и мы все подняли вверх сжатые кулаки, и кто-то запел «Катюшу».

Спустя сутки, я увидел Милан, промышленный центр северной Италии.

Туманное и дождливое утро. Редкий прохожий без зонтика, этот инструмент здесь необходим, говорят, в течение полугода. Мы одни были без зонтиков, и это сразу выдавало нас как приезжих.

Новые города всегда познаются путём сравнений. Первое впечатление от Милана, что он отчасти напоминает наш Ленинград. К этой параллели склоняла, конечно, погода, широкие прямые улицы, дома серого цвета и степенная неторопливость жителей,двигающихся быстро, но не суетливо. Прославленный театр «Ла Скала» снаружи не выразительнее нашего московского филиала Большого театра, а внутри заметно беднее и московского Большого и ленинградского.

Узких улиц маловато. Старина не бросается в глаза. Миланский собор красив, но — на мой взгляд — хуже св. Вита в Праге. Собор Милана — музей, памятник, мавзолей, но никак не религиозное учреждение. В нём не молятся, его осматривают толпами, и того, кто нечаянно забылся в молитве, могут затоптать, как на стадионе в день футбольного матча. На площади перед собором — толпы туристов, фотографов и гидов. Внутри собора неуютно, как в бомбоубежище. Знатки говорят, что собор существует главным образом для того, чтобы его разглядывали снаружи. Спору нет — с крыши его отличный вид на Милан, да и сама крыша, с крутыми переходами, заставленная статуями, похожа на сад с мраморными растениями. Говорят, на ней до 7 000 мраморных статуй. На крыше узрели мы небольшой киоск с прохладительными напитками и яркими рекламными «кока-кола» над навесом.

Наш проводник, итальянка — общественный деятель, показывая на дальние кварталы города, рассказывала, что там бездействуют десятки огромных заводов и что богатейший в Италии город беднеет на глазах.

Сторож-старик, поняв французскую речь нашей приятельницы, вдруг строго сказал ей издали:

— Стыдно, синьора, срамить перед иностранцами родной город.

— Разве я говорю неправду?

— Иностранцам надо говорить, синьора, другое: что мы богаты, что мы сами справимся со всеми своими трудностями, а то они и в самом деле начнут думать, что без них мы, как без рук.

— Во-первых, я говорю правду, а во-вторых, мои друзья — не иностранцы, а русские.

— Святая Мария! Я их принял за американцев! — и старик убрался восвояси.

А ведь хороший старик — не смей, синьора, ругать родное пред иностранцами, стыдно!

Позиция, очень типичная для итальянца сегодняшних дней. Так уж изругали эту несчастную Италию, так её заездили «высокие покровители» из-за океана, что гнев овладевает даже церковными сторожами, людьми не самыми передовыми в стране.

Милан — гнездо кардинала Шустера, того самого, который в своё время приветствовал Муссолини, как дар небес. Шустер ещё пока на земле, хотя восхитивший его небесный дар давно уже сгинул со свету. Но Милан — это всё-таки не Шустер и не довольно многочисленные, хотя и не столь навязчивые, как в Риме, шустерята в рясах. Милан — это заводы, Милан — это рабочие, Милан — это многочисленная прогрессивная интеллигенция. На узенькой улочке, вблизи театра «Ла Скала», в небольших комнатах приютилось миланское отделение Общества «Италия — СССР». Сколько чудесных людей пришлось там встретить, какую прекрасную библиотеку советской литературы пришлось там увидеть, о скольких вопросах искусства поговорить при встречах с литераторами, учёными, рабочими. Против здания Химического факультета на каменном заборе увидел я рисунок углем — виселица и на ней фигурка в петле. Краткая надпись под рисунком гласила: «Такова твоя судьба Шельба!»

— Почему полиция не уничтожит рисунок? — повторил я вопрос, уже заданный мною в Риме.

— Ах! Не хочет связываться с комсомольцами. Один рисунок уничтожат, сейчас же появятся десятки других. Вы не знаете наших комсомольцев, — услышал я то же, что и в Риме.

Я согласился, что верно, не знаю, хотя я уже знал по этим двум случаям итальянских комсомольцев. Но я рад тому, что их хорошо знает Шельба.

Как-то довелось мне часа два или три посидеть у памятника Виктора-Эммануила на той же площади, а затем ещё часа два в одном из кафе в галлерее Виктора-Эммануила.

Галлерея эта, собственно говоря, большой разветвлённый пассаж с ресторанами, магазинами и конторами. Почему он посвящён Виктору-Эммануилу, не знаю. В Италии почти все её короли были, кажется, Викторами-Эммануилами, но сейчас это не имеет большого значения. Я сидел за столиком «Швейцарского кафе», разглядывая проходящих мимо. Было воскресенье. Час тому назад миланское отделение Общества «Италия — СССР» открыло фестиваль советских фильмов картиной «Александр Невский». Картина вообще давно разрешена к демонстрации, любима зрителями и хорошо принята даже умеренно-правой критикой. Однако сегодня «Александр Невский» был распоряжением полиции снят с экрана. Мне предстояло сказать перед началом несколько слов об идее фильма, и я их сказал, хотя зрители и не увидели того, о чём я им рассказывал.

Синьора Россанда, секретарь миланского отделения, итальянка-блондинка, с лёгкой примесью славянской крови, что, надо признаться, очень сближало её с типом русской женщины, известила собравшихся с запрещении «Александра Невского».

— Это тем более для нас неприятно, — добавила она, — что наш гость, писатель Пьетро Павленко, является автором сценария.

Театр негодующе загудел.

— Позор! Позор! — закричали в разных местах. — Протестовать!..

— Тем не менее, мы будем просить синьора Павленко рассказать нам о картине, которую мы давно знаем и любим.

«Александр Невский» лежал в коробках, кинемеханики срочно готовили к показу «Детство» по Горькому, а мне пришло, пожалев о невозможности показать итальянским друзьям картину, в создании которой я принимал участие, сказать то же самое, что я сказал бы, не будь запрещения.

— Хотя фильм посвящён давно минувшим временам, он довольно актуален, ибо напоминает нашему народу его извечную ненависть к захватчикам, к оккупантам.

Аудитория ответила шумными аплодисментами.

— В фильме рассказывается о разгроме немецких рыцарей силами русского народа под начальством Александра Невского. Его вещие слова: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля», — эти слова наш народ не раз повторял. В последний раз он вспомнил их в 1941 — 1945 годах.

Мне кажется, что и для вас, итальянцев, этот фильм мог бы представить в некотором смысле практический интерес, ибо вы, насколько я знаю, тоже не любите захватчиков.

Аудитория смеётся и аплодирует. Она отлично поняла, кого я имел в виду, и вполне согласна со мною.

Вскоре после этого я покинул фестиваль и отправился в бесцельное и бесплановое путешествие по городу, а затем очутился в «Швейцарском кафе» в галлерее Виктора-Эммануила. Было очень интересно глядеть

на поток гуляющих, на дам, вышедших похвастаться нарядами, и на молодых девушек из небогатых семей, которые откровенно разглядывали чужие наряды и вслух восхищались ими. Когда мне показалось, что я слишком засиделся за крохотной чашечкой кофе, я вышел на площадь к собору и, устроясь на ступенях памятника Виктора-Эммануила, стал рассматривать народ, толпившийся перед собором. Тотчас ко мне подсел и заговорил со мной местный рабочий. Из его живописных слов-жестикуляций я понял, что мы вчера встречались с ним на собрании секретарей низовых ячеек Общества «Италия—СССР» и что сегодня он давно уже приметил меня в «Швейцарском кафе», но не подошёл, боясь, во-первых, меня скомпрометировать, а во-вторых, потому, что кафе для него дорого.

Разговор пальцами не сулил нам, однако, особого удовольствия, и мой собеседник, на минуту отлучившись, привёл приятеля, который издали приветствовал меня:

— Добар дан! Вэома сам рад видэты вас... Одакле стэ ва? Дозволи-тэ ми вас полибиты, молим вас<sup>1</sup>.

Мы расцеловались на виду всей площади.

— Моё имя Паоло Колоньяни... Я сам из Равенны, — представился мне новый знакомый.

— Откуда вы знаете сербский?

— Я два года сражался в бригаде «Фриули». У нас было восемьдесят процентов славян.

— Их бригада играла роль пробки, при помощи которой закупоривали немцев в Верхней Италии, — пояснил секретарь ячейки Общества «Италия—СССР», — показав руками, как именно закупоривается бутылка, — но это уже весной сорок пятого — добавил он, — а в сорок третьем Паоло сражался у нас, в Ломбардии. Та осень, синьор Павленко, была интересная осень, — дрались в любом месте Италии. Я никак не мог поверить, что у народа столько оружия.

— Действительно, дрались в Риме, в Неаполе, в Болонье. В Лигурии немецкие патрули опасались ходить по ночам. На улицах Турина патриоты безбоязненно казнили предателей, у нас в Милане убивали немцев и фашистов при каждом удобном случае, иной раз даже среди бела дня. Что вы хотите, когда на центральной улице, близ галлерей Виктора-Эммануила, был обстрелян из пулемёта автомобиль квестора Милана!

Да, в Италии везде дрались, и всюду — отлично. Недаром здесь так активна, энергична партия коммунистов, руководимая Пальмиро Тольятти, и её союзница — партия социалистов, руководимая Пьетро Ненни. Вот почему здесь так громок голос народа против американской оккупации! Народ, недавно избавившись от одних гестаповцев, не хочет сажать на свою шею других, пожалуй, ещё более худших, чем прежние.

— Хорошая работа! — с уважением вспоминает сейчас Паоло тяжёлые дни, когда венецианские гондолы перевозили оружие и спасали в дебрях венецианской лагуны сотни югославских партизан. Зимой 1943 года Паоло бросил Венецию и начал бороздить волны Адриатического, Ядранского, моря, столь же родного славянам, как и Италии. Кого только не повидал он за это время!

Не одна сотня людей вспоминает сейчас итальянца Паоло Колоньяни где-нибудь в своих Амстердамах и Мадридах, если, конечно, они уцелели, если спас господь от тюрем у себя дома.

<sup>1</sup> Добрый день! Очень рад видеть вас. Откуда вы? Позвольте мне поцеловать вас, прощу вас.

Паоло сам едва жив остался. Из Венецианской лагуны, с парусной шхуны, носящей гордое имя «Знамя», пришлось бежать ему во Фриули и надолго связать свою судьбу со славянскими партизанами, в рядах которых он сражался весь 1944 год и всё начало следующего.

Его миланский приятель подтверждает рассказанное:

— Си, синьор, си...

Я благодарю Паоло за рассказ.

Миланский друг его пожимает плечами:

— Не за что! — небрежно отвечает он.

— У нас, синьор, такие мастера рассказывать, что в сравнении с ними Паоло — глухонемой...

### ВЕНЕЦИЯ

Итальянский север дождлив и холоден уже в октябре. Дождь — снег Ломбардии. Ночь с её темнотой, с холодной пересыпкой мелкого дождя, который у нас на севере называется изгарью, — не дождь и не туман, а что-то среднее между ними, противное и утомительное до головной боли. Далеко отодвинулись синие горы с серебряными глетчерами, с тенями едва заметных ущелий и с домами, над которыми, как пух, стоит голубой туман. Поезд мчится как бы по дну отошедшего в сторону моря, и Венеция уже поблёскивает впереди редкими огнями, напоминая стаю чуть освещённых рыбачьих лодок. Впрочем, может быть, это и лодки. Белая кайма низкого тумана отделяет от берега дома и купола церквей, и кажется, они держатся в воздухе, подобно миражу.

Если бы не ожидание чего-то необычного, что придаёт всему, что видишь, более благородный, чем следовало бы, оттенок, то такого однообразно-жалкого вида как окрестности Венеции не имеет ни одна местность в мире.

Венецианский железнодорожный вокзал и крохотная площадёнка перед ним до того бедны, грязны, вонючи, что первое время как-то не верится, что ты уж в городе, единственном в своём роде на земном шаре. От Большого Канала несёт сыростью, плесенью, гнилой рыбой. Вокруг кричат венецианцы и венецианки. Оказывается вскоре, что они не кричат, а сердечнейшим образом рекомендуют гостиницы и приветствуют вас с благополучным прибытием. Хотя венецианцы считаются северянами и бесспорно молчаливее и сдержаннее римлян (о неаполитанцах и говорить нечего), всё же они любят о самых обыкновенных вещах говорить так, будто им кто-то упрямо противоречит. По необъяснимой глупости мы снимаем комнаты в гостинице «Универзо», вероятно, времён Гольдони, с кирпичными полами, с окнами, выходящими на черепичные крыши, поросшие травкой. Рядом таверны с розовыми фонарями в виде пирамидок над входом, лавочки сувенирного мусора (чётки, бус, поддельных кораллов, открыток), опять таверны, в витринах которых выставлены лакомства венецианской бедноты — осьминоги, каламаретти, каракатицы и прочее, ласково именуемое здесь «фруктами моря», затем — овощной рынок у стен какой-то церкви, площадью в двухкомнатную московскую квартиру, и снова таверны и сувенирные лавки.

Здесь рыбы напоминают красивые безделушки: они с усами, с рогами, то толстые, как колбасы, то состоящие из одной головы с ручкой вместо хвоста, то в иглах, как дикобразы, то длиннохвостые и юркие, как змеи. А овощи плохонькие — бурачок с кулачок, мелкий лук, капуста да в огромном количестве сельдерей, который здесь едят, кажется, во всех видах, а главное, в огромных количествах.

Воздух так густ и съедобен, что им можно питаться. На узких улочках, то уходящих в глубь гигантских построек, напоминающих восточные



караван-сарай, то бегущих вдоль узких каналов, толчея чёрных зонтиков. Если смотреть со второго этажа, кажется — ползут чёрные грибы. Никто никому не кланяется, никто ни с кем не заговаривает, все торопятся, но — самое для меня удивительное — не сталкиваются, не налетают друг на друга. Когда, спустя час или полтора, я приобрёл чёрный, как у всех, зонтик и немедленно вонзился им в шедшего навстречу патера, — вокруг раздражённо зашумели — форестьере, иностранец! Я вынужден был сложить зонтик и итти под дождём, поджидая, когда будет широкая улица, но раскрыть зонтик мне удалось лишь на площади Марка.

Но тут погода милостиво изменилась к лучшему. Солнечный свет, процеженный сквозь плотные тучи, повис реденькими космами, взброд кое-что освещая. Дождь порозовел и заискрился. Всё поразительно похорошело. Венеция — подобно женщине — обладает странной способностью меняться вся целиком. Это был уже не тот грязный, тесный город с угнетительными узкими улицами и вонючими витиеватыми каналами, с чёрного цвета гондолами, похожими на копчёных рыб, что мы видели утром. Сейчас это прекрасная Венеция, не единожды воспетая в стихах и музыке, жемчужина Адриатики и «Царица морей», «Морская лилия» арабских поэтов, «Веденец славный» славянских летописей, столица венецов.

Сами венецианцы, впрочем, ещё до сих пор не могут разобраться толком, от кого они происходят, и уверены лишь в одном: что нет народа древнее их.

Венеты славились как отличные моряки. Историк Кассиодор писал, что их жилища напоминали гнёзда морских птиц. Они обнажались во время отливов, в прилив же казались плавающими по воде. Сюда переселялось всё, что искало свободы и простора, и потому ранняя Венеция, вероятно, кое в чём напоминала Запорожскую Сечь. «Не для забавы бегали эти люди на острова, — писал ещё Гёте, — не каприз заставил следующих присоединиться к первым, — нужда научила их искать безопасности в этом месте». Первые поселенцы брентской лагуны скоро нашли выгоды своего положения. Город рос необыкновенно бурно. Более трёх тысяч венецианских кораблей начало ходить в Азов, Марскко, Китай. Марко Поло проник в глубь Азии, братья Зено отыскали путь в Исландию, открыли Гренландию. Целым веком ранее Христофора Колумба венецианцы коснулись берега Лабрадора. Венецианские дукаты, маркучио, гроссы или матане, меццанино и цехины обращались во всём мире и имели право гражданства даже в Китае.

Венецианские сады (на крышах) и замки воздвигались в Далмации и Египте, на Кипре и в Сицилии. И вдруг всё это великолепие рухнуло, точно было поглощено морем...

Из узенькой улочки, как из театрального коридорчика, мы сразу выныриваем на сцену, на площадь Марка. В сущности — это тоже дворец. Это дворцовый зал Венеции с потолком, голубым — днём и чёрным — ночью.

Каменный паркет её блестящ в любую погоду. Колонны Библиотеки и Прокураций, обрамляющих площадь, сходятся у самого собора. Подобно божеству или цирковому жонглёру, собор сонно покоится на аркадах, поддерживая многочисленные колонны, купола, стрелы и башенки.

Один французский путешественник называл эту площадь не иначе, как «её величество площадь св. Марка», а Наполеон, говорят, увидя её, снял шляпу и поклонился в пояс.

Лет двести тому назад, в дни Карнавала, площадь убирали коврами и декорировали шёлком, под свет праздничных огней выносили из

музеев полотна Беллини, Джорджоне, Тициана и расставляли их между знамёнами и пушками врагов, захваченных в сражениях.

Не в подражание ли этой изумительной площади, этой зале с голубым потолком, возникло в Венеции искусство плафонной живописи, когда в каждом дворце такая живопись как бы вскрывала мёртвый потолок и вводила в зал блеск лазури и женоподобных ангелов, свободно реюющих на голубом полотне, изображающем небо.

Мы стояли перед идолом Венеции, перед собором св. Марка. Как и четверть века назад, он кажется мне приземистым, невысоким, на первый взгляд даже совсем некрасивым. Соседние здания нелепо сжимают его с боков. Он тёмный и сыр даже на взгляд. На тёмном камне его стены белые подтёки голубинового помёта. Белёсые от помёта купола кажутся седыми. Разноцветные стёкла в куполе грязны. Вы ошеломлены. Вот это и есть всемирно прославленный собор св. Марка? Да, это он. Это каменный альбом Венеции, в который каждый возвращающийся из дальнего похода венецианец вносил свою строчку. Колонны и колонки из порфира, серпентина, яшмы свезены со всего света. Здесь всё сгодилось: и нероновские квадриги, и грубые статуи с могил скифских царей, и Диана Эфесская, и Аполлон, который потом превратился в святого Иоанна, и Юпитер, ставший Моисеем, и языческие надписи, и арабские вязи. Даже надгробные плиты византийцев вошли в стены этого каменного идола Венеции. С первого взгляда собор не кажется красивым, но запоминается навеки. Может быть, это-то и есть признак наивысшей красоты — она уже не исчезает, с чем бы её ни сравнивать, она ничего не теряет ни от сравнений, ни от суровой критики. Она остаётся на своём месте.

...Венеция, как тысяченог, лежит на своих ста восемнадцати островах, упиравшись в них своими тремястами семьюдесятью восьмью мостами, переброшенными через сто пятьдесят семь каналов. Город насчитывает двести площадей, но это в сущности крохотные перекрёстки, гораздо меньше Собачьей площадки в Москве. Это росстани, скрещеньица, вместимостью в пятьдесят — сто человек. Единственный зал Венеции, где она принимала послов, а ныне принимает туристов, — площадь Марка.

Венеция покоится на многих миллионах листовничных свай, привезённых из горных лесов Далмации. Четыреста лет ушло на вбивание этих свай. Строители города отвели в сторону реки Brentu, Силе и Пьяве, образующие венецианскую лагуну, укрепили естественный песчаный барьер, который простирается от Бурано до Кьоджи, усилив его в наиболее узких местах каменными стенами, углубили и очистили проходы, которыми лагуна сообщалась с морем, изучили подводные каналы, которыми морской прилив проникает два раза в сутки в лагуну и распространяется в ней, неся её стоячим водам жизнь и дыхание. И так как в часы отлива плавание возможно лишь по этим извилистым и узким невидимым фарватерам, обозначили их рядами Pali — фонарей, составляющих незабываемую черту лагунного пейзажа ночью. Коричневые дома, чёрные узоры набережной Скъявоне, рыжие паруса вместительных лодок, каменные кружева Палаццо дождей, — как всё это очаровательно, необыкновенно и — я ещё не знаю — так ли уж нужно?

Группой идём под аркадами площади Марка, мимо магазинов, рассчитанных исключительно на капризных путешественников. Здесь нет ни хлебной, ни винной, ни галантерейной торговли. Купить фуражку или носки здесь немислимо. Это было бы оскорблением хорошего вкуса. На площади торгуют венецианским стеклом, венецианской тиснёной кожей, венецианской мозаикой и венецианскими шальями, всем

тем, что развозится отсюда по всему миру как память о необычайном городе, в котором приятно побыть неделю и, вероятно, ужасно прожить жизнь.

Мы кормим жирных голубей, осатанело налетающих на нас стаями. Мы входим в сумрак собора св. Марка, с белёсыми куполами, ничего там не различаем и тотчас возвращаемся на площадь, сворачиваем налево, к пьядетте, к Дворцу дождей, и видим, как, развернув благородным движением морской птицы свои паруса, рыбацья лодка выходит из Большого канала в лагуну, где в перламутровой дали уже резвятся другие оранжевые, рыжие и табачные паруса. Я бы назвал их цветами моря. Они великолепны. Таких нигде больше нет.

Наполеон считал Голландию наносом французских рек и на этом основании присоединил её к своей империи. Венеция создана на песчаных отмелях рек, нанесённых ими из Австрии. Вероятно, на этом основании на неё в своё время посягала Австрия. Но — в сущности — Венеция как-то сама по себе, она как бы ни от кого не происходит, это переход от земли к морю. Кто-то назвал её «земной корой, осевшей на волнах». Кто-то ещё более точно окрестил её жилищем бобров. Хотя в Роттердаме тоже есть каналы и гондолы (правда, не чёрные, как в Венеции, а розовые, жёлтые и голубые), Венеция не похожа на Роттердам, и Роттердам не похож на Венецию. Она похожа только на самоё себя. Она прекрасна даже в своей предсмертной агонии, ибо ничем другим нельзя назвать состояние, в котором она находится. Венеция — произведение человеческих рук, созданное в необыкновенно трудных условиях. Когда-то образ энергии и упорства, отваги и отличного вкуса, сейчас она музей архитектуры, брошенный своими надзирателями и превратившийся в бестолковую туристскую базу.

Заметно посерели и магазины. В первый мой приезд в Венецию, тоже ранней осенью, площадь Марка и прилегающая к ней улица Марчерия напоминали ярмарку. Шали из чёрного шёлка, вышитые яркими цветами, венецианские зеркала в мозаичных оправках, отличнейшие кораллы, золотом тиснённые кожи, напоминающие парчу, копии с картин знаменитых художников и скульпторов переполняли магазины, в которых толпилось довольно много покупателей. Но давно уже иссяк когда-то бурный и живительный поток туристов. Годами пустуют отели. В магазинах — дешёвая ерунда. Особняки, что когда-то сдавались за бешеные деньги, пришли в такую дряхлость, что кажется, они состарились главным образом от затаянного безделья и находятся накануне естественной и неизбежной гибели.

Штукатурка их отсырела и кое-где осыпалась, выкрошились от времени мраморные орнаменты, почернели фрески, покривились стены, осели фундаменты.

В начале XX столетия в Венеции насчитывалось до сорока тысяч нищих. Сейчас их значительно меньше, но не потому, что жизнь стала легче и зажиточнее, а потому, что не у кого просить — теперь все живут плохо.

Палаццо Синнели и один из самых грандиозных дворцов Венеции Ка-Доро, когда-то принадлежавшие знаменитой танцовщице Марии Тальони, кажется, превращены в отели. Палаццо Бембо, где некогда жила Лукреция Борджиа, необитаем. Палаццо Лоредан, создание Палладио, служит жилищем мелкому дипломату. Фрески Тициана и Джорджоне, некогда украшавшие фасад палаццо Фондаго-Тедески, неразличимы. Следа не осталось от фресок Тьеполо и плафстов Чиньяроли в палаццо Дабиа. Дворец Контарини, в течение по крайней мере двухсот лет упоминаемый во всех книгах о Венеции, выстроенный из цельных

кусков драгоценнейшего каррарского мрамора, с четырьмя фресками Тьеполо и картинами Луки Жордано, привлекавшими толпы туристов, напоминает древнюю мумию — так безжизненны его окна, тёмные по вечерам и ночью, пустые днём — так замшела и позеленела его парадная лестница, выходящая на Большой канал.

Палаццо Гримани, когда-то принадлежавший династии венецианских дождей, построен по рисункам Рафаэля. На перистиле его стоят две колоссальные античные статуи, в своё время украденные венецианцами из Афинского Пантеона. Здесь висели работы Тициана, Веронезе, Тинторетто, Альбрехта Дюрера, Гвидо Рени. Где они? Ещё четверть века тому назад на этот вопрос гид мне ответил без слов, широко разведя руками. Кто знает, где всё богатство, вся роскошь Венеции? Никто не знает.

Ещё в конце прошлого столетия Вас. Ив. Немирович-Данченко писал, что последний Гримани умер нищим во Флоренции, потеряв права на свои сказочные дворцы, давно уже заложенные и перезаложенные, проданные и перепроданные. Судьба палаццо Фоскари, тоже одного из известнейших, типична в этом отношении. Это великолепное здание с тройным рядом балконов построено в чисто венецианском стиле автором Дворца дождей Бартоломео Буоно. Дворец долгое время служил местопребыванием дождей из фамилии Джустиниани, в восемнадцатом веке он стал французским солдатским госпиталем, позже превратился в казарму австрийского гарнизона, а затем его судьба вообще перестала интересовать даже гидов. Что в нём сейчас — никто не мог мне сказать.

Но две «дворцовые сенсации» всё ещё волнуют сердца старых венецианских патриотов — судьба палаццо Ферре, где, по преданиям, когда-то жила Дездемона, и палаццо Мочениго, где в 1818 году Байрон написал «Дон Жуана» и задумал «Мазепу». Дом Дездемоны (не станем оспаривать легенды) сдан в аренду под швейную артель. Там шьют рыбацкие робы. Я был в доме. Сырые, зловонные коридоры, запущенные уборные, пыльные, давно не проветриваемые залы, визжащие и стонущие двери и сквозняки, сквозняки, как в какой-нибудь старой церквушке на забытом деревенском погосте.

А дом Байрона вот уже третий год сдаётся в аренду и всё без успеха. То ли капиталисты стали менее романтичны, то ли отжил своё время культ Байрона, то ли в этом доме неуютно и сыро, — но обидно и грустно пуст и заброшен он, а в безлюдных залах его с разбитыми окнами гнездятся зимой птицы.

Палаццо Барбариго, не отличающийся особенными архитектурными достоинствами, но известный тем, что в нём долгое время жил и работал Тициан, когда-то обладал коллекцией картин, собранной самим Тицианом. Но с тех пор, как в середине XIX столетия коллекция была приобретена для Эрмитажа, интерес к дворцу упал, и сейчас на стене его нет даже дощечки, напоминавшей о великом жильце.

Однажды мне пришлось заглянуть в один из таких старых венецианских палаццо. Весь нижний этаж занимала громадная прихожая с двумя колоссальными дверьми, из которых одна открывалась на мраморную лестницу, купающуюся в воде канала, а противоположная выходила в крохотный причудливый садик (сады — роскошь в Венеции, где земля ценится дороже золота). Мраморные стены прихожей были покрыты трсфеями предков хозяина дома — пиками, алебардами, мечами и щитами, шлемами, фонарями с галер (венецианцы привозили сувениры войн целыми кораблями и потом продавали на рынках в качестве материала для украшения домов). Широкая лестница вела на первый этаж, состоящий из большой залы и нескольких комнат, когда-то

пышно обставленных во вкусе, уже странном на наш взгляд. Стены были покрыты одновременно коврами и зеркалами. Рамы зеркал и барельефы потолка поражали своей лепкой. Люстры и канделябры из старой бронзы были украшены серебром и золотом, а потолок большой залы был сплошь зеркальный, как бы люк в самое небо. Со стен спускалась старинная, теперь уже посёкшаяся от времени парча. Резная мебель, тонкая, как кружево, вся в перламутре, кораллах, мозаике, столы из яшмы и порфира и перед ними утончённо-узорные, будто над их резьбой работали муравьи, кресла, в спинки и ручки которых вставлены узоры из стамбульской бирюзы. Арки комнат, поддерживаемые амурами и нимфами, образовали павильоны. Я нигде не решался присесть. Эти сырые, заплесневевшие комнаты напоминали театр, заброшенный актёрами и не посещаемый зрителями. В комнатах не было ни тени уюта — здесь, вероятно, не отдыхали, не любили и не уносились мечтами ввысь. Здесь отмечали даты. Здесь совершали обряды.

Невольно тут перенесёшься к себе, домой. Какой замечательный музей Тициана открыли бы наши музейные чародеи в печальном палаццо Барбариго! Они восстановили бы быт великого художника, познакомили бы нас с окружающей его средой, с манерой его творчества, с ростом и развитием тициановской школы. Но я ни разу не слышал о том, что в Италии существует музей, скажем, Рафаэля, Микельанджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи. Музей — общегородской или частный, — порученный полуграмотному надзирателю, и церковь, в которой распоряжается ещё более невежественный поп, — вот единственные места, где агонизируют великие произведения классической итальянской живописи. Пройдёт полстолетия — и многое из того, чем восторгался я осенью 1949 года, уже бесследно исчезнет. Старое итальянское искусство, которому обязаны все народы Европы, может засиять лишь в том случае, если перейдёт в ласковые руки народа.

Илья Ефимович Репин осенью 1873 года писал в Академию:

«В Венеции искусство было плоть и кровь, оно жило полной венецианской жизнью, трогало всех».

И в другом месте:

«Да что там писать про эти вещи, там труба последнего дома сделана, кажется, удивительным гением архитектуры».

Город в целом восторгал его глубже, чем музеи, чем картины в музеях, потому что город, как цельное произведение архитектуры и живописи, ещё жил, а всё, что наполняло музеи, только казалось живым, но было уже мертво.

Так думалось мне даже у стен Палаццо дождей, выходящих на набережную Скъявоне, на набережную Славян. Где-то здесь, на одной из каменных скамей, было любимое место Гоцци. Байрон, как утверждают всезнайки-гиды, любил сживать дальше, в таверне близ бронзовой статуи Бартоломео Коллеони, работы Вероккио, перед разостланными через всю набережную рыбацкими сетями, которые тогда чинились под хоровые песни.

Если бы я долго жил в Венеции, я бы сживал только у стен Дворца дождей и часами глядел на народ, спешащий к маленьким хлопотливым «вапоретто», давно заменившим гондолы, и передо мной пробегали бы картины той единственно близкой мне итальянской жизни, которая мало кому известна, а для меня составляет как бы второе звучание Венеции.

Лет триста тому назад, когда Кафа (Феодосия) и Гёзлев (Евпатория) вывозили с Дона, Украины, Кубани через Крым тысячи пленных русских и украинцев, Венеция — в качестве европейского комиссио-

нера — перепродавала их дальше. Здесь, на этой Славянской набережной, наших дядьков переоценивали, перераспределяли — кто получше и поспособнее, оставляли у себя, слабейших направляли в Алжир и Тунис. Я не отниму у золотой Венеции ни пылинки её славы, если на мгновение вообразу, что есть и доля русской смётки в богатстве этого города.

Вот вам одна из многих биографий бывалого русского человека семнадцатого столетия, почерпнутая у Ламанского («О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании»). Некий Ивашко Антонов, уманский казак, показал в 1674 году: «взят де он в полон тому шестнадцать лет, а взяли его татарови и продали туркам на каторгу; а из турецкой земли ушёл он тому 7 год в Венецийскую землю, а из Венецийской пришёл в Польшу тому 6 недель». Вспомним, что Иван Болотников вернулся из турецкого плена также через Венецию.

Но ещё столетия на четыре раньше, чем Ивашки Антоновы нашли дорогу в Венецию, южные славяне, жители Дубровника, после голода и пожара 1289 года, во множестве бежали в Венецию, Калабрию и Сицилию. В четырнадцатом столетии Венецианский Сенат даровал дубровничанам права венецианских граждан, преимущество, никому никогда не уступаемое Венецией. Впоследствии война Венеции с султаном Баязетом заставила царицу морей укрывать свои корабли в портах Дубровника.

Дубровникские славяне столетиями роднились с венецианцами, и не этому ли обстоятельству обязаны рыжим цветом своих волос и белизной кожи женщины с полотен Тициана, так не похожие на итальянок других провинций?

Музей, расположенный во Дворце дождей, сейчас один из двух основных в Венеции. Его всемирная известность находится, однако, в резком противоречии с уровнем его внутренней организации. Я бы сказал, что это уровень провинциального музея, если бы не боялся попасть в просак в том смысле, что он ещё ниже. Никаких пояснительных надписей на стенах и над полотнами. Человек, не взявший гида и не купивший за 200 лир специального путеводителя, уходит, ничего не поняв. Гиды, хотя и среди них попадаются особенные болтуны, специализировались на анекдотах. Таким образом, если вы задались целью проанализировать эпоху Тициана и посетили Дворец дождей именно с этой целью, — можете вернуться к себе: дворец — учреждение не просветительное, а развлекательное. В самом деле, покидая его, вы уносите с собой сведения о темницах, казнях, о мосте вздохов, по которому осуждённые проходили к месту казни, о некоторых исторических событиях, имевших место в залах дворца, но вы решительно ничего не узнаете о картинах, украшающих стены и потолки здания. Искусство существует здесь впридачу ко дворцу, как в другом месте оно легко окажется придачей к церкви.

В Италии — позволю сказать — поражает не столько обилие великих художников и великих зодчих, сколько тот удивительный размах, с каким искусство служило живой жизни. Великолепные и аляповатые храмы с великолепными и дурными статуями и полотнами, стильные и безвкусные виллы знати, хорошие и скверные фонтаны на площадях, изваянные талантливыми и бездарными скульпторами — всё это поражает, главным образом, изобилием, как на выставке, где вас прежде всего ослепляет масштаб, а уж потом вы начинаете понимать, что тут не всё хорошо в одинаковой степени, а есть разные уровни и разные качества.

Второе, после Дворца дождей, собрание живописи — это Музей Венецианской Академии Художеств. Он богат и обширен, но полного впечат-

ления о венецианской школе и он не в состоянии дать, ибо много отличных вещей, место которых в Академии, гибнет в жалких церквушках и осыпается в частных собраниях.

Открыть бы двери всех этих умирающих дворцов и полузабытых церквушек и воскресить, хотя бы приблизительно, эпоху торжества и славы Венеции, когда короли склонялись перед её художниками, а целые страны раболепствовали перед кораблями, на мачтах которых взвивалось знамя — лев св. Марка с хвостом трубою! Перед нами предстала бы эпоха чудовищных контрастов — с одной стороны, дивные полотна гениев, не превзойдённых и по сю пору, а с другой — грязь восточных базаров, торговля невольниками, диктатура ошейника, разбой и преступления морской разбойницы, безжалостно запускавшей свои шупальцы из брентской лагуны к Индии и Китаю. Полотна Тинторетто, художника, более всех влюблённого в Венецию, приобрели бы тогда иное — и отнюдь не более светлое — освещение. Мы увидели бы пёстрый средиземноморской базар, быть может, всего в два или три раза меньший, чем в Византии до её покорения турками, смешение национальностей и профессий, как где-нибудь в Шанхае или Гонконге, увлечение живописью и морским разбоем, мозаикой и торговлей рабами, как в какой-нибудь Тимбукту. Славяне, турки, берберы и негры, юркие и почти уже как бы свои левантийцы, надменные испанцы и разговорчивые французы, представители Индии и Мадагаскара, торговые агенты из Феодосии и Евпатории, и путешественники, выклянчивающие деньги на розыски несуществующих материков, и молчаливо-удивлённый житель империи богдыханов, безмолвно покачивающийся на чёрной гондоле, в час, когда на Большом канале бродячими певцами исполняются слащаво-нежные серенады.

...Дождь — нынче воздух Венеции. Но десятка два туристов небогатого вида всё-таки бродят по сонному городу. Вслед за ними увязалась группа монахов-францисканцев в грубых коричневых рясах, подпоясанных верёвками и в сандалиях на босу ногу (таков устав ордена!). Но ногти на ногах обстрижены маникюршей и очень тонко подкрашены светлым лаком (такова мода!). Монахи — сытые, дородные жеребцы с наглыми глазищами — больше изучают женщин Венеции, нежели её святыни.

Будний вечер. Мы идём в знаменитое кафе Флориана на площади св. Марка. В свой первый приезд в Венецию я тоже как-то коротал один из вечеров в этом кафе. Я был один за столиком, и мне было страшно грустно в этом по обязанности веселящемся и по долгу службы поющем городе.

— Почему синьор так мрачен? — спросил меня официант. — Он ведь в отличной компании.

До сих пор помню, с каким растерянным удивлением я оглядел свой стол. Может быть, я не так понял обращённый ко мне вопрос? И беспомощно и виновато глядя на официанта, я только в этот момент заметил, что стул напротив меня обнесён красным шнуром, а на шнуре висит изящная дощечка с изящнейшей надписью: «За этим столом сидел м-сье Флобер».

За этим или не за этим, но много замечательных людей действительно сживало в этом кафе, на этой площади. Сживал тут в раздумьях о судьбах русской музыки Михаил Иванович Глинка, бывал тут одинокий, от самого себя убегающий Гоголь, месяцами проводил здесь время Адам Мицкевич. Бывали тут, не говоря о чужеземцах, и Александр Иванов, и Репин, и Чехов, и Блок.

Шумно бывало на этой площади, шумно и вольно. Венеция, Флорен-

ция и Рим многим наивным людям когда-то казались уголками чистых вдохновений, далёкими от гнёта политики. Обман, обман!.. Они никогда такими не были и не могли быть.

С утра моросит дождь, и на венецианских улицах по-деревенски пахнет укропом и сельдереем.

К вечеру узкие улочки пропитаны запахом оливкового масла и подгоревшей рыбы. Но как бы ни лил дождь, а на площади Марка, нахохлившись, бродят голуби и пританцовывают от скуки гиды. В магазинах торжественно пусто, но и они открыты, как положено. Площадь и набережная пусты. Пробежит лишь шумный вапоретто, пассажиры стайкой скользнут по краю площади, да в кафе Флориана официант спугнёт с пустого стола нахала-голубя — и опять всё замрет в беззвучно-странном, жутковатом покое. Кажется тогда — вымер город. Нет, он, конечно, не вымер, потому что живёт не здесь, не в музейно-церковных кварталах, а на окраинах, в глубине каналов-переулков и тупиков-каналов вдали от пышного Марка. Но в Венеции площадь Марка — центр города, то есть самое шумное место. Коль скоро и тут запустение — чего ж тут искать?

А по сути дела, где-то (конечно, не в мёртвых палатках на Большом канале) должно быть весело. Рыбаки, рабочие шёлковых фабрик, корабельщики, стекольщики, кожевники весело попивают где-нибудь своё «кианти» и спорят, и поют, и весело хохочут.

Не может быть мёртвым город, жители которого тысячами участвовали в борьбе за освобождение от фашизма и гитлеровской оккупации.

В ноябре 1944 года немцы бросили тридцать пять тысяч солдат против пяти тысяч партизан Венецианской области. Два месяца держались венецианцы, а потом рассыпались, ушли за море, скрылись в горы, будто и не было их.

Не может быть мёртвой Венеция, счастливо оставшаяся невредимой в результате смелой операции шестидесяти партизан.

Где же они? Они где-то здесь.

«Чао! — мысленно говорю я им. — Привет, друзья. Будем считать, что мы виделись с вами».

### НЕАПОЛЬ

Хотя Неаполь всего в нескольких часах езды от Рима, он уже — другая страна. Вероятно, Аляска в меньшей степени разнится от Калифорнии, чем Рим от Неаполя.

«Посмотри Неаполь и потом умри!» — гласит известная поговорка. Её можно толковать, однако, по-разному. Великолепен Неаполитанский залив, развёрнутый пологим полумесяцем. Удивителен рисунок дымящегося Везувия на голубом, лёгком фоне прозрачного неба, чудесны здешние песни под аккомпанемент гитары или мандолины. Очаровательна шумная неаполитанская улица, всегда весёлая, всегда оптимистически настроенная и, вероятно, всегда голодная, оскорблённая и обиженная.

Иностранцы, пишущие о Неаполе, любили утверждать с лёгкой иронической полуулыбкой, что неаполитанец живёт только тогда, когда испытывает удовольствие. Если бы это было так — Неаполь давно бы вымер. Никто не может счесть за удовольствие нищету, голод, страшные болезни, страшную смертность. Нужно удивляться оптимизму народа, выжившему в дьявольски-трудных условиях и ещё сохранившему жизнерадостность и не отвыкшему смеяться и радоваться.



Здесь родилась поговорка: «Хороший климат — драгоценность бедняка».

И можно смело сказать, неаполитанец щедро украшен климатом своего города. Природа не скупилась, создавая Неаполитанский залив и Везувий. Прелестны крохотные городки на берегу залива — ослепительно белые кусочки рафинада среди ослепительно зелёной волнистой массы итальянских сосен, пиний, от которых, когда смотришь издалека, горы кажутся курчавыми, как ягнята.

Климат Неаполя и его окрестностей, пожалуй, теплее и, главное, ровнее нашего ялтинского, — и это всё. Во всём остальном Крым настолько обгоняет прелестную Неаполитанию, что их даже немисливо сравнивать по тому лишь, что тот и другая лежат в субтропиках и у них почти одинаковый климат. Крым — здравница, в Крыму лечат и продлевают человеческую жизнь, и хотя там отличный виноград и отличные табачки, всё же, с общегосударственной точки зрения, Крым прежде всего — здравница. А Неаполь — туристская база, окружённая апельсиновыми плантациями, которые кое-где вырубаются, потому что калифорнийские апельсины дешевле. Если бы Помпея с её музеем лежала вдали от Неаполя, город потерял бы добрую половину своих туристов. Ни апельсины, ни маслины не прокормили бы его.

Очаровательный Неаполь хорош с балкона дорогого отеля на Санта Лючия и нищ, грязен, затхл, когда знакомишься с ним пешком.

Улицы узки, как где-нибудь в Алжире. В конце концов, они превращаются в проходы между высокими домами, в лестницы, тупики, дворы, образуют невероятную путаницу и, само собой понятно, здесь уж не может быть никакой границы между жильём и улицей.

У неаполитанца, в сущности, нет никакой домашней жизни, кроме той, которая открыта взору любого прохожего. Но почему это?

Погому ли, что он любит, чтобы заглядывали в его кровать? Или потому, что он любит, как утверждал один англичанин, есть на улице?

Он не любит, как и мы с вами, есть на улице, но ему больше негде есть, квартира его темна, тесна, зловонна. В Неаполе, как и в старом Риме, худшие квартиры — в первом и во втором этажах, иной раз вовсе без окон.

Мы открываем у себя окна, чтобы освежить и остудить комнату, неаполитанец — для того, чтобы согреть её. Окно наполовину заменяет ему печь, потому что на дворе всегда теплее, чем в полутёмной комнате. Естественно, что он и сам высовывается в окно в каждом удобном случае и из окна непринуждённо беседует со всем кварталом во всю силу своего крикливо-звонкого голоса, а неаполитанка, поговорив и побранившись, вывешивает из этого окна сушить своё бельё. Дворов-то нет, а те, что есть кое-где, темны, как колодцы.

— Неаполь — вот город! Рим — что! — хриплым голосом говорил мне бродячий продавец галстуков в Риме, толстый, маленький, с глазами на выкате. — Все там поют!.. Тутти. И днём поют, и ночью поют, всегда поют, клянусь мадонной. Ночью все лавки открыты. Тутти! И все гуляют, клянусь мадонной, все веселятся, зачем спать? В могиле спать будем! Всё дешево, всё хорошо. Народ замечательный. Все поют.

Но пели в Неаполе потому, что такова профессия города, его поэтическая слава. Для того именно и приезжали в Неаполь форестьеры, чтобы глядеть и удивляться на босоногую, голодную, грязную и необыкновенно певучую неаполитанскую жизнь. «Вот же дикари отпетые! — думали все эти английские и американские клерки, играющие в лордов и миллионеров в голодной Италии. — Самим положительно есть нечего, душа в чём только держится, а — представьте — поют. Лежит на набе-

режной такой лаццарони и жарит, понимаете, наизусть прямо из оперы — арию там или ариозо какое-нибудь». Но и это прошло. Сейчас Неаполю не до песен.

Неаполь безусловно гораздо ближе к Алжиру, Каиру или Стамбулу, чем к Риму и Флоренции.

Ренан в одном из своих писем сказал, что в Неаполе кончается Европа и начинается Азия. Это, конечно, смотря по тому, откуда приезжаешь. Дело не в том, что где кончается, а в том, чем это сравнение объясняется.

28 октября, в день св. Симона принято печь каштаны и пробовать вино нового урожая.

«На святого Симона веера уж не надо»,— говорит пословица. Если вдуматься, она издала намек, что итальянское лето не длинно. Вот ещё одна в этом же плане: «На Всех святых (1 ноября) запасайтесь муфтами и перчатками». Действительно, ночи свежи настолько, что после 10 часов вечера в пиджаке уже неуютно, плечи просят плаща или лёгонького пальтишка. Таким образом, безоблачная, тёплая, как в оранжерее, жизнь неаполитанца—такое же лживое измышление, как и многое другое. Чтобы иметь кусок хлеба, итальянец сам разрекламировал себя, как счастливое аркадийское существо, чувствующее себя в земном раю у святейших ног наместника Христа на земле. Рекламе поверили. С годами она стала литературной традицией. И долго всю эту ерунду о счастливом Неаполе повторяли совершенно механически, не замечая, как она бесстыдно-лжива. А теперь уже и не повторяют.

Расстояние между Римом и Неаполем нельзя измерить несколькими часами пути. Его нужно измерять десятилетиями. Неаполь принадлежит другой культуре, другим традициям, другому, более легкомысленному, но зато и более откровенному, непритязательному народу, который с утра до ночи играет в своём уличном театре полуголодную феерию красивой неаполитанской жизни.

Бездельник в глазах приезжих иностранцев, неаполитанец изумительный виноградарь, неутомимый труженик земли. Холмы береговой полосы изрезаны аккуратными террасками, виноградники безукоризненны, апельсиновые и лимонные сады точно прибраны для агрономического парада, так они нарядны. Даже вдумчивый, отлично знающий Западную Европу Герцен сделал ошибку в характеристике неаполитанца:

«...Здесь, в тёплом, влажном, вулканическом воздухе, дыхание, жизнь — нега, наслаждение, что-то ослабляющее, страстное. Самый сильный человек делается здесь Самсоном, обстриженным под гребёнку, готовым на всякое увлечение и не способным ни на какое дело».

Подобное мнение когда-то высказывалось о грузинах и узбеках, вообще о южных народах. Мы теперь знаем, что юг и «вулканический климат» тут совершенно ни при чём. В условиях социализма — народы, считавшиеся изнеженными, великолепно показали себя волевыми и энергичными.

Герцен прав в другом. Многовековая известность Италии, как отечества всех искусств, невольно привила своеобразный профессионализм её городам. Во Флоренции когда-то следовало говорить о Данте, в Венеции — о Тициане и Тинторетто, в Неаполе — о Помпее и Геркулануме. Теперь и этого нет. Но вообразим на одно мгновение, какая скука и фальшь пронизали бы нашу жизнь, если бы в Астрахани мы говорили только о сельдях, в Баку о керосине, а в Одессе рассказывали бы одни анекдоты о её знаменитых уроженцах. «...От Рима,— говорил Герцен,— устаёшь, устаёшь так, как от людей, с которыми непрерывно надобно

говорить о важных предметах. Рим действует на нервы, поддерживает натянутое состояние восторженности». Это верно.

В Риме древняя история так некстати втиснута в современность, что Муции Сцеволы предполагаются на каждом шагу. Муссолини ловко использовал этот дурман истории для одурачивания итальянцев.

Неаполь тоже в тесной связи с историей, но здесь она не напрягает ни вашей памяти, ни ваших знаний.

В неаполитанском музее много преотличных вещей, но банки с помпеянскими маринадами, куриные и страусовые яйца, найденные в Помпее, мыло помпеянских модниц и даже кусок теста, сохранившийся две тысячи лет, занимают не последнее место среди экспонатов, пользующихся особым вниманием туристов. Тут уж не до разговоров о непогрешимости папы. Неаполь не знаток теологических тонкостей. Здесь разбираются больше в винах, музыке и женской красоте.

И именно в этом, насквозь, казалось бы, легкомысленном и далёком от политики Неаполе началось первое восстание против немцев. Луиджи Лонго в его фундаментальном труде «Народ в борьбе» рисует чрезвычайно трудную и сложную обстановку, в которой предстояло развернуться восстанию Неаполя. Гитлеровцы готовились к отступлению и подготавливали разрушение города. Террор свирепствовал как никогда раньше.

12 сентября город был объявлен на осадном положении — «за каждого раненого и убитого немецкого солдата — стократная месть». В тот же день гитлеровцы поджигают университет, расстреливают нескольких итальянских карабинеров и два часа держат на коленях толпу на одной из площадей. С этого дня они начинают убивать неаполитанцев просто для своего развлечения.

Город, вынесший 120 воздушных бомбардировок и сильно пострадавший от них, голодный, измученный, затравленный, не захотел, однако, смириться.

24 сентября захватчики объявляют «зоной военной безопасности» несколько перенаселённых районов города и приказывают немедленно выселиться двумстам тысячам людей. Следом за этим они объявляют принудительную трудовую повинность. Никто не явился на сборные пункты, и немецкому коменданту Неаполя пришлось предупредить, что «патрули будут расстреливать на месте ослушников».

Союзники приближались, но когда их следовало ожидать, в городе никто не мог догадаться. Слухи ползли один страшнее другого. Говорили, что немцы уведут с собой всех военнообязанных мужчин и до основания разрушат город. Для неаполитанцев оставался один путь — восстание. И город взялся за оружие сразу в нескольких пунктах. Народ выбрал себе командира уже в разгаре восстания, длившегося несколько суток.

«Оружие восставших, — говорит в своей книге Луиджи Лонго со слов очевидцев, — было самым разнообразным: тут были и охотничьи ружья, и армейские винтовки, кинжалы и ножи, старые гарибальдийские сабли, булыжники и черепица, бутылки с горючим и ручные гранаты — самое эффективное оружие народной революции»...

В ночь с 30 сентября на 1 октября немецкие войска позорно покинули Неаполь. Лишь в одиннадцать часов утра 1 октября в город, освобождённый его сынами, торжественно вступили англо-американцы.

Неаполитанцы встречали их с оружием в руках, как равные равных. Неаполитанцам было чем гордиться: они слали свой город.

Когда 2 октября Неаполь хоронил погибших героев (а их было триста человек), казалось, что несут не гробы, а вороха цветов. Весь

город шёл за гробами и пел гарибальдийские песни. Англо-американцы увидели в тот день Италию такой, какой её знает история.

Они видят Италию достойной её традиций и нынче.

Именно в «легкомысленном» Неаполе на стенах домов во множестве появляются сейчас грозные предупреждения, адресованные американцам: «Уходи, а то не сможешь уйти!»

Вот тебе и город песенников и неисправимых игроков.

К числу пороков Неаполя относят приверженность его жителей к азартным играм и болезненное увлечение лотереями. Никому не приходит в голову, что игра — это единственный способ для неаполитанца «переменить участь». Будь у него твёрдый жизненный лимит, не было бы человека добродетельнее неаполитанца.

Американцев здесь ненавидят сверх всякой меры. Их здесь очень метко прозвали: «Серийные люди».

Везувий на 47 метров ниже Ай-Петри, но зловещая слава делает его необыкновенно величественным. Поездка в Помпею, избежать которой редко кому удаётся, принадлежит, конечно, к наиболее ненаучным экскурсиям на белом свете, но человеку, плохо знающему историю, она заменяет несколько непрочитанных им книг. Экскурсант заглядывает в восстановленные дома, убеждается, что жилищная площадь древних была не велика, что они ели и пили примерно так же, как и сам нынешний экскурсант, и что, вообще говоря, помпеяне отлично проводили досуг в своих трактирах и весёлых домах, которых было у них вполне достаточно.

Воображение без труда воссоздаёт весь обиход античного города, полного красок, звуков, шума и гама, как и нынешний Неаполь, и — пожалуй — в целом такого же, как он — бедного.

Однако нищета Неаполя, хотя она и потрясает даже того, кто видел Стамбул, ещё не самая крайняя нищета — Сицилия беднее. Она — европейский Цейлон по красоте и Ирландия по нищете. Человек, владеющий конём, — маркиз, хозяин осла — счастливец. За здоровье осла, основу благополучия и роскоши крестьянского хозяйства, молятся богу, как за члена семьи. Сбруя осла сплошь изукрашена, седёлка — целое архитектурное сооружение, ярко блестящее на сотню метров. Так когда-то наши горцы берегли и холили оружие.

Сицилианская нищета потеряла даже свою индивидуальность и производит впечатление эпидемии, охватившей огромные массы людей. Здесь все бедны, все голодны, все раздражены и недовольны. Это пороховой погреб чудовищной силы, и если он ещё не взорвался, то это может произойти в любой день, и Сицилия превратится в очаг такого социального пожара, зарево которого поднимется над всем Средиземноморьем.

Одно время было модным, рассказывая о Сицилии, погружаться в описания «каморры» и «маффии». Сицилианские разбойники, мне думается, перевелись давно. Нынешние сицилианцы — темпераментные общественные деятели и великолепные революционные трибуны.

Я уже рассказывал об одном из таких, когда он даже не произносил, собственно, речи, а повествовал в весьма спокойных тонах, как он командовал партизанами в Верхней Италии, в окрестностях Турина. Слушая его, я невольно ждал, что он вот-вот запоёт, так музыкально-чеканна, певуча была его речь, так легко оборачивалась она в песню своим декламационным огнём.

Вот одна из историй, рассказанных сицилианцем, и имеющая отношение к Верхней Италии, но по своему духу более соответствующая Неаполю.

«Имя её напоминало звук колокола. Мне всегда хотелось произносить его нараспев — Ан-на-а... Ан-на-а! Мне кажется, самое слово Анна должно выражать любовь, нежность и необыкновенную искренность. И это имя не ко всякой подходит, не со всякой душой сольётся в одно. Для нас, знавших Анну, о которой я вам рассказываю, было вполне достаточно знать, что она советская девушка, комсомолка — я уж не помню, из какого русского города, попавшая в концлагерь за распространение советских листовок.

Анна была невысокой, хрупкой девушкой, с очень простым и в то же время необыкновенно значительным лицом. Встретив такую на улице, обязательно бы обернулись. Она была, как плакат «Что ты сделал для победы?» или «Чем ты помог Родине?». При ней нельзя было выругаться. И в то же время она вовсе не была, знаете, такой чёрствой, недоступной, гордой. Простая, очень простая и всегда грустно-весёлая. Никто не удивился, когда она явилась к нам с маленьким женским отрядом имени Зои Космодемьянской, укомплектованным девушками из горных ломбардских деревень. И когда она заговорила с нами по-итальянски, тоже никто не удивился. Правда, она говорила не очень важно, но это ничего. Она делала очень красивые ошибки в языке, она не уродовала его, а как ребёнок — смягчала. В её произношении наш язык сам становился как бы ребёнком.

Нас несколько не удивило известие, что её девушки одними из первых ворвались в Милан и выиграли серьёзное уличное сражение в центре города. Она на поле последнего своего сражения, на одной из центральных площадей, и погребена. Знаю я её фамилию и подробно биографию, может быть, всё дело выглядело бы значительно проще, но я знаю только одно, что её звали Анна и что такой, как она, я представляю себе Россию, и потому её могила — в моём представлении — памятник, монумент, часть жертвы, принесённой вашим народом во имя моего счастья, алтарь моего уважения к вам. И когда я повторяю её имя — Ан-на-а — я как бы слышу звук благовеста или набата. И — только поймите меня правильно — я хотел бы, чтобы в каждом городе Италии было по одной такой великой могиле. «Я лежу здесь во имя твоего мира», — говорила б она всем нам.

Будь я поэт, я написал бы замечательные стихи об Анне. Но тут, пожалуй, нужнее песня, такая сильная, бодрая, чтобы она волновала как следует. Песня, как звон колокола. Как вы считаете?»

Демократический немецкий писатель Арнольд Цвейг как-то сказал, что война, закончившаяся разгромом Гитлера, принесла 40 кв. метров развалин на каждого жителя Дрездена, 24 кв. метра на каждого обывателя Лейпцига и 8 кв. метров на каждого берлинца. Восемь квадратных метров! Какая, подумаешь, чепуха и мелочь! А ведь Берлин потонул в развалинах.

Никто до сих пор не подсчитал, сколько развалин оставил после себя фашизм в Италии. Мы не знаем и точного количества братских могил, густо покрывших итальянскую землю, особенно в Эмилии, Умбрии, Лигурии, Пьемонте, Ломбардии и Фриули.

Пока одно лишь ясно путешественнику, взглянувшему на итальянскую жизнь глазами друга: дома продолжают разваливаться, а братские могилы увеличиваться в числе, и война за свободу Италии всё ещё продолжается, несмотря на то, что после 9 мая 1945 года прошло много лет.

Живую, смелую, отважно восставшую против Муссолини Италию сажают в тюрьмы и убивают из-за угла.

Жестокая борьба идёт в тени апельсиновых рощ и под сенью старинных монастырей.

Вот несколько слов об этой борьбе, услышанных мною на севере и на юге страны от разных людей и, главным образом, от людей не коммунистического образа мыслей, простых патриотов Италии, иной раз даже не имевших представления о том, что они говорят с советским писателем.

— Вернулись из русского плена в Джовекку двое солдат, и оба не нашли ни домов своих, ни семей своих. То и другое уничтожено своими же земляками, фашистами. Узнали они, кто убийцы, и расправились с ними своим судом — и что же? Один получил восемь лет, другой одиннадцать лет тюрьмы.

— Почему же эти двое солдат не обратились в суд? — спросил я. — Зачем они расправились сами? Если убийца найден — всё в порядке. Не зачем было самоуправствовать.

Мой собеседник развёл руками.

— Если преступник найден, то вы пропали, если вы бывший партизан, — ответил он мне. — Я сейчас объясню, в чём дело. Когда полиция устанавливает политическое преступление (солдаты расправились с фашистом), она немедленно придаёт ему характер уголовного, потому что в отношении политических преступлений существует амнистия. Если полиция открывает уголовное преступление, она всячески стремится запутать в него как можно больше бывших партизан. Вот как обстоит дело. Слушай, Пьетро, Челестино Марра, бывший партизан, был приговорён к году и четырём месяцам тюрьмы за хранение оружия, которого никто не видел, но которое будто бы хранилось в секретном месте. Это под присягой утверждал эсэсовец фельдфебель.

— Ну, и что?

— И его посадили. Только и всего. А вот, Пьетро, случай, похожий на готовый рассказ. В Сан Джиованни ди Новелларо кто-то убил инженера Арнольдо Виски, социалиста, хорошего человека. Рабочие его любили и верили ему. Полиция немедленно арестовывает коммунистов Джузеппе Грасси, Этторе Казали, Ниццоли. На основании чего? Так просто. Идёт следствие, они сидят, общественное мнение восстанавливается против коммунистов, а потом их тихо выпускают — и делу конец.

Или вот тебе. В дни нацистской оккупации фашистская шпионка Марциа Манини-Морати была убита в Каstellарано. Все знают, что это была за дьяволица и скольких людей она погубила в самый разгар борьбы. А спустя четыре года карабинеры вдруг арестовывают бывших партизан Данте Камеллини, Франческо Раваццини, Северино Севери с отцом и мать одного из партизан Джузеппину Бартолани и обвиняют их в убийстве Манини с целью грабежа. Началось следствие. Представь себе скандал — находят вещи Манини, замурованные в стене. Казалось бы всё — извините, синьоры, и ступайте себе по домам. Так нет же! Полиция настаивала, что, хотя вещи и нашлись, но существовало преступное намерение их украсть. Конечно, потом пришлось всех выпустить, но в обывательской среде на некоторое время сохранится память о партизанах — «ворах».

— Это что! Убийство графов Манцони — вот рассказ. Я сам его читал в книге Паоло Алатри «Треугольник смерти», и, знаешь, как написано — замечательно! Всё правда и всё здорово. Вот слушай.

В Джовекке, местечке близ Равенны, издавна жили графы Манцони. Там были их дворцы и их земли. Три брата Манцони состояли в фашистской партии, один из них даже работал секретарём фашистской органи-

зации в Лавеццола, на границе Романьи и Феррары. Ну вот, подходит конец гитлеровцам, Муссолини повешен, и графы Манцони стали подумывать, как спасти свою шкуру. Они хотели продать дворцы и землю, переехать на север, а потом, при первом удобном случае, удрать в Америку. Такую сволочь там любят. Старая графиня, однако, долго не соглашалась бросить земли, и пока сыновья её уговаривали, война окончилась, удирать было поздно. В первое время после победы начали разбирать дела фашистских деятелей, нацистских лакеев. Распространились даже слухи, что будут судить и графов Манцони — одного из них даже на неделю арестовали, но потом всё затихло и пошло по-старому, будто Муссолини жив, а не мёртв.

Утром 7 июля 1945 года жители Джовекки обратили внимание, что дворец Манцони производит впечатление брошенного своими обитателями. Тотчас, конечно, разнёсся слух, что Манцони тайно удрали в Америку, и местное население, ненавидевшее всех Манцони уже в течение нескольких поколений, ворвалось в палаццо и молниеносно очистило его. Местный комитет национального освобождения был уже распущен, и организованное распределение графских вещей между неимущими, понятно, произвести было некому. Каждый взял, что ему нужно.

Спустя несколько дней новая сенсация облетела Джовекку: Манцони никуда не бежали. Они — три брата, мать и горничная — были убиты во дворце и затем тайно вывезены за город. Полиция, связав воедино два различных события — убийство и распределение носильных вещей среди неимущего населения, начала арестовывать людей, щеголявших в графских куртках и в платьях старухи-графини.

Католическая печать немедленно сообщила, что Манцони были убиты безусловно с целью экспроприации их земли, чтобы создать на них сельскохозяйственный кооператив безземельных. «Тут не без красных, не без коммунистов!» — закричали попы.

Но это было провокацией. Кооператив не мог быть создан на землях, сданных в аренду исполщикам. Это все знали отлично.

Вскоре полиция остановилась на новой версии: Манцони убиты бывшими партизанами с целью ограбления. Будь это политическое убийство, говорили полицейские, не стали бы преступники вместе с тремя братьями-фашистами уничтожать старуху-графиню и её горничную. Но если это простой грабёж, спрашиваю я, осложнённый уголовным преступлением, то с какой стати стали бы предполагаемые убийцы щеголять на улицах в костюмах Манцони?

В качестве вдохновителя убийства полиция привлекла к ответственности — кого бы вы думали? — популярнейшего партизанского командира Сильвио Паси, бывшего батрака, человека предельной честности. Вместе с ним было брошено в тюрьму девятнадцать человек. В конце концов, все были выпущены на свободу, но в течение нескольких месяцев католическая и правительственная печать всеми способами грязнила героев сопротивления. Люди, отдававшие свою кровь во имя Родины, ходили с печатью воров и убийц.

— Значит, сопротивление продолжается? — спросил я.

— О, да!

— Значит, Риссординто не остановилось, но растёт и углубляется?

— О, да!

— Народ стоит за своих героев и за свои интересы?

— О, да! Конечно.

И тут, в четырёх случаях из пяти, любой итальянец вспомнит Тольятти.

— Он похож на нас, мы на него. Один народ, одна цель. Он ведёт коммунистов, как того требует время и хочет вся Италия. Понял? Вся — не только коммунисты. Вся. Запомни. Пальмиро — вождь не одних коммунистов, а всех трудящихся, всех смельчаков, всех умных людей Италии.

Вот это ты и расскажи у себя дома. Расскажи с наших слов. И — до новой встречи! Дай руку!..

Тепло этих братских рукопожатий хотел я вложить в краткую запись впечатлений о послевоенной Италии, чтобы, прочтя их, вы тоже почувствовали бы тепло и силу дружеского прощания до новых встреч.





# ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Академик А. В. ВИНТЕР

★

## О НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ

1

**В** памяти людей старшего поколения нашей страны ещё живы безрадостные картины прошлого — картины тягостного, изнурительного труда человека.

...Раскалённое солнце палящими лучами выбедило пыльную шоссейную дорогу, уходящую далеко к горизонту. По обочинам шоссе навалены горы булыжника. Тишина жаркого летнего дня нарушается однообразными назойливыми звуками. Изнывающие от зноя люди, одетые в грязное тряпье, тяжёлыми молотками разбивают камни в мелкий щебень. Пыль и пот покрывают их лица...

От зари до зари тянется рабочий день камнебойца. Одни и те же натужные движения, та же нестерпимая боль напряжённых мускулов согнутого тела. Короткий обеденный перерыв... Где-нибудь под кустом или в канаве спрятаны бутылка с тёплой невкусной водой, узелок с ломтями чёрствого хлеба, пяток-другой искривлённых жёлтых огурцов, иногда высушенная до твёрдости подмётки дешёвая рыба... Заработанных копеек нехватало на большее.

Грузчик — «крючник», как его называли на Волге, «амбал» — в Баку... В любую погоду сгибался он под многопудовой тяжестью, вскинутой ему на спину такими же горемыками. Сгибался почти под прямым углом, осторожно и медленно переставляя дрожащие от напряжения ноги по шатким и мокрым сходням баржи, по зыбким доскам строительных лесов. Секундное головокружение, брошенный чьей-нибудь небрежной рукой огрызок яблока — и человек, поскользнувшись и теряя равновесие, падает, придавленный ящиком или туюком... Миллионы тонн перетаскали люди на своём горбу, и миллионы надорванных человеческих жизней унесла преждевременная и мучительная смерть.

Любая стройка — здания, моста, железной дороги, плотины, канала — начинается с труда землекопа. В дореволюционной России землекопы составляли огромную армию людей, за гроши продававших свою силу и споровку, трудившихся до изнеможения, голодавших и ютившихся в грязных и угарных бараках, замерзавших в землянках и шалашах.

Великий русский поэт Н. А. Некрасов увековечил облик такого бедняка, которого никак не назовёшь рабочим в настоящем смысле этого красивого слова:

Губы бескровные, веки упавшие,  
Язвы на тощих руках;  
Вечно в воде по колено стоявшие,  
Ноги опухли; колтун в волосах;  
Ямою грудь, что на заступ старательно  
Изо дня в день налегала весь век.

Верный глаз умного и неподкупного художника ничего не преувеличил; Некрасов сказал жестокую правду о жизни трудового народа в царской России.

Землекопы, бурлаки (кто из нас не знает картины Репина!), лесорубы, пильщики, торфяники, проходчики в угольных шахтах — великое множество профессий требовало

затраты большой мускульной энергии. Взамен люди получали грошовое жалование, болезни, раннюю смерть.

Красивый и мощный голос Шалапина пел когда-то «Дубинушку». Песнь звучала в концертных залах больших городов, и ей подтягивали молодые восторженные студенческие голоса.

Но это была не та «Дубинушка», которую пел народ на просторах Руси. Суровая стройность рабочей «Дубинушки», пропетой хриплыми голосами в морозном воздухе зимнего дня, звучала по-иному: песня помогала людям найти нужный ритм для облегчения непосильной работы.

Несколько человек бьются в усилия поднять или сдвинуть непомерную тяжесть, — и вот чей-нибудь залихватистый тенор, дрожа и срываясь, начинает:

Эх! д-у-у-бинушка, ухнем!  
Эх! зелёная, сама пойдёт!..

А надорванные голоса перекликаются:

Идёт!  
Пошла!  
Идёт!  
Пошла!

Очень часто вся песня была долгим повтором этих немногих слов — до тех пор, пока тяжесть не поддавалась людям. И ещё чаще звучал простой песенный речитатив-команда, требовавшая слаженных усилий:

Р-а-а-а! Два! Взяли... Раз! Два! Взяли...

Труд, до предела изматывающий физическую силу человека, труд в унижительных для человеческого достоинства условиях, отошёл в прошлое. Весёлая и деловая молодёжь нашей Родины знает о нём по воспоминаниям стариков, уже не отцов, но дедов, по хорошим книгам дореволюционных и советских писателей, честно рассказавших о кошмарной действительности старой России.

## 2

Технический прогресс, сопутствующий развитию человеческого общества, создал много машин, заменивших мускульную энергию рабочего энергией механической.

Но в условиях капиталистического общества, всегда беременного тяжкими экономическими кризисами перепроизводства, машина не принесла, да и не могла принести настоящего облегчения трудящемуся человеку.

Если в обобществлённом производстве, не оснащённом машинами (в политэкономии оно называется мануфактурой), рабочий превращается, по определению Маркса, в «...автоматическое орудие данной частичной работы»<sup>1</sup>, то «при машинном производстве, в крупной индустрии рабочий перестаёт быть даже машиной, а низводится до простого придатка к ней»<sup>2</sup>.

Это значит, что при капитализме рабочий становится рабом машины, «служит» ей, лишённый возможности развивать свои силы и способности. Чем ограниченнее это «служение», то есть выполнение определённой механической функции, тем скорее идёт процесс физического и морального уродования человека.

История развития классового общества знает немало кровавых и страшных боёв на почве конфликта между человеком и машиной.

Уже со второй половины XVIII века в Англии началось стихийное движение против машин, в которых рабочие видели причину увеличивающейся нищеты, безработицы и растущей эксплуатации труда, особенно детского. Положению малолетних рабочих на фабриках посвящено стихотворение английской поэтессы Елизаветы Броунинг «Плач детей», получившее широкий отклик ореди прогрессивных слоёв общества того времени.

<sup>1</sup> К. Маркс. Капитал, т. I. Партиздат ЦК ВКП(б), 1935, стр. 272.

<sup>2</sup> Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1948, стр. 276.

Описывая мученичество детей, машиной лишённых детства, поэтесса говорит от их имени:

И порой мы пасть готовы  
 На колени пред машиной  
 И кричать: да перестань же,  
 Не вертись хоть миг единый!

(Перевод П. Вейнберга)

Особенно острая борьба английских рабочих против машин развернулась во многих промышленных графствах Англии в начале XIX века. Во время этого так называемого движения луддитов рабочие ломали машины, разрушали фабричные здания.

Французские ткачи в дни лионского восстания также ломали станки на шёлкоткацких фабриках.

И в наши дни стачки на капиталистических предприятиях нередко вспыхивают на почве капиталистической «рационализации», при которой за счёт перенапряжения всех сил рабочего из машины выжимается предельная мощность, с тем чтобы её владелец получил больше барышей. «Во всяком обществе со стихийно сложившимся развитием производства, — а современное общество является именно таким, — не производители господствуют над средствами производства, а средства производства господствуют над производителями. В таком обществе каждый новый рычаг производства необходимо превращается в новое средство порабощения производителей средствами производства», — писал Ф. Энгельс<sup>1</sup>.

В наше время порабощение трудящихся в странах капитала приняло неслыханные формы. Пальма первенства в этом принадлежит заокеанским эксплуататорам.

Не только американская потогонная система конвейера, но вся организация производства на промышленных предприятиях США изнашивает человека в предельно короткий срок. Труд — каторга, машина — проклятие, жизнь — кошмар, какого не сумел бы придумать даже такой изощрённый фантаст, как Эдгар По, — вот пресловутый «американский образ жизни».

В семидесятых годах прошлого столетия Ф. Энгельс отмечал: «Овладев всеми средствами производства в целях их общественно-планомерного применения, общество уничтожит существующее ныне порабощение людей их собственными средствами производства»<sup>2</sup>. Он указывал, что, следовательно, старый, то есть капиталистический, способ производства должен быть разрушен до основания и «на его место должна вступить такая организация производства, где, с одной стороны, никто не мог бы сваливать на другого свою долю участия в производительном труде, этом естественном условии человеческого существования, и где, с другой стороны, производительный труд, вместо того, чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения, предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действительно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные, следовательно, где производительный труд из тяжёлого бремени превратится в наслаждение»<sup>3</sup>.

Предвидение величайших учителей человечества, открывших законы развития общества, воплотилось в реальную действительность в нашей стране.

### 3

До основания низвергнут старый способ производства в стране победившего социализма. Рассыпались в прах тяжкие оковы капитала, сковывавшие великую силу народа. Труд — это естественное условие человеческого существования — стал делом чести, делом славы, делом доблести и геройства для миллионов советских людей.

Советский социалистический строй даёт возможность каждому развивать и дей-

<sup>1</sup> Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1948, стр. 275—276.

<sup>2</sup> Там же, стр. 278.

<sup>3</sup> Там же.

ственно проявлять свои силы и способности. Блестящее неопровержимое доказательство этому — широкое всенародное движение, названное пятнадцать лет тому назад именем рабочего-горняка Стаханова.

Товарищ Сталин определил стахановское движение как новый высший этап социалистического соревнования, как глубоко революционное движение, которое обязательно связано с новой техникой.

Техника — это прежде всего машины и механизмы; новая техника — машины и механизмы всё более совершенных конструкций. Овладеть техникой, оседлать её и погнать вперёд — значит знать машину или механизм до тонкости и уметь выжать из них всё, что они могут дать. Без такого знания, без такого умения нельзя стать стахановцем, то есть участником движения, которое, как учит товарищ Сталин, ставит своей целью преодоление технических норм, проектных мощностей и производственных планов, уже устаревших для наших дней и для наших новых людей.

Сейчас, когда наша страна стоит на близких подступах к коммунизму, особому звучат сталинские слова о значении стахановского движения. «Его значение состоит еще в том, что оно подготавливает условия для перехода от социализма к коммунизму»<sup>1</sup>.

Товарищ Сталин учит, что в коммунистическом обществе исчезнет противоположность между трудом умственным и трудом физическим, а производительность труда возрастёт настолько, что обеспечит изобилие предметов потребления, и они, эти предметы потребления, будут распределяться не по той работе, которую производит каждый, но по потребностям культурно-развитого человека.

Уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим «...можно добиться лишь на базе подъема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда»<sup>2</sup>.

В нашей стране каждому гражданину предоставлены все возможности получить достаточное техническое образование. Различные курсы помогают рабочим в совершенстве изучить машины, на которых они работают. А наш общественный строй сделал человека не рабом машины, но её хозяином и командиром.

Пятнадцать лет тому назад товарищ Сталин сказал: «Сегодня стахановцев еще мало, но кто может сомневаться, что завтра их будет десятикратное количество?»<sup>3</sup>.

Тогда можно было поимённо назвать людей, шагнувших далеко вперёд и покрывших себя трудовой славой. Сегодня это уже невозможно.

Стахановское движение ураганом разнеслось по советской земле, — и уже не десятки, но тысячи людей каждодневно дают образцы высокопроизводительного труда, в котором явственно проступают черты коммунизма.

Социалистическое народное хозяйство обогащается всё новыми и новыми, всё более совершенными станками, машинами, механизмами, — и над ними властвует советский человек, его смелый разум, горячее сердце, умелые руки.

Слесари, токари, механики, машинисты, доменщики, литейщики, сталевары, ткачи, обувщики, водители, каменщики... Много среди них знатных имён. Это имена рабочих, уже поднявших свой культурно-технический уровень до уровня инженерно-технических работников. Уничтожается противоположность между умственным и физическим трудом, между городом и деревней.

Золотые волны полей покоряются степному кораблю, — так у нас называют великоколесную машину, уничтожившую понятие страды. Среди водителей комбайнов немало женщин. Какая неодолимая пропасть залегла между некрасовской крестьянской-мученицей и озорной, властной, энергичной комбайнеркой Фросей, живой образ которой встаёт со страниц романа Г. Николаевой «Жатва»...

Многотысячная армия стахановцев колхозных полей даёт образцы сталинского сочетания науки, техники и практики в труде. На пути коммунистического строительства наша Родина не знает серых будней. Каждый день её — сверкающий огнями и красками праздник труда, музыка которого звучит на весь мир.

<sup>1</sup> И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 495.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, стр. 496.

Сейчас в нашей стране началось величественное строительство — одновременное возведение четырёх гигантских гидротехнических и ирригационных сооружений на Волге, Днепре и Аму-Дарье.

В конце декабря 1950 года было опубликовано постановление Совета Министров СССР о строительстве Волго-Донского судоходного канала и орошении земель в Ростовской и Сталинградской областях.

Работы по созданию Волго-Донского канала начались ещё до Великой Отечественной войны. Они были возобновлены в 1948 году и будут закончены в 1951 году, что означает сокращение первоначального срока строительства на два года. В правительственном постановлении указано на успешный разворот строительных работ и высокую оснащённость Волгодонстроя мощными экскаваторами, строительными механизмами и транспортными средствами, позволяющими полностью механизировать земляные и бетонные работы.

Новый, невиданный простор для стахановского труда...

В предельно короткий исторический срок свободный народ нашей страны построил десятки крупных гидростанций. Их строительство осуществлялось по законам социалистического планирования. Это значит, что каждая гидростанция представляет собой узел, в котором крепко связаны решения многих экономических и технических проблем: энергетики, размещения промышленных предприятий, водоснабжения, орошения, судоходства и т. д. От первой, построенной в советское время, Волховской гидростанции — к новым волжским гигантам... Таков великий путь советского гидростроительства. На этом пути сверкают огни гидростанций на Свири и Днепре, на верхней Волге, реках Кавказа, Узбекистана и многих других.

Каждое гидростроительство включает в себя три последовательных вида основных работ: земляные и скальные, укладку бетона в плотину и железобетона в основные постоянные гидросооружения, установку машинного оборудования и механизмов на плотине и шлюзах. Монтажные работы могут быть развёрнуты в последние полтора-два года строительства, то есть после того, как основной объём земляных и бетонных работ будет выполнен.

Возведение гидростанции на Днепре явилось первым строительством, на котором все виды работ были полностью механизированы.

В то время советская машиностроительная промышленность не могла быстро выполнить заказа на строительное оборудование. Поэтому мы заказали и купили за границей двенадцать одноковшовых экскаваторов с ёмкостью ковша в один кубометр, тридцать думпкаров (автоматически разгружающихся железнодорожных платформ), грузоподъёмностью в двадцать тонн, несколько грузоподъёмных кранов, буровые станки для скальных работ и т. п.

Наконец, мы купили две мощные камнедробильные установки, исполненные заграничными заводами-поставщиками по чертежам и расчётам советских конструкторов.

Днепровские камнедробильные заводы давали примерно пятьдесят кубометров отсортированного щебня в час. Бетономешалки вмещали около двух с половиной кубических метров и давали двадцать четыре кубометра бетона в час.

Сейчас перечень строительного оборудования Днепровской ГЭС кажется нам ничтожным по количеству механизмов и по их мощности. Однако этого оборудования было достаточно, чтобы выполнить земляные и бетонные работы точно по графику.

Высокий производственный облик советского человека, трудовой энтузиазм строителей сказались в той быстроте, с которой постигались секреты управления новыми механизмами. Прибывший на Днепрострой одновременно с оборудованием американский инструктор, присланный для помощи при сборке механизмов, проводимой советскими рабочими, очень быстро отбыл обратно за океан, убедившись в ненужности своего инструктажа.

Днепровская гидростанция — крупнейшая в мире. Поэтому на примере её строительства легче всего представить себе поистине грандиозный объём работ на великих стройках коммунизма и то качественно новое, что возникнет при решении проблемы их механизации.

История человечества не знает ни такого размаха, ни таких темпов осуществления строительных работ.

Нам нужно будет вынуть и переместить свыше полутора миллиардов кубометров грунта, уложить десятки миллионов кубометров бетона, прорыть сотни километров каналов для воды, чтобы оросить и обводнить около двадцати шести миллионов гектаров засушливых земель и песков пустыни.

Этот небывалый объём одних только земляных и грузоподъёмных работ потребовал бы многомиллионной армии рабочих на десятки лет, если работать способами недавнего прошлого. На строительстве одного только Куйбышевского гидроузла нужно переместить сто пятьдесят миллионов кубометров грунта, то есть в двадцать пять раз больше, чем на Днепрострое. Вот почему даже механизированное оборудование строительства Днепрогэса при таком небывалом объёме работ в столь сжатые сроки было бы совершенно недостаточным.

Простое арифметическое увеличение количества землеройных механизмов тех конструкций, которые применялись на Днестре, совершенно неприемлемо для условий новых строек. Множество маломощных механизмов на таком крупном строительстве только чрезвычайно усложнило бы производство работ. Кроме того, на сравнительно ограниченной территории разместить большое количество механизмов не только трудно, но подчас и невозможно.

Работы на великих стройках коммунизма будут механизированы по-новому.

Высокоразвитая машиностроительная промышленность Советского Союза освоила производство новых конструкций сверхмощных строительных машин и механизмов. Смелая и зрелая техническая мысль советских конструкторов ищет и находит наилучшие решения сложных проблем строительной техники.

Для производства земляных работ в русле большой реки у нас сейчас применяется остроумный и интересный землесос высокой производительности. Такой землесос представляет собой пловучую конструкцию — пароход, обслуживаемый электромоторами мощностью до пяти тысяч киловатт.

Важнейшим рабочим механизмом этой машины является винтовой разрыхлитель грунта, превращающий его в пульпу, то есть полужидкую массу, которая подхватывается мощными насосами и перекачивается по трубам, плавающим на поверхности реки, в нужное место. Такими снарядами «намывается» земляная плотина, причём следует иметь в виду, что вода, впоследствии уходящая из пульпы, тем самым наилучшим образом уплотняет грунт.

Подсчёты показали, что один современный советский землесос за четыре с половиной года перекачает около двадцати пяти миллионов кубометров грунта. Землесос, вынимающий в час до тысячи кубометров грунта, выполняет работу полутора тысяч землекопов и стольких же конных подвод.

Часть земляных работ на каждом из волжских строительстве может быть произведена механизмами другого типа и, в первую очередь, экскаваторами — землеройными «шагающими» машинами.

Маломощные экскаваторы с ковшем ёмкостью в 1—2 кубометра пригодны для небольшого объёма работ.

Для масштабов волжских строек и в особенности на строительстве Главного Туркменского канала, где нельзя применить землесосы из-за отсутствия воды, требуются экскаваторы значительно большей производительности.

В практику нашего строительства уже внедрён сверхмощный экскаватор, ёмкость ковша у которого составляет 14—15 кубометров.

Это тяжёлый и, следовательно, малоподвижный агрегат высотой в несколько десятков метров, для перевозки которого к месту работы нужно 70 железнодорожных платформ. Для управления такой машиной нужно всего несколько человек, а

заменяет она от двух до семи тысяч землекопов, в зависимости от топографических и геологических условий.

На экскаваторе с 15-кубометровым ковшом установлены сорок четыре электродвигателя общей мощностью в шесть тысяч киловатт. Суточная производительность этой могучей машины может быть определена в три тысячи кубометров. На каждой из волжских строек при наличии крупных забоев и надёжного транспорта пять таких сверхмощных механизмов могут вынуть за четыре года двадцать миллионов кубометров земли. На строительстве же Главного Туркменского канала таких машин придётся, конечно, применить значительно больше.

Экскаватор с ковшом в пятнадцать кубометров ёмкости не является пределом. Сейчас наша машиностроительная промышленность готовит для новостроек экскаваторы с ковшом ёмкостью до двадцати двух кубометров.

К механизмам мощного типа относятся также и скреперы — землеройные машины с корытообразным ковшом, который волочится на тросах. Скрепер вынимает и перевозит на расстояние до ста пятидесяти метров пятьсот кубометров грунта за смену. Для управления этой машиной нужно несколько человек, а заменяет она труд сотен людей.

Вместе с тем на отдельных звеньях крупного строительства несколько, разумеется, не исключена возможность применения и маломощных землеройных механизмов, которых в нашей строительной технике великое множество.

Кроме мощных машин и механизмов, копающих и перебрасывающих грунт, на земляных работах используется гидромеханический метод. Этот метод состоит в том, что в местах, где нужно снять большой объём грунта, устанавливается гидромонитор — мощный центробежный электронасос высокого давления — до двадцати атмосфер. Сильная и обильная струя воды, направленная им, размывает грунт до состояния пульпы, а эта последняя перекачивается вторым насосом по трубам к назначенному месту.

Гидромониторы чрезвычайно рентабельны в работе и требуют небольшого обслуживающего персонала. Производительность такой установки — три-четыре тысячи кубометров ежесуточно.

Гидромониторы не могут работать круглый год — морозные периоды должны быть исключены. Но тем не менее за четыре с половиной года производства земляных работ на крупных стройках гидромеханическим способом можно переработать около шестнадцати миллионов кубометров грунта.

Наконец, при земляных работах можно применять выгодный и удобный метод взрывов на выброс, сущность которого уже ясна из самого названия. Взрывные работы обходятся строительству недорого, но требуют транспортных средств для перевозки выброшенного грунта.

## 5

На каждом строительстве транспорт играет огромную, можно сказать, решающую роль. Грандиозный объём работ на великих стройках коммунизма требует огромного количества мощных перевозочных и перевалочных средств.

Перевозка грунта, всевозможных строительных материалов, машинного оборудования и т. п. осуществляется в первую очередь по линиям железных дорог, уже существующих или вновь построенных. Кроме обычных железнодорожных платформ и вагонов, на новых стройках найдут широкое применение думпкары — саморазгружающиеся четырёхосные платформы большой грузоподъёмности с металлическим кузовом и автоматически открывающимися бортами. Машинист на паровозе, поворачивая особый кран, включает воздухопровод, проходящий под платформами. Каждая из них снабжена своими кранами, и после того, как один из них открыт, платформы начинают принимать наклонное положение. Их борта так же автоматически откидываются в нужную сторону, а движение кузова продолжается до тех пор, пока содержимое не высыпается. Снова поворот крана — и весь состав платформ, уже опорож-

нённых, принимает первоначальное положение. Для обслуживания поезда из двадцати таких платформ нужно не более двух человек, кроме паровозной бригады.

Подобное оборудование заменяет огромное количество людей и экономит много времени в производстве трудоёмких работ на строительстве...

Отнюдь не меньшее и прямо-таки неопределимое значение имеет автомобильный транспорт. В нашу строительную практику уже внедрён новый тип мощного грузовика-самосвала грузоподъёмностью в десять тонн. Эта огромная машина заменяет по крайней мере тридцать конных подвод и труд такого же количества людей, причём время перевозок сокращается в десятки раз. Однако и эта грузоподъёмность самосвала может быть и будет увеличена. В настоящее время уже сконструирован сверхмощный самосвал грузоподъёмностью до двадцати пяти тонн.

Существует ещё весьма производительный способ для перемещения сыпучих материалов и бетона на сравнительно короткие расстояния — посредством так называемого ленточного транспортёра.

Ленточный транспортёр относится к простейшим механизмам. При ширине его ленты в один метр и скорости движения в три метра в секунду суточная производительность механизма доходит до тридцати тысяч кубометров.

Нужно ли говорить, что в строительной практике ещё недавних времён перемещение грузов на короткие расстояния совершалось на тачках и носилках, отнимая много сил и огромное количество времени...

Решение важнейшей проблемы перевозок не ограничивается наличием мощных и сверхмощных машин, но непременно включает строительство дорог. Любая машина, тем более сверхмощная, то есть тяжёлая, неизбежно будет мёртвым инвентарём, если нет надёжных дорог.

Поэтому неотложной и первейшей заботой строителя всегда должна быть широкая сеть дорог — мощёных, шоссейных, трамбованных, грейдированных, гудронированных — любых дорог в зависимости от природных почвенных условий. Без такой сети немыслимо технически культурно организовать производство строительных работ, как немыслима и высокая производительность труда водителей — этого многочисленного отряда армии строителей.

Для постройки дорог будут применены мощные советские бульдозеры, расчищающие и выравнивающие за час почти шесть гектаров земли, и различные другие машины.

На строительстве железных дорог применяется усовершенствованный грейдер-элеватор, насыпающий железнодорожное полотно высотой в два с половиной метра. После его прохода остаётся только уложить рельсы. Для этой цели имеется также особая машина — путеукладчик.

Строительные и монтажные работы требуют подъёма, переноса и погрузки огромных тяжестей. У нас для этого применяются сверхмощные механизмы новейших конструкций. К ним прежде всего относятся всевозможные краны большой грузоподъёмности и несложного управления: башенные, порталные, мостовые, монтажные, жесткокопные, кабельные, пловучие.

Среди грузоподъёмных механизмов имеются и разные конструкции дерриков — подъёмных стрел, вращающихся вокруг своего крепления. Такая стрела, говоря словами поэта А. Безыменского,

По приказу человеческой руки  
Над глубокими протоками,  
Разворотами широкими  
Переносит стопудовые бруски...

И даже более тяжёлые: до двадцати пяти тонн весом!

Новые совершенные грузоподъёмные механизмы, выпускаемые крупнейшими машиностроительными заводами страны, заменяют многотысячную армию рабочих и неизмеримо ускоряют производство работ.



Одним из основных и ответственных производственных цехов крупного гидростроительства являются его бетонные заводы.

Бетон — это строго дозированная смесь цемента, песка и щебня, тщательно перемешанных с точно отмеренным количеством воды.

Различают два сорта бетона: литой, который можно передавать к месту укладки по трубам посредством бетононасосов, и пластичный, который получается при меньшем количестве воды.

В ответственных и долговечных гидросооружениях применяется исключительно пластичный бетон. Он подаётся к месту укладки либо в бадье, либо посредством ленточного транспортёра.

На всех новых стройках придётся пользоваться то одним, то другим методом подачи бетона к месту укладки.

На Куйбышевском гидроузле предстоит уложить шесть миллионов кубометров бетона за три года — по два миллиона в год.

Для сравнения интересно вспомнить, что в последний год производства бетонных работ на Днепрострое было уложено пятьсот пятьдесят тысяч кубометров, и в те времена это являлось мировым рекордом.

Наши машиностроительные заводы сейчас готовят к выпуску новые бетономешалки ёмкостью в четыре кубометра, которые будут впервые пущены в эксплуатацию.

Загрузка смеси, перемешивание и выгрузка бетона есть определённый постоянный цикл работ, на выполнение которых требуется около пяти минут для каждой бетономешалки. Таким образом, часовая производительность каждой из них составит примерно сорок восемь кубометров.

Десять бетономешалок такого типа и дадут два миллиона кубометров бетона в год.

Современный мощный бетонный завод представляет собой чрезвычайно сложное техническое сооружение, обеспечивающее непрерывный круглосуточный выпуск бетона. Все производственные процессы там должны быть полностью электрифицированы, то есть обеспечены значительной и бесперебойно работающей базой электроснабжения.

Обязательным спутником каждого крупного бетонного завода является камнедробильный завод соответствующей производительности. Этот завод prepares щебень — необходимую составную часть бетона.

Заготовку щебня разумно начинать заблаговременно, по крайней мере, годом раньше, чем начнутся бетонные работы. Во-первых, это поможет без ущерба для хода бетонных работ преодолеть трудности пускового периода такого сложного предприятия, каким является камнедробильный завод, и, во-вторых, даст возможность запастись несколько сот тысяч кубометров щебня.

Если местные геологические условия благоприятствуют организации каменных карьеров на обоих берегах реки в сфере строительства, то этим обстоятельством всегда следует пользоваться. Так было, например, на строительстве Днепровской гидростанции, где по обоим берегам имелись непревзойдённые по качеству граниты. На строительстве волжских гигантов, очевидно, можно разрабатывать один каменный карьер на высоком берегу реки, где и нужно будет поставить мощный камнедробильный завод.

Основное оборудование такого завода состоит из набора нескольких типов камнедробильных механизмов, разделяющихся на щёковые и конические. И те и другие выполняют одну работу, но отличаются друг от друга конструктивно.

Щёковые дробилки представляют собой две ребристые плоскости, одна из которых остаётся неподвижной, а другая движется взад и вперёд наподобие челюсти животного. Эти ребристые «челюсти» «разжёвывают» — дробят каменные глыбы.

Конические дробилки — это два конуса, вложенные один в другой, причём на-

ружный неподвижен, а внутренний вращается. Дробление камня происходит в ребристых внутренних стенках конусов во время вращения.

Весьма мощные первичные щёковые дробилки разбивают глыбу твёрдой породы — гранит или доломит — объёмом до одного кубометра на куски размером со средний кочан капусты. Эта операция занимает одну минуту и даже меньше. Механические транспортёры направляют эту раздроблённую массу камней на следующее дробление. Эти камни попадают опять в конические либо щёковые дробилки, но уже меньших размеров, чем первичные. Во второй стадии крупные камни дробятся до размера среднего булыжника, после чего весь поток материала направляется в третью ступень дробления. Здесь каменные куски превращаются в щебень, который передаётся в цилиндрические вращающиеся грохота, где происходит его сортировка по трём или четырём размерам.

Для сооружения Куйбышевского гидроузла производительность централизованного камнедробильного завода должна быть рассчитана на выдачу не менее десяти тысяч кубометров щебня в сутки.

Если такую работу по дроблению щебня производить вручную, то понадобилось бы сорок тысяч рабочих. А чтобы перенести вручную всю эту массу, потребовалась бы ещё одна такая же армия.

Сейчас мы готовим к внедрению на новых стройках первичные сверхмощные камнедробильные машины производительностью в 100 кубометров за час и соответствующие сортировочные механизмы.

Мощный камнедробильный завод — капитальное и дорогое сооружение. Поэтому возникает проблема наиболее выгодной и экономной его эксплуатации. За три-четыре года работы такой завод может не только с избытком удовлетворить потребность Куйбышевского строительства в щебне. За этот же срок он сможет заготовить и необходимые запасы щебня для Сталинградского гидроузла, сооружение которого должно быть окончено годом позже, а затем переключиться полностью на обслуживание этого строительства. Такое решение проблемы избавило бы народное хозяйство от огромных капитальных ватрат на постройку и монтаж однотипных камнедробильных заводов для нужд каждой из волжских строек.

При круглогодичной работе камнедробильного завода перевозка нужного количества щебня в Сталинград безусловно может быть обеспечена в навигационный период на баржах большой грузоподъёмности. А для этого мощный камнедробильный завод должен быть поставлен близко к Волге, в безопасной для паводков зоне, и на берегу смонтированы все необходимые погрузочные механизмы.

Эксплуатация строительных машин и механизмов возможна лишь при наличии надёжной и достаточно мощной энергетической базы. Такой базой может служить либо районная электросеть общего пользования, либо отдельная, специально построенная мощная тепловая электростанция. Очевидно, к этому способу придётся прибегнуть на волжских стройках и в Туркмении; необходимость такого подсобного цеха не исключена и на Днепре.

Сверхмощные механизмы — землесосы, экскаваторы, скреперы, краны, деррики и т. п. — будут иметь либо самостоятельные энергетические установки, либо паровые двигатели, либо локальные электростанции сравнительно небольшой мощности. Современная строительная техника располагает передвижными энергетическими установками мощностью до пяти тысяч киловатт.

## 7

Нет и не может быть никакого сомнения в том, что наши конструкторы уже в процессе промышленной эксплуатации всех этих мощных и сверхмощных машин и механизмов будут вводить в них всё новые и новые усовершенствования, добиваясь ещё большей производительности машин, ещё большего облегчения труда людей, стоящих у рычагов управления.

В нашей стране нет никаких ограничений для творческого труда. Конструирование машин и механизмов у нас не «отвлечённая» проблема, над которой раздумы-

вают небольшое количество учёных в своих кабинетах, но повседневный живой труд, в котором принимают действенное участие сотни и тысячи людей, начиная с именитых конструкторов и кончая практиками-рационализаторами из среды рабочих. При Президиуме Академии наук СССР создан Комитет содействия великим стройкам коммунизма. В состав комитета вошли виднейшие учёные страны, представители министерств, руководители проектных и строительных организаций. Комитет возглавляет президент Академии наук С. И. Вавилов и главный учёный секретарь Президиума Академии наук А. В. Топчиев. Подобные же комитеты и комиссии содействия учреждены при академиях наук ряда союзных республик, при Московском государственном университете и при Всесоюзном совете научных инженерно-технических обществ.

Однако, как бы совершенны, как бы мощны ни были машины и механизмы, сами по себе они ещё ничего не решают. Успех строек решит такая эксплуатация всего строительного оборудования, при которой машины и механизмы будут использованы на полной предельной мощности, без простоев, без работы двигателей и электромоторов вхолостую.

Правильное разрешение этой проблемы возможно при соблюдении неперемных условий, которые сводятся к чёткой организации производства работ в каждом отдельном звене и к знанию до мелочей всего строительного оборудования, его назначения, конструкций, мощностей и отдельных свойств, зависящих от топографической, геологической, климатической и т. п. обстановки.

Мы владеем бесценным опытом социалистических строек. Этот опыт учит: если каждый участник строительства — инженер, техник, рабочий — знает «удельный вес» своего труда и конкретное производственное задание, то тогда создаётся благоприятная почва для широкого развёртывания социалистического соревнования и проявления могучей творческой инициативы сотен и тысяч людей.

Естественно, что новые сверхмощные машины и механизмы, которые будут впервые применяться в строительной практике, ещё недостаточно изучены всеми строителями. Обучение кадров будет проходить в процессе работы, и это обучение нужно организовать с первых же дней.

Существует много способов обучения кадров. Можно, например, организовать обучение машинистов в естественных условиях, подобно тому как это в своё время было сделано на Днепрострое. Там на запасных железнодорожных путях были установлены деревянные модели отсеков плотины, которые предстояло бетонировать: был установлен кран и подана настоящая бадья. Оперируя на этом кране, машинист быстро приучался поворачивать рычаг управления так, что бадья точно опускалась в назначенное место. Обученный таким образом машинист-крановщик, приступив к укладке бетона в плотину, уже сразу давал высокие показатели в труде.

Если в своё время Днепрострой был первой школой малой механизации, то большая механизация новых грандиозных строителей должна быть и будет подлинным университетом для высококвалифицированных кадров с новыми высшими производственными нормами труда.

Патриотизм советских строителей, воспитанных коммунистической партией, их высокое мастерство и железная воля, помноженные на передовую советскую технику, — это такая созидательная сила, какой ещё не видело человечество. Эта сила направлена на возведение величественного здания коммунизма в Советском Союзе. Борюемся за мирный труд людей во всём мире.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АН. ТАРАСЕНКОВ

★

## ЗА БОГАТСТВО И ЧИСТОТУ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА!

**В** истекшем 1950 году произошло событие огромной, поистине исторической важности: на страницах партийной печати появились работы товарища Сталина, посвященные вопросам языкознания. Эти работы товарища Сталина знаменуют новый этап в развитии марксистско-ленинской теории. Нет такой области в нашей культуре, в нашей идеологической жизни, для которой работы товарища Сталина по вопросам языкознания не имели бы первостепенного научного значения. Философы нашли в них стройную новаторскую теорию об особенностях диалектического развития в новом, социалистическом обществе, блистательно развитое учение о взаимоотношении базиса и надстройки. Языковеды получили целую программу для развития своей работы на новой, подлинно научной основе. Для историков по-новому осветился ряд проблем прошлого нашей родины. Неоценимо значение этих работ товарища Сталина и для работников советской литературы, для писателей, поэтов, критиков. В свете работ товарища Сталина мы должны заново продумать и решить для себя, для своей практики множество коренных вопросов. Это и вопрос о роли и значении классического наследства. Это и вопрос о том, как литература в качестве надстройки определяется базисом и как она в свою очередь влияет на базис. Это и вопросы мастерства, языка. Это и вопросы борьбы со всякого рода вульгаризаторами в науке о литературе. Невозможно даже перечислить всю огромную сумму проблем, вытекающих из работ товарища Сталина.

Указания товарища Сталина — основа для борьбы нашей литературной критики

за полноценный, многообразный и многокрасочный язык советской художественной литературы.

Товарищ Сталин указывает, что язык «...является продуктом целого ряда эпох, на протяжении которых он оформляется, обогащается, развивается, шлифуется»<sup>1</sup>.

Советские писатели непрестанно обращаются к неиссякаемой сокровищнице народной речи. Народ — творец языка. Именно поэтому писатели пристально и любовно изучают живую речь народа, всё то поистине прекрасное, что заключено в ней, что отложилось, откристаллизовалось, прошло проверку временем.

В советской стране литература служит народу. Советские писатели помогают благородному делу воспитания нового человека — строителя коммунизма. Круг читателей ныне неизмеримо шире, чем когда-либо на протяжении истории. Советские писатели обращаются со своим словом к многомиллионным массам. В творениях советских художников слова наши читатели ищут ответа на главные вопросы своей жизни, борьбы и труда. По произведениям советских писателей десятки миллионов людей — и в первую очередь молодёжь — учатся языку. Язык советской литературы становится одной из важнейших норм, образцов, на которые равняется наш читатель.

Задача советских писателей — с особой любовью и вниманием заботиться о совершенстве, чистоте, многокрасочности, богатстве и точности своего языка. Вне языка немислима художественная форма литера-

<sup>1</sup> И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Издательство «Правда», 1950, стр. 6.

турного произведения. При этом следует подчеркнуть, что борьба за чистоту и совершенство литературного языка отнюдь не должна превращаться в утверждение системы догм и мёртвых правил. Сам язык развивается, меняется, и литература играет в этом смысле активную роль, помогая народу закреплять в художественном слове многое из того, что рождено самой жизнью. Существует и обратный процесс — процесс влияния на народный, разговорный язык со стороны языка литературного. Литература часто придаёт народной речи исключительно точный афористический характер. Многие выражения Пушкина, Грибоедова, Крылова, а в наше время — Горького, Маяковского, Исаковского, Лебедева-Кумача приобрели характер пословиц, поговорок. Можно привести некоторые примеры:

«Человек... это звучит гордо».

«Если враг не сдаётся—его уничтожают...»

«И жизнь хороша и жить хорошо...»

«Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза...»

«Широка страна моя родная...»

«Нам песня строить и жить помогает...»

«Хороша страна Болгария,  
а Россия лучше всех».

«Так будьте ж здоровы,  
Живите богато,  
А мы уезжаем  
До дому, до хаты».

И работа великих русских классиков, и работа советских писателей основывается на базе единого в своём развитии русского языка.

В своей работе «Относительно марксизма в языкознании» товарищ Сталин писал:

«Со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет. За это время были ликвидированы в России феодальный строй, капиталистический строй и возник третий, социалистический строй. Стало быть, были ликвидированы два базиса с их надстройками и возник новый, социалистический базис с его новой надстройкой. Однако, если взять, например, русский язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина.

Что изменилось за это время в русском языке? Seriously пополнился за это время

словарный состав русского языка; выпало из словарного состава большое количество устаревших слов; изменилось смысловое значение значительного количества слов; улучшился грамматический строй языка. Что касается структуры пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом, то она сохранилась во всем существенном, как основа современного русского языка»<sup>1</sup>.

Товарищ Сталин подчёркивает, что структура пушкинского языка — языка гениального русского писателя — сохранилась во всём существенном, как основа современного русского языка.

Это ещё и ещё раз обязывает советских писателей учиться у Пушкина и других писателей-классиков.

Советская литература имеет замечательное наследство — творения своих великих предшественников и учителей. Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Толстой, Некрасов и Салтыков-Щедрин, Тургенев и Чехов создали такой богатый литературный язык — могучий, гибкий, безгранично ёмкий, способный передавать тончайшие оттенки мысли и чувства, — который надолго вперёд дал основу для развития художественного творчества в нашей стране.

Прекрасные образцы владения языком дают также работы Белинского, Чернышевского и Добролюбова, гениальных публицистов и критиков, пламенных революционеров-демократов.

Было бы неверным полностью отождествлять язык народный и язык литературный. Язык литературный — это ведь прежде всего отбор определённых элементов языка для создания своей индивидуальной творческой манеры. Язык любого, даже самого многогранного и талантливого писателя, не покрывает языка народного. Литературный язык любого писателя — есть частное выражение общенародного языка. Исходя из живой основы русского разговорного языка, питаюсь народными источниками, изучая сказки, предания, песни и пословицы своего народа, великие русские писатели прошлого и нынешнего времени развивали и обогащали язык родной литературы. Называя народ «языкотворцем», Маяковский характеризовал роль поэта,

<sup>1</sup> И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 7.

как «подмастерья» в общем великом деле формирования языка.

Язык является основным условием существования литературы, её первоэлементов.

«Техника литературной работы,— писал Горький,— сводится — прежде всего — к изучению языка, основного материала Есякой книги, а особенно—беллетристической... Подлинная красота языка, действующая как сила, создаётся точностью, ясностью, звучностью слов, которые оформляют картины, характеры, идеи книг... Литератор должен понять, что он не только пишет пером, но — рисует словами, и рисует не как мастер живописи, изображающий человека неподвижным, а пытается изобразить людей в непрерывном движении, в действии, в бесконечных столкновениях между собой, в борьбе классов, групп, единиц».

Замечательный по своему богатству и многообразию великий язык русского народа развили и подняли на небывалую высоту Ленин и Сталин.

В наше время русский язык стал носителем величайших идей человечества — идей партии Ленина—Сталина, идей самой передовой философии, самой передовой науки, и потому получил невиданное ранее распространение. Русский язык приобрёл ныне особо выдающееся мировое значение. Писатели многочисленных народов СССР и стран народной демократии обращаются к сокровищнице русского языка, черпая из неё великое множество живых примеров того, как наиболее совершенно выразить мысли и чувства своего народа. Учась у великих писателей русского народа, писатели национальностей Советского Союза способствуют развитию и росту своих языков.

Недавно в Киеве вышла книга стихов известного украинского поэта Владимира Сосюры — «Родине». В предисловии к этой книге, написанной на русском языке, автор говорит:

«...украинский язык вошёл в мою плоть и кровь, как бесконечно родной и любимый язык, язык моего народа, сыном которого я являюсь.

Но и русский язык для меня—такой же. Он, русский язык, ввёл меня в поэзию. Читая книги, написанные на русском языке, я познакомился с сокровищами русской и мировой литературы. ...Издавая

сборник своих русских стихов, я хочу познакомить своих читателей с тем, что помогало мне, как украинскому поэту, чего я не забывал, не забываю и никогда не забуду, пока дышит моя грудь, и глаза видят, и песни звучат в моём сердце.

Я и теперь иногда пишу стихи по-русски, так как не могу не писать их.

Великий русский язык! Если бы не он, я не был бы таким, каким стал. Ведь он старший и любимейший брат соловьиной речи моей бессмертной Украины».

Эти слова В. Сосюры—живое свидетельство кровного родства, которое связывает между собой языки братских народов Советского Союза и, в первую очередь, языки славянских народов. Эти слова В. Сосюры ещё раз подтверждают, что ленинско-сталинская национальная политика способствует укреплению и развитию национальных языков и одновременно порождает безграничное уважение всех народов СССР к великому русскому языку. Эти слова Сосюры являются также прекрасным ответом буржуазным националистам, ратующим за полную обособленность языковой стихии украинского (да и всякого другого) языка. Только в живом творческом общении с великой культурой и литературой, созданной на русском языке, возможен рост писателей народов СССР, писателей стран народной демократии. Не случайно на книжной полке передового болгарского или чешского интеллигента рядом с книгами на его родном языке стоят, как правило, многочисленные труды Ленина и Сталина, Горького и Чехова, Пушкина и Толстого — причём не в переводе, а в русском оригинале.

Русский язык несёт людям всего земного шара свет самой возвышенной, самой передовой, самой благородной человеческой мысли. Широко и многогранно его влияние во всём мире. Это великолепно выразил Маяковский:

Да будь я  
и то и негром преклонных годов,  
без унынья и лени  
я русский бы выучил  
только за то,  
что им  
разговаривал Ленин.

Великий русский язык, унаследованный от классиков, является предметом тща-



Могучая музыка новых слов — слов, рождённых революцией, — звучит у Маяковского во всю силу его таланта.

Маяковский не избег некоторых излишних грубостей языка, которые рождались у него в полемике, в борьбе с декадентской выхощенностью, с космополитической антинародностью поэтического языка символистов и акмеистов. Некоторые словесные новшества Маяковского сейчас устарели. Мы уже не скажем вслед за великим поэтом:

в километр  
жалю вызей...

Нам кажется искусственной такая форма склонения:

в коммунову стройку  
словя-кирпичи.

Мы скажем сегодня обязательно проще, грамматически естественней:

«В стройку коммуны».

Неудачны, например, неологизмы Маяковского: «огнём пустыри расфабричь», «республику разэлектричь», «я планов наших люблю громадьё» (подчёркнуто мной. — А. Т.) И однако — это частности. Хотя некоторые словесные эксперименты, которые делал в литературном языке Маяковский, не выдержали испытания временем, основное направление его поэтической работы, его борьбы за русский литературный язык безусловно верно, плодотворно и поучительно.

Творческая практика Горького, Маяковского и других советских писателей является живым и убедительным опровержением вульгаризаторских теорий Марра, его теоретической неразберихи. Творчество А. Н. Толстого, М. Шолохова, А. Фадеева, К. Федина, М. Исаковского и других наших лучших писателей и поэтов воочию показывает, что советские писатели культивируют не какой-то особый «классовый язык», а творчески работают в русле великого русского языка, унаследованного ими от классиков и пополненного и развитого эпохой революции и строительства социализма.

Каждый крупный писатель создаёт свой особый, неповторимый стиль. Но достигает он в этом подлинного успеха только тогда, когда остаётся на почве общенародной

речевой стихии, когда он подчиняет свой стиль законам, общим для всего великого русского языка.

Характеризуя учение Н. Я. Марра о языке, товарищ Сталин указал, что Марр «... был всего лишь упростиателем и вульгаризатором марксизма, вроде «пролеткультовцев» или «рапповцев».<sup>1</sup>

Указание товарища Сталина имеет важнейшее значение для развития советской литературы. Как известно, «пролеткультовцы» и «рапповцы» наплевательски относились к великому классическому наследию прошлого, к нашей национальной гордости — Пушкину, Льву Толстому, Тургеневу, Чехову. Ложное утверждение Марра о классовости языка подобно стремлению «пролеткультовцев» и «рапповцев», пытавшихся насадить искусственную культуру и литературу, выдавая её за чисто «классовую», за якобы чисто «пролетарскую».

Гнилые теориейки такого рода временами оказывали вредное влияние на развитие советской литературы. Те убогие произведения, которые создавались по «пролеткультовским» и «рапповским» рецептам, пресловутые «гимны железу» и «электрические поэмы», ничего общего не имевшие с подлинно пролетарской литературой, воочию показали вздорность и бесплодность этих уродливых теорий. Всячески подчёркивая классовую обособленность «пролетарской» литературы, «рапповцы» и «пролеткультовцы» насаждали особый жаргон в литературе, полный грубостей и натурализма, а зачастую и просто малограмотных фраз. Это и считалось горе-теоретиками «классовым» языком.

Подобно тому как Марр призывал основывать новый язык, игнорируя предшествующую историю развития языков, так и «пролеткультовцы» и «рапповцы» пытались строить новую литературу на голом месте, пренебрежительно откидывая классическое наследство. Будучи опровергнуты всем ходом развития советской литературы, эти вульгаризаторские взгляды, однако, ещё не исчезли окончательно. Пример тому — сравнительно недавнее выступление ново-«рапповца» Белика на страницах журнала «Октябрь». Белик пытался невежественно тритировать писателей-классиков, доказывая, что советская литература должна овла-

<sup>1</sup> И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 28.



деть каким-то особым «партийным методом художественного творчества».

Большевистская печать разоблачила невежественный вулгаризаторский подход ново-«рапповца» Белика к великому нашему литературному наследству и к явлениям современной литературы.

Порочность учения Марра, как показал товарищ Сталин, состоит и в отрыве мышления от языка. Марр освобождает мышление от его «природной материи» и тем самым проповедует идеализм.

Декаденты Хлебников, Андрей Белый и им подобные исходили, как и Марр, из идеалистических основ. Если Марр отрывал мышление от языка, то они отрывали язык от мышления. Изобретая свой собственный язык, лишая язык смысла, они своими уродливыми словесными новшествами и заумью лишь вредили развитию русского литературного языка.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к некоторым высказываниям Хлебникова. Он писал о заумной звукозаписи:

«Этот род искусства — питательная среда, из которой можно вырастить дерево всемирного языка».

В соответствии с совершенно ложной донкихотской задачей, которую он ставил перед собой, Хлебников пытался изобретать новые слова. Так, например, он предлагал женщинам, овладевших искусством самолётостроения, называть «летавицами», пассажиров самолётов — «летаками», воздушную эскадру — «летавой», аэродром — «летьбищем», день полёта — «летиными», науку о полётах — «летоукой».

Вымученный, искусственный характер этих языковых новшеств В. Хлебникова очевиден.

Таковы же словесные новшества декадента Андрея Белого, в своё время зло высмеянные Горьким.

Горький процитировал некоторые речевые выверты Андрея Белого из его романа «Маски»: «серябые» (вместо сероватые), «воняние» (вместо запах), «скляшек» (вместо стекляшек), «свёрт» (вместо поворот), «спаха» (вместо соня), «высверки», «перепых», «пере-пере-при оттопывать», «мырзать носом» и снабдил этот перечень языковых уродств следующим примечанием:

«Андрей Белый называет это нагромож-

дение слов — стихами. В старину такую рифмованную трухой угощали публику ярмарок «балаганные деды»...»

Характеризуя вулгаризаторов, возмнявших себя «творцами» нового языка, товарищ Сталин писал:

«Нет никакой необходимости уничтожать основной словарный фонд, если он может быть с успехом использован в течение ряда исторических периодов, не говоря уже о том, что уничтожение основного словарного фонда, накопленного в течение веков, при невозможности создать новый основной словарный фонд в течение короткого срока, привело бы к параличу языка, к полному расстройству дела общения людей между собой».<sup>1</sup>

Товарищ Сталин подчёркивает, что язык является средством общения людей между собой. Декаденты разных мастей делали всё возможное, чтобы лишить язык этой его основной роли, чтобы вызвать «паралич языка».

Указания товарища Сталина разоблачают всевозможных псевдоноваторов языка, пытавшихся уничтожить нормальные человеческие слова и ввести свои бредовые словесные изобретения.

Нелепое, чуждое русскому языку «слово-творчество» футуриста Хлебникова, символиста Андрея Белого, словесные выкрутасы которого так зло высмеивал Горький, и им подобных отброшено жизнью, как ненужный хлам.

Однако «лавры» футуристических псевдоноваторов соблазняли да и до сих пор соблазняют некоторых писателей. Особенно резко и часто эти явления сказываются в поэзии. Например, поэт И. Сельвинский с издевкой признавался когда-то, что ему «скучно творить всё смиренней и смиренней на одном языке, истощённом, без соли», разумея под этим русский язык. В прошлые годы Сельвинский часто уродовал поэтическую речь, загромождая её иностранщиной, канцелярскими оборотами и просто бессмысленными утробными звуками:

Ать—ДУДУНН! — три-четыре,  
ДЗЯУ... — два — БАХ! — четыре,  
ДЗЗИЙ — У! — ДЗАНГ! — четыре.

Немало сил и времени Сельвинский посвятил специальному доказательству того,

<sup>1</sup> И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 21.

как якобы обогащают русскую поэтическую речь так называемые «цыганские» романсы, статистические выкладки, различные уродливые жаргоны. Зато пушкинский стих Сельвинский в припадке нигилистического высокомерия назвал «тепловатым». Он писал:

И завидую каждой луже,  
И мечтаю в бессильном сне —  
Как бы стать поменьше, поуже,  
Покруглее, да попресней,  
Поприлизанней, потрусливей,  
Приглушающим каждый стук,  
Вяловато-съедобным, как слива,  
Тепловатым, как пушкинский стих.

Вульгарное отрицание языка Пушкина, которое, видимо, казалось кое-кому в тридцатые годы, когда писал эти стихи Сельвинский, очень «левым», очень «радикальным», на самом деле питалось болезненно-раздутым самомнением. Левацкое фразёрство приводило тогда Сельвинского к тому, что он отождествлял форму классического русского стиха с дворянско-буржуазным строем. В «Прелюде I» к эпосе «Челюскинина» Сельвинский писал:

Где взять мне той чудесной простоты,  
Которой требует моя эпоха?  
За новый стих рубились мы неплохо,  
Но, победив, стоим среди пустоты.  
Народ — увы! — предпочитает ямбы.  
Смириться ль? Дать себя опеленать?  
Частенько слышишь: «Вот, голубчик,  
вам бы  
У классиков повадку перенять».  
Спасибо, — говорю. — в пятнадцать лет  
И я воспитывался в том же роде,  
Но ямбы не вполне в моей природе —  
В них что-то есть от блеска эполет.

По сути дела здесь И. Сельвинский очень недалёк от утверждения, что поэтические приёмы наших классиков — есть достойные враждебной пролетариату культуры, и предлагает их сдать в архив, хотя сам сознаётся, что «народ — увы! — предпочитает ямбы».

Зато свой поэтический язык Сельвинский считал большим достижением современной культуры. Признаваясь как-то в своём одиночестве, Сельвинский жаловался:

Перекинуться словом не с кем  
На роскошном моём языке.

Размышляя над причиной этого грустного явления, Сельвинский полагал:

Что родился я слишком рано  
И неясен эпохе моей.

«Новый мир», № 2.

На самом же деле, конечно, не Сельвинского не поняла его эпоха, а он не сумел понять её требований. Вульгаризаторское отрицание наследства классиков сочеталось у конструктивистов с чисто марровскими представлениями о языке. Конструктивисты, например, ратовали за внедрение канцелярского «диалекта» в литературу. На практике это приводило к комическим результатам. Один из незадачливых поэтов конструктивизма писал:

«Глаза — две чернильницы...»

«Я не стерпел, промокнул промакашкой  
Всякую любовь и пошёл домой».

Это выдавалось за поэзию, этому конструктивисты придавали принципиальное значение.

В сборнике «Госплан литературы» говорилось:

«Вот, как например, Сельвинский «эмоциональное» задание — дать топот пляшущих в «Цыганской рапсодии» («Мена всех») прошнуровывает через смысловой костяк (слова-то какие! — А. Т.). Тема отрывка — мятель, которая, как польмя, припадает долами.

Цыганская пляска дана так:

...ПОТЫ, ЛЫТЫ, МЯТЫ. ПОДЫ,  
ЛЫТЫ? МЯТЫ? ПАДАЛИЦЕЙ.

Теперь, зачёркивая везде приставку «ты», которая обозначает притоптывание, мы видим, что это семантически вводит в запев следующей строфы:

...Польмья — падалицей  
Дóлами? прядается.  
В зóпаде ж булáнную  
Польмья — дá метéльцá».

Что может нормальный человек понять в этом диком хаосе звуков и слов? Вот этот свой язык Сельвинский и пытался противопоставить языку Пушкина! Прямо сказать — затея с никуда не годными средствами.

Марровская установка на особый классический язык, на культивирование диалектов очень близка всей этой декадентской чепухе.

Могут упрекнуть, что здесь процитированы старые стихи Сельвинского, старые высказывания конструктивистов, относящиеся к 20—30-м годам. Это верно. И надо надеяться, что сегодня Сельвинский не разде-

ляет подобных взглядов. К сожалению, однако, до сих пор Сельвинский пребывает в тяжком творческом кризисе.

Сельвинский не конченный для поэзии человек. Он может и должен работать в советской литературе. Но для этого он должен сломать в корне свою старую поэтическую систему и начать работу совсем по-новому. Предположим, что Сельвинский, может быть, действительно родился слишком рано. Но со времён «Цыганских рапсодий», «Улялаевщины» и других «перлов» прошло более четверти века, а понятнее они не стали, хотя за это время наш народ сказочно вырос, овладел высотами науки и культуры. Например, Маяковский, который казался раньше некоторым критикам слишком сложным, с каждым годом сгланчивается всё понятней.

Такие произведения, как «Хорошо!», «Владимир Ильич Ленин», «Стихи о советском паспорте», нашли ныне многомиллионную аудиторию. Но в то же время, чем дальше растёт наш читатель, тем всё более отвратительны становятся ему ужимки поэтов, искажающих русский язык, издающихся над ним.

Взять, например, С. Кирсанова. Не надо ему делать вид, что он самый правоверный ученик Маяковского — потому что это неправда. Кирсанов умеет писать ясно, просто, но, к сожалению, он нередко уродует поэтическую речь. В 1934 году он написал, а в 1948 году переиздал поэму «Золушка», являющуюся грубой подделкой под народность. В этой поэме мы находим такие образцы словесных «изобретений»: «Не видала Золушка ничего: ни сияющих гор, ни воды ключевой — ничего! — ничевод ключевых, ничеволков лесных, ничевоздуха дальних морей, ничевольности, ничеволхова, ничевольтовых дуг фонарей»; «ничелосподи нет в ларце, ничевоблы у ней в лотке, ничевоспинки на лице»; «чудесаблями брови, чудесахаром губы, чудесамые смелые в мире глаза!».

Молодой поэт Н. Тряпкин, ничтоже сумняшеся, употребляет в стихах придуманные им слова, вроде «хлебозоры», «пировсд».

В сознании некоторых литераторов ещё живуче стремление к нарочитому оригинальничанью, ничего общего не имеющему с законами естественного развития русского языка

Большое принципиальное значение имеет выступление грузинской газеты «Коммунисти» (28 мая 1950 года) с редакционной статьёй «Против искажения грузинского литературного языка». В этой статье подвергнут убедительному критическому разбору язык произведений грузинского писателя К. Гамсахурдиа, страдающего неумеренным пристрастием к словесному изобретательству и к архаике.

«Его рассказы и романы, — пишет газета «Коммунисти», — не только не содействуют росту языка, а, наоборот, задерживают этот рост. Было бы ошибочно утверждать, будто творчество Гамсахурдиа, его «опыты» и «реформы» могут угрожать развитию грузинского литературного языка. Для этого сам Гамсахурдиа бессилен. И всё же пора положить предел его бессмысленной джигитовке на попрание грузинского литературного языка. От советского писателя мы требуем, чтобы он писал на языке, понятном народу, писал для масс. Народность литературного языка — один из основных признаков социалистической литературы».

Газета приводит многочисленные примеры словесных уродств из книг К. Гамсахурдиа, его архаических фокусов и прочего словесного мусора.

«Введение новых слов в современный литературный язык не является самоцелью, а служит лишь средством для лучшего выражения идей нашей жизни, нашей великой эпохи. Гамсахурдиа же пользуется новыми словами не для того, чтобы яснее передать идеи, а для того, чтобы затуманить мысль и сделать её непонятной», — справедливо пишет газета «Коммунисти».

Традиции Горького, с такой страстью борющегося против уродования языка в советской литературе, должны быть продолжены нашими газетами и журналами.

Примеры порочной архаизации языка характерны не только для Гамсахурдиа. Стремление искусственно оживить омертвевшие языковые и поэтические формы до сих пор находит себе место и в творчестве некоторых узбекских, азербайджанских, армянских, казахских и ряда других национальных писателей. Эти явления связаны с любованием феодальными пережитками и потому особенно вредны для советской литературы.

Некоторые русские советские писатели, пишущие на исторические темы, наивно полагают, что чем больше они употребят старинных выражений, тем их произведение точнее и ярче передаст характер описываемой эпохи. Один из примеров подобного рода — многотомный роман В. Язвицкого «Иван Третий государь всяя Руси». Автор основательно изучил эпоху, проштудировал огромное количество документов. В его романе не мало добротного материала. Но увлѣвшись стариной, Язвицкий начал искусственно стилизовать язык. Он заставил своих героев говорить на наречии, переполненном устаревшими, книжно-церковными словами и выражениями.

«Велигласен вельми», «сиречь, на кованать опиратися нам», «в окупѣ», «таймичиш», «сей часец яз», «наиборзе» — такими и подобными им словесными изощрениями пестрит и речь героев романа, и речь автора, до крайности затрудняя чтение.

В. Язвицкий придерживается какого-то странного для современного русского человека правописания: вместо «чтоб» — «штоб», вместо «того» — «тово», вместо «моего» — «мово».

Всё это искажает представление о языке наших предков. Между тем, изображая давние исторические времена, писателю вовсе нет нужды прибегать к такому изобилию книжно-церковных речений и к такому произвольному обращению с русской грамотой, как это делает В. Язвицкий.

В романе С. Марич «Северное сияние» современники Пушкина, изображённые автором, говорят по прихоти Марич на книжном языке, далёком от живого обихода. Поэт Жуковский, например, выражается так:

«...напрасно вы вклинили в сию преисполненную унынием мирную толпу, жандармов и полицию».

«Сиречь посоветуюсь с Бенкендорфом...»

«Однако, кроме сих мер, он требует часть бумаг себе».

«По сей причине ни одного нумера «Прибавлений к Русскому инвалиду» нигде не достать».

В романе Ольги Форш «Михайловский замок» один из героев говорит:

«...на выполнение сего необходимого акта, полагать надо, ваша подпись мною будет получена».

Другой персонаж романа выражается так:

«Сей род веселости у меня всегда бывает перед особо большой печалью».

Ещё более неумеренно стилизует речь своих героев писатель Б. Папаригопуло.

«Поелику можно ждѣть от вас новых художеств... Посему вот вам пакет. С оным скачите тотчас же... понеже вам сие за поединок угодно считать» — подобными мёртвыми книжными словами говорят почти все персонажи его повести «Штурм Измаила».

О. Форш, Б. Папаригопуло, С. Марич и некоторые другие писатели думают, видимо, что словечки «сей», «сих», «сию», а также книжно-архаический строй речи делают вымышленных героев похожими на людей описываемого ими времени.

Послушаем, однако, Пушкина:

«Не одни местоимения сей и оный, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре».

Товарищ Сталин указывал, что «...язык живёт несравненно дольше, чем любой базис и любая надстройка»<sup>1</sup>.

Исходя из этого положения товарища Сталина, следует помнить, что язык пушкинской эпохи — это в основном тот язык, на котором говорим и мы сегодня. Народный язык XIX, XVIII, даже XVII века в основном тоже понятен нам и теперь. Писатели, которые считают необходимым стилизовать свою речь под старину, пользуясь источниками, большей частью отличающимися архаическим церковным языком, впадают в ошибку против исторической правды. Мы не против старых слов вообще. Есть слова, действительно, старые, но которые приобрели новый смысл. По-новому в наши дни зазвучало хорошее старое русское слово «указ». Новым светом засияло старое слово «Русь». Недаром оно вошло в гимн Советского Союза. А разве старое слово «кляуза» не приобрело нового смысла в устах советских дипломатов, высмеивавших недавние нелепые претензии гоминдановцев к советскому правительству.

В работах товарища Сталина мы тоже можем найти старинные слова и выражения, но они всегда употреблены так, что

<sup>1</sup> И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 6.

абсолютно ясен их смысл, так, что они утверждают идеи революции. Так, например, товарищ Сталин определяет «...триединую задачу партийной работы...»<sup>1</sup>.

Слово триединая наполняется здесь совсем новым, современным смыслом.

Обращаясь к патриотическим чувствам советских людей в дни войны, товарищ Сталин говорит:

«Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли...»<sup>2</sup>.

Старое слово пядь приобретает в устах товарища Сталина новый, необычайно величавый смысл.

Высмеивая анархистов, товарищ Сталин использует выражение: «...блаженной памяти Дон-Кихот...»<sup>3</sup>. Ясно, что здесь это старинное церковно-славянское выражение выступает как средство беспощадной насмешки над врагами.

Таким образом, мы вовсе не против употребления старых слов, а против бессмысленного увлечения ими, против языковой архаики, как одного из пороков литературщины, эстетства, которые всё ещё сказываются в работе отдельных поэтов и писателей.

Подлинно живописной речи надо учиться у народа. А. Н. Толстой, автор первоклассного по языку исторического романа «Пётр Первый», рассказывал, как он изучал речь русских людей XVIII века по записям дьяков и подьячих, в которых они передавали живой язык московской Руси:

«В конце 16-го года покойный истерик В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные проф. Новомбергским пыточные записи XVII века,— так называемые «Слова и дела»... и вдруг моя утлая лодочка всплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь. Я увидел, почувствовал,— осязал: русский язык... Дьяки и подьячие московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пыаемого, передать его рассказ. Задача в своём роде литературная. И здесь я видел во

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, М. 1947, стр. 196.

<sup>2</sup> И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Издание пятое, М. 1948, стр. 14.

<sup>3</sup> И. Сталин. Сочинения, том 1, стр. 372.

всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную (с польского, с немецкого, с французского) ложно-литературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал... Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства».

Читая «Петра Первого» А. Н. Толстого, мы не испытываем никакого затруднения. Писатель достиг исключительной художественной впечатляемости, вовсе не ставя перед собой нелепой задачи фотографически точно воспроизвести язык людей конца XVII — начала XVIII века. Старинными словами и понятиями А. Н. Толстой пользовался тонко, умело. Он иногда вводил их в текст, но только в тех случаях, когда они действительно были необходимы, когда они являлись точным и верным признаком описываемой эпохи. Те же писатели, которые избрали старинные словеса своею самоцелью, которые неумеренно стилизуют свою речь и речь своих героев под образцы монашеских летописей, совершают грубую ошибку, нарушают естественные законы развития родной речи, становятся чуждыми и непонятными советскому читателю.

Ещё большее удивление вызывает то обстоятельство, что некоторые поэты, обращаясь к современной теме, пользуются архаическими оборотами и словами. Видимо, стремясь придать своей поэтической речи возвышенный характер, очень часто скатываются к архаике в языке А. Пркофьев, А. Чивилихин. Нарочитая архаика их словаря и образной системы часто находится в явном противоречии с сегодняшней советской темой.

Борьба за чистоту русского языка — это великая задача, являющаяся составной частью борьбы за метод социалистического реализма. Ни формалистские выверты, ни словесные изобретательства, ни натуралистическое копирование грубостей языка, ни примитивные штампы не могут и не должны культивироваться в советской литературе.

Следует напомнить замечательные слова В. И. Ленина:

«Русский язык мы портим. Иностранцы слова употребляем без надобности.

Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас однако тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?.. Не пора ли объявить войну коверканью русского языка<sup>1</sup>.

«Сорняками» языка являются и нелепые сокращения, которые частенько употребляют наши писатели и поэты.

Вспомним, как высмеивал В. И. Ленин словечки «совнархоз», «южбум», «гостресты».

Как свидетельствует один из мемуаристов, Ленин возмущался подобным коверканьем русского языка:

— На каком языке это написано? Тарабарщина какая-то. Волапюк, а не язык Толстого и Тургенева.

Не мешало бы нашим литераторам почаще вспоминать эти слова.

Следует талантливому поэту Н. Грибачёву отказаться от таких громоздких выражений, как «парнишка из Р. У.», «глав-ресторан», «облздравовский ПО-2», «предколхоза из райисполкома», «распреблудный сын», «райагроном». Право же, они не украшают поэтическую речь, не способствуют её благозвучию.

Многие наши писатели ещё слабо работают над словом, пользуются шаблонными, стёртыми выражениями, пишут неряшливо, путано, сухо, бескровно, по-настоящему не пользуются живым многообразием народной речи.

Взять, к примеру, повесть В. Сафонова «Колокол Говерлы». Это произведение изобилует канцелярскими выражениями, которые писатель сочетает с псевдолитературными красотами. Автор пишет, например: «Итоги дня подводились в сердце леса», не чувствуя, как канцелярское начало фразы («итоги дня подводились») противоречит метафоре («сердце леса»).

В другом месте Сафонов пишет: «И, вникая в обдуманной строй этой работы, с её ведущим железным законом»... «Ведущий железный закон» — это уж прямо из пародии. Часто Сафонов пользуется серым, невзрачным штампованным языком. А в других местах он переходит на «роскошную» живопись в стиле дурной до-революционной литературы:

«Под крутизнами распахнулись сахарные амфитеатры. Расстилались исполинские серебряные скатерти. Туманились моря, опаловые и молочные».

Не все писатели понимают ещё, какое огромное значение имеет для литературы чистый, благородный, ясный литературный язык. Горький неоднократно указывал советским писателям на необходимость борьбы с областными речениями, с провинциализмами. Он высмеивал, например, Ф. Панфёрова за употребление таких чуждых общему строю русской речи слов, как «трюжилный», «пыжжай», «подъялдыкивать», «базынить» и др.

Горький говорил: «Местные речения, «провинциализмы» очень редко обогащают литературный язык, чаще засоряют его, вводя не характерные, не понятные слова».

В критике уже указывалось, что эти ошибки и недостатки в языке были у Ф. Панфёрова связаны с вульгарно-социологическим, типично марровским пониманием законов развития языка в эпоху революционных ломок и переворотов.

Вряд ли Ф. Панфёров стал бы сейчас защищать свои старые взгляды. Они опрокинуты жизнью, они разбиты в пух и прах работами товарища Сталина по вопросам языкознания. Отрадно отметить и то, что сам Ф. Панфёров выпустил недавно новое издание своего романа «Бруски», в значительной степени очистив эту книгу от языкового областничества. Но вспомнить об этом старом этапе литературной истории не вредно.

Великое значение статей Горького о языке не всеми было понято тогда, в годы их появления. Не всеми понято до конца и теперь.

С тех пор, как Горьким были написаны статьи о языке, прошло уже свыше семнадцати лет. Наша литература за эти годы во многом освободилась от тех грехов «областничества», которые так резко и беспощадно критиковал Горький. Но всё ещё

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXIV, стр. 662.

не до конца изжиты натуралистические тенденции в языке.

Всё ещё находятся писатели, которые склонны к засорению своей речи уродливыми выражениями и словечками, почерпнутыми из воровского жаргона, из рыночной лексики.

Вредят поэтической речи П. Антокольского такие нелепые выражения, как «изрезанная вдрызг», «ошпарит вонью», «прозрава ночи».

Или вот примеры из языка Л. Кассиля, писателя, пишущего для детей: «сопля задушевная», «пильювая пождиче», «штаб меня на этот вопрос шупал», «а по ха не хс?», «без таланта и вошь не накарябаешь», «ещё поживём, труба-барaban», «чёрт знает, гроб и свечи», «здорово живёшь, сенокосома», «молчи, закройсь», «от банки не отдирайся, хвостом не плюхай». Подобными выражениями пестрит речь героев Льва Кассиля, который, видимо, полагает, что он придаёт этим бодрый, «солёный» колорит своему повествованию. Разумеется, ничего общего ни с жизненной правдой, ни с народностью языка подобные «изобретательства» не имеют.

Следует помнить, что если в процессе исторического развития местные диалекты не легли в основу национального языка — «...они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них»<sup>1</sup>, что «...диалекты и жаргоны представляют ответвления от общенародного национального языка, лишённые какой-либо языковой самостоятельности и обречённые на прозябание»<sup>2</sup>. Именно поэтому так нелепо и вредно употребление в советской художественной литературе этих жаргонов и диалектов.

Особенно много вреда развитию советской литературы нанесла в области языка и так называемая южно-русская школа. Целая группа писателей в течение долгих лет культивировала в литературе так называемый одесский жаргон, представляющий собой крайнюю степень уродства и искажения русского языка. Первый начал эту разрушительную работу Бабель, политическое лицо которого хорошо известно. Одесский воровской жаргон у Бабеля ор-

ганически сочетался с наплевательским отношением к жизни и делам советских людей. Всё его творчество было проникнуто отвратительным цинизмом, порнографией, — и всё до конца враждебно нам.

К сожалению, некоторые писатели, которых никак нельзя в политическом смысле сравнивать с Бабелем, отдали дань увлечения этому пороку — разве в «Интервенции» Л. Славина, в произведениях И. Ильфа и Е. Петрова, в стихах того же И. Сельвинского мы не найдём сколько угодно примеров этого уродливого языка? До последнего времени сохранили живучесть эти тенденции. Многие у нас, и я в том числе, ошиблись в оценке романа В. Катаева «За власть Советов». Нас всех поправила «Правда», напечатав известную статью М. Бубеннова. К сожалению, даже в этой статье язык некоторых героев романа В. Катаева, засорённый хулиганскими оборотами и так называемыми одессизмами, подвергся сравнительно беглой критике. Подчёркиваю — героев, а не самого автора. Но ведь языком этим разговаривают коммунисты, руководители масс. В. Катаев совершил грубейшую ошибку, попытавшись возродить этот уродливый диалект. Он явно любит всеми этими «слушай здесь», «или», «ша», «возьми полтона ниже», которые на этот раз отражают далёкое прошлое, но никак не характерны для людей Одессы — города-героя. Надо надеяться, что при переработке своего романа, которую писатель заканчивает, он решительно освободится от жаргонных языковых уродств.

Советские писатели должны стремиться к ясности и простоте языка, к точности и чеканности каждой своей фразы.

Примером строгого, взыскательного отношения к работе над словом может служить М. Шолохов. Уже читателей первых книг М. Шолохова поражало исключительное богатство словаря, многообразие живых интонаций речи, щедрость писателя на языковые «краски». Но одновременно с этими выдающимися достоинствами литературной речи М. Шолохова, в первых двух книгах «Тихого Дона» следует отметить некоторое увлечение местными «донскими» словами и выражениями. В третьей и четвёртой книгах этого романа М. Шолохов, отказавшись от

<sup>1</sup> И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 37.

<sup>2</sup> Там же, стр. 11.

провинциализмов, пришёл к мудрой простоте подлинно русского высокохудожественного литературного языка. К сожалению, даже в последнем издании «Тихого Дона» (Гослитиздат, 1949) первые две книги романа ещё не до конца освобождены от «областнических» излишеств в языке («хрушкий» снег, «бочилась», «сыпко», «осклизь», «захлюстанный»). Следует посоветовать М. Шолохову, блестящему мастеру литературной формы, столь требовательному к своей работе, дополнительно очистить язык первых двух частей «Тихого Дона». Вызывают известные возражения и главы из нового романа М. Шолохова «Они сражались за родину». Язык героев в этих главах засорён натуралистическими оборотами: «запекли тебе душу мои штаны», «паскуда длиннохвостая», «задрипанная кукушка», «ах, язви тебя», «божья старушка, рухлядь этакая шелудивая», «вот какая она, судьба-сука», «идиотский дурак», «иди, пожалуйста, не воняй тут» и т. д., и т. п. Герои романа — советские солдаты — пересыпают свою речь длинными витиеватыми ругательствами.

Роман сильно выиграет, если при публикации его в целом автор переработает эти неудачные главы.

Когда мы говорим о языке, то, естественно, нельзя ограничиваться вопросами словарного состава нашей литературы. Огромное значение для вопросов словесного художественного мастерства имеет грамматический строй языка. У русского языка есть одна удивительная особенность: фраза по законам русской грамматики может строиться чрезвычайно разнообразно. У нас нет тех «железных законов» построения фразы, которые характерны, например, для немецкого языка, где глагол обязательно должен стоять на последнем месте, или французского, где отрицание действия распадается на два элемента „ne“ и „pas“ и находится в разных местах фразы, где эпитет почти обязательно стоит после имени существительного. Русский язык и его законы разрешают создавать самые разнообразные варианты построения фразы. При сохранении одного и того же смысла разная расстановка, разный порядок слов в фразе придают необычайное интонационное богатство рус-

скому языку. Это предоставляет широчайшие возможности для литературы.

Однако бывало и так, что некоторые писатели брали отдельные особенности, свойственные русскому литературному языку, и возводили их в абсолют. Это эстетское отношение к языку проявилось, например, на заре советской литературы, сказавшись в необычайном распространении формы так называемого сказа, когда фраза строилась писателем нарочито необычно, не так, как в живой речи. Это считалось почти неизменным признаком художественности. А ведь между тем эта эстетская манера сказа восходит вовсе не к русским классикам, а к декадентам.

Зачинателями эстетской сказовой прозы были махровые реакционеры и декаденты — Ал. Ремизов, Евгений Замятин. Есть у Замятина небольшой, но крайне гнусный рассказ «Электричество», написанный в 1917 году. В нём Замятин хамски издевается над простым русским человеком, который вздумал лечиться от ревматизма электричеством: «Утром чем свет Галамей взбодрился: одной рукой за поясницу, другою — сапог натягивает.

— Ты куда ж это ни свет — ни заря? — баба галамеева спрашивает.

— А электричеством, — говорит, — лечиться пойду. Одно мне только теперь **ж** осталось.

— Ой, батюшки, ты бы как полегче, дело-то такое — умеючи надо. Ты бы сперва к доктору.

— Дура-баба: а звонки электрические кто на почте наладил? «Ты-ы, батюшка»... Ну, то-то. И без доктора, мол-ка, управлюсь. У Галамея, брат, своя башка на плечах.

Взвалил проволоки медной круг — и пошёл. Посередь самой Тамбовской остановился, штаны расстегнул, проволокой себя пониже пояса обмотал, а на другом конце крючечек сделал — и ждёт. А рань ещё, камни розовые, ставни закрыты, мальчишки в белых фартуках на головах корзины несут. И самый первый трамвай через мост гудит.

Услыхал Галамей, изловчился, накинул крючечек на самый на трамвайный провод: ну-ка, господи благосло...

Ка-ак его швырнёт электричество это самое, заплясал, скрючило в три погребели и — на земь свалился.



Ясно, что форма сказа нужна здесь Замятину для издевательства над якобы непроходимой азиатской темнотой русского человека. Форма замятинской прозы несёт здесь точную политическую функцию — функцию контрреволюционную, космополитическую. К сожалению, некоторые наши советские писатели, стоящие на совсем иных политических позициях, нежели Ремизов и Замятин, тоже прешли искусственной сказовой формой повествования. Назову Вс. Иванова, Л. Сейфуллину, К. Федина и многих других.

Следует заметить, что совсем иной характер носит сказовая форма у П. Бажова. П. Бажов далёк от эстетской стилизации, он, в отличие от этих писателей, воспроизводит подлинно народные сказовые интонации.

Эстетизированный декадентский сказ был своеобразной корью, которой переболела наша литература. Казалось бы, в эпоху строительства социализма, в дни, когда жил и работал Маяковский с его новым отношением к поэтическому слову, с его волевыми, повелительными интонациями стиха, — невозможно было существование всех этих стилизаций под фольклор. И однако, вопреки этим соображениям, сказовый язык расцвёл в те годы в нашей литературе очень пышно. Это явление, несомненно, чисто эстетское, и оно находится в противоречии с тем новым содержанием, которое несла с собой литература.

Уродливой болезнью тех лет был и язык М. Зощенко, отвратительно грубый, с нелепыми ужимками, с нарочитой безграмотностью. Это явление имело под собой серьёзные причины. М. Зощенко выступал тогда от лица мещанина-обывателя, иронически относившегося ко всему новому. Герой Михаила Зощенко все события исторического процесса толковал по-обывательски узко, убого. Это исключительно наглядно отразилось в его языке, в грамматическом строе пародийной зощенковской прозы.

Особый вопрос, на котором следует остановиться, — это та рубленая, нарочито короткая фраза, которая культивировалась рядом формалистов, особенно В. Шкловским.

Вот отрывок из его «Третьей фабрики», книги по-своему знаменитой:

«Мы лён на стлище. Так называется поле, на котором стелют лён.

Лежим плоскими полосами. Нас обрабатывает солнце и бактерии, как их там зовут?

А от меня по правую руку полка с Толстым.

У меня на стлище лет десять лежит одно его слово».

Конечно, это очень легко пародировать, потому что проза В. Шкловского писалась по нехитрому принципу — «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Однако в возникновении этой литературной манеры таились серьёзные причины. Нарочитая обрывочность, рваная фраза, которой пользовался В. Шкловский, выражала суть его философии — субъективистской, алогичной. Произвол ассоциаций, полное пренебрежение к объективному миру, антиреализм — вот что таилось под этой рваной фразой.

Наоборот, реалистическому направлению в русской литературе всегда было присуще умение до дна использовать удивительную гибкость русских грамматических законов, всё их богатство для наиболее полноценного выражения смысла. Даже подчас громоздкая, тяжёлая фраза Льва Толстого, как бы изображающая ход человеческой мысли, со всеми её противоречивыми извивами, — эта фраза имеет своей целью наиболее полно передать объективную действительность.

Другой вопрос — что, скажем, предпочтительнее: исполненную энергичного лаконизма и в то же время ёмкую, удивительно конструктивную фразу, характерную для пушкинской, лермонтовской, чеховской прозы, или тяжёлую громоздкую фразу, свойственную толстовской прозе.

Например, А. Фадеев в своей творческой практике часто оказывает предпочтение толстовской фразе, хотя в «Молодой гвардии» уже заметна и другая стилевая стихия — стихия гоголевской речи. Однако и в «Молодой гвардии» отчётливо видны следы толстовской словесной конструкции. Вот некоторые примеры:

«Ковалёв был из тех многочисленных завхозов, которые в обычное время спокойно несут бремя человеческого негодования, насмешек и презрения, выпадающих на долю всех завхозов, в отместку за зло, причиняемое человечеству некоторыми их честными собратьями, — он был одним

из тех вавхозов, которые в тяжёлые минуты жизни обнаруживают, что же такое есть на свете настоящий завхоз».

Или:

«Их было так много, умерщвлённых, истерзанных, ограбленных, мужчин, женщин, детей, стоящих за этими денежками, зубами и безделушками, что когда он смотрел на всё это, к чувству сладостного возбуждения и расположения к самому себе всегда примешивалось и некоторое беспокойство, исходившее, однако, не от него самого, Петера Фенбонга, а от некоего воображаемого, очень прилично одетого господина, вполне джентльмена, с перстнем на полном мизинце, в мягкой дорожкой светлой шляпе, с лицом гладко выбритым, корректным, даже добрым, но преисполненным осуждения по отношению к Петеру Фенбонгу».

Структура этих фадеевских отрывков — толстовская. Но то, что было пригодно для Толстого, не всегда может быть механически перенесено в советскую литературу. Конструктивно сложная фраза Толстого не принадлежит к очевидным его достоинствам. Тем более, что у А. Фадеева она является своеобразной литературной реминисценцией. Обращаясь к многомиллионным читателям, советский писатель должен стремиться к архитектурной простоте и стройности фразы, к полной ясности словесного выражения.

Уместно заметить, что такой талантливый мастер языка, как Л. Леонов, тоже подчас грешит длиннотами, тяжёлыми периодами, витиеватой узорностью речи. Говоря, например, об одном из героев своей повести «Взятие Великошумска», Л. Леонов замечает, что спиртные напитки «принялись наперегонки сохнуть в его присутствии». Рассказывая о больных, пришедших к знахарке, Леонов пишет: «Безжалостная простонародная хвороба всегда сидела на ступеньках её крыльца». Или такое выражение: «продолговатое, военного происхождения облако встало под горизонтом». Приведённые примеры свидетельствуют о недостаточно точном и ясном употреблении слов, о манерности отдельных элементов стиля Л. Леонова. Писатель должен стремиться к большой точности и конкретности языка.

Оградным в нашей литературе является тот факт, что, например, Ф. Гладков,

вдумчивый и серьёзный художник, преодолел влияние декадентского языка и в своих последних произведениях («Повесть о детстве», «Вольница») добился реалистической ясности литературной речи.

Фёдор Васильевич Гладков недавно рассказал мне чрезвычайно поучительную историю. Будучи молодым писателем, он приехал в конце 1921 года в Москву. Трудно было тогда разобраться во всей сложности литературной борьбы, в пёстрых группировках, в спорах. Фёдор Васильевич пришёл на собрание в тогдашний Союз писателей и прочитал свой рассказ «Зеленя», посвящённый эпизоду гражданской войны. Рассказ был написан обычным реалистическим языком. И вот, рассказывает Фёдор Васильевич, тогдашние деятели Союза писателей накинулись на него и разнесли рассказ в пух и прах.

— Это старомодно, — говорили эстеты. — Вы пишете по старозаветным реалистическим канонам. Разве можно это делать, когда у нас есть такие мастера, как Ремизов, Андрей Белый, Пильняк? Поучитесь у них.

Молодой пролетарский писатель был выгнан и осмеян за свою приверженность к простому русскому языку.

И вот, рассказывает Гладков, он пришёл домой в тяжком раздумье. Он понимал, что голоса ораторов в Союзе писателей — это голоса буржуазных интеллигентов. Он не хотел им ни в чём уступать в идеологии. Но зашевелилась мысль: а может, действительно, у них надо поучиться форме, языку? И тогда, как рассказывает Фёдор Васильевич, он сел за работу. Он начал писать кусок, вошедший впоследствии в «Цемент». Вот отрывки из этого наброска (цитирую по одному из первых изданий «Цемент», ЗИФ, М. 1926). Гладков передаёт речь революционного казака:

«Сия знамя — красная... Хай она до фокусу глаза — тряпка, ну, твой взгляд, товарищ, привычный до красного воздуху... И гляди, хлопче, не привычкой, а сердцем... Говорю грудями, товарищ: то — наша доля, наша кровь — сия знамя...»

Вы чувствуете, как стилизована речь героя, как она искусственна, нежизненна.

Или взять описания, идущие от автора: «Толпа бухнула лошадиным хохотом». «Город от гор трубит в море каменным

жаром». «Густыми потоками патоки льются в бездну далеко у набережных расплавленные дворцы и горы в изломанных струях. И горы, и город, и море дрожат и ручьятся маревом в опале и дыме, в знойной окалине дня».

Всё это свидетельствует о том, что Ф. Гладков, создавая «Цемент» — произведение подлинно новаторское по своим идеям, сыгравшее огромную роль в развитии советской литературы, — в области формы, в области языка находился тогда под влиянием чуждым. Это не язык писателя-реалиста, которым Гладков стал впоследствии и с таким блеском таланта проявился в «Повести о детстве», в «Вольнице».

Сила Ф. Гладкова в том, что он понял ошибочность этой своей грубо-натуралистической и эстетски-стилизованной речи. Понял и начал переделывать, переписывать много раз свой замечательный «Цемент». Если вы возьмёте последнее издание этой книги, то увидите, какую громадную работу проделал писатель над языком, как он вырос, как он отсеял всю эту шелуху натурализма в языке, все свои былые стилизации и заговорил просто, ясно, чисто, мужественно.

А как прекрасен своей реалистической точностью и прозрачностью язык его нового романа «Вольница». Герои этой книги — простые работницы и рабочие промыслов, недавно пришедшие из деревни. Но их речь лишена излишней грубости, они говорят ярко, сильно, картинно — и в то же время Гладков нигде не стилизует их язык под книжные образцы. Мы видим в языке героев Гладкова и ту далёкую эпоху, и индивидуальные человеческие характеры. Он иногда пользуется и старыми словами, но делает это тонко, умело. Зря, по-моему, В. Жданов в № 11 «Знамени» за 1950 год возражает против таких слов Гладкова, как «загумень» или «выкладь». Это слова общерусского крестьянского обихода недавнего прошлого, и они глгоноостью понятны и сегодня. А посмотрите на характер авторских описаний у Гладкова, — как они точны, выпуклы, зрительно осязаемы. И всего этого автор добивается, используя богатство русской литературной речи, не прибегая ни к каким словесным завитушкам. Есть какая-то величавая плавность и простота в описаниях Глад-

кова. Вот как, например, дан пейзаж прикаспийских песков:

«Впереди до горизонта расстиралось окоченевшее море, воскового цвета, над ним мерцало зеркально-голубое марево. Огромные шквалы вздымались всюду, словно в тот момент, когда гребень должен был, клокоча, обрушиться вниз, он волшебюо замер и отвердел навсегда. Под ними, на крутом взёте волны, чётко вырезывались лиловые тени. Кое-где эти гребни будто таяли, осыпались, и засгывшая пена сползала золотой пылью. А отсюда полого поднимались широкие спины других увалов, исполосованные мелкой рябью, в причудливых рисунках, как кружево, и бархатно выглаженные ветром. Казалось, эти волны когда-то неслись к морю, которое синее вправо, играя белыми барашками».

Это всего восемнадцать строк текста. Но перед читателем развёрнута целая картина, яркая, живая, почти осязаемая в своей наглядности. Это достигнуто словом, мастерским его употреблением.

Мы имеем такие же примеры и в нашей советской поэзии. Я полагаю, что во многих стихах, к примеру М. Исаковского, мы воочию встречаемся с правильным, умелым, мастерским использованием богатств русского языка, его удивительной прелести, его гибкости, посредством которой можно передать буквально все оттенки мысли и чувства.

Пускай утопал я в болотах,  
Пускай замерзал я на льду,  
Но если ты скажешь мне снова —  
Я снова всё это пройду.

Желанья свои и надежды  
Связал я навеки с тобой,  
С твоею суровой и ясной,  
С твоею завидной судьбой...

Трудно глубже, сердечней выразить чувство советского патриотизма, чем это сделал в этих строчках М. Исаковский. Но он не прибег для этого ни к пышным словесам, ни к сногшибательным метафорам, ни к необычным рифмам или ломке ритма. Он только очень точно и взвешенно выбрал три эпитета для определения судьбы своей родины и тем самым судьбы всякого её верного сына — суровая, ясная, завидная. А как много выражено в этих трёх простых словах! Здесь М. Исаковский мастерски решил задачу

большую, политическую. Но с равным успехом он умеет решать и частные задачи, с исключительным мастерством владея приёмами юмора, выраженного в словесной ткани стиха, что придаёт такое лирическое обаяние его гербям и героиням. Напомню в этой связи чудесное шутливое стихотворение «Шёл со службы пограничник», в котором описывается, как солдат попросил у девушки напиться воды.

Начинает разговоры:  
Дескать, как живёте здесь?  
А вода не убывает, —  
Сколько было, столько есть.

Не шути напрасно, парень, —  
Дома ждут меня дела...  
Я сказала: — До свиданья! —  
Повернулась и пошла.

Парень стал передо мною,  
Тихо тронул козырёк.  
— Если можно, не спешите, —  
Я напьюсь ещё разок

Сколько в этих строчках наивно-просто-душной хитрости, сколько неподдельного задора, весёлой молодости!

Улыбнулся пограничник,  
Похвалил мои слова...  
Так и пил он у колодца,  
Может, час, а может, два.

Всё дано здесь в намёке, всё передаётся через интонационное звучание слова. И однако всё это построено так просто, в таком естественном ритме и на такой жизненно-верной основе, что стихи М. Исаковского непосредственно переходят в песню, в поговорку, в поговорку.

«Выходила на берег Катюша...»

«Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,  
Что ж ты девушкам спать не даёшь...»

«И кто его знает,  
Чего он моргает» —

эти и многие другие строчки М. Исаковского стали живыми поэтическими элементами повседневной народной речи. Это — следствие огромного мастерства поэта, умения пользоваться неисчерпаемым богатством словарного фонда народа, бесконечным разнообразием грамматических и интонационных возможностей русского языка.

Следует отметить, что в нашей поэзии есть ряд крупных мастеров слова, прекрасно владеющих литературной речью. Например, Н. Тихонов, исходя из основ языка

Пушкина и Лермонтова, обогатил поэзию всем тем новым, что внесла в язык наша действительность, и дал в поэме «Киров с нами» хорсший образчик современного русского литературного языка. А как просто, ясно, живо писал А. Недогонов, прекрасно передавший язык современной деревни! Как мастерски владеет языком поэт С. Маршак!

В нашей молодой прозе мы имеем десятки индивидуальностей, совершенно несхожих между собой. Но и В. Панова, и М. Бубеннов, и Г. Николаева и А. Рыбаков, и В. Ажаев, и Ю. Трифонов, при всей несхожести их дарований, при всём различии их творческих манер, работают на единой основе русского литературного языка, завещанного нам классиками, развивая и приумножая их великое наследие. У всех этих писателей есть свои отдельные частные недостатки, но основа их работы над языком безусловно верна. Они почти совершенно свободны от старых грехов нашей литературы — областничества, натурализма, архаизации, формалистических вывертов. Это весьма отрадное явление. Оно свидетельствует о колоссальном росте нашей литературы и о том, что эти молодые писатели работают на почве, уже расчищенной для них представителями старшего поколения нашей литературы — и прежде всего Горьким. В задачу настоящей статьи не входит характеристика особенностей языка каждого из этих писателей. Для этого нужны отдельные литературные критические работы, и они обязательно должны появиться.

Советские писатели творят дело огромной исторической важности. Они — страстные пропагандисты идей партии, идей коммунизма. Эту пропаганду они ведут, обращаясь к многомиллионной аудитории читателей посредством художественных образов, посредством художественного слова. Потому-то так важно, чтобы каждое слово наших писателей безотказно доходило до народа. Непременным условием этой доходчивости является мастерство писателя. Живой, гибкий, глубоко современный, несущий в себе всё богатство народной речи язык писателя — один из важнейших и основных элементов этого мастерства. Советские писатели должны использовать всё великое богатство словарного фонда языка.

«Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено — тем оно победоносней» (М. Горький).

К сожалению, многие литературные критики всё ещё проявляют недопустимое равнодушие к вопросам художественной формы, к языку советских писателей. Эти вопросы критики, как правило, либо сбоят вовсе, либо говорят о них походя, скороговоркой, поверхностно, по-любительски. Многие критики пишут вяло, серо — скучным, казённым языком.

Как замечательно говорил М. И. Калинин, обращаясь к учащимся:

«Изучение родной речи — это великое дело. Самые высшие достижения человеческой мысли, самые глубокие знания и самые пламенные чувства останутся неизвестными для людей, если они не будут ясно и точно оформлены в словах. Язык —

это орудие для выражения мысли. И мысль только тогда становится мыслью, когда она высказана в речи, когда она вышла наружу посредством языка, когда она — как сказали бы философы — опосредствована и объективировалась для других. Вот почему я говорю, что знание родного языка — это самое основное, что требуется для вашей дальнейшей работы»<sup>1</sup>.

Пора советской литературной критике начать глубокую и всестороннюю теоретическую разработку вопросов языка нашей художественной литературы. В этом ей должны помочь учёные-языковеды, всё ещё зачастую оторванные от живых практических задач литературного мастерства.

Работы товарища Сталина по вопросам языкознания открывают безграничные перспективы подлинно научной разработки вопросов литературного мастерства.

<sup>1</sup> М. И. Калинин. О литературе. Ленинград, 1949, стр. 206.



# Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

## ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТИ Ю. ТРИФОНОВА „СТУДЕНТЫ“

*Во многих учебных заведениях Советского Союза проходят обсуждения повести Ю. Трифонова «Студенты», опубликованной в №№ 10 и 11 журнала «Новый мир» за 1950 год. Участники обсуждений горячо спорят о проблемах, поставленных в повести, отмечают достоинства произведения и критикуют его недостатки. Недавно такое обсуждение состоялось в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина. Оно привлекло широкую аудиторию: присутствовало более тысячи человек. Ниже публикуются отдельные выступления участников диспута.*

★

**Г. Мелехина** (студентка IV курса факультета языка и литературы).

Повесть Ю. Трифонова мы, студенты, прочитали с большим интересом. Она привлекает нас прежде всего своим содержанием. В ней показана наша студенческая жизнь. Изображён хороший студенческий коллектив, нарисованы образы живых людей.

Автор задался целью нарисовать образ советского студента, раскрыть борьбу старого и нового в нашем сознании, показать торжество коммунистической морали.

Мы считаем, что Ю. Трифонову удалось решить основную проблему своего произведения — раскрыть благородный облик советского студенчества, осудить проявление индивидуализма и мещанства у Сергея Палавина и Лены Медовской. Взаимоотношения Вадима Белова и Сергея Палавина нас волнуют и заставляют переоценивать многие свои поступки. Вадим проявил принципиальность настоящего комсомольца и друга в отношении к Сергею, он нашёл в себе силы обличить недостатки Палавина и указать ему правильную линию в жизни.

Автор правдиво раскрывает важную проблему — проблему советской этики и морали. Во взаимоотношениях Вадима, Лены, Ольги, Сергея, Вали и других своих героев он решает проблему любви. Здесь не всё нас удовлетворяет. Но постановка проблемы совершенно правильная. Ю. Трифонов утверждает, что два человека только тогда могут любить друг друга, когда есть не

только влечение, но и общие духовные интересы. У Вадима и Леночки разные интересы. Поэтому их любовь «не состоялась».

Хорошо показана также дружба Лагоденко и Сырых. Это типичная для нас дружба между студентами.

Ю. Трифонов правильно разрешает вопрос о взаимоотношении личного и общественного. Галустян говорит, что коллектив обязательно должен вмешиваться в личные дела, потому что личное и общественное у нас составляет одно целое.

Правда, у автора есть некоторая односторонность в обрисовке образов. Вот — Вадим. Автор много страниц уделил его характеристике. Мы верим автору, что Вадим хороший. Он честно относится к делу, к выполнению долга перед родиной, упорно учится, выполняет общественную работу, проявляет принципиальность в отношении к Сергею Палавину. Всё это хорошо. А образ воспринимается недостаточно отчётливо. Он всё же какой-то расплывчатый. Некоторые наши студенты даже утверждают, что этот образ схематичен. В нём нет живых черт наших лучших студентов, которые в жизни ярче, чем Вадим. Ю. Трифонов пожалел, что ли, красок для своего героя, или положительных героев труднее рисовать, чем отрицательных, но Вадим в повести получился менее выразительным, чем Сергей и Леночка.

Сергей Палавин и Леночка — отрицательные образы. Я не могу сказать, что таких студентов нет, но эти отрицательные

персонажи показаны лучше и больше, и мы верим в них больше, чем в Вадима.

Обратите внимание: Вадим — статичный образ, не развивающийся на протяжении повести, тогда как при обрисовке образов Козельского и Палавина были сделаны попытки к показу развития этих образов. Для произведения социалистического реализма обязательны динамика, развитие.

Повесть Ю. Трифонова жива и интересна. Автор обнаружил умение через типичные детали показать характерное явление, подчеркнуть индивидуальные черты героя.

Помните голос Сергея? Когда Сергей недоволен, голос у него меняется, становится скрипучим, противным. Запоминается карандаш в руках Вали, когда она зачёркивает имя Сергея и этим как бы вычёркивает его из своей жизни. Афиша, которая извещала об обсуждении повести Сергея, болталась на одном гвозде, и после того, как повесть Сергея была раскритикована, была брошена под роаль.

В повести яркий пейзаж. Особенно хорошо описана Москва, типичные приметы новой Москвы — картины метро, Красной площади, окраин.

Пейзаж блещет молодостью, искрится, он очень живой. У него радостные, светлые и сверкающие краски. Всё это создаёт бодрый, оптимистический, жизнерадостный тон произведения.

Язык повести хороший, простой, правильный. Повесть читается легко. В ней нет литературщины и витиеватости, часто свойственных молодым писателям.

Большинству студентов повесть понравилась. С нетерпением ждём мы новых произведений Трифонова.

**М. Шахунова** (студентка II курса факультета языка и литературы).

Ю. Трифонов в своём произведении решает большую и важную проблему — он как бы говорит нам о необходимости усилить борьбу с пережитками капитализма в сознании молодёжи. В этом отношении представляют большой интерес образы Сергея Палавина и Лены Медовской, в которых разоблачено проявление индивидуализма и карьеризма.

Сергей Палавин и Лена Медовская — это мещане, с которыми боролся, которых зло обличал Маяковский. Откуда же взялись в нашей среде эти мещане?

В повести хорошо показана роль семьи в воспитании советского человека. Отец Лены Медовской — заслуженный работник, передовой человек. Но мать — типичная мещанка с ограниченными интересами. Она-то и повинна в том, что Леночка растёт барынькой, не думает ни о чём, кроме своих личных интересов.

Мать Палавина тоже не передовая женщина. Собственно говоря, Сергей рос в ненормальной семье, она распалась. Это не могло не повлиять на Сергея. В своей будущей педагогической работе мы должны учитывать, какое большое значение имеет семья для воспитания советского человека в коммунистическом духе.

Мне хочется отметить поэтические места повести. Мне очень понравилось место, где речь идёт о Сталине, провожающем людей и в бой, и в будущую жизнь. Это нарисовано вдохновенно.

Автору удалась массовые сцены: картина субботника, физкультурное соревнование (игра в волейбол), встреча Нового года, заседание бюро комсомольской организации. Особенно правдиво нарисованы картины экзаменов. Когда читаешь об экзаменах, кажется, что это было с тобой, — так же, как с Вадимом, было в нашей группе, было с близкими товарищами.

**О. Шевелев** (студент II курса факультета языка и литературы).

В произведении Ю. Трифонова затронуты важные вопросы нашей жизни. Возьмите образ Сергея Палавина. В нём выражена целая проблема, которую можно разбирать на каждом комсомольском собрании, — группы, курса, факультета.

В нашей среде есть такие люди — на первый взгляд прекрасные общественники, отличники учёбы. Но подчас в них есть черты Сергея Палавина. Заслуга автора в том, что он показал, насколько сложно и трудно узнать такого человека, выявить его лицо. Мы можем обсуждать его поведение в узком кругу, мы можем не любить его. Но трудно общественно осудить его поведение, потому что внешне всё обстоит правильно. Сергей, как и Вадим, был в армии. В институте он активист, он отлично сдаёт экзамены, участвует в кружках, бойко выступает на собраниях, критикует других, ратует за успехи в учёбе. Но все его хорошие слова фальшивы, они — маска, за которой прячется лицо индивиду-

листа. Сергей не думает об интересах коллектива. Любую ситуацию он использует для личного выдвижения. Показательна в этом отношении речь Палавина об ошибках Лагоденко. По форме речь правильная, даже остроумная, а по существу — просто подлая. И Вадим правильно поступил, что разоблачил Сергея. Всё это хорошо показано в повести.

Однако в конце повести автор не смог во всей полноте показать процесс перевоспитания Сергея Палавина и тем самым ослабил художественное воздействие произведения. Ю. Трифонов пошёл по линии наименьшего сопротивления. Он вернул Сергея Палавина в коллектив и заставил исправиться. Конечно, такие люди исправляются. В этом и сила советского коллектива. Но ошибочно думать, что в жизни это происходит так просто, как произошло с Палавиным. Такие характеры, как характер Палавина, ломаются с большим трудом. А это не показано в повести.

Вообще конец повести скомкан. С Леночкой Медовской произошла удивительная метаморфоза. Мещанка, которую мы узнали в первой части повести, куда-то исчезла, и вместо неё появилась талантливая студентка, которая великолепно проводит уроки, всем нравится. Пытаться говорить, что Леночка хорошая, после того как её все узнали, это просто ошибка. Читатель не может изменить своего неприязненного отношения к Леночке, а писатель хочет во что бы то ни стало добиться этого, награждая Леночку положительными чертами. Здесь нет логики.

Показав, как оба отрицательных героя легко исправляются, автор помимо своей воли зачеркнул часть значительной работы, которую он сделал в начале повести, и конец её получился значительно слабее, чем мы ожидали по началу.

**Л. Маляцкий** (студент III курса географического факультета).

Я выступаю по поручению целого коллектива — третьего курса географического факультета.

Всем нам повесть Ю. Трифонова понравилась. Это одна из лучших повестей о студенческой жизни.

Но, как и большинство моих товарищей, я не совсем удовлетворён образом Вадима. В его поведении есть ряд противоречий, пусть и не очень резких, но недостойных

положительного героя. Его отношение к Леночке нельзя назвать целиком правильным. Если Вадим понял, что она, как член коллектива, — далёкий для него человек, он должен был не просто отойти от неё, а попытаться повлиять на неё, перевоспитать при помощи коллектива, как он это сделал в отношении к Сергею Палавину.

Да и в отношении к Сергею Палавину у него не должно быть столько колебаний. Автор заставляет Вадима узнать от Вали о грязных поступках Сергея, прежде чем выступить с критикой его, хотя Сергей своим поведением и ранее давал достаточно материала для критики. В жизни у нас комсомольцы более принципиальны в борьбе с недостатками, чем Вадим. Вадим должен был значительно раньше выступить с критикой недостойного поведения Сергея, чем он это сделал в повести.

**Т. Маргания** (студентка IV курса факультета языка и литературы).

Я тоже, как и все наши студенты, высоко ценю повесть Ю. Трифонова. Но я хочу сказать об одном существенном недостатке повести. Автор не показал специфику педагогического института. А он обязан был это сделать, поскольку взял героев для своего произведения из среды студентов педагогического института.

Мы не сразу делаемся учителями советской школы. Все знают, какой это трудный и сложный процесс — формирование нового советского педагога, воспитателя активных строителей коммунизма. Весь учебный процесс и общественная работа в педагогическом институте подчинены этой цели. Мы проходим специальные курсы по педагогике, изучаем методику преподавания русского языка и литературы, бываем на пассивной и активной педагогической практике, знакомимся с опытом лучших педагогов, составляем развёрнутые конспекты уроков, даём пробные уроки, волнуемся, допускаем ошибки, исправляем их под руководством методиста и преподавателей школы. Так происходит активное формирование советского педагога в стенах высшего учебного заведения. И не каждый способен быть педагогом. Прежде чем воспитывать учащихся, педагог сам должен быть воспитан во всех отношениях. У студента педагогического института должно быть призвание. А этого Ю. Трифонов не показывает, обходит молчанием, словно его



герои учатся не в педагогическом институте.

Ю. Трифонов даже не говорит, зачем и почему его герои пошли учиться в педагогический институт. Есть ли у них призвание быть педагогом? Будут ли они любить свою профессию и самозабвенно работать в школе, или будут чинушами? На протяжении повести герой ничего не говорит о почётной роли педагога в нашей стране.

Между тем в Вадиме, по всей вероятности, есть задатки хорошего педагога и воспитателя. Он много работает над собой, обладает выдержкой, непримирим к недостаткам, умеет влиять на других. У Вадима отец был педагогом, который высоко ценил Макаренко. Если бы Ю. Трифонов показал, что Вадим идёт в педагогический институт по призванию, а не по семейной традиции, то образ положительного героя значительно выиграл бы.

Совершенно непонятно, почему пошла Леночка Медовская учиться в педагогический институт. Только потому, что не могла поехать в консерваторию? А автор в конце повести делает упор на то, что у Леночки «педагогический талант». Он рисует пробный урок Леночки и показывает, как ученики любят красочность Леночки и её платье. А картина — фальшива. Одной красочностью и нарядами учащихся не покорить, хотя внешняя опрятность педагога имеет большое значение в педагогическом деле. Нужны прочные знания, педагогическое мастерство и вдохновение. Кто был на педагогической практике, тот знает, сколько сил, энергии и знаний нужно, чтобы дать хороший урок, довести до учащихся необходимые знания. Свою красоту ученикам не отдашь. А вот знание передать им педагог обязан.

Есть в повести и стилистические промахи, и просто ошибки. На одной странице автор пишет, что Леночка — блондинка, а через сорок страниц она шатенка. Начинающий писатель должен особенно внимательно относиться к мелочам, деталям.

**Б. Шульга** (студент IV курса факультета языка и литературы).

Несмотря на отдельные недостатки повести, автор сумел в ней правильно показать студенческую жизнь, изобразить характерные для этой жизни явления. Главный герой в повести Ю. Трифонова — это коллектив, который перевоспитывает лю-

дей. Основная черта студенческого коллектива — единство цели. Этой чертой определяется подлинная комсомольская принципиальность, крепкая дружба и широта интересов студентов.

Но коллектив советского вуза отнюдь не исключает индивидуальность — он развивает её. Автору удалось создать целую галерею индивидуализированных образов: Вадима, Лагоденко, Андрея, Оли.

Говорили, что в повести не совсем удачны положительные образы. Это неверно, образы названных героев превосходны. Автор задался целью показать не отвлечённые положительные образы, а образы конкретных живых людей. И он достиг этой цели.

Очень хорошо, что автор показывает людей с недостатками. Характеры у него даны в развитии. Разве характер Лагоденко не развивался? Разве под влиянием критики и самокритики этот человек не стал другим? Лагоденко я считаю не второстепенным, а важным образом. Вадим также растёт. И этот рост показан. Посмотрите, как изменилось у Вадима понятие о дружбе. Вначале он неверно понимал свою дружбу с Сергеем, не выступал с критикой его недостатков, а затем понял, что его представление о дружбе было ложным.

Неверны утверждения, что автор в конце повести прощает ошибки Сергея. Автор подчёркивает, что коллектив — могучая сила и может перевоспитать человека. Ю. Трифонов не говорит, что Сергей совершенно исправился. Он осуждает Сергея за то, что тот оторвался от коллектива. Мне кажется, что у Сергея будет ещё много ошибок, прежде чем он станет настоящим советским студентом.

В повести хорошо раскрывается значение борьбы с пережитками прошлого в сознании людей. В этом смысле представляет интерес образ профессора Козельского. Мне кажется, что Козельский выведен для того, чтобы подчеркнуть, что формализм и преклонение перед иностранщиной взаимно связаны. Автор показывает борьбу советского студенчества и профессуры против формализма и низкопоклонства перед западной культурой. Не может быть в нашей стране людей равнодушных к советской литературе, а Козельский относится к ней довольно презрительно.

Образ Козельского поучителен. Он обри-

сован более удачно, чем образ профессора Яхонтова в романе В. Добровольского «Женя Маслова». Роман Добровольского мне не понравился. Он искажает представление о жизни советского вуза. Профессор Яхонтов — это какой-то анахронизм. Яхонтов смеет в 1934 году утверждать, что философия Маркса для него не указ. И такого человека до 1948 года держат в университете. Это неправдоподобно. Таких профессоров и студентов, которых вывел Добровольский в своём романе «Женя Маслова», нет в действительности. Это плохая выдумка Добровольского, сделавшего шаг назад в показе жизни университета по сравнению с повестью «Трое в серых шинелях». В этом отношении повесть Ю. Трифонова и в идейном и художественном смысле противостоит роману Добровольского «Женя Маслова» и правдиво показывает жизнь советского вуза.

Я хочу обратить внимание на одну особенность автора — умение передать душевные переживания советского человека. Волнующе передаются переживания Вадима, когда он возвращается из армии в Москву, ходит по улицам столицы, посещает Третьяковскую галерею, любит метро. Эти эпизоды принадлежат к лучшим страницам повести.

Досадны некоторые небрежности автора. В шестой главе Вадим работает над рефератом «Белинский о прозе Лермонтова и Пушкина», а в следующей главе он работает над рефератом о Гоголе. Довольно неправдоподобно выглядит, что Вадим забывает то, что отец Сергея не живёт с семьёй. В педагогическом институте покамест четыре курса, у Ю. Трифонова же появляется пятый. Язык повести прост и ясен. Однако отдельные фразы звучат плохо. Нельзя говорить: «Он никогда не ел, не спал и даже не сидел на стуле». «Жизнь была увлекательной, лёгкой, похожей на кинофильм». Почему на кинофильм? Встречаются небрежные портретные характеристики: «Остроносое напудренное доброе лицо сорокалетней женщины». Автор неверно сочетает слова: «Студенческая жизнь сблизила друзей и укрепила их дружбой» и т. п.

И всё-таки я считаю, что повесть Ю. Трифонова — лучшее произведение о советском студенчестве, какое появилось в последнее время в печати.

**Е. Головин** (студент II курса Московского геолого-разведочного института).

Мне не понравилось, что вы, педагоги, как бы присваиваете себе эту книгу. Автор назвал её «Студенты», следовательно хотел говорить о студентах вообще. И в повести хорошо решены не частные, а общие вопросы. В этом её значение.

Возьмите такой важный вопрос, как отношение к труду, — вопрос, который так часто ставится в нашей литературе. Образ Вадима положителен прежде всего потому, что в нём раскрыто честное отношение советского студента к труду, к учёбе. Иное отношение к труду и учёбе у Сергея Палавина. Он пишет реферат только для того, чтобы блеснуть своими знаниями, выделиться, попасть в сборник, получить персональную стипендию. Такое отношение Палавина к учёбе автор решительно осуждает. И это очень важно. У нас ещё не переменились Палавины. С пережитками некоммунистического отношения к труду и учёбе надо неустанно бороться.

Эпиграфом к повести можно было бы поставить слова М. Алигер:

Пересмотри же кладь своей души,  
товарищ мой, и чужим ошибкам строгий,  
сам разберись, подумай и реши,  
что взять с собой, что бросить по дороге.

**А. Терман** (студент IV курса Медицинского института).

В повести есть серый образ медички Вали. Почему она медичка? Если профессия педагога имеет много специфических черт, то уж профессия врача имеет их ещё больше. Что есть в образе Вали от студента-медика или от врача? Ничего! Этот образ нужен в повести для более полного раскрытия образа Палавина, но сам по себе он ничего нового не привносит. Он имеет служебное значение. Но тогда совсем не нужно было выводить его в повести. Зачем отводить положительному герою второстепенную — по отношению к отрицательному — служебную роль?

**Л. Кишинская** (аспирантка факультета языка и литературы).

Мне кажется, что студенты педагогического института не собираются присваивать эту повесть и лишать студентов других институтов удовольствия читать её. Но если автор не знает жизнь педагогического института и не умеет показать в конкретном типичное, произведение теряет

свою ценность. Образ Вали (студентки и врача) получился невыразительным потому, что в наше время невозможно показать человека вне его конкретной жизненной деятельности.

Я хочу обратить внимание ещё на один недостаток, который имеется в повести. Ю. Трифонов не сумел показать коллектив профессоров и преподавателей. Козельскому противопоставит положительный образ профессора Кречетова. Но этому образу уделено меньше внимания, чем отрицательному образу Козельского. В результате более выразительным в художественном отношении и более разносторонне изображённым получился образ Козельского, а не Кречетова.

Односторонне в повести изображены аспиранты. Ю. Трифонов рисует только один образ аспирантки. Тем более мы вправе от автора требовать, чтобы образ был типичным. А этого нет. Выведен образ аспирантки, которая уверяет студентов, что нельзя противопоставлять своё мнение мнению преподавателя. Это какой-то сухой педант, далёкий от жизни и от литературы. У нас в институте совсем другие аспиранты. Молодые научные кадры — это будущее нашей страны. Аспирантура готовит теоретические кадры научных работников, способных бороться против Козельских. А по повести получается, что в наших институтах растут новые Козельские в юбках, какой дана эта аспирантка. Это — неверно.

Язык повести прост и ясен. Но иногда Ю. Трифонов допускает грубые бытовые выражения в авторской речи. То, что в обиходной речи звучит более или менее естественно, в литературном произведении производит зачастую впечатление искусственности. На меня произвело неприятное впечатление слово «шпаргалитё» и такие выражения, как: «между ними ничего не было», «проплясала мазурку» (мазурку не пляшут, а танцуют).

Итоги диспута подвёл доцент **В. Новиков:**

Прения, которые развернулись после выступления тов. Мелехиной, показывают, что мы имеем дело с новым явлением в советской литературе.

Теме коммунистического воспитания писатели начали в послевоенный период уделять более значительное внимание, чем это

было до войны. В печати появился ряд произведений, правдиво показывающих воспитание советской молодёжи в учебных заведениях («Университет» Г. Коновалова, «Трое в серых шинелях» В. Добровольского, «За Днестром» Л. Кабо и др.). Следует подчеркнуть, что тему воспитания молодёжи в учебных заведениях охотнее всего разрабатывают молодые писатели, впервые выступающие в литературе с крупными произведениями. Эти произведения основаны на личных впечатлениях, в них есть правда жизни. Авторы на основе личного опыта знают, какие вопросы более всего волнуют нашу молодёжь.

Г. Коновалов в «Университете» показал интеллектуальную сторону студенческой жизни, сосредоточив внимание на спорах вокруг вопросов о мировом значении русской революционно-демократической философии. В Добровольскому в повести «Трое в серых шинелях» удалось раскрыть характерную черту советского студенчества — его коллективизм и взаимную выручку. Л. Кабо в повести «За Днестром» показала процесс воспитания в коммунистическом духе молдавской молодёжи, освобождённой от иностранного ига.

Однако в разработке темы воспитания некоторые писатели допустили существенные ошибки. В. Каверин в своём романе «Открытая книга» использовал студенческую жизнь лишь как материал для создания замысловатой любовной истории своей героини. Формирование же характерных черт советского человека — то есть главное — не было показано в произведении. Вот почему читатель остался недоволен новым произведением В. Каверина. Неудачным оказался и новый роман В. Добровольского «Женя Маслова», в котором личная история героини вытеснила общественную жизнь и не позволила автору правдиво показать научную жизнь института. Образ героини оказался нетипичным.

Повесть Ю. Трифонова «Студенты» разрабатывает тему воспитания в послевоенной литературе. Ю. Трифонову удалось в своём произведении передать самое атмосферу студенческой жизни, обстановку учёбы, особенности взаимоотношений студенческого коллектива. Изображено это в запоминающихся картинах и образах. Борьба с пережитками капитализма в сознании студенчества, борьба за коммунистическую

нравственность, составляющая основу повести, — не просто публицистически декларирована, а художественно выражена в образах, имеющих конкретную форму.

Оценив высоко повесть Ю. Трифонова, мы в то же время обязаны обратить его внимание на недостатки, которые имеются в произведении.

Жизнь педагогического института значительно богаче, многообразнее, идейно выше и ярче, чем это изображено в повести.

Мы ждём от писателей произведений, в которых вузовская жизнь была бы представлена во всём многообразии. Мы хотим, чтобы писатели нам нарисовали такой образ студента, который воплощал бы в себе характерные черты нового человека периода перехода от социализма к коммунизму и был бы героем нашего времени.

Между тем образ Вадима Белова в художественном отношении менее выразителен, чем образ Сергея Палавина. Вадим не имеет ярко выраженного индивидуального облика. В нём хорошо переданы общие, типичные для советского студенчества черты: трудолюбие, принципиальность, честность, высокая нравственность и по отношению к товарищам, и по отношению к любимой девушке, и по отношению к родителям. Но типичный образ должен иметь индивидуальный облик. Придать Вадиму индивидуальный облик Ю. Трифонову в полной мере не удалось. Отсюда некоторая неопределённость этого образа.

Автор напрасно не воспользовался для создания индивидуального облика Вадима тем материалом, который давала ему специфика учебного заведения. Вадим учится в педагогическом институте. Профессия педагога — почётная и ответственная в нашей стране. В. И. Ленин указывал, что учитель в СССР должен стоять на такой высоте, на какой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе. Чем быстрее мы движемся к коммунизму, тем актуальнее и важнее становятся вопросы коммунистического воспитания, тем ответственнее и выше роль педагога, воспитателя. Вадим не случайно выбрал своей профессией педагогическое дело. А пафос этого призвания не раскрыт в образе Вадима, как он не раскрыт и в других образах. Правильно говорила тов. Маргания, что специфика педагогического института не отражена в повести. Это

обеднило в известной степени положительный образ повести.

Вопрос о специфике профессии надо было решать в этом направлении. В конкретном, частном должны быть раскрыты общие, типичные черты советского студента.

Сочетание типичного и индивидуального больше удалось в образе Сергея Палавина. Характерные черты, присущие карьеристу, раскрыты в образе, имеющем индивидуальный облик. Поэтому образ Сергея Палавина запоминается. Точка зрения тов. Шевелева на этот образ правильная. Верно также замечание, что конец повести Ю. Трифонова скомкан. Процесс перерождения Сергея Палавина не показан.

В повести не мотивировано также превращение Леночки Медовской из мещанки в «талантливую педагога». Вместо того чтобы произвести общественный суд над мещанскими чертами Леночки, позорными для советского студента, автор просто снял с повестки дня этот вопрос и тем самым разрушил образ, который был задуман оригинально.

В повести хорошо, как говорится — без нажима, показан процесс разочарования Вадима в Леночке. Читатель вместе с Вадимом убеждается, что Медовская не тот человек, которого стоит любить. Зачем же в конце повести заставлять других героев повторять ошибки Вадима и влюбляться в Леночку, словно лучше неё нет никого на свете?

Все эти недостатки автор может и должен исправить, работая над книгой для отдельного издания. Тов. Мелехина говорила об умении автора давать типичные детали и через них характеризовать образ. Однако в произведении встречаются и ошибки в деталях, например, в производственной терминологии. В главе 21-й встречается непростительная погрешность, на которую стоит обратить внимание и автора и редакции. Автор рисует, как Вадим в морозный зимний день приехал к Андрею Сырых на дачу кататься на лыжах. Вадим основательно промёрз ещё на стоянке, напрасно ожидая Леночку. Автобус весь был покрыт морозным инеем. И вдруг такая деталь: Андрей чинит калитку и встречает Вадима «радостным мычанием — в зубах у него были зажаты гвозди». Взять в рот гвозди на сильном морозе — это всё равно, что

взять расклеванные углы. Молодой автор должен особенно внимательно следить за правдивостью деталей, чтобы не допускать ошибок. Об этом неоднократно напоминал великий Горький.

В целом же повесть «Студенты» заслуживает положительной оценки.

Пожелаем автору успехов в его дальнейшей творческой работе.

В заключение диспута выступил Ю. Трифонов:

Сегодняшнее обсуждение доставило мне большое удовлетворение и принесло большую пользу.

Я начал писать свою повесть на пятом курсе Литературного института при Союзе советских писателей, где я учился. Много я видел и в нашем институте людей, которые похожи на главных героев моей повести. Но Литературный институт имени М. Горького мало типичен для обычного вуза. Писать о студенческой жизни Литературного института не имело смысла. Но тема меня волновала, я видел характеры. Я стал искать, куда «пристроить» моих героев. И решил взять литературный факультет педагогического института: здесь я мог использовать литературную специфику, с которой познакомился в нашем институте.

Но в педагогическом институте я не учился. Жизнь педагогического института я знал мало. Упрёки, которые были здесь мне сделаны в этом отношении, справедливы. Я не смог в полном объёме показать специфику педагогической подготовки студентов, специфику жизни педагогического института. И дело здесь не в том, что я считаю работу педагога не интересной, а в том, что я был недостаточно знаком с жизнью педагогического института, недостаточно её изучил.

Есть ли прототипы героев моей повести? Прототипов, абсолютно похожих на Лёну, на Палавина, на Козельского, нет, но я

встречал людей, очень похожих на них. Я наблюдал их в жизни, изучал их. Таким образом складывались характеры моих героев.

Насколько они оказались типичными, пусть судит читатель. Ваше мнение в этом отношении имеет решающее значение.

Я учился на последнем курсе, когда из нашего института были изгнаны несколько профессоров за проповедь формализма и космополитизма. Они во многом послужили мне основой для создания образа Козельского. Однако, увлечшись обрисовкой Козельского, я мало уделил внимания положительному образу профессора Кречетова, который дан у меня бегло. Это моё упущение. Упрёк, который мне здесь делался в этом отношении, справедлив, и я его должен принять.

Вопрос о статичности героев. Развитие образа — это, конечно, необходимый элемент всякого художественного произведения. В той или иной мере, мне кажется, это у меня есть. Но события в повести занимают отрезок времени меньше учебного года — с ноября по май. Особенно большое развитие характеров за такой период мало вероятно.

Тов. Кишинская недовольна эпизодическим образом аспирантки. Мне кажется её возражение неубедительным. Таким же мне кажется выступление товарища из медицинского института, который сказал, что я дискредитировал медицину в образе Вали. Выходит, если ты даёшь отрицательный образ, то необходимо давать ему тут же положительный противовес. Это неправильно и примитивно.

Я не ставил себе задачей отразить во всей полноте студенческую жизнь. Я нацелился на одну моральную проблему и попытался её решить.

В заключение мне хочется поблагодарить выступавших товарищей и аудиторию за очень интересное, много давшее мне обсуждение.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Софронов.** Стихи и песни Платона Воронько.— **Ю. Лукин.** Повесть о человеческих сердцах.— **Р. Вяткин.** Стихи рабочих и крестьян Китая.— **Н. Капиева.** Певец счастливого Дагестана.— **Б. Галанов.** Надуманный конфликт.— **А. Алексеева.** Всепобеждающая жизнь.— **С. Евгений.** Свежий голос.— **М. Козьмин.** Новый вклад в советское пушкиноведение.— **Л. Светлов.** Содержательное исследование.— **П. Максимов.** Пиррова победа.

### БОРЬБА ЗА МИР. ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

**В. Кузьменко.** Польские крестьяне на Украине.— **П. Виноуров.** Книга о февральских событиях в Чехословакии.— Кандидат исторических наук **Е. Черняк.** Журнал поджигателей войны.— **М. Гречев.** Крах политики аргентинского диктатора.

### ПРАВО

Кандидат юридических наук **В. Покровский.** Новое исследование о Русской Правде.

### ТЕХНИКА

**С. Морозов.** Успехи советской кинотехники.

### ФИЗИКА

Кандидат исторических и технических наук **С. Раппопорт.** Журнал советских физиков.

### ГЕОГРАФИЯ

Кандидат географических наук **М. Буяновский.** Песчаные пустыни Северного Приаралья.

### БИБЛИОГРАФИЯ

**Н. Мацуев.** Ценный справочник о деятелях русской культуры.

## Литература и искусство

### Стихи и песни Платона Воронько

**В** годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы всё чаще на Украине и в московских журналах и газетах стали появляться стихи Платона Воронько. Молодой поэт, прошедший Великую Отечественную войну в партизанских соединениях Ковпака, сумел в своих произведениях отразить думы и мечты советских людей, сражавшихся за свободу и независимость своей Родины.

Благородные традиции украинской народной поэзии, поэзии Тараса Шевченко и Леси Украинки, пронизывают брызжущим, неиссякаемым оптимизмом и верой в человека стихи Платона Воронько.

**Платон Воронько.** «Доброе утро». Перевод с украинского. Редактор **А. Прокофьев.** «Советский писатель», Л. 1950.

Книга его стихов «Доброе утро» радует своей глубокой лиричностью, умением выразить в стихах народные думы, талантливой передачей народной речи.

Книга стихов П. Воронько на русском языке вышла в переводах **А. Прокофьева**, **В. Рождественского**, **В. Шефнера**, **Н. Брауна**, **М. Комиссаровой**, **С. Васильева**, **А. Чивилихина** и др. И тем не менее книга, за исключением некоторых мест, получилась цельной, с единым голосом. Это тем более отраднo, что, к сожалению, у нас ещё нередко выходят книги, над которыми работают десятка два переводчиков, каждый из которых «переводит» поэта на свой лад. И когда читатель встречается с такой книгой, он недоумевает: одного поэта он читает или сборник нескольких поэтов?

Основой книги Платона Воронько, её главной идеей является дружба русского и украинского народов. Эта мысль проходит через все стихи сборника. Особенно знаменателен в этом отношении цикл «Лирическая Москва».

Когда я в Киеве весеннем  
Часов кремлёвских слышу бой,  
Оттуда, где трудился Ленин,  
Где Сталин,  
Мудрый и родной,—  
Кремль предстаёт передо мной.  
Свет звёзд кремлёвских вижу в водах  
Ночного синего Днепра,  
Их свет горит для всех народов,  
Как символ счастья и добра.  
Спасибо же, Москва родная,  
За то, что светел Киев мой,  
Что мир от края и до края  
Твоею озарён звездой,  
За то, что мы живём и строим,  
Нужды не зная и невзгод,  
Что, незнакомые с покоем,  
Спокойно мы глядим вперёд.

(Перевод В. Шефнера)

Стихотворения цикла «Лирическая Москва» небольшие по количеству строк, но каждое из них несёт какую-то особую, действительно лирическую примету нашей Москвы. Здесь и Москва военная, и Москва победная, праздничная, здесь и Москва трудовая.

Платон Воронько умеет выразительно показать любовь наших людей к Москве. Это он делает, например, в стихотворении «Всё это — Москва»:

Слепая девочка, чтоб ей могли помочь,  
Летит в Москву из-под Тувы далёкой,  
Былинка малая. В глазах всё ночь.  
И нет исхода ночи той глубокой.  
Она от страха плачет и дрожит,  
Перед врачом в палате светлой сидя.  
Слепая девочка в кровати спит.  
Глаза открыла...  
Посмотрела...  
Видит!  
«А как зовётся то, что там шумит?» —  
Дитя проводит ручкою живую.  
Хирург сказал, задумавшись на миг:  
«Всё это называется Москвою».

(Перевод А. Островского)

Мужественные стихи первого цикла книги «Во имя светлой дали» с большой силой повествуют о днях войны, о буднях партизана-минёра.

Стихотворение, открывающее книгу, — «Я тот, что рвал плотины» — как бы возвращает читателя к жестокой, суровой действительности военных лет.

Да, я плотины рвал,  
Я не скрывался в скалах,  
Когда дубы валились под грозой.  
Лесная чаща надо мной склоняла  
Густые ветки; жёлтою листвою  
Укрытый, я лежал под партизанским  
кровом,  
И кровь текла по капле сквозь бинты,  
А лесовик склонялся седобровый  
И спрашивал:  
«Ты все взорвал мосты?..»

(Перевод М. Комиссаровой)

Такие стихи, как «Партизанская мать», «Руднев», «Старик галичанин искал всюду сына...», «Не ищите могилы его на земле...», «В виннице», являясь страницами дневника поэта-партизана, далеко выходят за пределы его личной биографии. Но вместе с суровостью, поэт умеет наполнить свои стихи нежностью и лаской, всеми переливами богатой души советского человека. Это является большим достоинством стихов П. Воронько.

Жажда труда, желание работы, созидания уже на другой день после войны — всё это ярко изображено в стихах цикла «На другой день».

Вот так и ты, любимый друг,  
Кузнец иль плотник ты,  
Точи топор, бери терпуг,  
Шагай — зовут мечты.  
Трудом прославишь добрый род,  
Услышишь похвалу.  
Шагай, где речка — прямо вброд,  
Скала — через скалу!

(Перевод Б. Лихарёва)

В стихах этого цикла описаны бывшие солдаты, собратья кузнеца из стихотворения «Сталь», который «разрубил снаряд и раскатал металл по наковальне... И стала плугом гибельная сталь под крепкими и умными руками».

Удачно в этом цикле стихотворение «Добрый день». Поэт рассказывает о посещении Гори:

Нам дорога незнакома,  
Но укажут все  
Путь до сталинского дома  
В солнце и росе...  
Эхо песен докатилось,  
Расступилась тень.  
В этом домике родилось  
Солнце.  
Добрый день!

(Перевод Л. Хаустова)

В книге опубликованы две поэмы. Одна из них «Из Неметчины в Чернетчину» (перевод С. Васильева) повествует о девоч-

ке Катрусе, возвращающейся из фашистского плена к себе на родину. Эта поэма, написанная в прекрасных традициях украинской поэзии, является украшением сборника «Доброе утро». В ней особенно ярко сказался талант поэта, его умение использовать народную речь, любовь к ней и глубокое её понимание.

Возвращается Катя к себе на родину, и встречает её советские танкисты:

Видят: девочка шагает  
От села,  
Командир глядит, вздыхает.  
«Ой, мала!..  
Откуда ты?» —  
«С Неметчины». —  
«Куда идёшь?» —  
«В Чернетчину». —  
«А как зовут?» —  
«Катрусею». —  
«А мамка где?» —  
«С бабусею...»

Поэму хочется цитировать целиком. Вот Катя уже в своём селе:

Побежала Катя к школе  
Вдоль села.  
Лишь обугленные колья  
Да зола.  
Дальше хата изувечена  
Была.  
«И такая мне Чернетчина  
Мила!..»

В этой маленькой поэме Платон Воронько с большим чувством поведал о судьбе украинской девочки, о её большой любви к Родине.

Широкую картину борьбы молодёжи и комсомольцев Украины с фашистскими захватчиками нарисовал П. Воронько в поэме «Райком комсомола» (перевод А. Чивилихина).

Написанная свободным и одновременно мелодичным разговорным языком, эта поэма повествует о простых украинских юношах и девушках: Ярине и Олене, Миколе и Павле. В поэме хорошо показаны руководители украинских партизан Ковпак и Руднев. Поэма рассказывает о том, как подпольный райком комсомола, выполняя задание штаба партизанских отрядов Ковпака и партийной организации, вёл борьбу в тылу у фашистских оккупантов. Погибает один из героев поэмы Микола:

Лежит его тело  
На поле сухом.  
И серые гуси, на юг улетаю,  
Его окликают, свой край покидая,  
А он не ответит — он вечным спит сном.  
Кукушка столетью ему прокукует,  
А девичье сердце, всё зная, тоскует,  
Что он никогда не вернётся в свой дом.

Окончание поэмы напоминает заключительные строки прекрасной поэмы Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом»; и совпадение это не случайное — поэтов роднит единое чувство, единая идея:

Светила луна. Небеса голубели.  
Сады расцветали,  
И флаги шумели.  
И песня  
Полесья  
Звучала у дола,  
Где ярко сияло —  
«Райком Комсомола».

Так же, как и поэма «Из Неметчины в Чернетчину», поэма «Райком комсомола» свидетельствует о поэтической зрелости Платона Воронько. Поэт хорошо чувствует слово, умело пользуется музыкальными, внутривстрочными созвучиями:

И ночь подошла.  
И была, как смола,  
Та мгла,  
Что осенний простор залила.

Несколько слов следует сказать и о песнях Платона Воронько.

К сожалению, несмотря на песенный строй всей поэзии П. Воронько, сами песни его мало запоминаются. Пожалуй, лучшей из них является «Харьковчанка» (перевод А. Прокофьева). То, что в стихах П. Воронько приобретает реальный образ, в песнях растворяется в общих словах. Некая традиционность формы, присущая, например, «Песне старого ветерана» или песням «Два брата солдата» и «Конь вороной», не даёт возможности ощутить те новые особенности нашей жизни, которые обязательно должны быть отражены в любой современной песне. Обычно песня остаётся жить только тогда, когда поэт умеет рассказать в ней о своём времени своими словами.

Стихи Платона Воронько свидетельствуют о том, что поэт стоит на правильном пути. Книга «Доброе утро» прочно войдёт в современную советскую поэзию.

**А. СОФРОНОВ.**



## Повесть о человеческих сердцах

Действие новой повести Е. Катерли «Бронзовая прялка» происходит на большом, одном из старейших в Ленинграде, заводе «Машиностроитель», выпускающем станки для различных отраслей промышленности. У героев повести, рабочих и инженеров завода, возникает принципиальный спор. Начальник инструментальной Моносов, чинуша, противящийся всему новому в жизни коллектива, посмеивается над теми, кто, по его словам, готов превратить завод чуть ли не в ясли. Моносов считает, что эти люди возлагают на завод совершенно несвойственные ему задачи: растить кадры, возиться с ремесленниками, ломать головы над «машинами будущего». Он убеждён, что завод — это только промышленная единица, и его задача — лишь выпускать продукцию. Горячо возражает Моносову конструктор Настасья Николаевна, настоящий советский интеллигент. Она говорит:

«— Это может у Форда завод только промышленная единица, а у нас завод — это всё. Это и учебное заведение. И научно-исследовательский институт. И ясли, если вам угодно! Для советского человека, работающего на заводе, завод — это его жизнь...»

Её поддерживает старый рабочий Андрей Андреевич. Он тоже считает, что завод — это вся жизнь человека. Да не одного, а тысяч. Ясно понимает это и директор завода Костромичев. Он знает, что на нём лежит ответственность не только за выпускаемую продукцию, но и за людей, которые на заводе работают.

Спор разгорается в связи с борьбой за осуществление одного рабочего предложения и, раскрывая тему книги, тесно связан с движущей основой её сюжета.

Сюжетная канва повести — история проекта «бронзовой прялки». Под таким названием поступили на завод чертежи новой ватерной машины, которая поможет намного облегчить и ускорить труд рабочих-текстильщиков. Чертежи присланы мастером Н. И. Коваль с волжской полотняной фабрики, которая по отношению к заводу является предприятием-«потребителем». Но

чертежи требуют основательной доработки; кроме того, многие сотрудники завода поглощены работой над большой машиной — автоматом для искусственного шёлка, который изобрёл главный конструктор Митрофанов. В результате предложение волжского рабочего долгое время пролежало без внимания. После напоминания автора Митрофанов, чувствуя угрызения совести, поручил разработку проекта работнику конструкторского бюро Настасье Николаевне и молодому конструктору Владимиру Афанасьеву. Создалась группа энтузиастов, с жаром отстаивающая проект новой машины. Была сформирована «комплексная бригада», куда вошли конструкторы, общественный консультант — молодой учёный Озеров, рабочие, изготовлявшие опытные детали. И дело, несмотря на сопротивление консерваторов и скептиков, доводится до конца. Выпустив шёлковую машину Митрофанова и «бронзовую прялку», изобретённую на Волге и радикально усовершенствованную работниками завода, коллектив уже готовится к разработке нового рабочего рационализаторского предложения, касающегося машин для табачных фабрик...

Так, в постоянном движении вперёд, в напряжённом и радостном ритме показана жизнь завода.

Автор, вдумчиво вглядываясь в жизнь, в своих героях, сумел показать интересные — живые и разные — характеры в их развитии, в преодолении ими реальных жизненных трудностей.

Симпатию вызывают образы Александра Васильевича Костромичева и Ивана Яковлевича Митрофанова. Вся биография Костромичева тесно связана с послереволюционной историей завода, с ростом завода, на котором ветераны всё ещё зовут директора по старой памяти Сашей Костромичевым.

Много изменений произошло в жизни завода, и нынешний директор знает историю каждого кадрового рабочего, знает, с чем приходил на завод каждый новый, молодой член коллектива. Он любит огромную заводскую семью, старается помочь каждому человеку в его росте.

У Костромичева живая, рвущаяся к работе и к знаниям, деятельная натура. Его активная любознательность, стремление

всё увидеть и всё узнать изрядно мучают во время поездки в Москву флегматичного и любящего спокойный комфорт Константина Сергеевича Шварца — главного инженера.

Ивана Яковлевича Митрофанова рабочие любовно называют «главным мастером» — столько у него знания, дела, производственной рабочей закалки, столько души он вкладывает в создание новых машин.

Писательница стремится проникнуть в психологию своих героев, показывая, что в них самих помогает их росту и что мешает этому росту, что меняется, что исчезает в их характерах, в их сознании под благотворным воздействием трудового социалистического коллектива.

В большом коллективе немало, конечно, людей, которые совершают те или иные ошибки, — у одного они больше, у другого меньше. Иногда они могут стать тормозом на пути общего движения вперёд, но коллектив всегда во-время, зыскательно и чутко помогает человеку выправиться, осознать существо своих ошибок и снова включиться в общий строй. «Наше общественное бытие организовано так, что новое, передовое всегда победит», — этой мыслью проникнута книга Е. Катерли.

Смело показывает автор ошибки и заблуждения своих героев. И показывает, как люди преодолевают свои ошибки, трудности роста; как иногда и хорошим людям всё же не хватает каких-то нужных качеств, и тогда их «дополняют» в общей работе, поправляют другие. Так живёт коллектив.

В борьбе за «бронзовую прялку» не всегда правильную позицию занимали и Митрофанов, и Костромичев, не говоря уже о Шварце. Но в дальнейшем и они вкладывают всю душу, весь темперамент в это славное дело. Горячим вонителем за «бронзовую прялку» становится Настасья Николаевна. Вначале у неё никак не лежало сердце к этой работе, пока она не поняла, какая благородная идея заложена в письме рабочего изобретателя и как нужна ему квалифицированная помощь.

Читатель видит не схематично разграниченные и персонифицированные положительные и отрицательные качества, а людей, развивающих в себе и в других всё лучшее, исправляющих свои и чужие недостатки.

Весь вопрос в том, какова природа этих недостатков. Одно дело Чернов: «Вот и молодой, и специалист, и вырос в нашем советском обществе, а мыслит и ведёт себя, как чинуша. Откуда это?» И другое дело — Митрофанов: «Если бы он забыл об этом предложении во время войны, во время работы над срочным фронтovým заказом, он не чувствовал бы таких угрызений совести. Но, оказывается, интерес к собственному изобретению настолько поглотил его, что работа другого человека оказалась в забросе».

Ещё нагляднее проявляется отношение автора к своим героям в разработке ведущей темы книги — темы коммунистического воспитания.

Работница Мария Михайловна Волкова воспитывала своих дочерей так, чтобы их юность ничем не напоминала её собственную горькую юность и юность её сверстниц, росших «при Николашке». Она гордилась красавицами-дочерьми, гордилась тем, что они растут, как «барышни». А оказалось, что выросли они легкомысленными, не приспособленными к жизни в трудовом коллективе. Сам завод впоследствии взял в свои руки их судьбы и перевоспитал девушек.

Но оказалось и другое: при всём различии характеров Марии Волковой и Александра Костромичева, директор, заботясь о большой заводской семье, совершал ту же ошибку, что и Мария Волкова. Он тоже склонен был «жалеть» хороших людей, прощать им многое, примиряться с их недостатками. На эту ошибку указывает Костромичеву в жёстком, суровом разговоре секретарь заводского парткома Морозов. Он требует не «жалости» к людям, а высокого доверия и требовательности. Он хочет, чтобы человек давал себе и коллективу строгий отчёт в своих поступках и отвечал за свои ошибки. Такая любовь к человеку не оскорбительна, не принижает его, а, наоборот, раскрывает его душевные силы, помогает ему поверить в себя, найти самого себя в общем труде.

Много думает Морозов о том, «как велика, как многогранна жизнь человеческая и как важно, чтобы те, кому положено руководить помыслами, чувствами, сердцами людей, умели правильно понять эти сердца!»

Морозов предъявляет себе строгий счёт: он считает, что если есть в коллективе

хотя бы один человек, на которого он не смог бы полностью положиться, значит в этом доля и его вины как руководителя, от которого требуется забота о всех и о каждом, — человека, поставленного на трудную и чрезвычайно сложную, благороднейшую работу по воспитанию людей в коммунистическом духе.

Все лучшие начинания завода связаны с участием в них секретаря парткома Морозова. Это умный, волевой, собранный человек. Свежесть его ума и талантливость раскрываются не только в делах производственных, но и в том, как готовит он с молодёжью комсомольскую читательскую конференцию, в беседах с Черновым, с молодым литейщиком Игорем Рыжовым. И заслуга писательницы в том, что ей удалось показать, какие бесценные качества раскрывает в человеке партийная работа. К Морозову целиком могут быть отнесены слова, которые сказаны по адресу секретаря цехового партийного комитета Гончарова: сколько лет был инженером, а настоящий талант раскрылся в нём только теперь. И люди лишь удивляются, почему это они не замечали раньше, какой это великолепный человек.

Но там, где автор как бы начинает сомневаться в увлекательности материала, согретого дыханием самой жизни, он привносит досадные элементы искусственной драматизации, чувствительности, а то и просто литературщины. Так, стремясь пробудить к Костромичеву осуждаемое самой писательницей чувство жалости, она укладывает его внезапно в постель, заставляет бредить и в полубреду вести с молодёжью разговор о делах завода. Читатель и без

этой болезни, ничем не мотивированной с точки зрения развития повествования, достаточно хорошо и сочувственно относится к Костромичеву.

Неполно раскрыты такие благодарные для писателя образы, как Юля Незнайко, Фёдор Бондаренко — представители двух поколений рабочих-новаторов. Это заметный пробел в книге. Да и Гончаров пока служит как бы лишь вспомогательной фигурой, долженствующей более выпукло показать Морозова.

Для того уровня, на каком написана повесть, мало подходит шаблонный трюк в конце книги, когда оказывается — после ряда сбивающих читателя авторских ходов, — что мастер Н. И. Коваль, которого Митрофанов представлял себе, как старичка, на самом деле — женщина, Нина Коваль. Заезженный трюк с обыгрыванием неопределённого окончания фамилии выглядит как вовсе ненужное «олитературивание» материала.

Не всюду сохраняется сюжетное напряжение в повести. Иногда автор сбивается на риторику. Есть погрешности и в языке.

Недостатки не могут не резать глаз в этой хорошей, сердечной книге, которая привлекает внимание к важным жизненным вопросам.

Книга говорит о том, какая «большая это радость — свободный труд. Нет радости, равной ей по глубине и чистоте. Поэтому и сворачивает он горы, прокладывает каналы через пустыни, засаживает лесами степи, заставляет цвести советскую землю...».

Ю. ЛУКИН.

★

## Стихи рабочих и крестьян Китая

Литература освобождённого Китая переживает период бурного творческого роста. Победа китайского народа и вызванные ею исторические преобразования в

«Гантедышоу». («Стальные руки». Сборник стихов рабочих Северо-востока). Мундем, 1949.

«Гунжэньшисюань». («Сборник стихов рабочих», под редакцией Вэнь Цю). Шанхай, 1949.

«Цзяньла Маочжуси цингэань». («Увидишь председателя Мао, передай ему привет». Сборник народных песен и стихов. Составлен Цзун Сянем). Чанчунь, 1949.

городе и деревне открыли перед китайской литературой необычайно широкие перспективы. Она становится подлинно народной литературой, отражающей думы и чаяния творцов новой жизни — рабочих и крестьян Китая. Виднейшие поэты Китайской Народной республики Ай Цин, Го Мо-жо, Тянь Цзянь. Ли Цзи посвящают свои произведения народу-победителю, пишут на близкие и понятные широким массам темы. Ярким свидетельством продолжающегося подъёма народной литературы в Китае служит приход в литературу рабо-

Чих и крестьян, появление рассказов и стихов, написанных рабочими Мукдена и Шанхая, Цзинани и Уси, крестьянами ряда провинций.

В течение ряда лет газеты освобождённых районов, а ныне газеты всего свободного Китая печатают не только статьи и корреспонденции, но и очерки, рассказы, стихи и поэмы своих многочисленных рабочих и сельских корреспондентов. В последние годы стали появляться целые сборники стихов и песен, созданные китайскими трудящимися.

Эти сборники содержат более сотни стихов и песен на самые различные темы. Их авторы — текстильщики, железнодорожники, слесари, кочегары, рабочие многих других профессий, крестьяне. Поэты славят освобождение своей Родины, подвиги бойцов и командиров Народно-освободительной армии, коммунистическую партию Китая и её вождя Мао Цзе-дуна, воспевают радость свободного труда.

Особое место в творчестве народных поэтов Китая занимают произведения, посвящённые великому вождю народов И. В. Сталину, нерушимой дружбе китайского и советского народов. Чувствами любви и уважения китайского народа к товарищу Сталину проникнуто стихотворение рабочего Чжао Чэн-сян «Сталин, живи вечно!», посвящённое 70-летию великого вождя (стихи опубликованы в журнале «Дунэйхуабао».)

Генералиссимус Сталин, столетия живи!  
Генералиссимус Сталин, ты — солнца  
светлей!  
Генералиссимус Сталин, ты — счастье  
земли,  
Генералиссимус Сталин, ты — мира оплот!  
Генералиссимус Сталин — надежда людей!

Да! Лишь с тобой рабочий класс окреп  
и силы накопил,  
Да! Лишь с тобою ленинизм во все концы  
земли проник.  
С тобою свет кремлёвских звёзд все  
страны мира озарил.  
Да, лишь с тобою будет мир незыблем,  
прочен и велик!  
И все народы на земле навеки счастливы  
с тобой!

С тобою стала крепче всех, твоею  
мудростью сильна,  
Руководимая тобой непобедимая страна.  
С тобой шагает молодёжь путями  
светлыми — вперёд,

С тобой окрепли страны те, где нынче  
властвует народ,  
И всё сильней борьба за мир, которую  
возглавил ты!  
Примером подвига для нас — твой путь  
борьбы, твой путь побед,  
Мы поздравляем в этот день тебя, Вождя-  
большевика!  
Будь крепче стали — на года, на тысячи  
грядущих лет!  
Вся жизнь в тебе воплощена. Любимый  
наш, живи века!<sup>1</sup>

Рабочая поэзия, представленная в сборниках, родилась в огне гражданской войны, развязанной американскими агрессорами и их гоминдановскими слугами. Стихи писались близ переднего края, в тылу, в цехах, занятых производством вооружения для победоносно наступающей Народной армии. Много стихов посвящено Народно-освободительной армии и её победам. Среди них коллективное произведение рабочих швейной фабрики — «Бойцам, перешедшим Янцзы», призывающее к сплочённым усилиям фронта и тыла в деле окончательного разгрома врага.

Помогая бойцам, перешедшим Чанцзян,\*  
Мы сегодня письмо посылаем друзьям.  
Грозным шквалом, всю нечисть сметая  
с земли,  
Наши славные воины к югу прошли,  
И с надеждой внимают раскатам грозы  
Наши братья, томясь далеко за Янцзы.  
А на фабрике нашей и ночью, и днём  
Мы одежду героям без устали шьём,  
Чтоб скорее дошла к полосе фронтовой  
И согрела солдата, идущего в бой.  
Нехватает рабочих — две смены стоим,  
Шьём на славу шинели героям своим.

Вы, на юг уходя от речных берегов,  
Навсегда уничтожьте проклятых врагов,  
Завоййте свободу и мир для земли,  
Чтобы добрые люди покой обрели.  
И когда вы на фронте идёте вперёд,  
Знайτε — силы в труде напрягает народ,  
Вместе с армией нашей, не знающей сна,  
Чтоб скорее свободною стала страна.

Ведущей темой стихов китайских рабочих является тема созидательного, творческого труда на благо народного государства. Чувство радости от сознания, что наконец настало время, когда народ может работать не на кучку эксплуататоров, а на себя, хорошо выразил рабочий текстильной фабрики Сюй И-сю в своей «Песне производству».

<sup>1</sup> Все цитируемые в статье стихи переведены М. Соболев.

\* Чанцзян — второе название реки Янцзы. (Примечание переводчика.)

Вместе с солнцем рабочие люди встают  
И спешат на любимый завод.  
Стал навеки свободным и радостным труд,  
Стал хозяином жизни народ.

Прав составитель сборника, изданного в Мукдене, говоря в предисловии, что собранные стихи «дают возможность увидеть, насколько величественны творческие силы рабочего класса. А они стали такими потому, что сама жизнь рабочих насыщена величием, поэзией, творчеством, причём творчеством великим и безыскусственным».

Следуя великому примеру рабочего класса Советского Союза, китайские рабочие всё шире развёртывают трудовое соревнование на своих фабриках и заводах. Стихи повествуют о первых успехах этого соревнования, о том, как рабочие сверхурочно, своими силами и средствами, восстанавливают паровозы, пускают в ход ткацкие станки и т. д. Рабочий Ци Син-фэй описывает встречу с героями труда:

Первый наш паровоз мы назвали «Нанкин»,  
Он поехал на юг, за Янцзы, в Гуйлинь.  
А потом мы назвали «Образцовым» второй —  
Он правительством был награждён, как  
герой,

И с почётного съезда обратно привёз  
Делегатов — героев труда — паровоз.  
Их встречала рабочая наша семья,  
Были в новую форму одеты друзья.  
Чуть обветрены лица, смеющийся взгляд,  
Ордена и медали под солнцем горят!..

Стихи китайских рабочих проникнуты беспредельной любовью к своей родине, они отражают спокойную уверенность в силе рабочего класса.

Осознание рабочим классом Китая своей исторической роли в строительстве новой жизни ярко выражено в стихотворении «Стальные руки», написанном электросварщиком Те Нань.

Стальные рабочие руки —  
Народу даны они —  
Разбили оковы рабства,  
Счастливые строят дни.

Стальные рабочие руки  
Уверены и сильны —  
Они создают заводы,  
Ведут поезда страны.

Стальные рабочие руки  
Горячий металл куют,  
И если надо Отчизне —  
Оружье фронтам дают.

Стальные рабочие руки  
Мозолисты и тверды.

Всё создано в мире ими —  
Дороги, дома, сады.  
Сегодня народ — хозяин  
Того, что он создаёт.  
Рабочие эти руки —  
Богатство твоё, народ!  
В них прочный залог расцвета,  
Они для врагов страшны,  
Мозолистые руки —  
Опора моей страны!

Свои достижения и победы трудящиеся Китая связывают с деятельностью китайской коммунистической партии, с именем своего вождя Мао Цзе-дуна, под руководством которого китайский народ одержал великую победу в борьбе за свободу и независимость своей родины и строит сейчас новый Китай.

В созданной в годы освободительной борьбы китайского народа песне «Увидишь председателя Мао, передай ему привет», выражены чувства глубокой благодарности и преданности народа коммунистической партии Китая и её вождю:

Сорока-резушка на ветке сидит,  
У птицы весенний и радостный вид...  
— Сорока, сорока, скорее неси  
Моё порученье на север Шэньси,  
Расправь свои крылья — и сразу в полёт  
В тот город, где Мао любимый живёт.  
Скажи, чтобы весел он был и здоров,  
От нас передай ему несколько слов:  
«По-новому дружно поднялся народ,  
Мы всё получили — и землю, и скот.  
И борются братья за счастье в стране —  
За плугом один, а другой на войне.  
Единая цель, и мечты и дела —  
Разбить гоминдан, чтоб земля расцвела!»

Трудящиеся Китая, зажившие новой свободной жизнью, не могут не вспомнить о своём безрадостном и тяжёлом прошлом.

В стихотворении «Круглый год на пристани» авторы — портовые рабочие — повествуют о тяжёлом труде грузчиков, о бесчинствах десятников, отбивавших половину заработка. Текстильщицы Шанхая рассказывают о чудовищной эксплуатации, о невыносимых условиях труда, царивших на текстильных фабриках. В народных песнях и частушках поётся о тяжёлой доле крестьян в гоминдановском Китае, где помещики и свора алчных чиновников довели китайского крестьянина до крайней степени разорения, нищеты и голода.

Зёрна созревшие плачут на зорьке...  
— Зёрна, о чём вы так плачете горько?  
— Как же не плакать? Судьба нелегка:  
Нас не увидят в доме бедняка.

В стихах, помещённых в сборниках, наша своё отражение самоотверженная борьба китайского народа против американского империализма. Жгучей ненавистью к врагам наполнены строки, клеймящие преступления гоминдановских реакционеров и американских империалистов.

Стремление китайского народа к миру, его ненависть к поджигателям войны выражены в стихотворении Ли Шучэна — рабочего текстильной фабрики в Шанхае.

Американский поджигатель новых  
Кровавых битв, оруженосец тьмы!  
Ты хочешь, чтобы в зареве багровом  
На пепелищах погибали мы.  
Все пакты агрессивные и блоки —  
Дела твоих отточенных ногтей...  
На севере, на юге, на востоке  
Тебе — проклятье женщин и детей!  
Ты, посылая самолётов стан,  
Войной грозишь нам в предрассветный час,  
Но мы — народ свободного Китая,  
И ты уже не запугаешь нас.  
Не обольщайся барабанным боем,  
Взгляни вокруг, открой глаза, вампир!  
Народы мира, встав сплочённым строем,  
На всей планете задищают мир!

Собранные в рецензируемых сборниках стихи народных поэтов проникнуты одним стремлением — помочь партии, народу в строительстве новой жизни, стремлением к мирному творческому созидательному труду.

Конечно, не все стихи равноценны по своим художественным качествам. Среди подлинно поэтических произведений встречаются стихотворения слабые, представляющие собой лишь техническое описание какой-либо производственной операции. Но в целом стихи свидетельствуют о пробуждении в китайском рабочем классе и крестьянстве неисчерпаемых творческих сил под влиянием народно-демократического строя. Эти стихи являются залогом дальнейшего быстрого идейного и художественного роста народной китайской поэзии.

Вместе с ростом могущества Китайской Народной республики расцветает и новая, подлинно демократическая культура, в которой видное место занимает творчество строителей новой жизни — рабочих и крестьян Китая.

Р. ВЯТКИН.

★

## Певец счастливого Дагестана

Более 50 лет назад, на рубеже XIX и XX веков, Гамзат Цадаса выступил как смелый обличитель социальной несправедливости старого мира. Его остроумные, меткие сатиры обличали мулл, аульских богатеев. Защитник народных интересов, художник-реалист, он следовал в своём творчестве не традициям мертвенной книжной поэтики старого Востока, а живой традиции аварского устного творчества.

В полную силу самобытный талант Цадасы развернулся лишь в наше время, обогащённый большевистским пониманием мира, под влиянием передовой русской культуры.

С первых лет революции Цадаса много и плодотворно работал, помогая духовному росту своего народа. Он был редактором первой аварской газеты «Красные горы». Им написаны первые пьесы для молодого аварского театра, первые в аварской прозе рассказы. Неустойчиво боролся он про-

тив феодально-капиталистических пережитков в сознании трудящихся горцев, против кровной мести, порабощения женщины, против религиозного мракобесия, невежества, бескультурья.

Цадаса — основоположник аварской советской литературы. И так как духовное богатство каждого из наших народов есть богатство всех наших народов, — талантливое творчество Цадасы уже давно стало известно за пределами его маленькой горской родины.

В изданную ныне на русском языке книгу стихов Гамзата Цадасы вошли произведения поэта, написанные им за три послереволюционных десятилетия. Открывается «Избранное» автобиографической поэмой «Моя жизнь», в которой старый поэт с искренностью и прямотой повествует о себе. Читателя эта поэма сразу вводит в творческий мир автора, знакомит с особенностями его судьбы и его поэтической манеры. В отдельные разделы собраны стихи о Родине и о великих вождях советского народа — Ленине и Сталине

Гамзат Цадаса. Избранное. Перевод с аварского. Редактор С. Обрадович. «Советский писатель», М. 1950.

(«О самом дорогом»); стихи, говорящие о жизни дагестанского аула («В горах аварских»); стихи и песни периода Отечественной войны («Жизнь и Родина»); стихи, посвящённые борьбе советского народа за мир («Мир сильнее войны»); сказки и басни, искрящиеся народным юмором, богатые народной мудростью.

Ведущая тема в творчестве Цадасы — социалистическое преобразование жизни горского крестьянства. Эта тема разработана поэтом глубоко, разносторонне. Он ярко отобразил тот знаменательный исторический период, когда партия открыла перед крестьянством новый жизненный путь — путь коллективизации. Цадаса славил первые победы колхозного строя («Колхоз имени Сталина в селении Хунзах»). С зоркостью поэта-большевика он заглядывал в завтрашний день своей Родины и уже по начальным успехам предугадывал те гигантские изменения, какие нес колхозный строй в горы. В стихотворении «Жалоба сохи» поэт воспевал первых посланцев нового: тракторы, молотилки, плуги, пришедшие на смену символическому орудью горской нищеты и отсталости — сохе.

Руководствуясь мудрыми советами А. М. Горького, приобщаясь к опыту русской советской литературы, Цадаса один из первых в дагестанской литературе, наряду с Сулейманом Стальским, показал труд в горах, как деяние, как творчество. Рисуя светлые картины социалистического созидания, он слагал стихи во славу людей труда: пахарей, чабанов, строителей дорог. Характерно для этого цикла вошедшее в «Избранное» стихотворение «Садовод и полевод».

Этап за этапом отображает поэт преобразование жизни в горах. Облик изменяющегося, нового Дагестана раскрывается перед читателем в стихах «Листок календаря», «На стойбище горных духов», «Радиомачта на сакле соседа», «Водопровод в ауле Цада», «Когда цумадинцы завоевали Красное Знамя», «Электростанция в Хунзахе». Но особенно ярко и полно воплощён этот новый, светлый облик страны в поэме «Сказание о чабане», написанной в 1949—1950 гг. (перевод С. Липкина). Поэт даёт в ней широкие исторические обобщения.

Типичен жизненный путь героя поэмы

чабана Али. Али в числе первых горских крестьян вступает в колхоз. Чабан совсем ещё молод, но вскоре он своей влюбленной преданностью артельному делу завоевывает почёт в народе. Мастерски описывает Цадаса, как пробуждается в Али ощущение своего человеческого достоинства, сознание, что труд его, труд простого человека, виден и дорог всей стране. Именно в этом вдохновенном творческом труде формируется мужественный, духовно богатый облик героя.

В поэме показан мир новых моральных отношений, новой этики, сложившихся в горах. Али любит девушку Айну, которая по старинному обычаю засватана ещё ребёнком за другого — за товарища Али, учителя Зайнутдина. В старое время судьба всех троих была бы несчастной. Айна не любит жениха, она любит Али. И она не подчиняется законам прошлого. Она открывает свои чувства в письме Али. Али отвечает ей, что счастье невозможно: он боится опозорить честь своего друга. Но полон благородства характер Зайнутдина. Прост и человечен его ответ Али. Желая ему с Айной счастья, Зайнутдин говорит:

Опозоримся вдвоём,  
Говорю тебе, как брату,  
Если шею не свернём  
Мусульманскому адату.

Свадьба Али и Айны — праздник всего аула.

В живых рельефных образах и картинах рисует Цадаса изменившийся национальный характер горца. Герои поэта — новые люди, сформировавшиеся в борьбе дагестанских народов за коммунизм.

Прекрасна судьба поколения, выросшего и возмужавшего при советской власти. Хозяева жизни, творцы её, они переделывают природу, сажают сады, проводят многоводные каналы, подчиняют себе силу буйных горных рек... Издавна в аварских горах крестьяне занимались животноводством. Рутинное, примитивное, оно в единоличном хозяйстве еле-еле давало людям средства к жизни. В своей поэме, где лишь запев говорит о горестном прошлом, Цадаса повествует о расцвете колхозного строя, о чабанах, создающих огромные общественные богатства. В Аварии много колхозов, обладателей тридцатитысячных отар, пастбищ в пятнадцать-двадцать тысяч гектаров... Колхозники в своей работе

применяют новые достижения науки, — это советские новаторы-мичуринцы. И Цадаса в соответствии с этой правдой жизни ведёт своего Али к всё более высоким свершениям и победам. Герой поэмы создаёт новую породу горской овцы:

Академики сочли  
Этот вид весьма богатым.  
Будет, говорят, Али  
Сталинским лауреатом.

Путь Али от неграмотного бедняка-чабана до преобразователя природы, человека, работающего для пользы всего государства, — это олицетворение судеб социалистического крестьянства гор.

Особо, по-иному, нежели жизнь Али, складывается жизнь его старшего брата Омара. Омар приходит в колхоз лишь после тяжёлых ошибок и долгих колебаний. Он не легко вырывается из-под влияния тестя — богатого скотовода. По наущению этого кулака, он призывает всю свою отару, «чтобы не досталась колхозу». Цадаса показывает то страшное омертвление, тот застой, каким грозит человеку отрешение от общественной жизни. Омар начинает понимать, что вне коллектива нет счастья. Он находит в себе мужество преодолеть ошибку. Его принимают в колхоз, где он честным трудом возвращает утраченное уважение односельчан.

Книга Цадасы широко раскрывает перед читателем «молодой счастливый мир» сегодняшнего дагестанского аула. В этом ауле есть школа, и больница, и клуб; электричество в быту и в производстве; радио, телефон... Здесь много читают, слушают концерты. Здесь живут и трудятся мужественные, сильные и честные люди, хозяева своей земли. Герои Цадасы не замкнуты, как прежде, в пределах родимых гор. Действенным чувством ответственности простых советских людей за судьбы всего человечества пронизаны и «Сказание о чабане», и «Поздравление И. В. Сталину в день его семидесятилетия», и весь цикл стихов Цадасы, посвящённых борьбе за мир, остро и гневно разоблачающих англо-американских поджигателей войны.

Порождённая животворным советским патриотизмом, боевая поэзия Цадасы богата ещё одним новым чувством, воспитанным в наших людях советским строем. Это чувство глубокого взаимоуважения и взаимопонимания между народами. В книге

есть стихотворение «Привет Украине». Оно было вручено Цадасом туристам-харьковчанам, навестившим поэта в его родном ауле Цада, как обращение к украинским трудящимся. Гамзат Цадаса писал:

Улетела раздоров сова,  
И смогли мы руки сомкнуть.  
Путь великого торжества —  
Это дружбы народов путь.

(Перевод В. Любина)

Стихи Цадасы «Письмо семье из Москвы», «Москве», «Пушкину», «За Москву!» и многие другие проникнуты горячей любовью к русскому народу, к сердцу Родины — Москве. Наш человек вдвойне богат. Советский патриотизм, даря ему любовь ко всей необъятной социалистической отчизне, в то же время сохраняет и радость любви к маленькой родине его рождения и детства. Очень лирично говорит об этом Цадаса в «Письме семье из Москвы».

О мать нашей Родины! Ты дорога мне  
От звёзд на Кремле до последнего камня!  
Словами любовь не измеришь такую, —  
Влюблённый в Москву, о Цаде я тоскую!

(Перевод Л. Пеньковского)

К лучшим произведениям сборника принадлежит поэма «Поздравление И. В. Сталину в день его семидесятилетия». Поэт вложил в неё замечательные мысли о моральном облике советского человека. Любовь и преданность вождю выражены в ней в образах свежих, вдохновенных.

Сталин вручил Дагестану ключи счастья, сделал так, что жизнь Дагестанской республики служит теперь примером для трудящихся за рубежами нашей страны. Горцы из демократической Албании побывали здесь, чтобы перенять у дагестанцев опыт построения новой жизни в горах. В Буйнакске они посетили дом, в котором в 1920 году великий вождь провозгласил автономию ДагАССР:

— Вы счастливы, — прощентал  
Стройный юноша, крестьянин —  
Я хотел бы, чтоб и нас  
Посетил товарищ Сталин.

Гостю я ответил так:

— Если есть у вас в отчизне  
Независимость и честь,  
Радость полноправной жизни, —  
Значит, Сталин был у вас,  
Потому что Сталин всюду,  
Где живётся хорошо,  
Где светло простому люду!

(Перевод С. Липкина)



На русский язык стихи Цадасы начали переводиться около двадцати лет назад. Одним из первых перевёл его басни Демьян Бедный. В сборник вошли лучшие из старых переводов. Но большинство стихов, помещённых в «Избранном», переведено впервые.

В книге есть переводы, полностью соответствующие смыслу и духу подлинника, сохраняющие его образный строй, близкие к нему по ритмическому звучанию. В них читатель почувствует простоту, выразительность, меткость образов Цадасы, афористичность его языка, идущую от народной речи. Это — «Застольная песня», переведённая Н. Тихоновым, поэмы «Моя жизнь», «Поздравление И. В. Сталину в день его семидесятилетия» и ряд стихов в переводах С. Липкина, переводы Л. Пеньковского — «Слово Сталина», «Письмо семье из Москвы» — и многое другое.

Тем досаднее, что некоторые стихи переведены небрежно, неточно, порой просто не соответствуют оригиналу.

Т. Стрешнева перевела сатирическое стихотворение «Старая свадьба». Перевод его, как и вообще перевод сатир Цадасы, таил несомненные трудности. И многие из этих трудностей преодолены. Стихи звучат остроумно, непринуждённо, живо. Но переводчица недостаточно вдумчиво отнеслась к идиоматическим выражениям подстрочника. Цадаса пишет, порицая громоздкий и разорительный ритуал горской старой свадьбы: «И вот настал день горького веселья для отца жениха, который облил кипятком всё своё добро» (по смыслу это близко русскому — «добро прахом пошло»). Т. Стрешнева, переводит:

Кипятком отец невесты обварил себя  
спяна.

Есть и более серьёзные срывы. В отдельных случаях переводчица совершает недопустимую вольность, ослабляя политическую остроту стихов Цадасы, их пылкий, воинствующий характер. Например, концовка той же «Старой свадьбы» в подлиннике звучит так: «Возьмитесь за рукоятки и выньте сабли из ножен, рубите хвосты и уши старых обычаев. Возьмите в руки метлу из жёстких прутьев и очищайте головы, наполненные предрассудками!» Эти слова говорят об определённой общественной позиции автора, о его отношении к своему поэтическому труду (вспомним В. Мая-

ковского, который о своей пьесе «Баня», направленной против бюрократизма, писал: «Моя вещь — один из железных прутьев в той самой железной метле, которой мы выметаем этот мусор»). Первую свою книгу Цадаса так и назвал: «Метла адатов», то есть «метла, выметающая старые обычаи».

В переводе же Т. Стрешневой мы читаем:

...скажу я об одном:

Мы обычаи былые выжигать должны огнём.  
Над горами солнце встало, молодая жизнь  
идёт,

и старинные адаты навсегда забыл народ.

И неточно, и противоречиво, и слишком умиротворённо, если учесть, что стихи эти относятся к 1931 году, когда старые адаты далеко ещё не утратили в горах своей ядовитой силы.

Особенно вольное обращение с подстрочником позволил себе Я. Козловский. Прочитываем лишь одну строфу из переведённого им стихотворения «За мир!».

Над могилой братской шепчут травы,  
Колос наливаются опять,  
Мы — живые — не имеем права  
О друзьях погибших забывать...

Есть ли у этой штампованной риторики что-либо общее со скулыми, сдержанными словами подлинника: «Я часто вспоминаю, я не забываю никогда о товарищах наших, павших от руки англичан...» Цадаса далее совершенно конкретно говорит о притязаниях английских империалистов на Дагестан в годы гражданской войны. Я. Козловский, перенося в следующей строфе действие в Азербайджан, упоминает о казни Шаумяна и его друзей, чего нет у Цадасы...

За годы советской власти Цадаса написал многие десятки тысяч строк стихов. На аварском языке выпущено более пятнадцати его книг. Естественно поэтому, что отбор произведений для русского издания «Избранного» являлся делом сложным. С этой задачей издательство справилось. Книга даёт полное представление о творческом облике поэта. В ней собраны эпос и лирика, публицистические стихи и памфлеты, басни и сказки, песни и поэмы.

Жаль, что мало включено в книгу замечательных сатир Цадасы. Читатель не найдёт здесь ни знаменитого «Наставления», ни «Разговора с кинжалом». Между тем включение их ещё более контрастно под-

черкнуло бы те великие изменения в общественной жизни гор, в быту, в человеческой психике, какие рисует Цадаса в своих стихах последних лет.

В сборнике есть чудесное стихотворение «Пушкину». Но нет стихов, посвящённых Цадасой Лермонтову, Горькому. А стихи эти полны хороших, светлых мыслей о духовном родстве наших народов, о поэтическом мастерстве, о благотворности

воздействия на литературу Дагестана передовой русской культуры.

Несмотря на эти частные недостатки и пробелы, книга «Избранное» пополняет богатства нашей многонациональной литературы, впервые по-настоящему широко знакомя русских читателей с творчеством одного из выдающихся поэтов социалистического Дагестана.

Н. КАПИЕВА.

★

### Надуманный конфликт

Небольшая повесть Юрия Бессонова «Семья лесорубов» посвящена одной из наиболее характерных тем в литературе послевоенных лет. Её содержание составляет история роста и духовного обогащения советских людей в процессе трудовой, созидательной деятельности, борьба с пережитками прошлого в их сознании. Думается, однако, что конфликт, который даёт движение сюжету этой повести, мало типичен, а отношения между людьми недостаточно продуманы автором.

Герой повести — знатный лесоруб Пётр Суходолов — человек, страстно стремящийся к освоению новой техники. Ещё до войны он одним из первых сменил старую двуручную пилу на лучковую и тогда же добился высоких производственных показателей. По возвращении с фронта Суходолов хотел начать работу на электропиле. Но пока механизация ещё не коснулась всех участков, Суходолову предложили в родном леспромхозе продолжать работать «по-старинке», лучком. Выражая общее мнение, мастер леса Подкопытов говорит Суходолову:

«— На ваш участок план тоже дан немалый, и его выполнять нужно, а ты лучкист опытный, ты там куда больше пользы сейчас принесёшь. Нового моториста для электропил легче обучить, чем такого, как ты, лучкиста подготовить...»

— Да ведь то, что я сейчас лучком выработываю, я на электропиле добавком к вашей норме дам! — восклицает в досаде Пётр. — За пилу ведь тоже с умом взяться нужно...»

Юрий Бессонов. «Семья лесорубов». Повесть. Редактор Евг. Левановская. «Советский писатель», М. 1950.

Дома он с болью и горечью жалуется своей жене Варваре:

«При такой технике, которую в лесу ввели, разве мне пристало лучком царапать? Я из него давным-давно всё выжал, что в нём было, и делать мне с ним больше нечего. Теперь остаётся на месте топтаться. Разве это работа?»

Нельзя не почувствовать в этих словах Суходолова глубокую правоту. Всё, что мы узнаём о нём с первых же страниц повести, свидетельствует в пользу Суходолова. В интересах общего дела, а не ради личной корысти он настойчиво добивается перевода на участок механизированного лесоповала.

Несправедливость, допущенная по отношению к Суходолову, легко поправима. Однако, осуждая устами своих героев упрямство Суходолова, его несговорчивость, автор как будто и сам соглашается с ними. Он рисует Суходолова человеком, который ещё не научился связывать частное и общее, личные интересы ставит выше интересов коллектива, в сильной степени заражён пережитками прошлого.

Такая нечёткость, неясность замысла произведения приводит к тому, что искусственный в самой своей основе конфликт между Суходоловым и коллективом непомерно раздувается, оказывается в центре повествования, а образ главного героя приобретает несвойственные, чуждые ему черты.

Суходолов наделён ярким, незаурядным характером. В ряде сцен повести мы любуемся красотой его трудового порыва, его умением самоотверженно, без усталости работать.

И в то же время, если верить автору,

поведение Суходолова в гораздо большей степени определяется корыстью, желанием славы для одного себя, забвением интересов коллектива и даже крутым нравом, унаследованным от деда-самодура. Руководствуясь сугубо личными, эгоистическими мотивами, Суходолов принимает ошибочное решение бросить работу в своём леспромхозе и перебраться с семьёй на другой участок. Он скрывает от товарищей давно обдуманый им способ более рационального использования электропилы.

Подобные факты противоречат внутренней логике образа, мельчат его. От Суходолова можно было бы ожидать больших дел и свершений, если бы писатель сосредоточил внимание на раскрытии этого характера в реальных, типических обстоятельствах. В родном леспромхозе Суходолова есть и нерадивые работники — электропилищики, есть и прямые противники механизации, вроде начальника участка мастера Брызгунова. Узнав о прибытии трёхлопастного трактора, Брызгунов прямо говорит: «Лучше дайте... на мой участок добавок, лошадей пятьдесят, лесных, добрых, я и на берёзовых волокушах, либо клещами всю как есть древесину из лесосеки вытащу». В столкновении с такими реальными противниками образ Суходолова мог бы обрести пафос и жизненную силу. Жаль, что в угоду ложным конфликтам писатель зачастую пренебрегает конфликтами реальными, жизненными, становится на путь искусственного сочинительства.

Нечёткость общего замысла произведения сказалась не только на облике главного героя, но и в образах окружающих его людей. Читая повесть, мы ощущаем шаткость позиции, которую занимают жена Суходолова Варвара, Подкопытов и парторг лесопункта Лаврушов по отношению к Суходолову. В книге об этих людях сказано много хороших слов, но никто из них понастоящему не умеет разобраться в мыслях и чувствах Суходолова.

В первой половине повести действие протекает в атмосфере взаимного непонимания, недоговорённости. Мастер леса Подкопытов — первый человек, к которому обратился Суходолов, — не понял, как страстно мечтает его собеседник об электропиле. Разговор с ним только возмутил и расстроил Суходолова. Старый мастер Брыз-

гунов, как мы знаем, вообще не доверяет техническим новшествам и поэтому ещё меньше способен помочь Суходолову. Жена Суходолова Варвара объясняет неудовлетворённость мужа своей работой, его охлаждение к лучку — гордостью и тщеславием Суходолова, пустым капризом взыскательного человека, заботящегося только о себе. Даже парторг лесопункта Лаврушов, давний фронтовой товарищ Суходолова, вместе со всеми считает, что Суходолов только прикрывается разговорами о новой технике, а на уме у него совсем другое.

Последняя глава повести, в которой описано, как Суходолов, наконец, становится во главе бригады электропилищиков и успешно осуществляет на практике свои рационализаторские предложения, начисто разрушает эти домыслы, а заодно с ними и все искусственные построения автора. «Бесчисленные брёвна, лежащие широкими сплошными лентами на вырубленной лесосеке», на лесосеке, где работал Пётр, убедительно свидетельствуют о подлинно новаторских методах труда Суходолова, о том, что его с самого начала следовало не отставлять от техники, а в интересах дела приблизить к ней.

В самом повествовании, в композиции произведения, в описании отдельных эпизодов и сцен, как и в общем замысле повести, ощущаются неровность, противоречивость. Вот, например, сцена, рисующая соревнование с электропилищиками. Она имеет важное значение для развития сюжета, так как помогает примирить Суходолова с коллективом. Однако поведение Суходолова здесь слабо мотивировано. Человек отсталых взглядов, вроде Брызгунова, может серьёзно верить в возможность победы лучкиста над электропилищиком. С обликом же Суходолова это не вяжется.

Есть в повести Ю. Бессонова и некоторые частные недостатки. Характеристики персонажей отличаются однообразием изобразительных средств. При показе разных людей повторяются одни и те же детали: Суходолов, «широко раздувая ноздри... глубоко вдыхал запах тёплого дыма костров». «Широкие ноздри Брызгунова дрожали от сдержанного смеха». «Глаза Варвары потемнели и сузились, ноздри нетерпеливо дрогнули». У Кирюши «нетерпеливо вздрогнули тонкие и подвижные ноздри». Чисто внешними, почти карикатурными приёмами

изображён восторг Брызгунова, впервые наблюдающего за работой трелёвочных тракторов: «Прокоп Игнатъевич крикнул, словно, не закусив, выпил полную стопку водки». «Он дугой поднял брови и стал переминаться с ноги на ногу, словно у него чесались пятки». Не украшают книгу рассуждения Лаврушова о Суходолове: «В деда, значит, Пётр пошёл?.. Отрыгнулся, значит, дедовский характер?» «Надо ему мозги вправить, если свихнулся» и т. д.

Ю. Бессонов любит северную природу и умеет передавать её краски, но чувство меры и художественного вкуса зачастую изменяет автору. Так, например, он явно злоупотребляет эпитетом розовый: «розовый дымок», «розовый луч», «розовые узоры», «розовые ответы восхода», «молочно-розовые стволы молодых берёз». Отцветы от углей лежат на полу «розовыми горо-

шинками», «розовым светом» сияет заткнутый за пояс топор, «розовым светом» вспыхивает его лезвие.

Книгу «Семья лесорубов» закрываешь с двойственным чувством. Автор знает материал, читателя привлекает его стремление показать один из отдалённых уголков нашей Родины — жизнь северного леспрохоза, труд лесорубов. В повести есть живые, тепло написанные картины. Запомнится образ главного героя произведения — лесоруба Петра Суходолова. Однако искусственно сконструированный конфликт помешал писателю сохранить верность жизненной правде в обрисовке людей и событий. Вот почему мы переворачиваем последнюю страницу повести с чувством неудовлетворённости.

Б. ГАЛАНОВ.

★

### Всепобеждающая жизнь

Это было недавно — на одном из заседаний Второй Всесоюзной конференции сторонников мира. Вслед за инженерами, строителями, студентами, колхозниками, работницами, архитекторами, поэтами, врачами на трибуну конференции вышла молодая женщина с необыкновенно живыми, хотя и немного утомлёнными глазами.

От имени советских микробиологов она с негодованием ответила одному из самых подлых и гнусных поджигателей войны — американскому профессору Теодору Розбери, автору книги «Мир или чума». В своей поистине чудовищной книге Розбери недвусмысленно заявил, что он не видит разницы в том, умрёт ли человек лёгкой смертью или смертью мучительной, отравленный чумными бактериями: ведь всё равно он будет мёртв, ибо нельзя быть более мёртвым, чем труп...

«Этот непревзойдённый цинизм, исходящий из уст фашиста-микробиолога, — заявила делегатка конференции, — вызывает беспредельный гнев всех честных людей мира. Вот этому-то профессору Розбери и всем поджигателям войны, мечтающим об истреблении человечества с помощью чумных бактерий, мы хотим сегодня сказать: вы

жестоко просчитались, профессор Розбери и вам подобные. Можно быть более мёртвым, чем труп, если умереть заживо позорной смертью, как уже при жизни умерли вы в глазах всех честных людей мира.

Советские микробиологи, отдающие весь свой ум, весь жар своего сердца гуманным целям борьбы со всеми болезнетворными микробами, уничтожат их полностью на нашей счастливой земле. Мы боремся за каждую человеческую жизнь. Ни один советский человек, ни один наш учёный не хочет войны. Слово «война» у нас произносится иначе, чем его говорите вы, Розбери, Черчилль и вам подобные: мы говорим — война болезням! Война старости! Война засухе! Война пустыням! Война — войне!..»

Война болезням!.. Много веков уже непрерывно ведут её русская медицинская и микробиологическая науки. Летопись этой войны знает множество подлинных героев, не уступающих в своей отваге прославленным героям полей сражений. Одним из самых мужественных отрядов этой армии храбрых людей в белых халатах, вооружённых микроскопом и пробирками, составляют русские чумологи, победители опаснейшего врага человечества — чумы.

Жертвы этой страшной болезни исчисляются десятками, даже сотнями миллио-

А. Шаров. «Жизнь побеждает». Ответственный редактор М. Зубков. Детгиз, М.—Л. 1950.

нов. Медицинская наука долгие годы была бессильна в борьбе против этих катастрофических эпидемий. Никто не знал, что порождает их, кто и как передаёт заразу, никто не мог найти действенных спасительных средств. Великая честь всех решающих открытий в многовековой борьбе человечества против чумы принадлежит русской науке. «Жизнь побеждает» — так озаглавил свою книгу А. Шаров, рассказавший в ней, как русские исследователи добивались победы над этой страшнейшей болезнью, как вступали они в единоборство с самой смертью, как неутомимо сражались за жизнь.

Война болезням, провозглашённая с трибуны Второй Всесоюзной конференции сторонников мира её делегаткой и одной из героинь книги А. Шарова — Магдалины Петровны Покровской, это настоящая, доподлинная война, а вовсе не занимательная «охота за микробами», как трактовал её в своё время известный американский популяризатор Поль де Крюн.

Там, где Поль де Крюн увидел чуть ли не спортивный азарт, тщеславную погоню за успехом, советский писатель увидел скромное мужество, спокойную и сознательную самоотверженность, непоколебимую стойкость.

Полю де Крюн нельзя отказать ни в популяризаторском таланте, ни в остроумии, ни в чувстве любви к своим героям. Но в погоне за пресловутой «занимательностью», продиктованной законами капиталистического книжного рынка, Поль де Крюн с готовностью подхватывал любые сплетни об интимной жизни своих «охотников», об их слабостях и пороках.

Творческий метод советского писателя совершенно иной. А. Шаров показывает вдохновенные научные поиски русских чумологов. Характеры своих героев он раскрывает не с помощью мало правдоподобных бытовых анекдотов, а в деле их жизни — научном труде.

В этом труде А. Шаров справедливо видит высокий героизм. Он повествует о подвиге русских врачей, преодолевших эпидемию чумы, вспыхнувшую в конце семидесятых годов прошлого столетия неподалёку от Астрахани — в казачьей станице Веглянской. «В Веглянке, — пишет А. Шаров, — Морозов и другие врачи России последний раз на своей территории обороной

встречали неожиданный натиск страшной болезни.

Дальше русская наука уже сама наступала — в Китае, Индии, Аравии, в степях Маньчжурии и Монголии. Наступала, принимая бой с болезнью чаще всего за границами нашей страны, не допуская её на территорию России...»

А. Шаров рисует отличительные черты лучших людей русской науки — их подлинный гуманизм, страстное чувство любви к Родине, безграничное мужество.

Молодой учёный Заболотный и его друг студент Савченко, сделав себе прививку убитыми холерными вибрионами, выпивают разводку живых микробов холеры, убивающая сила которых была предварительно проверена в десятках опытов на лабораторных животных. Чокнувшись пробирками, как бокалами с вином, Заболотный провозглашает тост за жизнь, во имя которой он пошёл на эксперимент, грозящий смертельным исходом.

Другой русский учёный — Владимир Хавкин — произвёл на себе подобный опыт с микробами чумы, проверив, таким образом, действие открытой им целебной вакцины на человека.

На кладбище в Харбине сохранились могилы Льва Беляева, Владимира Михеля, Марии Лебедевой и других русских врачей и студентов, избавивших в 1911 году Маньчжурию от чумы. Символично, что рядом с ними на том же кладбище похоронены советские солдаты и офицеры, освободившие три десятилетия спустя Маньчжурию от чумы, против которой бессильны самые лучшие микробиологи, — от чумы фашизма.

Автор знакомит читателей с замечательными работами Магдалины Петровны Покровской, которая впервые в истории науки попыталась не только изучить и обезвредить враждебный бактериальный мир, а планомерно и сознательно изменить его, как изменяет человек породы домашнего скота или виды культурных растений.

М. П. Покровская вывела новую породу бактерий, помогающих организму человека победить чуму. Исследовательница на себе проверила действие новой культуры, введя себе под кожу пятьсот миллионов микробов.

«— Я хочу, чтобы вы поняли, что я ни на секунду не чувствовала себя самоубий-

цей, — говорила впоследствии Магдалина Петровна. — Честное слово, я не похожа на самоубийцу. Я очень сильно люблю жизнь. Я проделала этот опыт потому, что верила и верю в культуру «АМП». Верила и верю, что коллектив нашего института создал новое оружие против чумы, более действенное и совершенное, чем то, которым мы располагали до сих пор. И «АМП» не обманула меня!»

Как бесконечно далёк мужественный опыт советской исследовательницы от варварских экспериментов американских бактериологов, в результате которых подло обманутые «тёмные и невежественные» люди, которым была привита жёлтая лихорадка, «вышли из госпиталя, — как сообщает Поль де Крюи, — застрахованные от повторного заболевания жёлтой лихорадкой, застрахованные от всех мирских горестей и забот... Вышли из госпиталя ногами вперёд, под звуки похоронного марша...»

Сурово и гневно рассказывает о таких злодеяниях А. Шаров. Оказывается, английские колонизаторы Индии в конце прошлого столетия экспериментировали на заключённых, отдавая их, словно подопытных кроликов, в жертву чуме. «Гитлеровцы в Познани, японские фашисты в лагере на станции Пинфань и амерпканцы, работающие над средствами массового уничтожения людей при помощи бактерий, — пишет А. Шаров, — только продолжали и продолжают то, что английские колонизаторы начали в Индии».

Лагерь на станции Пинфань... Недавно советское правосудие разоблало страшные тайны этого комбината смерти, где японские фашисты готовили миллиарды миллиардов микробов для уничтожения миллионов людей. А. Шаров подробно рассказывает о преступлениях мясников варваров. Он противопоставляет успехи советской бактериологии полному развалу системы здравоохранения в Соединённых Штатах. Американские лоджигатели войны не заинтересованы в жизни и здоровье трудящихся. Эпидемические болезни, по их мнению, превосходно экономят пособия по безработице. Неудивительно поэтому, что в десяти штатах современной Америки установлены чумные эпизоотии среди грызунов, помогавших чумному микробу форсировать реку Колорадо и распространиться, таким образом, на сотни километров. Чум-

ные грызуны обнаружены совсем неподалёку от Вашингтона. Действительно, распространение чумы коричневой всячески благоприятствует чуме чёрной.

«Жизнь побеждает» — это книга о двух науках: науке передовой и науке реакционной; науке, поставившей все свои открытия на службу человечеству, и науке, изобретающей всё новые и новые чудовищные средства для его истребления.

Книга А. Шарова весьма своеобразна по своему жанру. Это научно-художественная публицистика. От чисто беллетристических средств повествования — выразительного диалога, рельефного пейзажа, образных описаний — автор переходит к публицистическим обобщениям, обращается к историческим документам, к специальной научной литературе, к данным медицинской статистики. О своих «охотниках за микробами» Поль де Крюи написал шумно, многословно. А. Шаров рассказывает о русских учёных необыкновенно просто и скромно. Он восстанавливает эпическую картину борьбы. Полностью оправдывает себя такой идейно-художественный приём автора, как смелое обращение к языку военных метафор и сравнений. Да, чумологи — это поистине воины, и так же как на войне «подвиг солдата заключается не только в том, что солдат в любой момент готов встретить смерть, но и в том, что он продолжает работать без усталости день и ночь, так и на эпидемии подвиг, моральная сила человека определялись не мерой опасности, а прежде всего трудом, который в этой обстановке человек должен выполнять, вкладывая в него своё сердце и все свои силы».

Эти образы войны, битвы, сражения, боя проходят через всю книгу.

В заразившемся чумой тарабагане, пойманном, наконец, после долгих поисков сотрудниками Заболотного, писатель видит «отряд микробов на марше». Тлеющий и блуждающий по степи огонь эпизоотии он сравнивает с «невидимым бикфордским шнуром». Созданную в Советском Союзе линию исследовательских баз А. Шаров характеризует, как непроницаемую систему противочумной обороны, которую с полным правом можно назвать «линией Заболотного»...

Все эти образы придают книге тот мужественный, боевой в точном смысле этого

слова стиль, который полностью отвечает воплощённому на её страницах жизненно-му содержанию. Жаль только, что в книге, изданной для детей, слишком много специальных научных терминов.

«Вирулентность», «припухшие лимфатические узлы», «иммунные вещества», «пустула», «ареал распространения тарабаганов», «социальное множилось на биологическое», «стекло с мазком проводилось, по Граму, через генциан-виолет, раствор Люголя, спирт и фуксин», «эндемические очаги» — все эти и многие им подобные слова и выражения совсем неуместны в книге, предназначенной для юных читателей.

Слабо владеет автор и сложным искусством внешней характеристики героев. Если бы не рисунки В. Ермолова, прево-

сходно иллюстрирующие книгу, трудно было бы составить себе представление о внешнем облике её героев. Особенно удались иллюстратору портреты Д. К. Заболотного, И. В. Мамонтова, А. Л. Берлина.

А. Шаров написал увлекательную, подлинно патриотическую книгу. Она служит делу мира, гневно разоблачает поджигателей войны. Книга повествует не об одних победах, а и о поражениях науки. Но и самые трагические по своему содержанию её страницы проникнуты жизнеутверждающим оптимизмом советских людей, их верой в неотвратимую победу над всем враждебным прогрессу и счастью человечества не только в его общественной жизни, а и в самой природе.

А. АЛЕКСЕЕВА.

★

## Свежий голос

Два года назад, на XII пленуме Правления Союза советских писателей СССР, при обсуждении вопросов армянской советской литературы, отмечалось наличие в ней двух разных борющихся традиций. Они проявляются в выборе писателями тем, героев, поэтических приёмов. Одна из них — ещё недавно чрезвычайно сильная — заключалась в стремлении к нарочитым архаизмам, к любованию стариной, к поэтизации прошлого. За истекшие два года в этой борьбе начали побеждать последователи классической и, вместе с тем, наиболее передовой, отвечающей современным задачам традиции М. Налбандяна. В армянской литературе начинает появляться всё больше и больше произведений, обращённых не только к далёкому и славному прошлому армянского народа, но и к современной действительности и современным героям. Видное место среди новых произведений армянских писателей по праву займёт книга стихов Геворка Эмина «Новая дорога».

Геворк Эмин принадлежит к младшему поколению армянских поэтов. «Новая дорога» — его вторая книга, переведённая на русский язык.

Геворк Эмин. «Новая дорога». Стихи. Авторизованный перевод с армянского. Редактор К. Симонов. Издательство «Советский писатель», М. 1950.

Отличительная и важнейшая черта этой книги в том, что многие произведения, помещённые в ней, проникнуты жадной тягой к новому, страстной полемикой с идеализаторами старины. Страна, в которой живёт поэт, непрестанно обновляется. Он чувствует себя участником этого обновления и воспеваает его. Город, по улицам которого шагает поэт, изо дня в день растёт. Г. Эмин отмечает, как «в новом канале пошла вода, новое здание надело крышу, клён молодой достал провода». «У нас вся жизнь богата новизной», — восклицает поэт, и изображение нового, возникающего перед его глазами, он считает своим кровным делом.

Пафосом новизны проникнуты лучшие стихотворения сборника. Широким, любовным взором поэт окидывает всю нашу великую советскую Родину — и Москву, и Днепр, и «тракторный русский завод» в Челябинске, и пионерский лагерь в Крыму, и восставший из руин Сталинград. Обращаясь к современнику, он утверждает:

Всё стало твоею землёю,  
Советскою, братскою, родною!

(«Послесловие». Перевод В. Звягинцевой)

И поэт призывает беречь эту общую советскую землю, крепить на ней великую животворную дружбу народов.

Искренней сыновней любовью исполнены

его стихи о Ленине и Сталине. Великие вожди изображены в тесном общении с народом, ощущающим их близость и их помощь. Бедный армянский рыбак встречается с Лениным на острове Капри, и Ленин даёт рыбаку обещание приехать к нему в гости, в свободную Армению («Баллада о рыбаке»). Сталин непосредственно руководит освобождением армянской земли от дашнаков и интервентов, он спасает мальчика, которому и «родной отец не мог помочь» («Баллада об отце»).

В ряде стихов Г. Эмина раскрыта тема нерушимой дружбы русского и армянского народов. В стихах, посвящённых Хачатуру Абовяну, поэт отмечает, что Абовян «с вершины Масиса (Арарата) увидел Россию, он первый величье её полюбил» («Бессмертие»). И то, чем явилась Россия для Армении и армянского народа, Г. Эмин показывает во многих своих стихотворениях. Он пишет:

И если б не выстрел восставшей «Авроры»,  
И если б не красной России рука —  
Ждала бы нас бездна, как ночь глубока.  
(«О Масісе». Перевод В. Звягинцевой)

Эмин раскрывает значение Великой Октябрьской революции для судеб Армении: только благодаря социалистической революции Армения стала «ныне счастливой», и не в далёком многовековом прошлом, а в сегодняшнем дне надо искать истоки этого народного счастья:

Поэт! Прославляя отчизну стихами,  
Ты помни всегда до конца своих дней:  
Отчизна — не только земля под ногами.  
А счастье, которое строим на ней!

(«На берегу Аракса». Перевод Е. Николаевской и И. Снеговой)

Преклонению перед древностью поэт противопоставляет глубокую преданность и любовь к настоящему, к современной действительности. Севангэс поэт сравнивает с древним, выдолбленным глубоко в скалах храмом Гегард и отдаёт предпочтение Севангэсу — «светлого счастья храму», «для людей построенному людьми». Сторож у древних развалин Звартноца мечтает о восстановлении классического строения, чтобы устроить в нём клуб для свободных советских людей.

Живой человек, современник поэта, его думы, чаянья, счастье стоят в центре стихов Эмина.

Полемизируя с «другом архитектором», чрезмерно влюблённым в «древние творенья», поэт призывает его отдать свои силы и знания созданию «памятников нашей жизни новой» и едко замечает при этом:

Когда бы предки в давние столетья  
Любили старину, как ты сейчас, —  
Кто создавал бы памятники эти,  
С которых ты теперь не сводишь глаз?

(«Другу архитектору».  
Перевод В. Звягинцевой)

Интересно стихотворение Г. Эмина «Седой старик», где поэт высмеивает не в меру усердных приспешников старины, которые собирались растрогать старика-репатрианта, «любителя книг, гробниц, монастырей» и предложили ему в первую очередь посетить руины Гарни и Звартноца. «Нет, — отвечал скиталец, — нет, не надо. Не о былом я за морем мечтал, — хочу я видеть камни Сталинграда: когда б не он — мой край бы леплом стал». Завершается это стихотворение яркой и умной концовкой: «...Мы показать ему сегодня рады не камни, а строенья Сталинграда».

Стихам Г. Эмина чужда пассивная созерцательность. Они проникнуты боевым наступательным духом. Поэт страстно обличает тех, кто мешает развитию социалистической культуры Армении, кто пытается затормозить её поступательное движение вперёд.

В стихотворении «Эстету», где речь идёт о безродном космополите, ищущем эстетические образцы на Западе, умело подчёркивается, что обратной стороной эстетизма и космополитизма оказывается буржуазный национализм с его вреднейшей теорией «единого» потока. С большой силой поэт ополчается против буржуазного национализма и идеализации прошлого в «Рассказе отца»:

Армения и впрямь была  
«От моря и до моря»:  
В одном краю — пучина зла,  
В другом — пучина горя.

(Перевод А. Клёнова)

Поэт отказывается воспевать «обветшавший от взоров армян Масіс-Арарат», он заявляет: «Я лишь на советском гербе Масіса люблю очертанья» («Послесловие»). Это звучит, как прямой вызов тем, кто всегда видит «лишь минувшие дни и года»,



тем, кто стоит «вечно на месте, чьё ухо не слышит о будущем вести». Поэт пишет об этих людях:

Они осмеют и порыв мой и труд,  
И блудного сына мне имя дадут,  
И скажут: — Вгляни, что за бред им  
написан!  
Ведь он армянин, а не славит Масиса!

(«О Масісе». Перевод В. Звягинцевой)

Нет, Эмина нельзя заподозрить в национальном нигилизме. Он — преданный сын своего народа. В стихотворении «Армянскому народу» эта связь выражена ясно и отчётливо, — поэт так говорит о народе и о себе: «Он — ствол, я лишь ветка платана, цвести без него не могу». Эмин не против старины, он только за осмысленное и критическое её восприятие. Обращаясь к Армении, поэт говорит: «Ищу и в твоей старине того, что тебе помогало стать тем, чем сегодня ты стала» («Послесловие»).

Одной из особенностей поэтического мастерства Эмина является его умение в удачно найденной детали раскрыть большой смысл, привести читателя к волнующим обобщениям. В стихах, посвящённых защите мира, в образе «забытой мины» поэт раскрывает страшные, ещё ранящие людей последствия минувшей войны. Он с горечью отмечает, что «мины находят ещё в целине», что «на Висле вчера малыш пятилетний, милый... был взорван забытой миной», и призывает простых людей множить усилия в борьбе за мир, «чтоб не был взорван, как этот малыш, мир наш — дитя свободы!». Этот же приём использован поэтом в стихотворении «Костёр». Пионерский костёр, зажжённый на берегу моря, предстаёт здесь как поэтический образ мира:

Костра пионерского мирное пламя,  
Чьим светом ребята озарены, —  
Оно отвоёвано, вырвано нами  
У мирового пожара войны...

Нет! В мире такой не отыщется силы,  
Чтоб маленький этот костёр погасила.

(Перевод Е. Николаевской и И. Снеговой)

Армянская критика характеризует Эмина, как даровитого, беспокойного и ищущего поэта, отмечает свежесть и новизну его поэтического голоса. Эти качества нашли своё проявление не только в содержании, но и в форме его стихов — сжатых, целеустремлённых, наполненных ясными оригинальными образами.

На русский язык стихи Г. Эмина с большей или меньшей выразительностью и приближённо к оригиналу переводят многие русские поэты. Наиболее значительные по содержанию и яркие по форме стихи переведены для сборника «Новая дорога» В. Звягинцевой, М. Лукониным, М. Максимовым, Л. Мартыновым, А. Клёновым, Е. Николаевской и И. Снеговой. Поэтическая индивидуальность переводчика не может не сказаться в переводе. Однако в некоторых переводах М. Луконина («Моё дело», «Открытие», «Певцам розы и соловья») индивидуальность переводчика подавляет авторскую. Например, в стихотворении «Певцам розы и соловья» читаем:

Песня должна быть срочной,  
как телеграмма.  
Короткой и острой,  
внушающей чувство  
Потрясающей радости,  
в сердце нацеленной прямо.

Здесь своеобразная поэтическая интонация М. Луконина заглушает голос Эмина. Таких примеров из переводов М. Луконина можно привести немало. Это особенно досадно, так как в целом переводы Луконина вдохновенны, темпераментны, они верно передают идейную направленность стихов Эмина. В них нет той поспешной скороговорки и ремесленного холодка, какие ощущаются, например, в некоторых переводах М. Павловой. Риторикой и прозаизмами наполнены в её переводах стихи «Возвращение солдата», «Не уйдёшь», «Облако».

Не все стихи, помещённые в книгу, являются удачей поэта. Когда-то Г. Эмину принесли успех короткие лирические стихотворения на так называемые «вечные темы»: «Первый снег», «Ты бы в гости ко мне пришла», «Обиделась ты и ушла» и другие. В своё время такие стихи были необычны для армянской поэзии, где ещё сильно сказывались ориенталистские влияния — многословность, вычурность. Эмин дал тогда образцы, являвшиеся удачной попыткой преодоления таких влияний лишь в формальном отношении. По содержанию его «размышления на вечные темы» не отличались глубиной и новизной. И едва ли стоило повторно публиковать эти стихи в сборнике «Новая дорога».

Невыгодно выглядит в сборнике и опубликование старого стихотворения «Напри»,

которое в какой-то мере противоречит новым стихам Г. Эмина о современной Армении, особенно стихотворению «Подземная станция Севангэс». Не украшают сборник отдельные риторические, построенные на довольно случайных, надуманных аллегориях стихотворения: «Вольфгангу Гёте», «Разговор с иностранцем», «Старый дом», «Орёл». Можно ещё кое о чём поспорить с автором, недостаточно строго, по нашему мнению, отбиравшим стихи для сборника, и с редактором, решившим, по видимому, представить поэзию Г. Эмина не только в её сильных, но и в слабых сторонах.

Однако не слабые и не спорные вещи определяют основное содержание и достоинства сборника «Новая дорога». Поэзия Г. Эмина в своих основных чертах, в самом главном и лучшем обращена в настоящее и будущее. Это ново для армянской поэзии, некоторые представители которой слишком долго и пристально вглядывались в прошлое, вдохновляясь преимущественно образами старины. Хотелось бы, чтобы это новое отображало не только рост поэта Г. Эмина, но и новые, побеждающие тенденции в развитии современной армянской поэзии.

С. ЕВГЕНОВ.



### Новый вклад в советское пушкиноведение

Советские литературоведы проделали громадный труд по изучению творчества Пушкина. Были заново прочитаны его рукописи, разысканы новые тексты, восстановлены цензурные изъятия, устранены искажения. Советский читатель получил действительно полное собрание сочинений своего любимого поэта. Раскрыть творческий облик Пушкина — такова была вторая задача наших литературоведов, ибо буржуазное пушкиноведение фальсифицировало творчество гения русской и мировой литературы. Буржуазные учёные пытались изобразить Пушкина сторонником теории чистого искусства, дворянским либералом, учеником писателей Запада... Отголоски этих клеветнических измышлений нашли отражение в псевдонаучных «исследованиях» вульгарных социологов и космополитов от литературоведения.

Огромную роль в развитии советского пушкиноведения сыграли пушкинские юбилеи 1937 и 1949 гг. В выступлениях партийной печати, в докладах, статьях, специальных исследованиях в эти дни были раскрыты величайшая народность пушкинского творчества, его национальная самобытность, мировое величие. Руководствуясь указаниями Ленина и Сталина, развивая взгляды революционных демократов, используя высказывания А. М. Горького, советские литературоведы создали ряд цен-

ных работ о Пушкине. Однако создание научной монографии о Пушкине, в которой давался бы целостный и систематический анализ творческого развития великого поэта, оставалось ещё не выполненной задачей советского пушкиноведения.

Книга Д. Благого «Творческий путь Пушкина», являющаяся первой частью его большой монографии о великом писателе, восполняет этот существенный пробел. В ней рассматривается творчество Пушкина, начиная с его лицейских стихов и кончая произведениями, написанными в период ссылки в Михайловском.

Основным достоинством книги Д. Благого является то, что в ней как бы подведён итог достижениям советского пушкиноведения и по-новому разработан ряд важнейших проблем, связанных с изучением пушкинского творчества.

Исходя из ленинской теории отражения, нашедшей гениальное конкретное применение к вопросам литературы в знаменитых статьях В. И. Ленина о Льве Толстом, Д. Благой правильно рассматривает творчество Пушкина как ярчайшее художественное отражение эпохи со всеми её противоречиями.

Во введении к своей книге автор раскрывает значение великой освободительной войны русского народа против наполеоновского нашествия и движения первых русских революционеров-декабристов для формирования мировоззрения и творческого метода Пушкина.

Д. Д. Б л а г о й. «Творческий путь Пушкина (1813—1826)». Ответственный редактор А. Егolin. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1950.

Д. Благой не игнорирует противоречий в мировоззрении и творчестве Пушкина, но рассматривает их как отражение противоречий русской действительности первой трети XIX века, то есть той эпохи, когда в России носителями наиболее прогрессивных идей были представители передового дворянства, дворянские революционеры-декабристы. Выступая против крепостного права, они объективно отражали, как указывает исследователь, антикрепостнические настроения русского крестьянства. Но они были очень далеки от народа, и это определило неизбежность их поражения. Оторванность дворянских революционеров от народа Пушкин осознал одним из первых; он во многом преодолел её в своём творчестве, но по своим политическим взглядам он не вышел из круга идей просвещённого дворянства. Это и обусловило противоречия в творчестве и мировоззрении Пушкина.

Об этих противоречиях, как правильно пишет Д. Благой, нельзя забывать исследователю пушкинского творчества, главной задачей которого является «выяснение значения Пушкина именно как великого русского национального поэта, как родоначальника великой русской литературы, величайшей литературы мира». Этот принцип и проводит автор в своей книге.

Органическое сочетание в творчестве Пушкина народно-патриотического пафоса и освободительных идей, обусловленных подъёмом национального самосознания русского народа, определило творческий метод Пушкина. Автор показывает, что именно великий русский поэт явился основоположником реализма, опередив современных ему писателей Запада. «Пушкин... оказался величайшим, как никто из его европейских литературных современников, поэтом действительности... Этим определяется и мировое значение творчества Пушкина».

Вопрос о всемирно-историческом величии Пушкина может быть во всём объёме решён только в нашу эпоху, когда принесло свои плоды то великое революционное движение в России, первый этап которого нашёл своё наиболее яркое художественное воплощение в творчестве Пушкина, когда страна, духовные силы которой так ярко проявились в гении Пушкина, стала во главе всего прогрессивного человечества. Поэтому историческая оценка значе-

ния Пушкина должна быть дополнена оценкой его наследия с точки зрения нашей современности.

Рассмотрению творческого развития великого поэта предшествует глава «Пушкин и русская литература». Обзор русской литературы до Пушкина необходим в книге по двум причинам. С одной стороны, этот обзор должен показать, каким богатым национальным литературным наследством располагал поэт, а с другой стороны, такой обзор раскрывает величие творческого подвига Пушкина, создавшего классическую русскую литературу и русский литературный язык.

Автор книги во многом по-новому освещает развитие русской литературы XVIII века. Он совершенно справедливо утверждает, что «чем более прогрессивно и значительно было то или иное явление допушкинской литературы, тем национально-самобытнее, самостоятельнее оно оказалось». Поэтому не Сумароков, а Ломоносов явился главой русского классицизма, поэтому не Карамзин, а Радищев был прямым предшественником пушкинского реализма. Установление радищевской традиции в формировании Пушкина как «поэта действительности», подтверждённое на протяжении всей книги многочисленными конкретными примерами, является несомненной заслугой её автора.

Рассматривая допушкинскую литературу, Д. Благой показывает, как шла она на сближение с действительностью, как росли в ней элементы народности, как выработывался русский литературный язык. Стать родоначальником новой русской литературы оказалось под силу лишь гению Пушкина, потому что он сумел «открыть в литературе русскую действительность», поставить в своём творчестве важнейшие вопросы современности, довести форму своих произведений до подлинной художественности и создать национальный общенародный литературный язык, который, как указывает товарищ Сталин, является основой современного русского языка.

Характеризуя творческий путь Пушкина, Д. Благой соединяет анализ идейного содержания его произведений с показом созревания его реализма и роста его художественного мастерства.

Первому этапу пушкинского творчества, его лицейской лирике, посвящены 2-я и 3-я главы книги Д. Благого. Д. Благой реши-

тельно отвергает порочную точку зрения компаративистов, утверждавших, что лицейский Пушкин полностью находится во власти традиций французской «лёгкой поэзии». В этих главах показано, что Пушкин овладевал опытом наиболее народных русских писателей допушкинского периода — Фонвизина и Крылова — и что уже в то время Пушкину были известны многие произведения Радищева, а не только поэма о Бове, как считали до сих пор.

Уже в этот период в основном определяется мировоззрение поэта. Оно складывается под непосредственным впечатлением от событий 1812 года и в дружеском общении с будущими декабристами. В патриотической оде «Воспоминания в Царском Селе» уже передан народный подъём, вызванный Отечественной войной 1812 года. А стихотворение «К Лицинию», как правильно утверждает Д. Благой, является замечательным свидетельством того, что патриотизм уже тогда начал сочетаться в поэте с ненавистью к рабству. В этот период закладываются и основы материалистического мировоззрения Пушкина, его атеизм.

Большое влияние на Пушкина-лицеиста оказала поэзия Батюшкова и Жуковского. От анакреонтической лирики Пушкин переходит к увлечению элегиями. Но романтическая неудовлетворённость действительностью не увлекает Пушкина, подобно Жуковскому, в мир таинственный, потусторонний. Он остаётся на почве действительности, а неудовлетворённость жизнью связывается у поэта с мечтой о свободе.

В период между лицеем и южной ссылкой окончательно складываются политические взгляды Пушкина как типично декабристские. Наиболее яркое выражение они находят в его оде «Вольность» и стихотворении «Деревня». Д. Благой подробно анализирует оба эти произведения и приходит к выводу, что в них выражена политическая программа первых декабристских обществ. Но главным в политической поэзии Пушкина является её пламенный революционный патриотизм, её горячая вера в торжество святой вольности. В острых и злых эпиграммах на Александра I и Аракчеева, в экспромтах на политические темы революционный дух юного Пушкина вырывается за пределы умеренных декабристских концепций. Поэт зовёт к восстанию, к возмущению, к расправе с царём.

Поэтому, как указывает автор, «учитывая колоссальную популярность вольных стихов Пушкина и их огромное агитационно-пропагандистское значение, можно сказать, что он являлся не только участником движения, но и прямо возглавлял декабризм в литературе».

Старым поэтическим жанрам — анакреонтике, пейзажной идиллии, дружескому посланию — поэт придаёт новое, революционное звучание. Пушкин мечтает о создании эпического произведения, связанного с русской народной почвой. И он осуществляет свой замысел в поэме «Руслан и Людмила».

Подробно разбирая знаменитую пушкинскую поэму, Д. Благой показывает, что она явилась новым словом в русской литературе благодаря своей народности. Народность её состоит не только и не столько в использовании фольклорного, народно-сказочного материала, сколько в том, что в этой поэме был впервые осуществлён синтез народной разговорной речи и литературно-книжного языка. Исследователь рассматривает поэму «Руслан и Людмила», как явление новой романтической поэтики, отличной от поэтики и Жуковского и Байрона своим земным, радостным, жизнеутверждающим характером. В ней Пушкин обретает тот «полусмешной, полупечальный, простонародный, идеальный» тон повествования, который во всю силу прозвучит в «Евгении Онегине».

Период южной ссылки принято считать романтическим периодом творчества Пушкина. Д. Благой по-новому освещает творчество Пушкина этого времени. В книге убедительно доказано, что ни в «Кавказском пленнике», ни даже в элегии «Погасло дневное светило», имеющей подзаголовок «Подражание Байрону», Пушкин не шёл вослед английскому поэту. Наоборот, его поэзия этого периода, несмотря на ряд созвучных с Байроном мотивов, имеет принципиально иную идейную основу. «Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился», — писал Герцен. Исследователь подтверждает эту мысль Герцена анализом кавказской поэмы Пушкина. Благой подчёркивает антибайроническую направленность этой поэмы и наличие в ней традиции, восходящей к радищевскому противостоюлению представителей народа

дворянским интеллигентам. В книге впервые раскрывается реалистическая основа пушкинского романтизма, пронизанного освободительными идеями.

В годы южной ссылки происходит дальнейшее развитие революционных идей Пушкина. В окружении наиболее революционно настроенных деятелей декабризма и под впечатлением крестьянских бунтов в России и революционного движения на Западе Пушкин всё больше и больше проникается духом революционной мятежности. Он создаёт стихотворение «Кинжал», воспринятое декабристами как призыв к цареубийству; он мечтает причаститься «кровавой чашей» революции; в беседах он резко нападает на дворян-крепостников и заявляет, что «один класс земледельцев почтенный». К этому времени относится и его запись, в которой чётко формулируется понятие революционного патриотизма: «Только революционная голова... может любить Россию...».

Исследователь раскрывает сложность развития мировоззрения Пушкина в период южной ссылки, когда вера в революцию сменилась разочарованием, обусловленным торжеством политики «Священного союза», подавившего революционные движения на Западе и установившего реакционный режим в Европе. Однако чувство разочарования и неверие в победу революции, сказавшиеся в стихотворении «Сеятель», не привели Пушкина к политическому скепсису. Поэт начал осознавать, что революционные движения, оторванные от народа, обречены на поражение. И это, пишет автор, «принесло весьма ценный плод — явилось толчком к последующей постановке Пушкиным перед самим собой и перед своими читателями важнейшей из всех проблем — проблемы народа».

Крестьянские волнения на юге России вскоре убедили Пушкина, что народ — это не пассивная масса, покорная ярму и бичу, и он делает первый опыт в разработке темы народного бунтарства — в романтической поэме «Братья разбойники».

Анализируя поэму «Цыганы», Д. Благой приходит к выводу, что в этом произведении Пушкин воссоздал подлинный национальный колорит и дал новую отрицательную трактовку образа героя-индивидуалиста. Поэт разоблачил руссоистско-байроновскую иллюзию о возможности для ци-

вильзованного человека вернуться в условия первобытной жизни. Это обусловило и новую художественную форму поэмы, не описательно-лирическую, а драматизированную, облечённую в диалогическую форму. Поэма «Цыганы» явилась новым словом в развитии мировой литературы, справедливо утверждает исследователь.

В главе, посвящённой михайловской ссылке, Благой сосредоточивает своё внимание на тесном общении Пушкина с народом, на приобщении поэта к народному творчеству. Это имело большое значение для развития и упрочения пушкинской народности и реализма, ибо крестьянин, приводит исследователь мудрые ленинские слова, «...является практиком и реалистом...»

В Михайловском духовные силы Пушкина достигли, как он сам заявлял, полного развития. Он создаёт замечательные реалистические произведения — трагедию «Борис Годунов», поэму «Граф Нулин», он продолжает начатую в южной ссылке работу над «Евгением Онегиным», он пишет огромное количество стихотворений, раскрывающих духовный мир человека во всей его красоте и гуманности.

Исследователь вносит много нового в понимание творчества Пушкина этого периода. На новом материале — главным образом разбирая черновые наброски и варианты пушкинских стихов — автор раскрывает связь великого поэта с декабризмом. Д. Благой утверждает, что Пушкин, находясь в Михайловском, знал не только о существовании тайного общества, но и о готовящемся восстании, и ждал, когда его позовут принять в нём участие.

Наибольший интерес представляет анализ знаменитого пушкинского «Пророка», написанного вскоре после восстания декабристов. Д. Благой убедительно доказывает, что четверостишие

Встань, встань пророк России,  
Позорной ризой облекись  
И с вервьем вкруг смиренной выи  
К царю . . . я вись.

(в другой записи: «К у. г. явись», очевидно — К убийце гнусному явись) является не черновым наброском утраченного стихотворения, как это было принято считать до сих пор, а первоначальным вариантом заключительных строк «Пророка». Таким образом, знаменитое стихотворение Пушкина было задумано, как гневный отклик

поэта, ощущавшего себя «пророком России», на расправу Николая I над декабристами.

Оригинальной является трактовка Д. Благой таких произведений периода михайловской ссылки, как «Сцена из Фауста», поэма «Граф Нулин» и «Песни о Стеньке Разине». «Сцена из Фауста» рассматривается исследователем как первое проявление остро критического отношения Пушкина к буржуазной западноевропейской цивилизации. В «Графе Нулине» Д. Благой подчёркивает резко сатирическое разоблачение дворянского космополитизма. Подробному анализу подвергнуты почти не изученные стихи о Разине. Автор рассматривает их как первые произведения в русской литературе, в которых народности содержания соответствует народность художественной формы. Автор точно устанавливает дату этого цикла стихов — июль—август 1826 года — и подчёркивает, что в них проявился сочувственный интерес Пушкина к вождям крестьянских восстаний.

Характеризуя шедевр пушкинского творчества — трагедию «Борис Годунов», Д. Благой раскрывает глубину постижения в ней Пушкиным русской действительности, его замечательный историзм, его новаторство в области литературного языка. В «Борисе Годунове» Пушкин мастерски воссоздал эпоху больших социально-исторических сдвигов в России — эпоху «смутного времени». Он увидел в истории не борьбу личностей, а столкновение социальных сил. Он постиг решающую роль народа в исторических событиях, почувствовал живую связь истории с современностью. Это сделало «Бориса Годунова», пишет автор, «первым во всей литературе образцом подлинной социально-исторической трагедии, ...где решаются судьбы народные».

«Борис Годунов», как это убедительно показывает Д. Благой, является «первым подлинно и высоко реалистическим историко-художественным произведением всей мировой литературы». В главе, посвящённой «Борису Годунову», исследователь раскрывает характерные черты пушкинской поэзии, явившейся новым этапом в развитии мирового искусства.

Есть в книге Д. Благого и отдельные неверные утверждения. Так, например,

борьбу между шишковистами и карамзинистами по вопросам языка он считает «борьбой двух общественно-политических идеологий». Это, конечно, не так. Расхождение по вопросам языка не определяли политического лица их участников. Не следует забывать, что многие декабристы в той или иной мере были защитниками «старого», державинского слога, как это и показывает, впрочем, сам автор.

Некоторые сопоставления поэм «Кавказский пленник» и «Цыганы» с творчеством Радищева сделаны чересчур прямолинейно и выглядят поэтому неубедительно.

Конечно, даже в обширной монографии невозможно рассмотреть все произведения великого поэта, да это и не обязательно, но всё же в главе о южной ссылке поэта, где разбирается отношение Пушкина к претенденту на мировое господство — Наполеону, следовало бы отметить, что в это время Пушкин высказывал глубокие и гуманные мысли о мире. «Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны...» — пишет он в 1821 году.

Непонятно также, почему, рассматривая творчество Пушкина периода ссылки в Михайловском, автор даже не упоминает о знаменитой «Вакхической песне» — этом гимне человеку, разуму и свободе. И, наконец, показывая глубокое сочувствие Пушкина декабристам и верность их делу, надо было бы указать и на то, что непосредственно после разгрома декабристов Пушкин пришёл к мысли, что их идеи оказали огромное воздействие на русскую литературу, обусловив её активный, проповеднический характер, её неразрывную связь с освободительным движением в России. «Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению нежели к деятельности», — пишет он в письме к А. Дельвигу в феврале 1826 года и тут же добавляет: «...14 декабря доказало у нас иное...»

Но все эти недочёты и пробелы в книге Д. Благого нужно рассматривать лишь как частности. Главное, основное в ней — то, что она является крупным новаторским трудом о Пушкине.

**М. КОЗЬМИН.**

## Содержательное исследование

Советская наука многое сделала для изучения истории формирования передовой русской демократической общественной мысли XVIII века. Изучены и впервые введены в научный обиход многочисленные малоизвестные и неизвестные факты и явления из истории демократической русской литературы конца XVIII и начала XIX века, подчас сознательно замалчивавшиеся буржуазной наукой. В итоге этой работы, осуществлённой усилиями большой группы учёных, выяснено, что великая революционная традиция, восходящая к Радищеву, не оборвалась после того, как правительство предало уничтожению «Путешествие из Петербурга в Москву», а, наоборот, породила заметное движение в литературе, в которой на рубеже XVIII и XIX веков стали появляться довольно многочисленные представители демократических низов.

Исследованию ряда забытых и малоизвестных явлений литературы и публицистики 1790—1800-х гг. — явлений, развивавшихся под непосредственным воздействием радищевских идей, — посвящена рецензируемая книга.

Она является результатом многолетнего кропотливого труда, затраченного на собиранье и выявление биографического, литературного и исторического материала, изучение архивных фондов, малодоступных и редких старопечатных источников.

Факты, собранные Вл. Орловым, убедительно опровергают лживую буржуазно-дворянскую теорию «единого потока» развития русской литературы и позволяют проследить, как проявилось в русской литературе 1790—1800 гг. то разделение каждой национальной культуры в дворянско-буржуазном обществе на две национальные культуры, о котором писал Ленин. Во многом по-новому, с позиций марксистско-ленинской теории, истолковываются и оцениваются в книге важнейшие историко-литературные и эстетические явления, возникшие на рубеже XVIII и XIX столетий и обусловленные борьбой между основными классами тогдашнего русского

общества — помещиками и крепостным крестьянством.

Объектом исследования Вл. Орлова явилась деятельность группы литераторов — разночинцев по своему социальному происхождению и просветителей по своему мировоззрению, которые были объединены в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств», известных в истории литературы под именем «радищевцев».

Обстоятельно рассмотрено в книге творчество наиболее одарённых и демократически настроенных поэтов и публицистов-радищевцев — Ивана Петровича Пнина и Василия Васильевича Попугаева; каждому из них автор уделяет по специальной главе.

В главе о Пнине показана его прогрессивная деятельность, как противника самодержавно-крепостнического строя, убеждённого материалиста по своим философским воззрениям, горячего патриота Родины. В своём трактате «Опыт о просвещении относительно к России» (1804) Пнин пытался теоретически обосновать необходимость отмены крепостного права, предоставления народу политических прав и свобод, всемерного распространения научных знаний и культуры.

Общественно-политические взгляды Пнина были исторически ограничены, он не сумел подняться до понимания необходимости революционного свержения народом самодержавия и крепостничества. Идея крестьянского восстания, до которой возвысился Радищев, осталась ему недоступной. Однако его выступления нанесли серьёзный удар по дворянскому либерализму. Пнин требовал немедленного освобождения крестьян с землёй, отвергая реакционные бредни лицемерных либеральных краснобаев — замаскированных защитников крепостничества — о необходимости предварительной длительной подготовки крестьянства к свободе средствами просвещения. В «Опыте о просвещении», запрещённом царской цензурой как произведение, наполненное «резкими выходками против помещиков» и «угрожающее» основам самодержавно-крепостнического общества, Пнин в ряде основных вопросов шёл значительно дальше западноевропейских просветителей, поскольку русский мыслитель

ясно понимал зависимость задач просвещения народа от ликвидации крепостного права и разрушения самодержавного деспотизма.

Как поэт-гражданин, певец свободы, неутомимый пропагандист идей материалистической философии выступает Пнин и в своих многочисленных поэтических произведениях.

Свободолюбие Пнина неразрывно сочеталось с его пламенным революционным патриотизмом, с борьбой против раблепия перед иностранщиной. С глубокой болью и сокрушением переживал он муки порабождённого народа, над которым измывались помещики-крепостники и царские чиновники. «Какой россиянин, отечество своё любящий,— писал он,— может равнодушно смотреть на печальные картины, взору его представляющиеся! Как может он утаить горестные чувствования, исполняющие сердце его!» Он гневно бичевал дворянских космополитов, позорно равнодушных к интересам России, и говорил, что «такие люди недостойны называться россиянами, недостойны украшаться славой с сим именем сопряженною. Сердце россиянина должно исполнено быть благородной гордости».

Пнин верил в неиссякаемые силы и мужество русского народа и пророчил ему великое будущее.

Смелым и беспощадным противником крепостничества и защитником угнетённого народа был также поэт и публицист В. Попугаев. Вл. Орлов приложил немало усилий, чтобы собрать воедино скудные и отрывочные сведения об этом писателе, жившем и умершем в неизвестности и вычеркнутом из истории литературы буржуазными учёными. По существу, цельное представление о деятельности Попугаева широкий читатель впервые получит только из книги Вл. Орлова.

Попугаев был одним из основателей и наиболее радикальным представителем «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», организованного в Петербурге в 1801 году. Творчество Попугаева, относящееся к первому десятилетию прошлого века, было тесно связано с деятельностью этого «Общества». Попугаев был по преимуществу публицист, и все его интересы, как и его современника Пнина, были сосредоточены вокруг проб-

лемы крепостничества, вокруг борьбы за улучшение политического и экономического положения народа. Его общественно-политические идеи наиболее полно изложены в трактате «О благоденствии народных обществ», дошедшего до нас в сокращённом и урезанном виде, так как автор вынужден был под давлением либеральных элементов в «Обществе» внести в него ряд существенных изменений. Трактат обнаруживает в Попугаеве оригинального и просвещённого мыслителя-патриота, горячо пекущегося о судьбах Родины и народа. Как и Пнин, Попугаев ратует за быстрее освобождение крестьян от крепостнической кабалы с наделением их неотчуждаемой земельной собственностью. Попугаев более решительно, нежели другие радищевцы, воспринял революционные заветы Радищева. Из рукописи трактата, не опубликованного по цензурным условиям, видно, что Попугаев признавал законным право народа силою добиваться своего освобождения, «мстить мучительству», решительно бороться с поработителями и угнетателями.

Особая глава рецензируемой книги посвящена истории возникновения и деятельности «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», явившегося в первые годы своего существования средоточием представителей демократической интеллигенции, свято почитавших великие свободолобивые революционные антикрепостнические идеи Радищева и развивших значительную литературную, просветительную и филантропическую деятельность. На материалах архива «Общества» Вл. Орлов показывает острую идейно-политическую борьбу, которая разгорелась среди его членов. Эта борьба привела к постепенному вытеснению из общества наиболее радикально мыслящих писателей и превращению его после 1807 года в умеренное либерально-дворянское литературное объединение.

Книгу Вл. Орлова завершает исторический очерк гражданской поэзии 1800-х годов, в котором автор обстоятельно анализирует социально-политические, философские и эстетические мотивы творчества поэтов-радищевцев, их борьбу с реакционной идеологией приверженцев Карамзина и пресловутого адмирала Шишкова. Поэтам-радищевцам, как указывает автор,



удалось подойти к решению ряда важнейших идейно-творческих проблем: народности литературы, её общественно-воспитательной роли, создания высокоиндустриальной гражданской поэзии, обогащения поэтического языка за счёт языка народного, что оказало благотворное влияние на дальнейшее развитие прогрессивной общественной мысли и литературы, на творчество поэтов-декабристов, Пушкина и поэтов его плеяды. Деятельность и творчество радищевцев — связующее звено в общественно-литературном развитии в период между Радищевым и декабристами. Именно они донесли радищевскую революционную традицию до декабристской эпохи.

Исследование Вл. Орлова представляет значительный интерес не только для узкого круга специалистов-литературоведов и историков — его с пользой прочтёт и рядовой советский читатель, интересующийся историей развития освободительных идей в России.

Однако в рецензируемой книге имеется и ряд существенных изъянов и нечётких формулировок. Так, автор несомненно несколько преувеличивает значение высказываний Радищева об общественной роли литературы, говоря, что «он первый в русской литературе выдвинул и обосновал взгляд на писателя как на общественного деятеля, призванного служить делу политического просвещения и морального воспитания народа в духе передовых идей века». Известно, что о прогрессивной общественной и воспитательной роли писателя не раз говорили до Радищева передовые русские мыслители XVIII века — Ломоносов, Фонвизин, Новиков и др. Точно так же надо было указать, что описание хищнической, бесчеловечной эксплуатации «цветных» невольников в капиталистических колониях служила для многих русских писателей XVIII века иносказательной формой обличения русской крепостнической действительности ещё задолго до поэтов-радищевцев, и едва ли не Ломоносов первый использовал с такой целью эту тему в своём «Письме о пользе стекла». Освещение же этого вопроса в книге Вл. Орлова может создать впечатление, будто тема бедственного положения колониальных невольников была распространена только в литературе 1800-х годов.

Нуждается в более развёрнутом и принципиальном рассмотрении вопрос о месте и роли Карамзина в истории русской литературы. Вл. Орлов подходит к этому сложному вопросу несколько примитивно.

Демократическая, революционная идеология в России зародилась и утверждалась в острой напряжённой борьбе передовых мыслителей и писателей с реакционными защитниками самодержавно-крепостнических порядков. Вл. Орлов справедливо пишет о том, что Радищев и Карамзин представляют собой два полюса русской литературы на рубеже XVIII и XIX веков и что от каждого из них пошли те непримиримо враждебные друг другу линии в русской литературе, которые прослеживаются не только в пушкинское время, но и много позже. По пути Радищева пошли все подлинно прогрессивные силы русской литературы — демократические писатели и публицисты 1800-х годов, Крылов, поэты-декабристы, Пушкин, Грибоедов, революционные демократы. Радищев входит и в число предшественников советской литературы.

По пути Карамзина пошли в основном те литературные силы, которые пытались противостоять освободительному движению, идейно-политическому прогрессу страны — Жуковский, поэты «любомудры», Тютчев, славянофилы и «почвенники».

Автор правильно вскрывает реакционность мировоззрения Карамзина и карамзинистов, как защитников самодержавно-крепостнического строя; он бесспорно прав, утверждая, что пресловутые споры карамзинистов и шишковистов, вопреки мнению буржуазного литературоведения, отнюдь не были проявлением сколько-нибудь глубокого политического конфликта. Это была всего лишь распря по частному вопросу между отдельными группами господствующего дворянско-крепостнического класса, равно заинтересованными в сохранении своих эксплуататорских прав и преимуществ за счёт угнетённого и порабощённого народа.

Указывая на то, что главной движущей силой развития литературы была революционная идеология, связанная с борьбой против крепостничества и самодержавной монархии, а не исторически бесперспективный, враждебный освободительным устремлениям передовых кругов русского обще-

ства карамзинизм, Вл. Орлов выступает за решительный пересмотр понятия «карамзинский период» в качестве обозначения важнейшего периода развития русской литературы предпушкинской эпохи. Основания для пересмотра этого понятия, впервые введённого в обиход молодым Белинским, имеются и в более поздних высказываниях великого критика.

Однако, поставив этот актуальный и важный историко-литературный вопрос, автор сделал ряд оговорок, которые в известной степени ослабляют его же собственную аргументацию и в конечном счёте уводят в сторону от решения вопроса. Так, говоря об объективно-реакционной роли, которую сыграл карамзинизм в истории русской культуры, автор вместе с тем заявляет: «Карамзин интересует нас в данном случае не сам по себе (!), но лишь в соотношении с противостоявшими ему общественно-литературными силами. Поэтому, оставляя в стороне вопрос об известных заслугах Карамзина перед русской литературой (Разрядка моя. — Л. С.), остановимся лишь на вопросе о той позиции, которую занимал он в условиях идейно-политической борьбы, происходившей в его время в русской общественной мысли и литературе». Постановка вопроса весьма замысловатая! В самом деле, почему при оценке идейно-политической позиции Карамзина должен остаться в стороне вопрос о его заслугах перед русской литературой? Искусственный, метафизический отрыв Карамзина «самого по себе» от Карамзина — писателя и участника идейно-политической, общественно-литературной борьбы своего времени способен только вызвать недоумение.

В книге, посвящённой изучению литературы предпушкинской эпохи, надо было без обиняков и проволочек исчерпывающе осветить вопрос именно о литературной деятельности Карамзина; не избегая показа и той объективно-прогрессивной роли, которую он сыграл как реформатор русского литературного языка. Карамзин содействовал очищению его от архаических, церковнославянских элементов. Как писа-

тель, он немало сделал для утверждения повествовательного жанра в русской прозе и т. д., что отнюдь не снимает консервативного и реакционного характера его философских и социально-политических воззрений.

Недостаточно продуманы некоторые утверждения Вл. Орлова и в оценке мировоззрения В. Попугаева. «В мировоззрении Попугаева, — пишет автор, — отчасти уже сказался кризис утопических идей просветительства XVIII века. К тому времени, когда он писал свой трактат, вера в мирный прогресс уже потеряла в значительной мере свою убедительность для людей, учитывавших конкретный исторический опыт пореволюционной эпохи».

Кризис просветительских иллюзий в полной мере сказался уже в мировоззрении Радищева. Вместе с тем, вряд ли правильно говорить о том, что к началу XIX века вера в мирный прогресс потеряла в значительной мере свою убедительность для поэтов и публицистов, рассматриваемых в книге, ибо в таком случае их надлежало бы назвать революционерами. Однако сам автор на многих страницах книги убедительно показал, что даже такие радикально мыслявшие писатели, как Пнин и Попугаев, не могли встать вровень с Радищевым, не смогли осознать необходимости насильственной революционной борьбы с самодержавно-крепостническим строем, то есть не были революционерами, оставшись в плену утопических просветительских идей и теорий.

Встречаются в рецензируемой книге и некоторые нечёткие, неудачные термины и выражения: автор пишет, например: «аморфный литературный поток», «неразборчивый дворянский космополитизм», «Пнин рисует образ Радищева путём игнорирования именно таких слов-символов...» (Разрядка моя. — Л. С.) и т. п.

Перечисленные здесь недостатки должны быть учтены автором в его дальнейшей работе по изучению истории русской литературы и общественной мысли.

Д. СВЕТЛОВ.

## Пиррова победа

Книга американского писателя Джона Уивера «Пиррова победа» вышла в 1948 году, в то время, когда над Америкой уже отчётливо встал призрак нового экономического кризиса. Содержание книги составляют события, происшедшие в Америке почти 20 лет назад, во время кризиса 1929—1933 гг. и ставшие уже историей. Однако к этим событиям настойчиво обращаются взгляды американцев сегодня.

Кризис 1929—1933 гг. многое изменил в жизни Америки. Он похоронил конец легенды об американском «процветании», о пресловутом «американском образе жизни», пресловутом «принципе свободной конкуренции». Многим американцам он открыл глаза на истинный смысл американской «демократии». Свыше 15 миллионов безработных, лишённых крова и пропитания, с одной стороны, и сверхприбыли монополий — с другой, были наглядным свидетельством того, кому служит эта «демократия». Кризис привёл к резкому обострению классовых борьбы, вызвал к жизни массовое профессиональное рабочее движение, усилил влияние коммунистической партии Америки. Рабочие переходили к уличным выступлениям, стачкам, вооружённым столкновениям с полицией и правительственными войсками.

В основу своего романа Уивер положил действительно событие тех лет: поход ветеранов первой мировой войны в Вашингтон с требованием выплатить причитающееся им по закону пособие. Летом 1932 года многоотрядная армия участников войны (так называемый Экспедиционный корпус ветеранов) собралась в столице Соединённых Штатов Америки. Правительство не отказывалось платить, но откладывало погашение обязательств. Безработные ветераны, собравшиеся в Вашингтоне, требовали выплаты пособия немедленно, так как у них не было никаких средств к существованию. После отклонения конгрессом законопроекта о выплате пособия правительство вооружённой силой разогнало ветеранов.

Очень знаменательно, что в то время

Джон Уивер. «Пиррова победа». Перевод с английского Т. Озерской и Н. Тренёвой. Редактор В. Топер. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

когда Уолл-стрит начал готовить третью мировую войну, Уивер воскресил именно этот поход ветеранов, поставил вопрос о целях войны, о том, кто её вёл и ради чего она велась. Книга полна воспоминаний и рассказов о первой мировой войне, с ней связана судьба всех героев романа. Ветераны ясно видят, что война принесла трудящимся только лишения и бедствия. Они демонстрируют по улицам Вашингтона с плакатами: «В 17-м нам кричали ура — в 32-м гонят со двора». «Кто выиграл войну? Мы не выиграли ничего!»

Один из ораторов говорит: «— В последний раз, когда мы маршировали в строю, мы были молоды, мы только что добились победы. Сейчас мы нищие, мы голодные, у нас нет работы, мы лишились крова, семьи наши распались, мы ничего не добились...»

Как же разрешил Уивер свою задачу, как он обрисовал этот эпизод классовой борьбы и к какому выводу он подводит читателя?

Правильно обрисовав пёстрый социальный состав похода ветеранов, Уивер почти совсем не уделил внимания участвовавшим в нём рабочим, не раскрыл значения пролетарской солидарности, которую вызвал этот поход среди трудящихся Америки. В книге, например, ни слова не говорится о том, что компартия Америки организовала по всей стране уличные митинги для поддержки требований ветеранов. Показав предательскую роль руководства похода, всеми силами пытавшегося ввести движение ветеранов в мирные конституционные рамки, автор нигде не сказал прямо о провокационной роли агентов американской полиции, пробравшихся к руководству этим движением.

Неверно показан в книге начальник вашингтонской полиции Глассфорд. Автор пытается изобразить его в некоторой степени сочувствующим ветеранам, хотя на деле его двурушническая политика преследовала только одну цель — добиться ликвидации движения как можно тише и безболезненней для Белого дома.

Кульминационный момент романа — убийство полицейским двух ветеранов, знаменовавшее переход правительства к открытому террору, изображён также неверно: этот эпизод передан в книге слова-

ми Глассфорда, представившего всё дело так, будто бы полицейский стрелял, защищаясь от нападавшей толпы. И хотя читателю ясно, что автор не согласен с этой версией, правильной трактовки события он в книге не находит.

Уивер стремится к «беспристрастности» в передаче событий; создаётся впечатление, что он хочет предоставить говорить самим событиям, стремится «по-репортёрски» показать «то, что было». При этом, однако, он часто некритически следует за официальными сообщениями буржуазных газет. Ложно понятая объективность помешала Уиверу до конца раскрыть социальный смысл похода ветеранов, как одного из эпизодов классовой борьбы американского народа. Никто из действующих лиц романа не показан последовательным и принципиальным борцом против капиталистического общества. Отсюда известный оттенок трагизма и обречённости, лежащий на всей книге.

Тем не менее, роман Уивера заслуживает внимания, как значительное произведение современной прогрессивной литературы Америки.

В центре книги — судьба журналиста Парка Хойта и его жены Лорри. Парк Хойт — это честный рядовой американец, интеллигент, обрисованный автором с подкупающей теплотой и симпатией. В мировую войну он воевал во Франции, был ранен, потом работал репортёром в крупной газете. В 1922 году, сразу же после своей свадьбы, он побывал с молодой женой в Вашингтоне, и президент Гардинг помахал им рукой из сада Белого дома. Парк и Лорри долго помнили эту встречу, и она казалась им залогом счастья. Но восемь лет службы репортёром в годы американского «процветания» («даже в самый разгар которого, — как пишет Уивер, — 60 процентов жителей Америки жили в полной нищете или, в лучшем случае, в едва выносимых условиях») были для Хойта временем постепенного изживания иллюзий. Хойт лишился работы и крова, и вот он снова с женой и восьмилетней дочерью пришёл в Вашингтон, но не один, а с армией таких же, как и он, бездомных. «На этот раз, — говорит Лорри, — президент не помахает нам рукой».

Ветераны разбили лагерь на окраине Вашингтона. Это был один из тех «гувер-

виллей», в которых и сейчас живут сотни тысяч американских безработных. Уивер рисует страшную картину этого лагеря бездомных, выглядевшего подобно мусорной свалке, «где семь тысяч ветеранов войны жили в курятниках, в рваных палатках, под брезентовыми навесами и в ржавых автомобильных кузовах. Некоторые вырыли в земле глубокие ямы, выстелили их соломой и сверху поставили перевёрнутые бочки или мусорные ящики; другие соорудили лачуги из толя и ящиков из-под фруктов». Антисанитарные условия, грязь, скученность делали жизнь в лагере невыносимой.

Уиверу удалось передать чувство коллективной поддержки, солидарность обездоленных, растущие в лагере. Парк Хойт работает безвозмездно в лагерной газете, и именно здесь, в честном осмысленном труде на благо своих новых друзей, он обретает выдержку, спокойную уверенность и моральную силу, которая не покидает его и после поражения похода.

Правительство Гувера использовало все средства борьбы против ветеранов — вплоть до шпионажа, подкупа, открытого террора. Проводилась усиленная фашизация таких организаций ветеранов, как «Американский легион» или «Зелёные рубашки». Агенты тайной полиции, подкупая и спавая контрабандным виски (в Америке в то время действовал сухой закон), играя на расовых предрассудках, вербовали в фашистские отряды наиболее отсталых по своему сознанию участников похода. Об одном из них — пьянице Гэсе — редактор лагерной газеты Ленгстром говорит: «он будет первый в очереди, когда начнут выдавать коричневые рубашки и резиновые дубинки». Ленгстром и Хойт становятся жертвами фашистов: ночью их избивают за «красные» статьи в газете.

Правительство и пресса пустили в ход испытанное средство: жупел «красной опасности». Под вывеской «борьбы с коммунистами» правительство расправлялось со всеми недовольными элементами. В сенате открыто раздавались голоса о том, что Америке «нужен свой Муссолини».

Следует отметить, что Уивер не до конца раскрывает тот процесс фашизации, который шёл в это время в Америке. В стране пресловутой «свободы» свободно действовали такие откровенно фашистские

организации, как «Свастика пресс», «Белая связка», «Гвардейцы», свободно печатались такие бредовые измышления, как проекты уничтожения восемнадцати миллионов людей и насильственной стерилизации безработных; о фашизме рассуждали не только «старички-сенаторы», как пишет Уивер, но десятки газет и журналов. В этот период, как сообщала в своё время газета «Известия», «еженедельник «Либерти» (тираж 2 с половиной млн. экземпляров) поместил передовую статью, в которой призывает объявить страну на военном положении и предоставить президенту диктаторские полномочия».

Страницы, посвящённые обсуждению в сенате законопроекта о выплате пособия, — яркая иллюстрация того, насколько враждебна политика правящих классов Америки интересам американского народа. После того как закон прошёл в палате представителей, — кстати сказать, Уивер ничего не говорит о том, что это было вызвано не сочувствием к ветеранам, а расчётами на повышение уровня цен в результате эмиссии ценных бумаг, — он был провален в сенате, причём было заранее известно, что президент Гувер всё равно наложил бы на него вето. В то же время Реконструктивно-финансовая корпорация, во главе которой стоял Чарльз Дауэс, давала миллионные ссуды банкам и железнодорожным компаниям.

Наиболее сильные страницы книги — её последние главы, описывающие кровавую расправу, учинённую правителями США над безоружными ветеранами.

Правительство Гувера, убедившись, что ветераны настроены мирно и не пойдут на открытое выступление, вечером 28 июля двинуло против них регулярные войска, поддержанные кавалерией, артиллерией, танками и авиацией. На улицах столицы Соединённых Штатов разыгрались настоящие бои. Пулями и штыками солдаты выгоняли ветеранов из города, травили их слезогочивыми газами, предавали огню их жилища.

Командовал этой позорной операцией тогдашний начальник американского генерального штаба, «отличившийся» в этом деле — Макартур; это он, сегодняшний друг президента Трумэна и японского

микадо, приказал в 1932 году американским солдатам стрелять в безоружную толпу своих отцов и старших братьев, приказал сжечь лагерь вместе с последним жалким имуществом ветеранов. Это он, незадачливый претендент на роль диктатора Азии, палач корейского народа, был убийцей детей и женщин, отравленных газами в Вашингтоне в 1932 году. Макартур разъезжал по «полю боя» в полной генеральской форме, при всех орденах и регалиях, объявлял себя спасителем Америки, кричал о победе «сил, защищающих закон и порядок» над «превосходящими силами повстанцев». Для него расстрел безоружных людей был очередным этапом в его карьере, прелюдией к попытке самому стать диктатором Америки.

Но победа реакции была поистине Пирровой победой: Хойт уходит из Вашингтона, твёрдо уверенный в необходимости борьбы за свои права. «Должно же быть для нас место», — говорит его жена, Лорри. И Хойт отвечает: «Мы должны его добыть». Хойт не одинок, вместе с ним все честные люди лагеря: простая малограмотная Бесс — жена Гэса, которая прогоняет своего мужа, подкупленного фашистами; редактор лагерной газеты Ленгстром; вашингтонский корреспондент Тайлер, открыто ставший на сторону ветеранов, и многие другие. «Двадцать лет чесались у меня руки дать сдачи, — говорит Тайлер, запуская камнем в наступающих солдат. — Вот, наконец, случай представился».

Уивер заканчивает книгу описанием преступной операции Макартура и изгнанием ветеранов из Вашингтона: избитый Хойт вместе с большой и отравленной газом Лорри и маленькой девочкой уходит в ночь вместе с потоком отверженных людей.

На деле борьба на этом не кончилась — более 7 тысяч ветеранов собрались в городе Джонстауне; отказываясь подчиниться реакционному руководству, они требовали активной борьбы за свои права. 1-го августа организовали демонстрацию, проходившую под коммунистическими лозунгами; она была с трудом подавлена полицией. Движение ветеранов затихло очень нескоро, наиболее сознательные участники движения примкнули к борьбе американских рабочих.

«Пиррова победа» подводит читателя к выводу, что причина поражения ветеранов — в их вере в американскую «демократию», что необходимо сплочение всех честных людей для борьбы за свои права против политики Уолл-стрита. В этом

объективном выводе — сила книги Джона Уивера, её актуальность в наши дни, когда американские фашисты от призывов к войне перешли к прямой вооружённой агрессии.

П. МАКСИМОВ.

★

## Борьба за мир. История. Международные отношения

### Польские крестьяне на Украине

Поистине трагическим было положение довоенной польской деревни. Около 330 тысяч крестьянских семей имели менее чем по полгектара земли. Более чем двум миллионам мелких и карликовых хозяйств принадлежало только 14 процентов пахотной земли в стране.

После освобождения Польши Советской Армией и проведения земельной реформы в стране было ликвидировано помещичье землевладение. Около полумиллиона крестьянских хозяйств получило участки на старых польских землях и 600 тысяч крестьян — на воссоединённых западных землях.

Шестилетний план хозяйственного развития и строительства основ социализма (1950—1955), являющийся планом быстрой индустриализации страны, предусматривает развитие и кооперирование сельского хозяйства Польши.

В преимуществах коллективного хозяйства уже убедились многие польские крестьяне. Весной 1949 года в стране начали возникать сельскохозяйственные производственные кооперативы. Число кооперативов в конце этого же года составляло около 300, а к декабрю 1950 года приближалось к 1900, то есть увеличилось за десять месяцев более чем в шесть раз.

Этим первым успехам способствовали поездки польских крестьянских делегаций в Советский Союз.

Roman Wójcik i Elżbieta Zyguła. „Widzieliśmy na własne oczy”. Spółdzielnia wydawnicza „Współpraca”. Warszawa. (Роман Вуйчик и Эльжбета Зыгула. «Мы видели собственными глазами». Кооперативное издательство «Сотрудничество», Варшава).

„Jak żyją i jak pracują w kółchozach Radzieckiej Ukrainy”. „Książka i wiedza”. Warszawa, 1950. («Как живут и как работают в колхозах Советской Украины». Издательство «Книга и знание», Варшава, 1950).

Ознакомление с жизнью советских колхозов показало им огромные преимущества коллективной системы ведения хозяйства над отсталым индивидуальным хозяйством. По возвращении на родину члены делегаций делились на многих сотнях и тысячах собраний своими впечатлениями о поездке, призывая крестьян последовать примеру советских колхозников.

И вот перед нами две книги, вышедшие в Варшаве. Одна из них носит выразительное название «Мы видели собственными глазами», вторая называется «Как живут и как работают в колхозах Советской Украины».

Особенность этих книг заключается в том, что они написаны простыми людьми, польскими крестьянами.

В 1949 году в колхозах Украины в составе трёх делегаций побывало до 600 посланцев польской деревни — крестьян, ведущих единоличное хозяйство, а также членов и руководителей производственных сельскохозяйственных кооперативов, работников государственных машинно-тракторных станций. Они посетили колхозы, совхозы, МТС, научно-исследовательские институты и опытные станции, изучали передовую агротехнику, организацию труда, экономику колхозов, знакомились с достижениями советской агрономической и зоотехнической науки, с механизацией в полеводстве и животноводстве.

Первая книга написана членами делегации Романом Вуйчик и Эльжбетой Зыгула.

Вторая книга состоит из шестнадцати отдельных статей о самых различных сторонах жизни украинских колхозников.

Представители крестьянства Польши, сильно пострадавшей в последней войне, прежде всего отмечают трудовой подвиг советских людей в восстановлении и развитии народного хозяйства.

Р. Вуйчик и Э. Зыгула сообщают читателям:

«Человек должен просто удивляться, увидев всё то, что сделали советские люди за несколько лет после войны. Ведь во всех колхозах после освобождения не было ни одной коровы, ни одной свиноматки, ни одного коня, ни одной машины. А сейчас есть и кони, и коровы, и овцы, и грузовые автомашины, и тракторы, и свиньи, и птица».

Об этом же рассказывает и Зофья Багровская и другие авторы статей.

С огромным интересом воспринимали польские гости достижения советской агрономической науки.

Юзеф Матосек, Юзеф Лешинский и Вианценты Бельский с восхищением говорят о дружеском сотрудничестве колхозников с учёными.

Авторы книг отмечают, что труд в Советском Союзе является делом чести, а передовые люди труда — где бы они ни работали — окружены почётом и уважением.

«Следует подчеркнуть, — пишет Янина Тарская, — что советские люди воспитаны таким образом, что они уважают и считают важным любой вид работы. Там повсюду сильно развито достоинство человека. И поэтому, независимо от того, врач ли это или инженер в городе, тракторист или доярка в колхозе, — все они в одинаковой степени убеждены в ценности своего труда и в том, что, исполняя его добросовестно и аккуратно, они делают одинаково ценный вклад в строительство своей страны».

Делегаты убедились, что колхозный строй даёт крестьянам все возможности, чтобы развернуть свои творческие силы, и не только не сдерживает трудовую инициативу колхозника, а, наоборот, неизмеримо повышает и развивает её. Этот вывод, указывается в одной из книг, очень важен для польских крестьян. Многие из них думали, что в колхозах существует «уравниловка», что там «все зарабатывают одинаково — и те, которые хорошо работают, и те, которые лодырничают». После поездки они поняли: «колхоз — не рай для лодырей»; основой всей колхозной жизни является принцип оплаты по труду: «кто лучше работает, тот лучше и зарабатывает». «В Советском Союзе хороший работ-

ник пользуется всеобщим почётом и уважением и одновременно хорошо, а зачастую и очень хорошо зарабатывает».

Большое впечатление на польских крестьян произвела подлинная забота о благосостоянии колхозного крестьянства и всего советского народа. Бесплатное медицинское обслуживание населения, обеспечение престарелых и инвалидов, забота о женщинах-матерях и детях — всё это нашло горячий отклик среди членов делегации.

Мария Искра в статье «Я никогда не забуду этих людей», пишет о том, что женщины в колхозах играют огромную роль, что организация колхозов изменила и облегчила всю жизнь советских крестьянок.

Собственными глазами увидели польские гости, как в Советском Союзе уничтожается противоположность между городом и деревней. С восторгом пишут они о культурных достижениях советской колхозной деревни. Они вспоминают о колхозных школах, которые, по их мнению, являются «одним из самых больших достижений советских крестьян». Они пишут о прекрасных домах культуры и клубах, рассказывают о колхозных библиотеках, в которых их поразило не только большое количество самых разнообразных книг, но и то, что «люди читают очень много».

В статье «Две заграницы» Агнешка Таргош рассказывает о тяжёлой жизни обнищавших, обездоленных крестьян, вынужденных эмигрировать из довоенной Польши в поисках работы.

Двадцатилетняя девушка, дочь бедного крестьянина, Агнешка Таргош должна была вместе со многими своими подругами уехать из старой Польши магнатов и промышленников во Францию, чтобы зарабатывать там кусок хлеба тяжёлым трудом на фермах и фабриках.

После двадцати трёх лет скитаний во Франции, вернувшись на родину, она стала её полноправной гражданкой и получила землю. И вот она снова за границей — в Советском Союзе, но не как изгнанница, а как почётный гость советских колхозников.

«Не знаем, как раньше принимали за границу королей и знатных панов, — пишет автор, — но мы убеждены, что так, как нас, никого не встречали раньше. Нас принимали как родных братьев. Один кол-

хозник сказал правду: «открыты для вас наши двери и сердца».

Полны достоинства и патристической гордости за свою свободную родину слова авторов, когда они говорят о своём новом народно-демократическом государстве. «Так как Польша является народной, то и хозяином Польши являются рабочие и крестьяне... С нами так и разговаривали — как с хозяевами».

Чувством глубокой любви и уважения проникнуты страницы книги Р. Вуйчика и Э. Зыгула, в которых они вспоминают о великом друге Польши и всех миролюбивых народов — Советском Союзе. «Мы вернулись домой богатые опытом, — пишут

они, — богатые чувством сердечной дружбы к тем, которые имеют самый прогрессивный строй, которые являются наилучшими защитниками мира во всём мире и нашими наилучшими друзьями — к советским людям».

Книги, написанные польскими крестьянами, убедительно рассказывают о том, как применение передового опыта Советского Союза становится великой силой, организующей и преобразующей сельское хозяйство стран народной демократии, как этот опыт освещает трудящемуся крестьянству путь к победе социализма.

В. КУЗЬМЕНКО.



### Книга о февральских событиях в Чехословакии

С первых же дней освобождения Чехословакии Советской Армией от гитлеровского ига американско-английские империалисты начали вынашивать планы удушения народно-демократического режима республики. Опираясь на чехословацкую реакцию, поджигатели третьей мировой войны стремились восстановить в Чехословакии капитализм и оторвать её от Советского Союза и всего демократического лагеря.

Кульминационным моментом послевоенной борьбы прогрессивных сил Чехословакии с реакцией явились февральские события 1948 года. Этим событиям посвящена вышедшая в Праге и ныне переведённая на русский язык книга «Так было в феврале». Опираясь на обширный документальный материал и используя свои личные наблюдения, авторы книги — участники этих событий — в живой и яркой форме знакомят читателей с выдающейся победой чехословацкой демократии.

Февральские события длились в основном всего лишь несколько дней — с 20 по 25 февраля, но значение этих событий для судеб страны, а также их международное значение огромно.

Алоиз Свобода, Анна Тучкова, Вера Свободова. «Так было в феврале. Репортаж о февральских событиях в Чехословакии». Перевод с чешского А. Булыгинской и Б. Шупляцова. Вступительная статья и примечания И. Удальцова. Издательство иностранной литературы. М. 1950.

К этому времени в Чехословакии была сложная политическая обстановка. Хотя основные посты в правительстве находились в руках коммунистов и примыкавших к ним левых социальных демократов, чехословацкой буржуазии удалось сохранить весьма важные позиции. В её руках были посты президента республики, трёх заместителей председателя Совета министров и ряд министерских портфелей. Ингересы буржуазии поддерживали три реакционные политические партии из пяти, входивших в Национальный фронт: так называемая народная (католическая) во главе со Шрамеком и Гахой, национально-социалистическая во главе с Зенклом и словацкая «демократическая» во главе с Урсини и Летрихом.

Коммунисты в правительственном кабинете Готвальда в своей практической работе сталкивались с проводимой реакционными министрами политикой саботажа декларации Национального фронта и правительственной программы. На протяжении почти трёх лет, прошедших со дня образования народно-демократической Чехословакии до февральских событий, реакционеры, прикидываясь друзьями народа, фактически действовали против него. Они пытались срывать мероприятия, направленные на укрепление строя народной демократии, тормозили восстановление народного хозяйства, противились принятию закона о национализации промышленности, о земельной реформе, социальном страхо-



вании. И чем больше росло влияние чехословацкой компартии в массах, тем более откровенными становились действия реакции, строго согласованные, как явствует из материалов книги, с американско-английскими империалистами.

Когда Клемент Готвальд и его соратники незадолго до февральских событий категорически потребовали от саботажников осуществления правительственной программы, двенадцать реакционных министров, по наущению своих зарубежных хозяев, 20 февраля подали в отставку. Они рассчитывали, что это повлечёт за собой падение правительства народного фронта во главе с Готвальдом и послужит сигналом к осуществлению контрреволюционного переворота.

В прологе к книге авторы отмечают, что в период, предшествовавший февральским событиям, реакция верила в свои силы и рассчитывала, что ей удастся повернуть колесо истории вспять. Американские империалисты считали, что Чехословакия является самым слабым звеном в демократическом лагере и что достаточно в нужный момент прийти на помощь поднявшей голову чехословацкой реакции, чтобы превратить страну в плацдарм для агрессии против Советского Союза и стран народной демократии.

К началу февральских событий американские дивизии были стянуты к чехословацкой границе в Баварию. А тем временем молодчики из Си-Ай-Си (Американский центр разведки и шпионажа в Западной Европе) при содействии реакционных руководителей «национально-социалистической», «народной» и словацкой «демократической» партий орудовали внутри страны. Их покровителями были все эти шрамеки, зенклы, урсини и им подобные наймиты американских и английских магнатов монополистического капитала. Авторы книги показывают, как американские империалисты в начале 1948 года толкали чехословацких реакционеров на организацию путча до парламентских выборов, результаты которых заведомо не могли быть для них благоприятными.

Свой репортаж о февральских событиях авторы книги начинают с 17 февраля. В этот день президиум Центрального Комитета коммунистической партии Чехословакии опубликовал заявление, в котором

разоблачил попытку представителей реакционных партий воспрепятствовать принятию новой конституции и ряда жизненно важных для народа законов:

«...злонамеренные действия представителей некоторых политических партий имеют целью ещё до выборов антидемократическим и антиконституционным путём привести к власти внепарламентское чиновничье правительство, которое должно было бы попытаться вырвать власть из рук народа и в атмосфере политического и экономического развала подготовить в интересах реакции антидемократические выборы».

Президиум Центрального Комитета коммунистической партии заявлял о своей решимости принять все меры для того, чтобы защитить республику от предательских планов объединённой реакции и обеспечить дальнейшее мирное развитие страны.

Подробно, день за днём, час за часом описывая февральские события, авторы книги привлекли много интересных материалов и придали своему рассказу острую динамичность. Целый ряд фотоснимков помогает читателю получить ясное представление о развернувшейся борьбе народа Чехословакии, возглавляемого коммунистической партией, с его врагами.

...20 февраля. Из 26 членов правительства подали в отставку 12 министров — членов реакционных партий. 14 членов правительства и премьер-министр Клемент Готвальд остались на своих местах. Это — коммунисты, социальные демократы левого крыла и два беспартийных министра. В этот день Центральный Комитет коммунистической партии принимает новое обращение к народу, разоблачающее заговорщиков и цели заговора. Центральный Комитет призывает к единству всех, кому дороги свобода и независимость Чехословакии.

...21 февраля. На Староместской площади в Праге в десять часов утра открылся многотысячный митинг. Жители древней Праги, затаяв дыхание, слушали речь Готвальда, которую он произнёс с балкона одного из зданий. Речь главы чехословацкого правительства слушали также сотни тысяч людей, собравшиеся у репродукторов на площадях других городов Чехословакии, на фабриках и заводах.

«Внутренняя и иностранная реакция, — сказал Готвальд, — боится результатов свободных и демократических выборов, и поэтому она ещё до выборов старается создать такую обстановку, при которой она могла бы в своих интересах безнаказанно терроризировать народ».

Готвальд призвал весь народ к бдительности, единству и готовности отстоять свои завоевания от посягательств реакционеров. Бурной овацией была встречена здравница в честь нерушимой чехословацко-советской дружбы — оплота национальной свободы и независимости Чехословакии.

Авторы книги сумели передать величественную картину единения народа с коммунистической партией. В ходе нарастающих событий всё ярче выявлялась негибкая воля народа к борьбе с реакцией, к укреплению Национального фронта, его стремление ещё теснее сплотиться вокруг коммунистической партии, ведущей страну по пути к социализму.

Ярко описывается в книге обстановка, в которой происходил в Праге съезд заводских советов и профсоюзов. На этом съезде 7914 голосами против 10 была принята резолюция в защиту народно-демократической республики. Хорошо показана авторами плодотворная работа первых комитетов действия. Подробно обрисован стотысячный митинг на Вацлавской площади в Праге 25 февраля, на котором Готвальд сообщил, что президент Бенеш под давлением хода событий принял отставку 12 министров и предложение Готвальда о новом составе кабинета.

В книге приводится интересная цитата из английской газеты «Дейли экспресс», проливающая свет на причастность Бенеша к планам заговорщиков:

«План президента заключался в том, чтобы 12 антикоммунистических министров высказались против руководства государственными делами со стороны коммунистического премьер-министра Готвальда. Бенеш полагал, что это ускорит избирательный кризис, который сломит коммунистов. Он уверял своих министров, что не примет

предложенной отставки и что этот манёвр является совершенно безопасным».

Но под могучим напором народных масс, возглавленных компартией, Бенешу пришлось отступить. И газета «Дейли экспресс» констатирует это с явным сожалением.

Заслуга авторов книги заключается в том, что они сумели убедительно показать решающую роль коммунистической партии Чехословакии, тесно связанной с рабочим классом и трудящимся крестьянством, в победоносном завершении февральских событий.

Февральская победа нанесла сокрушительный удар по планам поджигателей войны. Чехословацкая реакция частично переключалась в логово международного империализма — Соединённые Штаты, частично ушла в подполье. Но коммунистическая партия Чехословакии неустанно воспитывает весь народ в духе зоркой бдительности ко всяким проискам врагов. Благодаря этому удалось вскрыть и обезвредить немало змеиных гнёзд предателей, шпионов, диверсантов внутри страны.

Победа над реакцией принесла уже чехословацкому народу много плодов. Укрепился обновлённый Национальный фронт. Принята и претворяется в жизнь новая конституция народно-демократической республики Чехословакии. Социально-демократическая и коммунистическая партии объединены в единую коммунистическую партию Чехословакии. Давно уже выполнен двухлетний план, в результате чего промышленность республики оставила далеко позади довоенный уровень своего развития. Успешно осуществляется пятилетний план построения основ социализма, принятый по инициативе коммунистической партии спустя восемь месяцев после февральской победы. С каждым годом растёт благосостояние народа. Ведомая закалённой в боях коммунистической партией, используя богатый опыт Советского Союза и прочно опираясь на его поддержку, Чехословакия уверенно идёт по пути к социализму.

П. ВИНОКУРОВ.



## Журнал поджигателей войны

Не так давно один реакционный нью-йоркский журнал опубликовал статью «Теория и практика бандитизма», присланную в редакцию из тюрьмы известным в США гангстером Дебейтом. Заголовок этой столь характерной для империалистической Америки «монографии» мог бы послужить отличным названием для выходящего раз в три месяца органа американских банкиров «Форин афферс».

Авторы статей, опубликованных в этом близком к государственному департаменту журнале, отнюдь не сидят за решёткой. Они не только гуляют на свободе, но и занимают высокие дипломатические посты в министерствах, разведке, университетах, научных обществах США и маршаллизованных стран. В «Форин афферс» эти теоретики и практики международного гангстеризма нашли удобное «деловое» издание, на страницах которого можно обсудить формы ведения империалистической пропаганды, заняться подсчётом шансов на успех международных авантюр Уолл-стрит, смаковать планы подготовки войны против СССР и других стран демократического лагеря. Рассчитанные на узкий круг читателей, статьи в «Форин афферс» очень показательны для настроений и планов американских поджигателей войны и их зарубежных подпевал.

Тематика статей по международным вопросам, которые печатает журнал, чрезвычайно разнообразна. Здесь мы найдём и клеветнические измышления правого социалиста Сарагата об итальянской компартии, и злобную ругань американского профсоюзного босса Дубинского по адресу «Всемирной федерации профсоюзов», и размышления лорда Ванситтарта о «застое» в империалистической дипломатии. Но чем бы ни занимались сотрудники «Форин афферс» — положением в Китае или вопросом о пропаганде «американизма», — они никогда не обходятся без клеветы на Советский Союз и его внешнюю политику.

Поэтому особенно характерно, что за последний год всё чаще даже из уст этих матёрых реакционеров раздаются признания провалов американской внешней

политики, признания непрерывного роста сил и могущества демократического лагеря, возглавляемого могучим Советским Союзом. Историческая победа китайского народа, образование Германской демократической республики, крах атомной дипломатии, мощное движение сторонников мира, сметающее все полицейские рогатки, — эти крупнейшие события современной международной жизни вызывают бессильную ярость поджигателей войны.

Вот взятая наудачу статья из «Форин афферс», написанная редактором одной из гамбургских газет Денхоффом, — «Германия предпочитает единству свободу». Нет нужды объяснять, что под «свободой» этот американский холоп подразумевает окончательное превращение Западной Германии в колонию США. Продавшийся душой и телом американской разведке, западногерманский редактор бьёт тревогу по поводу быстрого укрепления мирной экономики Германской демократической республики.

Для Денхоффа ненавистна сама идея создания единой демократической миролюбивой Германии. Раскрывая затаённые мысли господ Хейса, Аденауэра и Шумахера, Денхофф бесстыдно объявляет, что «безопасность» Германии может быть обеспечена лишь увековечиванием режима оккупации западной части страны интервенционистскими войсками американского империализма. Денхофф мечтает лишь о том, как бы надёжнее закрепить Западную Германию в положении плацдарма и поставщика пушечного мяса для подготавливаемой Уолл-стритом войны против СССР и стран народной демократии. Понятно, что Денхофф усердно ратует по этому за создание «Объединённой Европы», то есть за превращение всей Западной Европы в одну сплошную американскую колонию.

Германскому агенту империалистов США вторит югославский. Черносотенный американский журнал с пеной у рта защищает клику Тито. «Профессор» и — по обычному для титовцев «совместительству» — американский шпион Бартош восхваляет на страницах «Форин афферс» белградскую фашистскую банду. Статья Бартоша густо нашпигована гнуснейшими антисоветскими вымыслами и униженными

«Foreign Affairs». January, Apr 1, Ju'y 1950. New York. («Иностранные дела». Январь, апрель, июль 1950 г. Нью-Йорк).

просьбами о новых американских займах для катящегося в пропасть югославского фашистского режима.

А вот статья ещё одного проповедника «Объединённой Европы» — правого социалиста и министра иностранных дел Норвегии Ланге. Норвежский министр горько сокрушается о сопротивлении народных масс американским планам «объединения Европы». Эти империалистические планы, продиктованные, по циничному признанию Ланге, «требованиями современной войны», вызывают возмущение и гнев всех честных и любящих свою родину людей. Поэтому норвежский правый социалист с печалью в сердце вынужден предостеречь Уолл-стрит от «опасной иллюзии», что «движение за объединение Европы имеет народную поддержку».

В качестве присяжного пророка подвизается в «Форин афферс» всё тот же Хенсон Болдуин, в годы второй мировой войны неоднократно — в полнейшем согласии с Геббельсом — «уничтожавший» на бумаге Советскую Армию. В последние годы Болдуин выступал ярким пропагандистом атомной войны, которая, по его клятвенным уверениям, должна была бы закончиться «молниеносной» победой Уолл-стрита.

После полного краха атомной монополии США незадачливый стратег переживает горькое похмелье и пытается обосновать своё требование об усилении гонки вооружений тем, что атомная бомба и бомбардировщики дальнего действия слишком уж прочно вошли, как некая панацея, в сознание американцев, одураченных оголтелой пропагандой войны.

Но сотрудников «Форин афферс» беспокоят не только провалы американской внешней политики и крах надежд на «молниеносную» атомную войну. Их тревожит также «идеологическая область» американского империализма. На страницах этого журнала ещё в июле 1949 года известный американский разведчик Робинзон заявил: «Соединённые штаты встречают кризис 1949 г. с военной техникой 1950 г. и идеологическим вооружением 1775 г.». Американский разведчик пытается по привычке передёрнуть карты, выдавая растленную идеологию современного империализма за передовые для своего времени идеи колонистов, воднявшихся на

справедливую борьбу за независимость от Англии. Вполне согласуется с истиной лишь признанная Робинзоном полная неэффективность лживой уолл-стритовской пропаганды.

Подобные признания мы находим у многих авторов «Форин афферс». Характерна в этом отношении программная статья «Современная Америка», принадлежащая перу одного из руководителей бывшего Бюро военной информации — центра американской пропаганды за рубежом — Льюиса Галантьера. «Идеологический» лакей Уолл-стрита прямо начинает с самой сути дела. Он с тревогой отмечает, что распространение во всём мире правды о положении в США служит прямым препятствием для американских планов развязывания новой войны и установления мирового господства. Без подрыва морального сопротивления народов, — поучает Галантьер, — политическое и экономическое закабаление «ведёт лишь к ненависти, заговорам и восстаниям против господствующей державы».

Вопреки всем стараниям пропагандистского аппарата США, народы Европы, — по признанию Галантьера, — считают магнатов Уолл-стрита «империалистами, стремящимися сбить «избыточные товары» на внешних рынках». Более того. Народы Европы усвоили не только эту «зловредную» мысль, но и вдобавок оценивают американский капитализм «на основе своего собственного и ненавидят его».

Признав эти горестные для империалистов факты, Галантьер задаёт напрашивающийся «жгучий» вопрос: «Нынешние правители Европы — наши друзья и союзники; но кто может предугадать, долго ли эти правители останутся у власти?». Не рискуя ответить на этот вопрос, Галантьер истерически призывает к мобилизации всех идеологических резервов. Но что же может предложить этот штатный пропагандист Уолл-стрита для спасения престижа американского капитализма?

Галантьер требует от пропагандистской машины США доказывать за границей, что «жевательная резина, комикс и кока-кола не должны быть рассматриваемы как единственные распространённые по всему свету свидетельства американского образа жизни». В отношении этого мистер Галантьер может быть совершенно спокоен:

народам мира отлично известно, что список американских «благодетей» человечеству значительно шире — он включает и бомбы, сбрасываемые воздушными бандитами на школы и больницы Кореи; и личинки колорадского жука, при помощи которых Уолл-стрит надеялся погубить урожай в Европе; и разнузданный фашистский террор в Греции; и голод и нищету, которые несёт «помощь» по плану Маршалла, и многое другое. Только вряд ли рассказ об этих общезвестных фактах поправит дела обанкротившейся американской пропаганды! Галантьер далее предлагает подновить и пустить в ход старую, насквозь лживую теорию американской «исключительности». Правда, даже он не решается ныне отстаивать тезис о якобы «мирном» и «бескризисном» развитии капитализма в США, прежде неизменно сопутствовавший теории «исключительности».

По новому варианту истрёпанной и лживой теории «американской исключительности», выдвигаемому Галантьером, США, оказывается, «более всех приблизились к разделению экономической и политической власти». Магнаты Уолл-стрита («экономические вожжи», по галантному выражению Галантьера) только и знают, что заботятся о народном благе.

Самое «интересное», однако, впереди. Не смущаясь никакой нелепостью, Галантьер объявляет, что в США в XX веке и капиталист и рабочий — «оба получили одинаковые материальные преимущества, оба имеют ванны, автомобили, телефоны, свежие овощи и прочее» и поэтому в США «нет классовой борьбы». Апологеты американского капитализма до сих пор доказывали мнимое «политическое равенство» всех граждан США. Сегодня и эта чудовищная ложь оказывается недостаточной для американской империалистической пропаганды. Конечно, профессиональным лжецам из «Голоса Америки» ничего не стоит, по рецепту Галантьера, объявить ночующего под открытым небом нью-йоркского безработного ближайшим коллегой миллиардеров Моргана, Меллона и Рокфеллера. Весь вопрос в том, поверит ли кто-либо в эту беспардонную ложь.

«Правит ли нами Уолл-стрит?» — риторически вопрошает в заключение Галантьер,

и, разумеется, отвечает негодующим «нет».

Да, «большая ложь», повидимому, дозреть нужна американским поджигателям войны. Недаром в том же июльском номере «Форин афферс», где напечатана статья Галантьера, появилось также «исследование» польского фашиста и американского профессора Кульского, провокационно озаглавленное «*Может ли Россия покинуть цивилизацию?*». В грязном пасквиле, проникнутом животной ненавистью к советским людям, фашистский «учёный» пытается объявить русскую культуру — вслед за известным реакционным историком А. Тойнби — «византийской», в корне противоположной какой-то мифической «атлантической» культуре и в то же время целиком зависимой от пресловутых «западноевропейских влияний». Фашистский писака злобно поносит советские работы, показывающие приоритет нашей науки, мировое значение русской классической и советской литературы. С особой яростью Кульский нападает на журнал «Новый мир», давший характеристику растленной «литературы» и «искусства» американского империализма. Правдивая оценка вызывающих чувство отвращения у каждого честного человека писаний О'Нила, Генри Миллера и им подобных, по утверждению этого фашистского выродка, «отгораживает» советских людей от мировой культуры!

В советской стране уважают и ценят передовую литературу американского народа, лучших представителей которой правители США пытаются заставить замолчать при помощи полицейского террора и каторжных тюрем. Но советские люди действительно не желают иметь никакого касательства к вырождающейся человеконенавистнической «литературе» и «культуре» о'нилов, миллеров и кульских.

Журнал «Форин афферс» из номера в номер продолжает публиковать антисоветскую клевету и свои «исследования» наилучших способов развязывания новой мировой войны. Но бред, печатающийся на страницах «Форин афферс», никого не обманет. Этот продажный журнал давно уже разоблачил себя как орган международных гангстеров.

*Кандидат исторических наук*  
**Е. ЧЕРНЯК.**

## Крах политики аргентинского диктатора

Паулино Гонсалес Альберди — видный демократический деятель и член ЦК компартии Аргентины. Впервые его книга «Кризис экономики Аргентины» вышла в 1949 году в Буэнос-Айресе. Альберди не ставил перед собой задач научно-исследовательского характера. Книга его рассчитана на широкий круг читателей. Она разоблачает гибельную политику прагматической клики Аргентины и показывает растущие экономические трудности, переживаемые страной в последние годы.

Аргентина — одна из двадцати стран Латинской Америки, находящихся в колониальной и полуколониальной зависимости от иностранного капитала. Английские и североамериканские монополии контролируют все ключевые отрасли её промышленности. Иностранцам принадлежат и большая часть земли. Одна только англо-американская компания «Форестал» владеет 1250 тысячами гектаров земли в Аргентине.

Приход к власти генерала Перона, занимающего теперь пост президента и осуществляющего диктаторскую власть, явился результатом государственного переворота. Этот переворот был произведён 4 июня 1943 года реакционной группой армейских офицеров ГОУ («Союз объединённых офицеров»). Но реакционно-фашистский режим Перона выражает в первую очередь интересы крупных помещиков, скотоводов и буржуазии.

Захватив власть, Перон прежде всего начал преследовать прогрессивные, демократические организации и профсоюзы, применять репрессии к демократическим деятелям, особенно к коммунистам. Полицейский произвол и насилия сочетались с безудержной социальной демагогией — разглагольствованиями о борьбе с иностранным империализмом, о защите интересов трудящихся, о рабочем законодательстве, аграрной реформе и т. д. и т. п.

Демагогическими речами и подкупом Перону удалось привлечь на свою сторону и некоторые слои рабочих. Благодаря отсутствию в стране единого демократиче-

ского фронта, он одержал победу на президентских выборах в феврале 1946 года и обеспечил себе большинство в парламенте.

Перон весьма щедр на посулы. После своего избрания на пост президента он начал развешивать обширные планы выкупа и «национализации» иностранных предприятий, выдвинул обречённый на провал «пятилетний план» развития страны, обещал народу радикальные аграрные реформы и под конец даже возвестил о наступлении новой эры в Аргентине — «эры процветания и мирного классового сотрудничества». Но уже к концу третьего года президентства Перона стало ясно, что все эти столь шумно разрекламированные планы провалились. Прежде всего провалился так называемый «пятилетний план». Вместо того, чтобы развиваться, национальная промышленность начала резко свёртываться, а сельское хозяйство деградировать. В стране росла инфляция, непрерывно понижался жизненный уровень трудящихся. Теперь даже официальная пропаганда уже не в состоянии скрывать это. Перон, который в своих выступлениях неоднократно клялся, что он скорее позволит отрубить себе правую руку, чем возьмёт заём от Соединённых Штатов, в настоящее время обратился в Вашингтон с просьбой о помощи. Экспортно-импортный банк США предоставил Аргентине эту «помощь» — заём в 125 миллионов долларов. Условием займа были серьёзные уступки североамериканским компаниям и полная поддержка Аргентиной реакционной внешней политики Соединённых Штатов. На последнее условие Перон пошёл особенно легко — он был первым из латиноамериканских диктаторов, одобрявших агрессию Соединённых Штатов в Корее. Он от души одобряет и реакционную внутреннюю политику своих Вашингтонских хозяев. Со времени получения американской «помощи» в Аргентине ещё больше усилились террор против демократических сил и преследования сторонников мира. Уже совсем по Вашингтонскому образцу в стране создан «Комитет по расследованию антиаргентинской деятельности». Убийства демократов из-за угла, закрытие прогрессивных газет, разгон демонстраций стали повседневными явлениями в современной Аргентине.

Паулино Гонсалес Альберди. «Кризис экономики Аргентины». Перевод с испанского Г. Калугина. Редактор Ю. Андреев. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

Книга Альберди была написана им в 1949 году. Таким образом, события самого последнего времени не нашли в ней отражения. Однако, анализируя состояние экономики страны, автор сумел убедительно вскрыть причины провала пресловутого «пятилетнего плана», о явной утопичности которого в условиях перонистского режима компартия Аргентины предупреждала трудящихся ещё несколько лет назад.

В документах компартии Аргентины указывалось, что самой уязвимой частью «плана» является его финансирование, основанное на ограблении народа.

Автор книги разоблачает так называемую «национализацию», проводимую Пероном. Речь идёт о выкупе аргентинским правительством принадлежащих англичанам железных дорог и принадлежавшей американцам телефонной сети. За железные дороги, которые до такой степени изнасились в последние годы, что даже, по заявлению самих англичан, превратились в груды железного лома, было уплачено их владельцам 150 миллионов долларов, то есть вдвое больше их истинной стоимости.

Несомненный интерес представляют главы книги, в которых показаны влияние иностранного капитала на экономику Аргентины и связи аргентинской промышленной буржуазии и земельной олигархии с иностранными фирмами. В книге говорится о новых методах проникновения в страну иностранных монополий — о создании так называемых смешанных (аргентинско-американских и других) компаний.

На конкретных примерах деятельности таких обществ, как «Додеро», «Банге и Борн» и другие, автор показывает засилье иностранных монополий (в первую очередь монополий США, которые под вывеской местных национальных компаний и через подставных лиц фактически контролируют всю промышленность страны). Несмотря на то, что «план Маршалла» формально не распространялся на Аргентину, он имел для её экономики губительные последствия. В результате маршаллизации Европы Аргентина лишилась своих традиционных европейских рынков сбыта.

Посулив Аргентине закупать у неё сельскохозяйственные продукты для осуществления плана Маршалла в европейских странах, Соединённые Штаты не только не выполнили своих обязательств, но высту-

пили на международном рынке в качестве конкурента Аргентины.

В книге показана деградация сельского хозяйства Аргентины. Автор разоблачает махинации правительства, направленные на ограбление крестьянства. Политика Перона привела к бегству крестьян в города и к резкому сокращению посевных площадей.

Паулино Гонсалес Альберди показывает, что вследствие кризиса экономики Аргентины непрерывно ухудшается положение её трудящихся масс. Население систематически голодает и истощено до последней степени. Характерно, что в некоторых провинциях (например, в провинции Сент Яго Дель Эстеро) число лиц, признанных негодными к несению военной службы, достигает 93 процентов.

Автор не ограничивается описанием растущих трудностей, переживаемых страной. Он вскрывает подлинные причины кризиса. В книге показано, что кризис является следствием хозяйничанья в стране иностранных монополий, их растущей экспансионистской деятельности; следствием социального уклада Аргентины (остатков феодальных отношений и системы крупного землевладения); результатом реакционной антинародной политики правящей клики.

Из анализа причин кризиса экономики Аргентины автор делает правильные выводы и указывает мероприятия, которые могут привести к экономическому подъёму страны.

Компартия Аргентины неоднократно подчёркивала, что страна не может существовать только в качестве поставщика сельскохозяйственного сырья для Англии и США и постоянно пребывать в зависимости от конъюнктуры мирового рынка. Компартия видит выход из положения в развитии национальной промышленности, в разнообразии сельскохозяйственного производства, в расширении торговли с Советским Союзом и странами народной демократии, в расширении внутреннего рынка.

Для передовой части аргентинского народа ясна необходимость освобождения от иностранной зависимости, неотложность проведения аграрной реформы и национализации основных отраслей промышленности. Автор правильно подчёркивает, что все эти мероприятия может осуществить только демократическое, подлинно народное правительство.

Книга Альберди далеко не исчерпывает всех затронутых в ней вопросов. Например, почти ничего не говорится об англо-американских противоречиях, которые проявляются в Аргентине ярче, чем в какой-либо другой из стран Латинской Америки. Автор склонен считать Аргентину только торговой колонией Англии и не подчёркивает усиления североамериканской экспансии и вытеснения английского империализма

североамериканским. Между тем за последние годы позиции Англии в Аргентине значительно ослабели. Достаточно указать на то, что за последние десять лет английские капиталовложения сократились примерно в пять раз, в то время как капиталовложения Соединённых Штатов продолжают расти.

М. ГРЕЧЕВ.

★

### Право

## Новое исследование о Русской Правде

Замечательному памятнику древнерусского права — Русской Правде — было посвящено множество исследований. Среди них есть немало ценных трудов, проливших свет на сложные и запутанные вопросы, связанные с истолкованием как памятника в целом, так и отдельных его статей, терминов, понятий. Но буржуазной науке так и не удалось решить основной вопрос — о происхождении Русской Правды, о том, в каких социально-экономических и исторических условиях она возникла, интересам каких социальных групп отвечала.

Вот почему работа С. В. Юшкова, много лет занимающегося изучением общественно-политического строя Киевской Руси и древнерусских правовых памятников, несомненно привлечёт к себе внимание. Его книга будет прочитана не только историками и юристами, но и более широкими кругами советских читателей, живо интересующихся прошлым русского народа и историей его культуры.

Обстоятельное исследование С. В. Юшкова могло появиться в результате кропотливого, многолетнего труда советских учёных, открывших целый ряд новых списков памятника. Двухтомное академическое издание текстов Русской Правды, осуществлённое под руководством академика Б. Д. Грекова, дало в распоряжение исследователя обильный и безупречный в научном отношении материал.

Первый свод Русской Правды, известной под названием Правды Ярослава, состоял всего из 14 статей.

С. В. Юшков. «Русская правда. Происхождение, источники, её значение». Редакторы А. Г. Поляков, Г. А. Пискунова. Юридат, М. 1950.

После смерти Ярослава (1054) сыновья его — Изяслав, Всеволод и Святослав дополнили Правду Ярослава ещё 28 статьями. Правда Ярославичей проводила чётко и определённо принцип усиления защиты жизни, чести и имущества феодала, и в ней уже запрещалась характерная для родового строя кровная месть, которая заменялась денежным штрафом.

Правда Ярослава и Правда Ярославичей совместно были известны под названием Краткой Правды, и в таком виде этот законодательный памятник сохранился до конца XI века.

В XII и XIII веках возникает Пространная Правда, состоящая из Краткой Правды и тех добавлений, которые в неё постоянно вносились. Пространная Правда известна нам во многих списках.

Русская Правда издавна привлекала внимание наиболее просвещённых людей, и не было крупного историка или писателя, не посвятившего ей хотя бы нескольких строк.

Известный сподвижник Петра I В. Н. Татищев был первым её истолкователем; ему же принадлежит честь открытия одного из ранних списков Русской Правды. Это было поставлено Татищеву в заслугу А. С. Пушкиным.

Своим происхождением и содержанием Русская Правда теснейшим образом связана с законодательством славянских стран и выгодно отличается от феодального законодательства англо-саксов, бургундцев и франков (Бургундской, Саллической Правды и др.). В Русской Правде отсутствуют статьи, предусматривавшие жестокие физические наказания и калечившие



людей, что показывает, насколько ушло вперёд русское государство в области права по сравнению с современными ему западноевропейскими государствами.

В буржуазной литературе почти безраздельно господствовала лженаучная «теория» об иноземном происхождении Русской Правды. Куда только ни обращались учёные в поисках мнимой её «родины!» Одни искали её на Скандинавском севере, другие в Византии, третьи даже в древнем Риме. Находились «исследователи», которые считали источником Русской Правды еврейское право — Талмуд.

В своей работе С. В. Юшков камня на камне не оставляет от подобного рода «выводов» и «гипотез», засорявших науку и сбивавших с толку читателей. Автор убедительно доказывает национальный характер Русской Правды, отмечая, что частичное сходство её с памятниками права других народов объясняется сходством социально-экономических условий, в которых возникли первые юридические сборники.

Другая ложная версия, которая считалась аксиомой в буржуазной науке, состояла в утверждении примитивности, отсталости, архаичности Русской Правды. Труды советских учёных полностью доказаны высокий уровень материальной и духовной культуры Киевской Руси, её международный вес, её крупная роль в истории средневековья. Опираясь на эти исследования, С. В. Юшков окончательно разбивает и тезис о примитивности Русской Правды, вскрывая всё богатство её содержания, анализируя её как кодекс уже развитого феодального права.

Большой заслугой автора является то, что он, порвав с традициями буржуазной историко-юридической науки, изучает Русскую Правду не формально-догматически, а на фоне социально-экономической истории Киевской Руси. Это дало ему возможность научно разрешить проблему происхождения Русской Правды. Русская Правда, делает вывод автор, возникла в период становления феодального общества, но своими корнями уходит в право дофеодального периода, развивая основные принципы Закона Русского, который существовал уже в первой половине X века, во время заключения русскими князьями договоров с Византией. С. В. Юшков отвергает гипотезу о возникновении Русской

Правды в церковных кругах и о частном её происхождении, доказывая официальный характер памятника в целом и отдельных правовых норм, входящих в него.

Книга С. В. Юшкова насыщена острой, боевой полемикой. Автор утверждает свои положения в борьбе с антинаучными построениями буржуазных учёных, он подвергает всесторонней критике также ошибочные построения некоторых советских авторов.

Приветствуя появление ценного труда С. В. Юшкова, нельзя пройти мимо некоторых спорных, а иногда и ошибочных положений, содержащихся в нём.

Некритически следуя за Н. Я. Марром, С. В. Юшков выделяет в древней Руси социальную группу, якобы говорившую на особом языке. В свете гениальных трудов И. В. Сталина по языкознанию, показавших всю абсурдность «теории» классовости языка, эта ошибка С. В. Юшкова особенно бросается в глаза.

Социальный состав Руси, по мнению автора, складывается из родоплеменной знати, «купцов и ремесленников, которым нечего делать в недрах общин, земледельцев, потерявших по каким-либо причинам орудия производства и землю, а также беглых рабов». И вот все эти пёстрые группы, в том числе потерявшие землю земледельцы и беглые рабы «эксплуатируют массы первобытных общинников». Беглые рабы и лишившиеся земли крестьяне в роли эксплуататоров — вот что получилось у С. В. Юшкова, вот к чему привела ложная посылка о сущности Руси, воспринятая у Марра. Следует ожидать, что автор пересмотрит свою точку зрения, опираясь на классические труды товарищ Сталина.

Подчёркивая силу, крепость и сплочённость Киевского государства и значение Киева, как политического центра, из которого шли нити управления отдельными частями государства, автор заключает: «По своей сплочённости и внутренней организованности Киевское государство было подобно другим государствам, превращавшимся в феодальные империи и монархии, например феодальной империи Карла Великого».

Между тем товарищ Сталин учит, что империя Карла Великого, как и империя Цезаря, «представляли временные и не-

прочные военно-административные объединения... Они представляли конгломерат племен и народностей, живших своей жизнью и имевших свои языки<sup>1</sup>.

Коренное отличие Киевского государства от империи Карла Великого и заключалось в том, что оно объединяло русский народ и народности, тесно с ним связанные своими историческими судьбами.

Нельзя признать правильным, что автор в погоне за дробной и детальной классификацией списков Русской Правды потопил в своих шести редакциях решающее деление всех списков на две редакции —

<sup>1</sup> И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Издательство «Правда», М. 1950. стр. 10.

краткую и пространную, резко отличающиеся друг от друга по своему содержанию, времени составления и характеру правовых норм. В связи с этим полемика С. В. Юшкова против системы классификации академического издания Русской Правды неубедительна. Не сумел автор также доказать, что пространная редакция Русской Правды состояла из двух разновременных и живших самостоятельной жизнью сборников права — Правды Ярослава и Правды Владимира Мономаха, якобы объединённых впоследствии позднейшими переписчиками.

*Кандидат юридических наук*  
**В. ПОКРОВСКИЙ.**

★

## Техника

### Успехи советской кинотехники

**В** победах советской кинематографии — самой передовой кинематографии мира — немалую роль сыграла советская кинотехника. Но имена и труды творцов этой техники — талантливых изобретателей и учёных, инженеров и конструкторов — ещё мало известны широкому кругу читателей.

Проф. Е. М. Голдовский рассказывает в своей книге о развитии и достижениях советской кинотехники, знакомит с коллективом создателей научно-технических основ нашей кинематографии. Книга открывается содержательным очерком о роли русских людей в изобретении кино.

В книге показано, что самая идея кинематографического зрелища была бы невысказана без изобретений и исследований русских учёных. Так, источниками света для киносъёмки и кинопроекции послужили мощные дуговые лампы, затем лампы накаливания. А, как известно, основы электрического освещения заложены трудами Петрова, Яблочкова, Лодыгина.

Киноаппараты невозможны и без электрического двигателя. Напомним, что первый магнито-электрический двигатель постоянного тока был построен русским учёным Б. С. Якоби. Русский электротехник М. О. Доливо-Добровольский изобрёл по-

вый двигатель, который получил широкое применение в кинематографии.

«Движущаяся фотография» не могла появиться без плёнки. Гибкая прозрачная плёнка была изобретена И. В. Болдыревым в 1881 году; лишь несколько лет спустя её вторично «изобрёл» американец Истмен. Много сделали в области исследования фотографических процессов и светочувствительных фотослоёв Д. И. Менделеев, Н. А. Шилов, К. А. Тмиряев, П. В. Преображенский и другие учёные. Русские изобретения, как, например, шелевой затвор для камер С. А. Юрковского (о нём почему-то не упоминается в книге), приблизили выпуск фотоаппаратов, которые позволили снимать быстродвижущиеся предметы. Е. М. Голдовский рассказывает об оригинальных конструкциях кинопроекторных аппаратов И. Акимова и А. Самарского, объявивших о своих изобретениях в 1896 году, на заре рождения кинематографа.

Велик вклад отечественных учёных и изобретателей в технику звукового кино. «Можно смело утверждать, — пишет автор, — что именно в России были впервые установлены пути разрешения проблемы звукового кинематографа и выполнены важнейшие работы, в дальнейшем обеспечившие реализацию этого изобретения».

Это обоснованный вывод. В книге приведены сведения о приборе русского фи-

Е. М. Голдовский. «30 лет советской кинотехники». Редактор Б. Кравченко. Госкиноиздат, М. 1950.

зика П. Н. Лебедева для записи звуковых колебаний, о патенте А. Виксцемского на способ фотографической записи звука (1889), о способе оптической звукозаписи, изобретённом И. Поляковым в 1900 году. За русской наукой остаётся первенство в создании усилителей и фотоэлементов (труды А. Г. Столетова и А. С. Попова). Без этих изобретений не было бы звукового кино.

Уже в 1908 году в России была разработана оригинальная система стереоскопического кино (изображение на экране рассматривалось в бинокли). С. Максимович и С. Прокудин-Горский в 1910—1914 гг. разработали и затем запатентовали трёхцветный процесс цветного кино. И здесь русская изобретательская мысль шла самостоятельным творческим путём.

Однако правящие круги царской России и киноделы, раболепствуя перед иностранной техникой, с преступным равнодушием относились к открытиям и исследованиям своих соотечественников. Русские изобретения часто похищались, «уплывали» за границу и там выпускались под чужими именами. Так, например, поступила американская фирма «Техниколор», которая «запатентовала» одно из ценных изобретений проф. С. Максимовича — призму, устранявшую недостатки в передаче цветных изображений. Автор изобретения упомянут не был.

В августе 1919 года В. И. Ленин подписал декрет о переходе фотографического и кинематографического дела в руки государства. Началась пора быстрого развития советской кинотехники, хотя советская кинематография не получила от царской России никакой практически пригодной технической базы.

Е. М. Голдовским собраны интересные сведения, относящиеся к первым годам советского кино. Применяя первые достижения советской кинотехники, наше молодое киноискусство создало фильм «Броненосец Потёмкин», который триумфально обошёл экраны мира.

В годы первой и второй сталинских пятилеток окрепла советская техника звукового кино. «Путёвка в жизнь», «Встречный», «Чапаев», затем «Ленин в Октябре» — это не только ступени творческого расцвета, но и научно-технического роста нашей кинематографии. Началась разра-

ботка проблем цветного кино. В этом приняли участие исследователи из других областей науки, что дало возможность в кратчайшие сроки решить сложнейшие задачи. Социалистическая промышленность стала выпускать совершенную аппаратуру.

Советское киноискусство создаёт цветные фильмы — «Сказание о земле Сибирской», «Мичурин», «Падение Берлина» и другие, которые утвердили за советской кинотехникой ведущее место в мире.

Е. М. Голдовский приводит много примеров новаторства советской изобретательской и научной мысли. Ещё всюду в Европе и США господствовало «немое» кино, а наши изобретатели П. Г. Тагер, А. И. Экало, А. Ф. Шорин, А. Г. Машковцев, В. Д. Охотников и другие уже практически разработали способы записи звука, нашли различного рода модуляторы света для оптической звукозаписи. Развивая русские научные труды в области фотоэлектроники, советские изобретатели П. В. Тимофеев и другие разработали высокочувствительные фотоэлементы. Сурьмяноцезиевые фотоэлементы, созданные в 1937—1938 гг. по чувствительности в два-три раза превосходят подобные заграничные образцы, выпущенные к тому же после опубликования советского изобретения.

Намного раньше, чем это было сделано за рубежом, советские специалисты разрешили сложные задачи в области кинопроекции. Удостоенная Сталинской премии разработка двухканального усилителя и двухзвонного говорителя значительно совершеннее иностранных установок воспроизведения звука.

Неоспорим приоритет Советского Союза в стереоскопической кинематографии. В 1926 году, на девять лет раньше француза Люмьера, советский изобретатель Н. М. Клемпнер демонстрировал свой способ стереоскопического очкового кино: проекцию двух кадров — оранжевого и зелёного. При рассмотрении изображений в очки, окрашенные в эти цвета, зрители видят на экране стереоскопический чёрно-белый фильм. СССР — родина и безочковой стереоскопической кинематографии по растровому методу проекции С. П. Иванова.

Впервые в мировой кинотехнике и более совершенно, чем за границей, в нашей стране выполнены многие работы по цветному кино.

Теоретические работы по изучению природы фотографической светочувствительности К. В. Чибисова и других удостоены Сталинской премии. Достижения советской кинотехнической науки внедрены в промышленность.

Доходчивость книги Е. М. Голдовского, к сожалению, снижена неудачной формой изложения. Напрасно автор отказался от попытки расположить материал по разделам кинотехники. Это привело к многочисленным повторениям.

Например, о трудах Тагера и Шорина дана справка на стр. 38—39. Продолжение, а по сути дела повторение, того же самого читатель неожиданно находит на стр. 71—72. Дальше, на стр. 94, снова упоминается о тех же изобретениях.

На стр. 51 автор рассказывает об интереснейших методах комбинированной съёмки — «блуждающей маски», «аддитивного транспаранта», «оптических переключков». Он называет имена изобретателей этих впервые у нас разработанных оригинальных способов. И внезапно обрывает рассказ. Лишь на стр. 99 он возвращается к этой теме, но о самых методах съёмки там нет ни слова. Объяснение «блуждающей маски» запрято на стр. 109, о других способах коротко сказано на стр. 122. На этом розыски не заканчиваются: перелистав двадцать страниц, мы снова находим знакомые сведения.

В книге имеются и дословные повторения. Говоря о приоритете советских изобретателей в стереоскопическом кино, автор сообщает: «Первый в мире кинотеатр для безочковой стереоскопической проекции... был открыт в 1941 году. В начале 1947 года в Москве началась эксплуатация другого стереоскопического кинотеатра, в котором применяется новый светосильный киноэкран, разработанный С. П. Ивановым и А. Н. Андриевским». Семьюдесятью страницами ниже снова попадает сообщение: «...в 1941 году в Москве был оборудован первый в мире кинотеатр стереоскопического фильма, в котором кинокартины рассматривались без применения наглазных

устройств». Но этого автору мало, и на стр. 150 он снова — уже в третий раз! — сообщает: «В 1941 году открылся кинотеатр для безочковой проекции... В начале (!) 1947 года началась (!) эксплуатация первого в мире стереоскопического кинотеатра со светосильным экраном». А суть изобретения так и осталась необъяснённой.

Эти повторения оказались неизбежными, поскольку Е. М. Голдовский некритически ввёл в книгу материал своей же брошюры, вышедшей двумя годами раньше. При этом не была заново продумана форма изложения.

Недавно в издательстве Академии наук СССР вышла новая книга Е. М. Голдовского, носящая название «Советская кинотехника». В ней рассказано о научных основах кинотехники. Материал расположен строго по разделам техники кинематографии (изготовление кинокартин, демонстрация звуковых кинокартин, цветное и стереоскопическое кино, научная и стереоскопическая кинематография). Книга знакомит со сложнейшими техническими проблемами кино, даёт возможность читателю по достоинству оценить большой творческий труд, вложенный коллективом советских учёных, изобретателей и работников промышленности в передовую отечественную кинотехнику.

Однако и в этой книге Е. М. Голдовский недостаточно требовательно отнёсся к форме изложения. В предисловии он обращается к «широким кругам советских читателей» и не следовало бы ему придавать книге характер учебника по специальному предмету. А самые интересные для читателя разделы о цветном и стереоскопическом кино Е. М. Голдовский, с небольшими сокращениями, механически перенёс в эту книгу из своего пособия для кинематографических учебных заведений «Введение в кинотехнику» (1947), даже не сделав попытки облегчить изложение материала.

Е. М. Голдовский явно пренебрёг запросами читателей. Это снизило достоинства его полезных и содержательных книг.

С. МОРОЗОВ.

## Физика

### Журнал советских физиков

Уже само название журнала — «Успехи физических наук» — говорит о его содержании. Предназначенный для специалистов-физиков — научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов старших курсов, — он ставит своей целью освещать современное состояние злободневных проблем физики и смежных с нею наук.

Журнал правильно подходит к решению этой задачи. Он не только даёт на своих страницах необходимый специалисту новый фактический материал и новые теоретические обобщения, но и вскрывает коренную противоположность между передовой советской наукой и реакционно-идеалистическим направлением в зарубежной физике, показывает ведущую роль советских учёных в развитии мировой науки, связь науки с практикой мирного строительства в нашей стране. И в этом смысле журнал интересен не только для специалистов.

В ряде статей последних номеров журнала нашла своё отражение одна из основных проблем современной физики — учение о строении вещества.

Очень важной задачей этой области науки, определяющей основные теоретические принципы всех многочисленных разделов физики, является исследование космического излучения. Учёные впервые обнаружили здесь мезоны — микрочастицы, играющие, повидимому, огромную роль в строении атомных ядер. Космическое излучение скрывает и тайны многих атмосферных явлений. Приоритет и ведущая роль во всех этих исследованиях принадлежит советским учёным.

Отмечая, что «...до самого последнего времени мы не имели сколько-нибудь отчётливой картины или хотя бы основной схемы явлений космического излучения», академик Д. В. Скобельцын в опубликованном журналом докладе на годичном заседании Академии наук СССР в феврале 1950 года показал, что работы наших учёных привели к коренным сдвигам в этой области.

Журнал «Успехи физических наук». Том XI, вып. 1—4, том XII, вып. 1—4; том XIII, вып. 1. Редактор Э. В. Шпольский. Гостехиздат, М.—Л. 1950.

Особенно интересны исследования космических лучей в стратосфере, проведённые коллективами советских физиков, возглавляемыми С. Н. Верновым и Н. А. Добротиним. Используя современную технику радио и телевидения, они сконструировали новые приспособления, которые дают возможность «видеть» на земле сложнейшие процессы, фиксируемые в космическом излучении специальными приборами, поднимаемыми на огромную высоту. Созданные советскими учёными новые методы и виртуозная техника наблюдения позволили им сделать ряд замечательных открытий.

Так, найдены были те «первичные» частицы, которые, вероятно, и приносят громадную, необычную для наших земных условий, энергию из космических глубин и вызывают в высших слоях атмосферы сложные цепные процессы. Наши учёные открыли новые виды таких процессов, представляющие собою особые ядерные превращения атомов воздуха, взрывающихся при столкновении с космическими частицами большой энергии. Применив тончайшие методы, советские физики измерили массу, скорость, энергию ряда частиц, образуемых в ходе этих процессов. Оказалось, что энергия некоторых частиц в тысячи раз превышает энергию, придаваемую микрочастицам в современных лабораториях. Ряд вновь открытых фактов превращения энергии говорит о не известном ещё механизме этого превращения и толкает науку к новым исследованиям.

Как заявил академик Д. В. Скобельцын, «сделанные открытия прокладывают новые пути в такую неизученную ещё область явлений и к таким вершинам знания, овладение которыми в конечном счёте приведёт к перестройке основных наших представлений о физической картине мира».

А. Б. Мигдал и Я. А. Смородинский в своей обзорной статье «Искусственные  $\pi$ -мезоны» приводят интересные данные об искусственном создании некоторых видов мезонов и об их полном тождестве с космическими. В лабораторных условиях воссоздаются теперь и сложные ядерные превращения путём бомбардировки ядер частицами высокой энергии.

Об огромных успехах человеческого познания, о торжестве нашей отечественной науки убедительно говорят и несколько необычные материалы — столбцы цифр и значков, заполняющие 80 страниц апрельского выпуска журнала. Это — сводная таблица атомных ядер, представляющая собой «Периодическую систему элементов» великого русского учёного Д. И. Менделеева в её современном виде — по данным конца 1949 — начала 1950 года.

С каждым годом всё глубже и глубже раскрывается смысл гениального открытия Менделеева, каждой цифры в его системе, ставшей ныне необходимым орудием научного исследования и практической деятельности всех физиков и химиков мира. С каждым годом, как могучий живой организм, растёт таблица Менделеева, пополняясь всё новыми и новыми видами атомов, открываемых в природе и производимых искусственным путём в лабораториях.

В 1869 году известно было лишь 66 «элементов», причём часть из них не была ещё открыта, а лишь предсказана Менделеевым. В таблице, помещённой в журнале, уже 1054 «сорта» известных ныне атомов.

В 1896 году впервые было обнаружено явление радиоактивности, то есть самопроизвольного распада и превращения одного элемента в другой, и лишь шестнадцать лет назад Фредерик и Ирэн Жолио-Кюри получили впервые искусственный радиоактивный элемент. Сегодня известно уже 775 радиоактивных элементов, и большая часть их добывается искусственным путём. Они с успехом используются для различных нужд промышленности — химической, металлургической, машиностроительной, — в медицине, лабораторной практике. Только восемнадцать лет назад открыты были новые микрочастицы — нейтроны, — эти особенно эффективные «снаряды», с помощью которых можно «разбить» ядра многих элементов и извлечь оттуда запасы энергии. В таблице, помещённой в журнале, мы находим уже описание десятков нейтронных реакций. Достаточно сравнить эту таблицу с подобной же работой советских учёных, опубликованной всего лишь два года назад (приложение к книге В. Рицлер «Введение в ядерную физику»), чтобы увидеть, с какой быстротой развивается наука.

Замечательно и искусство учёных, благодаря которому наука ставит на службу производству тончайшие физические процессы.

Сплошь и рядом в машиностроении, судостроении, судостроительной технике насушно необходимо бывает определить, не имеется ли в толще металла хотя бы мельчайшего дефекта. А ведь металл не прозрачен для видимого света, его глубины недоступны обычным инструментам. Но советские физики научились «освещать» их... звуком.

Из статьи С. Я. Соколова «Современные проблемы применения ультразвука» мы узнаём, что для особых ультракоротких звуковых волн почти все тела в природе прозрачны. При помощи специальной техники ультразвук приносит нам данные об их внутреннем строении, о мельчайших изъянах в глубинах материала. Ультразвуковые микроскопы, где могут быть доступны увеличения порядка десятков тысяч раз, позволяют «видеть» и мельчайшие тела. Приоритет в разработке теории ультразвука и конструировании ультразвуковых дефектоскопов и микроскопов принадлежит советским физикам.

Журнал систематически публикует сообщения о новых методах физических исследований, применяемых в различных областях науки и техники. Об интересных достижениях советских физиков в этом направлении говорит, например, статья Н. А. Толстого и П. П. Феофилова.

До недавнего времени многие процессы в природе, многие явления в технике рассматривались как мгновенные. Но в действительности мгновенных процессов нет. Всё в природе совершается во времени, и при огромных скоростях в современной технике всё чаще и чаще приходится учитывать длительность явлений. Наука ныне делит кратковременные процессы на медленные, быстрые и очень быстрые, причём «медленными» называет она явления, совершаемые за одну десятую секунды. Предложенные же нашими учёными методы позволяют наблюдать процессы, протекающие за одну миллионную долю секунды! Это даёт возможность изучать течение многих электрических, оптических, механических, химических, биологических явлений, ранее совершенно недоступных наблюдению.

В рецензируемых выпусках журнала мы находим и существенный недостаток: в них ничего не сказано о ряде исследований, составляющих гордость советской науки. Так, о работах, удостоенных в прошлом году Сталинской премии, журнал поместил лишь одну оригинальную статью и краткий редакционный обзор.

Не наша себе места в журнале и статья о замечательном и сравнительно мало известном в широких кругах физиков открытии звёздных ассоциаций В. А. Амбарцумяном и Б. Е. Маркаряном, хотя в редакционном обзоре справедливо отмечено, что этим открытием «окончательно опровергаются идеалистические представления о возникновении вселенной, как об едином творческом акте». К сожалению, нет в журнале и статьи о работе Д. Д. Иваненко и И. А. Соколова «Классическая теория поля» и, в частности, об их теории «светящегося электрона» и др.

Одной из положительных сторон журнала является то, что в нём помещён ряд материалов, направленных против реакционно-идеалистических пережитков в работах отдельных наших физиков. Отметим содержательную и представляющую интерес не только для физиков, но и для широких кругов нашей интеллигенции статью С. Г. Суворова и Р. Я. Штейнмана «За последовательно-материалистическую трактовку основ механики». В ней даётся ясное изложение вопроса о двух концепциях механики — прогрессивной, материалистической, и антинаучной, идеалистической. Авторы убедительно показали, как передовые физики-материалисты, и в их числе наш соотечественник Н. А. Умов, уже в рамках классической механики подготовили её современные достижения. В статье разбирается распространяемый буржуазными физиками миф о том, что идеалист Мах и его «школа» причастны к этим достижениям. Основываясь на глубокой критике махизма В. И. Лениным в его гениальном труде «Материализм и эмпириокритицизм», авторы вскрывают антинаучную сущность идеалистической трактовки основ механики Махом и его современными последователями (особенно американцем Ф. Франком).

В статье Суворова и Штейнмана мы находим анализ ряда проблем механики в свете идей Ф. Энгельса о понятиях «сила» и «работа», о сущности закона сохранения энергии. Справедливо утверждая, что

«основной смысл энгельсовской трактовки понятий механики заключается в том, что эти понятия рассматриваются с точки зрения единства форм движения материи, непрерывной связи механического движения с немеханическими процессами», авторы сумели раскрыть эти положения Ф. Энгельса на конкретном современном материале и подвергнуть с этой точки зрения резкой и основательной критике книгу С. Э. Хайкина «Механика». Показывая недостатки и серьёзные ошибки этой книги (её обсуждению посвящён ряд материалов в журнале), авторы замечают: «...чтобы быть диалектическим материалистом, недостаточно признать объективность мира. Необходимо ещё принять теорию познания диалектического материализма и суметь провести её последовательно в своей специальной науке, изгнав из неё идеалистическую теорию познания. Без этого никакие заверения учёного в признании им объективности мира не сделают его произведения материалистическими».

Уместное замечание! Хотя речь идёт о всем известных истинах, их следует напомнить ряду наших физиков. Приведём один пример. Сравнительно недавно в Ленинграде вышла в свет весьма нужная и интересная книга акад. А. Ф. Иоффе «Основные представления современной физики». Ясно, что изложить основные представления физики можно только, исходя из положений диалектического материализма. Автор и обещает во введении к книге сделать это и часто, говоря о новых физических фактах и обобщениях, указывает на их соответствие с принципами марксистско-ленинской философии. Но попыток активного и последовательного творческого применения этих принципов к решению конкретных физических проблем — и прежде всего наиболее сложных и нарочито запутываемых буржуазными физиками — в работе А. Ф. Иоффе, как и в ряде работ других наших физиков, по сути дела нет. Это снижает их ценность, а иной раз приводит и к серьёзным ошибкам.

В связи с этим нужно упрекнуть и редакцию журнала «Успехи физических наук». Она не откликнулась на выход в свет книги А. Ф. Иоффе — единственной у нас пока специальной книги об основных представлениях современной физики (вообще библиография советской физической литературы поставлена в журнале плохо). Ре-

дакция уделяет слишком мало внимания насущной задаче нашей науки — сформулировать в свете идей диалектического материализма основные понятия и теоретические принципы физики, обобщив то гигантское количество новых физических фактов, которые накопились за последние полвека.

Эта задача не может быть даже правильно поставлена буржуазной физикой, но вполне осуществима у нас. Общая теория физики должна стать наукой о законах развития неорганической природы, подобно тому как общая теория биологии уже становится наукой о законах развития органической природы, а исторический материализм давно уже стал наукой о законах развития человеческого общества. Революция, которая началась в физике на рубеже XIX и XX веков, создала для этого необходимые предпосылки.

Следовало бы провести широкое коллективное обсуждение не только отдельных проблем физики, но и основных её представлений и понятий, особенно в области учения о строении вещества. На наш взгляд, редакция журнала «Успехи физических наук» должна была — особенно после выхода в свет труда товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», в котором с такой силой показана жизненная необходимость для науки дискуссий, борьбы мнений, свободы критики, — смелее предоставлять свои страницы для творческого обсуждения существенных проблем физической науки.

Только в последнем из рецензируемых выпусков журнала сделана попытка стать на такой путь. Две предложенные редакцией на обсуждение статьи Я. И. Френкеля и Д. И. Блохинцева касаются важного вопроса: природы полей, как одной из форм материи, и их соотношения с так называемыми «элементарными частицами» в свете последних достижений физики. Уже эти статьи показывают острую необходимость широкой творческой дискуссии и по другим затронутым в них вопросам, касающимся самых основ физического учения о строении вещества.

Дискуссионные по своему характеру, эти статьи бесспорно верны в одном: в своём стремлении отмежеваться от буржуазной, идеалистической трактовки проблемы и найти путь для материалистического, научного истолкования обнаруженных фактов.

И в этом снова находит своё выражение боевой дух журнала.

На его страницах мы часто встречаем и материалы о приоритете русских учёных, и новые данные об их работах, говорящие о ведущей роли нашей науки, и прямое разоблачение буржуазных физиков, нагло присваивающих достижения наших отечественных учёных.

Один из выпусков журнала в основном посвящён отцу русской науки — Михаилу Васильевичу Ломоносову. Содержательные статьи этого номера, к сожалению, во многом повторяют друг друга. К недостаткам его нужно отнести и отсутствие обстоятельной статьи о философских взглядах М. В. Ломоносова. Известно ведь, что воинствующий философский материализм гениального русского учёного был той основой, на которой он достиг величайших успехов и в области физики.

Освещая достижения советской физики, её славные традиции, журнал «Успехи физических наук» демонстрирует также связь отечественной науки с передовыми учёными всего мира. Мы находим на страницах журнала переводы работ виднейших зарубежных физиков. Редакционная статья в одном из выпусков посвящена выдающемуся французскому учёному и видному общественному деятелю, председателю Бюро Всемирного Совета Мира и президенту общества «Франция — СССР» Фредерику Жолио-Кюри.

Журнал приводит замечательные слова из речи, произнесённой Жолио-Кюри 31 марта 1950 года: «У меня был соблазн замкнуться в своей лаборатории. Но я задал себе вопрос: «А кто воспользуется открытием, которое я сделал?» И я тогда понял, что для того, чтобы иметь возможность сидеть спокойно в лаборатории, я должен сражаться в рядах тех, кто хочет, чтобы достижения науки были использованы в мирных целях, а не в корыстных интересах хищников, не для разжигания войны».

В этой благородной борьбе, ведущейся передовыми учёными всего мира, активно участвует и журнал «Успехи физических наук».

*Кандидат исторических  
и технических наук  
С. РАППОРТ.*



География**Песчаные пустыни Северного Приаралья**

При слове «пустыня» у многих возникает представление о чём-то безжизненном, «пустом» и страшном. Однако такое представление не совсем верно.

Когда поднимается ураган и целые тучи песка закрывают солнце; когда днём становится темно, как в сумерках; когда трудно становится дышать; когда кажется, что сама земля сорвалась с места и несётся неведомо куда, — тогда пустыня действительно бывает страшной. Но такие ураганы возникают редко, а пустынь с оголёнными песками, не покрытыми растительностью, сравнительно не много.

Академик А. Е. Ферсман после первой своей экспедиции в 1925 году в пустыню Кара-Кумы писал:

«Никто из нас не ожидал, что здесь, в этих безбрежных песках, имеется столько населения... Многие тысячи голов верблюдов, стада верблюжьего молодняка, огромные стада баранов, оказывается, в изобилии живут на этой территории, затерянной среди песков».

Особенно благоприятны для скотоводства песчаные пустыни. Пески легко поглощают скудные атмосферные осадки. Поверхностный слой песка быстро высыхает, и вода, вследствие слабого поступления вверх по капиллярам, защищена от дальнейшего испарения пересохшим песчаным слоем. Благодаря этому пески становятся хранителями и накопителями вод, которые всегда встречаются в них на большей или меньшей глубине. «Есть песок — есть вода», — говорит казахская поговорка. Это свойство песчаных пустынь выгодно отличает их от глинистых пустынь. На песках имеются более благоприятные условия для развития растительности, что делает их весьма ценными угодьями для животноводства. В бугристых песках скот находит также естественную защиту от сильных ветров и снежных буранов. Недаром для

кочевников пески издавна стали излюбленными пастбищами.

Книга А. Г. Гаеля, М. С. Коликова, Е. А. Малюгина и Е. С. Останина «Песчаные пустыни Северного Приаралья и пути их освоения» посвящена описанию песчаных массивов и их хозяйственному использованию. Книга эта — ещё одно свидетельство того, как передовая сталинская наука преобразовывает природу, заставляет её служить человеку. Авторы рецензируемого труда — крупнейшие знатоки пустынь. Они десятки лет проработали в трудных условиях пустыни и внесли немалый вклад в науку о пустынях.

А. Г. Гаель в весьма обстоятельной статье прослеживает историю изучения песков Приаралья, перечисляет все проведённые здесь исследования за двести с лишним лет. Большое внимание он уделяет весьма сложному вопросу генезиса песков и особенно ценному их дару — способности сохранять пресные грунтовые воды. Анализируя многочисленные данные, касающиеся заложенных в приаральских пустынях скважин и колодцев, А. Г. Гаель приходит к выводу, что население и скот в течение круглого года обеспечены водой именно благодаря пескам.

В статьях М. С. Коликова и Е. А. Малюгина — «Кара-Кумы приаральские», Е. С. Останина — «Большие Барсуки» и А. Г. Гаеля и Н. И. Лабаева — «Малые Барсуки» даётся подробное описание крупнейших песчаных массивов.

Статьи эти ценны не только с научной точки зрения, но имеют и большое практическое значение. Исследования авторов позволяют подсчитать, какое количество скота может пастись на этих пастбищах.

Общая площадь Приаралья, исследованная авторами, составляет 2,3 миллиона гектаров, на которых в течение шести зимних месяцев может прокормиться около одного миллиона голов мелкого рогатого скота. Приведа эти подсчёты, авторы пишут: «Хозяйственная ценность песчаных массивов определяется не только их пастбищами... Базируясь на песках, можно использовать обширные зимние пастбища глинистых безводных пустынь, примыкающих к пескам».

А. Г. Гаель, М. С. Коликов, Е. А. Малюгин, Е. С. Останин. «Песчаные пустыни Северного Приаралья и пути их освоения». Труды института пустынь Академии наук Казахской ССР, том второй. Ответственный редактор Н. В. Павлов. Издательство Академии наук Казахской ССР, Алма-Ата, 1950.

Это верно. Но вопрос нужно ставить значительно шире. Пески Приаралья и примыкающие к ним глинистые пустыни нужно также широко связать в единый пастбищный цикл с обширными летними пастбищами, которые имеются за 300—500 километров к северу от них в ряде районов Актюбинской области. Это обеспечит содержание стада на подножном корму в течение всего года и даст возможность значительно увеличить поголовье скота.

Западный Казахстан, куда входят и пустыни Приаралья, является районом дальнеотгонного животноводства: в южных районах скот перегоняется от одних пастбищ к другим и совершает в течение года переходы, превышающие иногда тысячу километров.

В настоящее время ряд институтов Академии наук Казахской ССР и Институт географии Академии наук СССР разрабатывают научные основы развития дальнеотгонного животноводства в Западном Казахстане. В этом деле песчаные пустыни Северного Приаралья должны сыграть важнейшую роль, как место зимних пастбищ.

Приаральская опытная станция, итогом работ которой посвящена в основном рецензируемая книга, своими более чем

15-летними работами доказала также полную возможность устойчивого неполивного земледелия в Приаралье при использовании, главным образом, супесчаных почв. Эти работы станции получили исключительно большое практическое значение. До 1931—1933 гг. неполивное земледелие в северном Приаралье совершенно отсутствовало, а к 1947 году здесь уже было 100 тысяч гектаров посевов.

Значение этой цифры станет ясным, если вспомнить, что всё это происходит в зоне пустыни с весьма небольшим количеством атмосферных осадков. Благодаря применению разработанной Приаральской станцией агротехники здесь стали получать устойчивые урожаи пшеницы, проса и ячменя без полива. В пустыне стали выращивать и неполивную культуру люцерны, которая также даёт устойчивые урожаи. Возможность возделывания многолетних трав здесь особенно важна, так как расширяет зимнюю кормовую базу для скота в песчаных пустынях Северного Приаралья. А это в свою очередь даст возможность более полно использовать обширные летние пастбища Актюбинской области.

*Кандидат географических наук*  
**М. БУЯНОВСКИЙ.**

★

### Библиография

#### Ценный справочник о деятелях русской культуры

Советским учёным, писателям, журналистам, преподавателям школ и вузов часто приходится обращаться к различным словарям и справочникам в поисках материалов о деятелях русской культуры.

Однако эти поиски чрезвычайно затруднены тем, что необходимые сведения разбросаны в основном по дореволюционным изданиям, которые далеко не всем известны даже по названиям. Со справочной литературой, выпущенной советскими издательствами, читатели также не всегда знакомы в полном объёме.

Вот почему книга И. М. Кауфмана не-

сомненно привлечёт к себе внимание широких кругов советской интеллигенции.

Справочник этот — результат более чем пятнадцатилетней работы автора — представляет труд, выполненный с научной добросовестностью. В нём собраны воедино сведения о всех выходивших в течение двухсотлетнего периода биографических и библиографических словарях.

Сейчас, когда советскую общественность глубоко интересуют вопросы приоритета русских учёных в области различных открытий и изобретений, выход в свет книги И. М. Кауфмана как нельзя более своевременен. Составитель справочника привлёк большое количество малоизвестных материалов о многих, часто незаслуженно забытых, деятелях в различных областях науки, литературы, искусства.

**И. М. Кауфман.** «Русские биографические и библиографические словари». Аннотированный указатель. Под редакцией доктора исторических наук **Т. И. Райнова.** Издание Государственной библиотеки СССР имени **В. И. Ленина,** М. 1950.

В указателе можно найти сведения и о капитальном двадцатипятитомном «Русском биографическом словаре» (М.-П. 1896—1918), и об изданном в 1772 году «Опыте исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова, и о «Биографическом словаре профессоров и преподавателей московского университета за истекшее столетие» (М. 1855), о котором в своё время писал Н. Г. Чернышевский (в настоящее время готовится к изданию словарь профессоров Московского университета за второе столетие — с 1855 по 1955 гг.).

Немало ценных сведений биографического характера находится подчас и в книгах, не преследовавших справочных целей: «Капище моего сердца или словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни» И. М. Долгорукова (М. 1872), «Знакомые» — альбом М. И. Семевского, издателя-редактора «Русской старины» (СПб. 1888) и т. п.

Читатель найдёт в указателе И. М. Кауфмана сообщения и об этих библиографических редкостях.

Не ограничиваясь регистрацией изданий словарного типа, составитель внёс в свой указатель ряд серийных изданий, выходящих в настоящее время.

Мы знакомимся с «Материалами к библиографии учёных СССР», издаваемыми Академией наук СССР. В «Материалах» имеются работы и о многих дореволюционных русских учёных (Н. И. Лобачевском, А. С. Попове), и о наших современниках (И. П. Павлове, Н. Д. Зелинском, С. И. Вавилове, Е. В. Тарле, Б. Д. Грекове и др.).

Серия «Массовой библиотеки» издательства «Искусство» содержит интересные и подчас нигде не опубликованные биографические сведения о русских художниках, начиная от Андрея Рублёва (XV век) и до художников наших дней.

Эти серии несомненно явятся для читателей новыми библиографическими пособиями, дополняющими материалы прошлых лет.

Труды, упоминаемые в указателе, не только тщательно описаны, но и снабжены аннотациями и историко-критическими примечаниями. Это особенно ценно, когда речь идёт о редких и малоизвестных изданиях.

Работ, аналогичных указателю И. М. Кауфмана, русская справочная литература до сих пор не имела. Часто составителю приходилось идти непроторёнными путями. Отсюда наличие некоторых недочётов в отборе материала, его классификации и примечаниях к книгам.

В указателе можно обнаружить пропуски, а иногда издания, не вполне отвечающие теме справочника.

Так, из изданий, которые можно отнести к литературным словарям, пропущены: «Литературный календарь альманах» (СПб. 1908), «Первые литературные шаги» Ф. Ф. Фидлера (М. 1911). Обе книги содержат автобиографии писателей начала XX века (А. Блока, Н. Морозова, Т. Щепкиной-Куперник и др.). Автобиографии, портреты и карикатуры советских писателей-юмористов находятся в сборнике «Бегемотник», вышедшем в 1928 году.

Едва ли следовало помещать в книге чисто библиографические работы И. В. Владиславлева или указатель «История естествознания» (М. 1949) и т. п.

Нельзя всецело согласиться и с предложенной в книге классификацией. Иногда справочники собраны в одном отделе по типу изданий («Словари и сборники биографий общего содержания»), в другом случае по признаку территориальному («Краевые, областные, республиканские словари»), в третьем — особо выделена группа научных деятелей («Словари и сборники биографий врачей»). В некоторых случаях составителем, повидимому, учитывалось название издания, а не его содержание. Например, книга «Галерея русских писателей» (М. 1901), имеющая все признаки литературного словаря, отнесена в раздел «Словари портретов».

В связи с этим в справочнике нет необходимой стройности композиции и часто сходные материалы находятся в разных отделах. Не оправдано и выделение некоторых изданий в особую рубрику, озаглавленную давно устаревшим обозначением — «Женщины-писательницы».

Значительно облегчает пользование справочником «Алфавитный указатель имён». Если бы, например, читатель заинтересовался биографией академика И. П. Павлова, то он нашёл бы сведения о четырнадцати работах — от недавно изданной Академией наук СССР библиографии

учёного до «Товарищеской памятки врачей выпуска 1875 года», изданной всего в количестве двухсот экземпляров. Такого рода справка может удовлетворить самые высокие требования изучающего жизнь и деятельность великого физиолога.

К сожалению, указатель не содержит всех имён, встречающихся в справочных пособиях. Объясняется это тем, что не во всех аннотациях дано полное перечисление содержащихся в них биографий.

Одни издания обработаны И. М. Кауфманом с исчерпывающей полнотой, а другие частично. Так, упоминая об известном труде А. П. Богданова «Материалы для истории научной и прикладной деятельности в России по зоологии», составитель на трёх страницах даёт алфавитный перечень всех вошедших в четыре тома биографий. То же сделано и по отношению к изданию «Люди русской науки» (М. 1948). Но, например, в аннотации к «Биографическому словарю профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира» (Киев, 1884) дано следующее примечание: «В словаре находится 231 биография. Наиболее крупные из них: М. П. Аверариус, П. И. Аландский» и т. д. Из всех биографий перечислены только пятьдесят четыре. Справка заканчивается выражением — «и др.».

Почему И. М. Кауфман остановился на этом количестве имён, сказать трудно, так же как и нельзя определить, какие биографии составитель считает наиболее «крупными»: ведь объём биографий вовсе не определяет их ценности.

Недостаточно полное раскрытие содержания некоторых изданий автор объясняет невозможностью увеличить объём книги. С этим нельзя согласиться. Конечно, перечисление всех имён было бы чрезвычайно громоздко и технически невыполнимо. Однако в работе, предназначенной для квалифицированного читателя, и нет особой необходимости останавливать внимание на общеизвестных справочниках. Речь идёт об изданиях малоизвестных, содержание которых следовало бы раскрыть с исчерпывающей полнотой.

Замеченные недочёты, почти неизбежные в таком большом и оригинальном труде, не снижают его научной ценности.

Тираж книги — три тысячи экземпляров — явно недостаточен и далеко не удовлетворяет спроса. Советские научные работники должны получить новое, дополненное и исправленное издание этого нужного справочника.

**Н. МАЦУЕВ.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Декабрь 1950 года — январь 1951 года)

★

## ГОСПОЛИТИЗДАТ

**К. Маркс.** Капитал. Т. III. 932 стр. Цена 20 р.

**В. И. Ленин.** Сочинения. Издание четвёртое. Том 32. 537 стр. Цена 6 р. 50 к.

**В. И. Ленин.** Сочинения. Издание четвёртое. Том 33. 509 стр. Цена 6 р. 50 к.

**В. И. Ленин.** Сочинения. Издание четвёртое. Том 34. 433 стр. Цена 6 р. 50 к.

**В. И. Ленин.** Сочинения. Издание четвёртое. Том 35. 525 стр. Цена 6 р. 50 к.

**В. И. Ленин.** Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. 16 стр. Цена 20 к.

Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). Выпуск двенадцатый. 35 таблиц. Цена 70 р.

Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). Выпуск четырнадцатый. 29 таблиц. Цена 60 р.

**К. Белоусова и И. Тропп.** Агитаторы в борьбе за высокие технико-экономические показатели производства. 88 стр. Цена 1 р.

Великие стройки сталинской эпохи. 135 стр. Цена 1 р. 25 к.

**А. Вышинский.** Об устранении угрозы новой войны и об укреплении мира и безопасности народов. 39 стр. Цена 50 к.

**Л. Ерихонов.** Русские революционные демократы и общественная мысль южных славян в 60—70 годах XIX века. 168 стр. Цена 3 р.

Исторический материализм. Под общей редакцией проф. Ф. В. Константинова. 748 стр. Цена 15 р.

История СССР. Альбом наглядных пособий, выпуск двенадцатый. 44 таблицы. Цена 100 р.

Ленинская «Искра». К пятидесятилетию со дня выхода первого номера. 452 стр. Цена 8 р. 50 к.

**М. В. Ломоносов.** Избранные философские произведения. 758 стр. Цена 12 р.

**В. Никифоров, Г. Эренбург, М. Юрьев.** Народная революция в Китае. 141 стр. Цена 2 р.

О советском патриотизме. Сборник статей под редакцией Н. П. Васильева и Ф. Д. Хрустова. 491 стр. Цена 9 р.

Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР. 20 стр. Цена 20 к.

**С. П. Трапезников.** Семнадцатая конференция ВКП(б). 60 стр. Цена 75 к.

У Сю-цюань. О вооружённой агрессии США против Китая. 40 стр. Цена 40 к.

**П. А. Хромов.** Экономическое развитие России в XIX—XX веках. 552 стр. Цена 10 р.

**Ф. Ф. Чернов.** Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы. 87 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Абульгасан.** Бастионы дружбы. Роман. Книга первая. Авторизованный перевод с азербайджанского Мир Джабара и Б. Рунина. 379 стр. Цена 9 р.

**С. Айни.** Рабы. Роман. Авторизованный перевод с таджикского С. Бородина. 511 стр. Цена 11 р. 50 к.

**П. Беспощадный.** Степь Донецкая. Стихи и песни. 131 стр. Цена 2 р.

**Былины.** (Библиотека поэта. Малая серия). Вступительная статья, подготовка текстов и примечания Б. Богомолова. 315 стр. Цена 7 р.

**Николай Вирта.** Драматические произведения. 474 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Дмитрий Гуляна.** Избранное. Перевод с абхазского. 415 стр. Цена 9 р.

**Аскер Евтых.** Превосходная должность. Повести. 357 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Василий Ильенков.** Большая дорога. Роман. 340 стр. Цена 7 р.

**Аркадий Коровин.** Салют на Неве. Записки военно-морского врача. 413 стр. Цена 9 р. 50 к.

**М. Ю. Лермонтов.** (Библиотека поэта. Малая серия). Том первый. Стихотворения. 459 стр. Цена 8 р. 50 к. Том второй. Поэмы. 482 стр. Цена 10 р. Том третий. Драмы. 425 стр. Цена 8 р. 50 к. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. Мануйлова.

**Елизар Мальцев.** От всего сердца. Роман. 431 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Г. Медынский.** Марья. Роман. 597 стр. Цена 11 р.

**М. Михайлов.** Стихотворения. (Библиотека поэта. Малая серия). Вступительная статья и подготовка текста П. Фатеева. 398 стр. Цена 7 р.

**П. Павленко.** Степное солнце. Повесть. 108 стр. Цена 2 р.

**Борис Полевой.** Золото. Роман. 543 стр. Цена 12 р.

**Поэзия декабристов.** (Библиотека поэта. Большая серия). Вступительная статья, подготовка текстов и примечания Б. Мейлаха. 846 стр. Цена 21 р.

**Русская частушка.** (Библиотека поэта. Малая серия). Вступительная статья Л. Шептаева. Подготовка текста В. Боква. 369 стр. Цена 6 р.

**Анатолий Рыбаков.** Водители. Роман. 309 стр. Цена 7 р. 50 к.

**С. Чернобривец.** Освобождённая земля. Повесть. Авторизованный перевод с украинского А. Константинова. 239 стр. Цена 6 р.

**А. Югов.** Бессмертие. Роман. 351 стр. Цена 9 р.

**Василий Юхнин.** Огни тундры. Роман. Перевод с языка коми А. Гурвича. 197 стр. Цена 5 р. 50 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Н. Г. Гарин-Михайловский.** Избранные сочинения. Вступительная статья А. Волкова. 300 стр. Цена 13 р.

**А. А. Игнатъев.** Пятьдесят лет в строю. Том 1. 592 стр. Цена 11 р. 50 к.

**П. С. Комаров.** Избранное. 272 стр. Цена 6 р. 75 к.

**Н. А. Некрасов.** Мороз, Красный нос. Русские женщины. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Н. А. Некрасов.** Сочинения. 464 стр. Цена 18 р.

**Божена Немцова.** Повести и рассказы. Перевод с чешского. Вступительная статья Ф. Боголюбовой. 248 стр. Цена 6 р.

**А. Н. Островский.** Полное собрание сочинений. Том V. Пьесы. 1867—1870. 352 стр. Цена 10 р.

**В. Ф. Панова.** Ясный берег. Повесть. 208 стр. Цена 5 р.

**Ф. И. Панфёров.** В стране поверженных. Роман. 450 стр. Цена 9 р.

**С. М. Петров.** А. С. Грибоедов. Критико-биографический очерк. 92 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Поэзия Советской Бурят-Монголии.** Вступительная статья Д. И. Романенко. Переводы с бурят-монгольского. 468 стр. Цена 12 р. 50 к.

**Мамед Рагим.** Избранное. Переводы с азербайджанского. 264 стр. Цена 8 р.

**Русские народные сказки.** 88 стр. Цена 1 р. 25 к.

**М. Е. Салтыков-Щедрин.** История одного города. 200 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Жорж Санд.** Избранные сочинения. Перевод с французского. Том 2. 660 стр. Цена 13 р.

**В. М. Саянов.** Небо и земля. Роман. 819 стр. Цена 14 р.

**К. Ф. Седых.** Даурия. Роман. 716 стр. Цена 15 р.

**Словацкие сказки.** Перевод со словацкого. 184 стр. Цена 2 р. 50 к.

**А. Франс.** Рассказы. Публицистика. Перевод с французского. 152 стр. Цена 2 р.

**А. Б. Чаковский.** У нас уже утро. Роман. 336 стр. Цена 7 р.

**А. П. Чехов.** Егерь и другие рассказы. 168 стр. Цена 2 р.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**А. Богаева.** Опыт массового внедрения стахановских приёмов труда. 60 стр. Цена 1 р. 60 к.

**М. Бордукова.** Болезни и вредители картофеля. Второе, дополненное и переработанное издание. 130 стр. Цена 3 р. 25 к.

**В помощь изучающим историю ВКП(б).** Партия большевиков у власти. Консультации к VIII, IX, X, XI и XII главам «Краткого курса истории ВКП(б)». Под общей редакцией проф. Г. Д. Костомарова. Часть I. 670 стр. Цена 12 р. 50 к.

**С. Заречная.** Предшественник. Роман. 388 стр. Цена 11 р. 75 к.

**А. Митрофанов.** Агротехника однолетних трав зелёного конвейера. 66 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Н. Попов и А. Чернавин.** Гранулированные удобрения. 46 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Л. Толстой.** Повести и рассказы. 734 стр. Цена 21 р. 50 к.

**Д. Филиппов.** Выращивание кок-сагыза в нечернозёмной полосе. 46 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Г. Ходоров.** Фабрика отличного качества. 56 стр. Цена 1 р. 30 к.

### ПРОФИЗДАТ

**Детский театр в клубе.** Сборник пьес для детской художественной самодеятельности. 512 стр. Цена 13 р.

**Ага Гусейн Кафаров.** Продлим жизнь нефтяных скважин. 56 стр. Цена 65 к.

**Н. Рождественский, Г. Слуцкий, В. Сидоренко.** Стахановские школы на предприятиях. 48 стр. Цена 50 к.

**И. Туртанов.** На благо родины. («Нозаторы Сталинской пятилетки»). 88 стр. Цена 1 р.

**Г. Шолохов-Синяевский.** У кургана. Повесть. 220 стр. Цена 9 р.

**Николай Юшин.** За комплексную организацию стахановского рабочего места. 52 стр. Цена 75 к.

### ДЕТГИЗ

**В. Архангельский.** Капля дождя. Рассказы. 96 стр. Цена 3 р.

**В. Беляев.** Город у моря. Повесть. 368 стр. Цена 12 р. 50 к.

**Г. Бичер-Стоу.** Хижина дяди Тома. Сокращённый перевод с английского Н. Волжиной. 400 стр. Цена 11 р. 50 к.

**М. Большинцов.** У самого синего моря. Повесть. 48 стр. Цена 3 р.

**И. Вазов.** Болгарка. Рассказы. Перевод с болгарского. 48 стр. Цена 50 к.

**Л. Воронкова.** Золотые ключики. Рассказы. 72 стр. Цена 5 р. 65 к.

**М. Дильбази.** Костёр. Стихи. Перевод с азербайджанского. 24 стр. Цена 60 к.

**В. Дуров.** Мои звери. 120 стр. Цена 5 р.  
**Н. Забила.** Наша Родина. Стихи Перевод с украинского З. Александровой. 32 стр. Цена 5 р. 20 к.  
**А. Кардашова.** Как мы живём. Стихи. 32 стр. Цена 2 р.  
**Я. Колас.** Дед Талаш. Повесть. Перевод с белорусского В. Тарсиса. 192 стр. Цена 6 р. 50 к.  
**Г. Комаровский и Н. Комаровский.** Повесть о корейском мальчике. 80 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**А. Кононов.** У железного ручья. Повесть. 52 стр. Цена 4 р.  
**Н. Кончаловская.** Наша древняя столица. Картины из прошлого Москвы. Книга вторая. 112 стр. Цена 6 р.  
**Лю Бай-юй.** Комиссар. Рассказы. Перевод с китайского. 32 стр. Цена 40 к.  
**Э. Мамедханлы.** Алые бутоны. Перевод с азербайджанского под редакцией Ю. Либединского. 22 стр. Цена 60 к.  
**К. Меркулева.** За страну изобилия. 164 стр. Цена 6 р. 15 к.  
**С. Могилевская.** Птица-синица. Повесть. 96 стр. Цена 7 р.  
**М. Муратов.** Жизнь Радищева. 248 стр. Цена 5 р. 80 к.  
**М. Муратов.** Первые разведчики великого пути. О северной экспедиции XVIII века. 160 стр. Цена 3 р. 20 к.  
**Х. Намсараев.** Золотая стрела. Повесть. Перевод с бурят-монгольского. 56 стр. Цена 1 р. 75 к.  
**Н. Незлобин.** Наше солнце. Стихи. 80 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**О детской литературе.** Сборник статей. 432 стр. Цена 14 р. 50 к.  
**В. Ф. Одоевский.** Городок в табакерке. 32 стр. Цена 30 к.  
**М. Пожарова.** Стихи для детей. 72 стр. Цена 3 р.  
**М. Познанская.** Песенки. Перевод с украинского З. Александровой. 24 стр. Цена 80 к.  
**С. Самсонов.** По ту сторону. Повесть. 240 стр. Цена 7 р. 70 к.  
**М. Сеид-Заде.** Песня о Родине. Стихи. Перевод с азербайджанского А. Оленич-Гнененко. 24 стр. Цена 60 к.  
**Г. Сенкевич.** За хлебом. Повесть. Сокращённый перевод с польского Я. Немчинского. 72 стр. Цена 1 р.  
**А. Твардовский.** Избранное. 288 стр. Цена 6 р.  
**Ю. Тувим.** Детям. Стихи. Перевод с польского. 24 стр. Цена 20 к.  
**А. И. Ульянова.** Детские и школьные годы Ильича. 40 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**А. Фадеев.** Метелица. 32 стр. Цена 1 р.  
**Ю. Фучик.** Слово перед казнью. Перевод с чешского Т. Аксель и В. Чешихиной. 104 стр. Цена 2 р.  
**Шао Цзы-нань.** Их везде ждут мины. Рассказы. Перевод с китайского Ал. Петрова. 32 стр. Цена 50 к.

## ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**П. А. Жилин.** Контрнаступление Кутузова в 1812 г. 192 стр. Цена 9 р.  
**Г. И. Иганов.** Групповая спортивная охота. Издание 2-е, исправленное. 116 стр. Цена 1 р. 75 к.  
**Л. Ф. Рудаков.** Автомобиль ГАЗ-63. 320 стр. Цена 9 р. 40 к.  
**П. Фёдоров.** Генерал Доватор. 358 стр. Цена 13 р. 50 к.  
**Михаил Васильевич Фрунзе.** К 25-летию со дня смерти. (1925—1950). 53 стр. Цена 2 р.

## ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**С. Диковский.** Командит птичьего острова. Рассказы. 142 стр. Цена 2 р. 25 к.  
**И. Евдокимов.** Павлин Виноградов. 72 стр. Цена 2 р.  
**А. Лебедев.** Родному флоту. Стихи. 88 стр. Цена 2 р. 25 к.  
**Морские рассказы.** 176 стр. Цена 4 р. 50 к.  
**Путь на моря.** Сборник стихотворений. 56 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**Е. В. Тарле.** Нахимов. Издание 2-е, исправленное. 112 стр. Цена 3 р.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Г. А. Аристов.** Строение солнечной системы. 180 стр. Цена 4 р. 50 к.  
**Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей СССР.** Том первый. Птицы. 370 стр. Цена 100 р.  
**В. Г. Базанов.** Поэты-декабристы. 220 стр. Цена 12 р.  
**А. Н. Бах.** Собрание трудов по химии и биохимии. 648 стр. Цена 46 р.  
**М. А. Безбородов.** Д. И. Виноградов — создатель русского фарфора. 510 стр. Цена 26 р. 50 к.  
**С. И. Вавилов.** Глаз и солнце. 122 стр. Цена 4 р.  
**С. И. Вавилов.** Микроструктура света. Исследования и очерки. 198 стр. Цена 10 р.  
**С. И. Вавилов.** Наука Сталинской эпохи. 128 стр. Цена 2 р.  
**Андрей Везалий.** О строении человеческого тела. Том 1. 1056 стр. Цена 48 р.  
**Вопросы истории религии и атеизма.** Сборник. 420 стр. Цена 18 р.  
**И. М. Губкин.** Избранные сочинения. Том 1. 612 стр. Цена 44 р.  
**А. А. Зворыкин.** Очерки по истории советской горной техники. 540 стр. Цена 39 р.  
**История техники.** Библиографический ежегодник. 1948 г. 164 стр. Цена 15 р.  
**Карельские эпические песни.** 526 стр. Цена 51 р.  
**Н. И. Конрад.** Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. 402 стр. Цена 24 р.  
**Х. С. Коштоянц.** Основы сравнительной физиологии. Том 1. 524 стр. Цена 30 р.  
**Литературное наследство.** В. Г. Белинский. Том II. 626 стр. Цена 50 р.

**Д. С. Лихачёв.** Слово о полку Игореве. 162 стр. Цена 5 р.

**В. К. Макаров.** Художественное наследие М. В. Ломоносова. Мозаики. 312 стр. Цена 22 р.

**Махабхарата.** Книга первая. 737 стр. Цена 28 р.

**Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.** 640 стр. Цена 45 р.

**Онежские быliny.** Том II. 810 стр. Цена 33 р. 25 к.

**Роберт Оуэн.** Избранные сочинения. Том I. 416 стр. Цена 13 р.

**Я. А. Певзнер.** Монополистический капитал Японии. 530 стр. Цена 26 р.

**В. Перцов.** Маяковский. Жизнь и творчество (до Великой Октябрьской социалистической революции). 468 стр. Цена 23 р.

**Повесть временных лет.** Части I и II. 404 стр. Цена 20 р.

**М. Ю. Рагинский, С. Я. Розенблит, Л. Н. Смирнов.** Бактериологическая война — преступное орудие империалистической агрессии. 136 стр. Цена 5 р.

**А. Б. Ранович.** Эллинизм и его историческая роль. 382 стр. Цена 20 р.

**Е. И. Ратнер.** Минеральное питание растений и поглотительная способность почв. 318 стр. Цена 18 р.

**Сборник, посвящённый семидесятилетию академика А. Ф. Иоффе.** 570 стр. Цена 40 р.

**Тысячная книга 1550 г. Дворовая тетрадь пятидесятих годов XVI в.** 454 стр. Цена 30 р.

**Устюжский летописный свод.** 128 стр. Цена 9 р.

**Учёные записки института востоковедения.** Том I. 274 стр. Цена 16 р.

**А. Г. Цейтлин, А. И. Гончаров.** 488 стр. Цена 26 р.

**О. Ю. Шмидт.** Четыре лекции о теории происхождения Земли. Издание 2. 96 стр. Цена 3 р.

**Ян Хин-шун.** Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение. 160 стр. Цена 6 р. 50 к.

**С. А. Яновская.** Передовые идеи Н. И. Лобачевского — орудие борьбы против идеализма в математике. 82 стр. Цена 4 р.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**А. Градецкий, Д. Скалова.** Прага зовёт. Перевод с чешского. 104 стр. Цена 3 р. 25 к.

**С. А. Данге.** Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. Перевод с английского. 204 стр. Цена 10 р. 25 к.

**Ф. Иензен.** Китай побеждает. Перевод с немецкого. 282 стр. Цена 5 р. 70 к.

**Альберт Кан.** Измена родине. Перевод с английского. 422 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Ю. Кучинский.** Западная Германия — колония США. Перевод с немецкого. 94 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Ч. Лоукотка.** Развитие письма. Перевод с чешского. 319 стр. Цена 16 р. 15 к.

**Иржи Марек.** Деревня под землёй. Перевод с чешского. 233 стр. Цена 7 р. 30 к.

**Джордж Марион.** Судилище на Фолисквер. Перевод с английского. 185 стр. Цена 6 р. 20 к.

**Эмм. Мартонн.** Физическая география Франции. Перевод с французского. 467 стр. Цена 33 р. 75 к.

**Новая и новейшая история Китая.** Перевод с китайского. 265 стр. Цена 14 р. 60 к.

**Планирование народного хозяйства Венгрии.** Перевод с венгерского. 121 стр. Цена 4 р.

**Планирование народного хозяйства Польши.** Перевод с польского. 189 стр. Цена 6 р. 65 к.

**Правые социалисты на службе поджигателей новой войны.** Сборник статей. 174 стр. Цена 3 р. 50 к.

**М. Пуйманова.** Люди на перепутьи. Игра с огнём. Перевод с чешского. 641 стр. Цена 21 р.

**А. Рочестер.** Американский капитализм. Перевод с английского. 150 стр. Цена 5 р. 10 к.

**А. Свобода, А. Тучкова, В. Свободова.** Заговор Ватикана против Чехословацкой республики. Перевод с чешского. 274 стр. Цена 5 р. 80 к.

**В. Урибе.** Империализм янки в Испании. Перевод с испанского. 60 стр. Цена 1 р. 95 к.

**Говард Фаст.** Дорога свободы. Перевод с английского. 285 стр. Цена 9 р. 85 к.

**Г. Шухардт.** Избранные статьи по языкознанию. Перевод с немецкого. 291 стр. Цена 13 р. 60 к.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

**И. М. Бережной.** Культура чая. 268 стр. Цена 6 р. 30 к.

**М. Ф. Гринько.** Колхоз им. Молотова. 112 стр. Цена 1 р. 85 к.

**С. С. Сергеев.** Организационно-хозяйственное укрепление колхозов и укрупнение мелких сельскохозяйственных артелей. 192 стр. Цена 3 р. 15 к.

**Труды Всесоюзного научно-исследовательского института кормления сельскохозяйственных животных.** Том I. 352 стр. Цена 11 р. 40 к.

### ГЕОГРАФИЗ

**А. В. Волков.** Уругвай. 48 стр. Цена 85 к.

**А. В. Волков.** Чили. 46 стр. Цена 75 к.  
**Макс Зингер.** 112 дней на собаках и оленях. 200 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Н. Н. Зубов.** Основы учения о проливах мирового океана. 222 стр. Цена 8 р.

**В. Н. Кунин.** Каракумские записки. 166 стр. Цена 4 р. 20 к.

**И. М. Марченко.** Киев. 72 стр. Цена 1 р. 30 к.

**И. Я. Подкопаев.** Вьетнам. 48 стр. Цена 75 к.

**Е. Д. Силаев.** Исландия. 32 стр. Цена 50 к.



**В. Тренёв.** Г. И. Невельской. 40 стр. Цена 70 к.

**Д. И. Щербаков.** А. Е. Ферсман и его путешествия. 198 стр. Цена 4 р. 80 к.

#### ГОСПЛАНИЗДАТ

**Я. М. Куперман.** Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств строительных организаций. 118 стр. Цена 3 р.

**А. Е. Пробст.** Социалистическое размещение добычи и потребления топлива в СССР. 130 стр. Цена 4 р.

#### КАЛИНИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Константин Морозов.** Девушка с «Пролетарки». Очерк. 74 стр. Цена 1 р. 50 к.

#### КРЫМИЗДАТ

**Т. Закоморный, А. Корчинов.** Культура хлопчатника в Крыму. 142 стр. Цена 4 р. 50 к.

**А. Коверга, Н. Чернова.** Никитский ботанический сад им. В. М. Молотова. 146 стр. Цена 4 р.

**Крымская земля.** Очерк. 76 стр. Цена 2 р.

**А. Лесин.** На новых местах. Очерки о крымских переселенцах. 90 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Наш опыт выращивания цитрусовых.** 24 стр. Цена 65 к.

**По мичуринскому пути.** Сборник научных работ опытников-мичуринцев Крыма. 104 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Э. Соломоник.** Раскопки Неаполя-Скифского — столицы скифского государства в Крыму. 20 стр. Цена 75 к.

**К. Фоменко.** Колхозное богатство. Опыт работы передового виноградаря Крыма. 30 стр. Цена 1 р.

#### СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Боевые ребята.** Альманах № 12. 104 стр. Цена 4 р. 10 к.

**Н. Данилин.** Полезные и вредные пгицы Урала. 62 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Кл. Егорова.** Валерий Крючков. Очерк. 90 стр. Цена 1 р. 70 к.

**А. Исетский.** Васса Лукина. Очерк. 80 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Контрольные комсомольские посты.** Сборник. 60 стр. Цена 1 р. 55 к.

**Молодёжная бригада отличного качества.** Сборник. 72 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Молодые железнодорожники.** Сборник. 28 стр. Цена 40 к.

**Уральские песни.** Сборник. 255 стр. Цена 7 р.

**Уральский учебно-опытный лесхоз.** Сборник. 72 стр. Цена 1 р. 60 к.

#### ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. И. Дробышевский.** Садовод Туров. 31 стр. Цена 50 к.

**А. М. Климов.** Северные рассказы. 177 стр. Цена 5 р. 55 к.

**П. И. Кралин.** Позднеосенний стерневой посев яровых на Урале и в Сибири. 35 стр. Цена 45 к.

**Н. Н. Кутов, Н. Т. Вохменцев.** Золотая долина. Стихи. 152 стр. Цена 4 р. 70 к.

**Р. П. Матвеев.** Полезащитные насаждения в Зауралье. 118 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Б. М. Раевский.** Две карты. Стихи. 39 стр. Цена 4 р.

**В. А. Стариков.** Звезда победы. Повесть. 248 стр. Цена 7 р. 60 к.

**«Уральские огоньки» № 4.** Стихи, рассказы, очерки. 106 стр. Цена 6 р. 65 к.

**И. А. Шмаков.** Колхоз «Марксист». 47 стр. Цена 90 к.

#### ГОСИЗДАТ ЮГО-ОСЕТИИ

**В. Д. Абаев.** Коста. (Научно-популярный очерк о жизни и творчестве основоположника осетинской поэзии Коста Левановича Хетагурова.) 130 стр. Цена 5 р.



Главный редактор **А. Т. Твардовский.**  
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**  
**С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов**

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 30/XII-50 г.  
А 00207

Объем 18 печ. л.

Подписано к печати 19/1-51 г.  
Тираж 104.000. Заказ № 2859.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.